95 коп.

Индекс 73276

14

«Нева», 1988, № 10, I—208

НЕВА 10 1988

ISSN 0130-741X

НЕВА

10 | 1988

НЕВА

Выходит
с апреля
1955
года

10 1988

Ежемесячный
литературно-
художественный
и общественно-
политический
иллюстрированный
журнал

Орган
Союза
писателей
РСФСР
и Ленинградской
писательской
организации

**Ленинград.
Издательство
„Художественная
литература."
Ленинградское
отделение**

В номере цветная вклейка: «Адрес: Мойка, 12...» Фото В. СТУКАЛОВА и В. МЕЛЬНИКОВА

На обложке: рисунок Касьяна ШВЕЦА «Канал Грибоедова. Итальянский мостик».

Глеб ГОРБОВСКИЙ

НОЧЬ НА ДВОРЦОВОЙ

Сквозь летний дождь,
сквозь зимние мечты,
минуя подворотни и мосты,
прийти туда и, не раскрыв зонта,
вдруг догадаться: площадь не пуста!

Блестит асфальт, брусчатки зыбь рябá.
Нет ни души... Лишь музыка столпа
уходит ввысь, да киснет статуй ржа.
И вдруг понять: здесь — города душа!

Она стоит босая, в свете луж,
вобравшая в себя мильоны душ.
И слышал я, как всюду и нигде
ее звенели крылья
на дожде...

⊡ ⊡ ⊡

Случайно или нет,
конечно, не случайно
была в реке вода
светла необычайно.
И неба синева,
и глаз людских сиянье
сулили в этот день —
с бессмертием слиянье.

И мне — на годы впредь —
впервые от рожденья
подумалось, что смерть
всего лишь — наважденье,
как греза или сон,
как в голосе простуда,
как облако, невесть
пришедшее откуда...

ГРУСТНАЯ ПОВЕСТЬ

День гаснет... Я пишу слова.
Успеть бы!
Длинновато слово «здравствуй!».
В прозрачной ручке иссякает паста:
на сколько слов осталось вещества?

В пустой деревне, в брошенной избе,
где нету лампы (свечку съели мыши),
успеть бы засветло,
покуда сердце слышит,
поведать сокровенное тебе
о ней, мой друг,
в которой нет огней,
об этой встречной мертвой деревушке,
где некогда стоял в раздумье Пушкин
и дальше ехал,
поменяв коней...

ОЩУЩЕНИЕ БЕЗДНЫ

Это свойственно многим. И — мне.
Чаще — осенью. И — достоверней,
в безответной сырой тишине
в чистом поле — на зорьке вечерней.

Вдруг сознание чем-то затмит,
ощущение времени схлынет,
и душа устремится в зенит,
к центру мира — из горькой полыни!

Обнаружится мрак, и с небес
дождь сойдет на увядшие травы.
И возлягут недвижно окрест,
как на карте — моря и державы.

И с землею — один на один —
точно с богом, взирающим слепо,
вдруг коснуться бездонных глубин
одинокого сердца и неба.

⊡ ⊡ ⊡

Не расплескать...
Не воду, не вино,
не молоко, шипящее в кувшине,
не мед, что вызревает в магазине,
а то, что свыше каждому дано:
огонь любви, свет истины благой!
И так идти — с улыбкой... скопидома,
давясь добром, и — не подать другому...
Храни нас бог от мудрости такой.

ЮРИЮ КАЗАКОВУ

Над рекой, над забытой рекой,
где уже не поют пароходы,
в грубом свитере, с мышцей тугой
он стоял и курил без охоты.

И зняла пустая изба
у него за спиной... И скулила
на заржавленных петлях судьба,
выводи, как нечистая сила.

Легкий пух на его голове
шевелился от позднего ветра.
И задумалась мышка в траве,
приподнявшись на два сантиметра.

Из-под свитера — вдоль по спине —
уплывало тепло... И нарядный,
за рекой, на другой стороне
хлопотал голосок невозвратный.

* * *

Над полюсом сквозит
озонная дыра...
О чем сие гласит? —
Опомниться пора!

Скажи, губитель вод,
всего живого враг,
зачем небесный свод
ты превратил в дуршлаг?

Ты говоришь: «Прогресс!»
Ты знаешь, что почем.

А в дырку бес пролез
с убийственным лучом.

Он превратит твой дух
в безмозглый пар и снег.
Покуда не потух,—
опомнись, человек!

Покуда не исчез,
добру — не прекословь.
Ты говоришь: «Прогресс!»
А ты добавь: «Любовь!»

МАДОННА

Я встретил женщину. Она
который год была пьяна.
Она была больна, негожа
и... с Богородицею схожа.
В ее глазах — и свет, и мука,
и с сыном Истины — разлука.
В ее руке лежал пятак.
Она еще робела, кляча...
Так рысью вдруг припустит кляча —
и вновь плетется кое-как.
И стал вопрос передо мной:
не ты ли, брат, тому виной,
что мать людей, ничья жена
в такую боль погружена?
Ты разве с болью той знаком,
чтоб откупиться пятаком?
И смог бы ты, ради Христа —
поцеловать ее в уста?

* * *

Заглохший сад, порожняя изба,
на всю округу — полторы старухи.
Что это — сон? Мистерия? Судьба?
«России — нет...» — ползут,
как черви, слухи.

Дурные слухи, скверные дела.
Отчизны имя, будто плод запретный.

Лети, лети над клевером, пчела,
звучи, звучи в душе, напев заветный!

Все это враки, выдумки, молва,
всего лишь — пыль дорожная над полем.
Мертва — былая, вечная — жива!
И выть, как по покойнику — доколе?

* * *

Шумел камыш, деревья гнулись

Старел асфальт, и ветер гулкий
гонял листву, как помело...
Увеселительной прогулки,
как видишь, не произошло.

Случилось нечто вроде жизни:
восторг, морщины, грусть-печаль.
То — солнце яблочком повиснет,
то — «доннер веттер, нох айн маль!»

Ах, эта мерзкая погода,
ах, эта серенькая быль.
И все ж — удерживает что-то,
и отрясает с сердца пыль.

И душу трогает, как землю,
то пеплом жизни, то снежком...
И связь — одной судьбы со всеми —
не рвется горьким корешком.

* * *

Хочу вообразить —
ретивому неймется,—
как рвется жизни нить,
но трюк не удается.
И в сторону бегу,
цепляясь за любое:
за травы на лугу,
за небо голубое,

за спящие дома
и мертвые каменья...
Не нашего ума —
процесс исчезновенья,
не нашего суда
сия печаль-забота.
Наш идол — суета,
жизнь — до седьмого пота!

* * *

Я в этот город больше не вернусь.
Не потому, что я ему не нужен,
что — нет церквей,
а также — зимней стужи.
Все эти горы, волны, ветры, лужи —
еще Россия, но — уже не Русь.

Так думал я до нынешнего дня,
когда в порту, у самого причала,
я встретил существо. Оно молчало.
В ее глазах отчаянье кричало,
все прочее из этих глаз тесня!

Я предложил ей ломтик колбасы.

Она взяла. И сразу стало ясно,
что я не прав: печаль ее не гасла.
Мы одиноки врозь. Увы, напрасно
в моих глазах созрели две слезы.

Она ушла, едва качнув хвостом.
Мы одиноки порознь... вот в чем штука!
У нас в глазах одна пылает мука,
одна обоим предстоит разлука,
но одиноки — врозь, при всем при том.

Я в этот город все же не вернусь:
не хватит сердца пить былую грусть.

ДВА ЛИЦА

С. В.

Твое лицо, подобное заре,
вернувшее меня из долгой ночи,
теперь — надолго... В черном декабре
оно, как сад — цветы добра пророчит.

И не беда, что видимся в году —
как май с июнем — хрупкое мгновенье.
Я к своему, ты к своему кресту,
но — вместе, вместе... Неразлучны
звенья.

Улыбку в сердце для тебя запру.
О, два лица, как два смятенных моря!
Увидем ли друг друга на ветру
там, за чертой — в немеркнущем
просторе?

* * *

Прелестница-печаль,
давненько мы знакомы.
Зайду к тебе на чай,
любезен мне твой омут.
Поставим самовар,
зажжем свечу-тихоню.
Пускай при свете фар
начнут за мной погоню

делишки и дела,
брамины и бармены...
У скорбного стола
кейфуется отменно!
Сидим... Вопросов нет.
Как нет на них ответов.
Пока над свечкой свет
не станет горним светом.

ТЕНЬ НА СНЕГУ

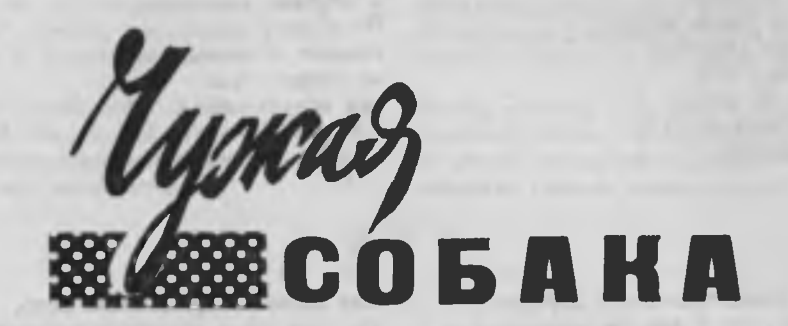
Редкий бесшумный предутренний снег.
Желтый, химический свет фонаря.
Первый трамвай начинает разбег
в дымную, смутную явь января.

В сторону юга — любви и тепла —
я почему-то уже не стремлюсь.
Дом за моею спиной, как скала.
Там и живу, но туда не вернусь.

Тень от меня, как футляр на снегу.
Я ухожу, по возможности, в тень.
Жмется она к моему сапогу.
Входит в меня... Переигрывать лень.

Вот и прекрасно: ничто не болит.
Плоть, как рассветная дымка, легка.
Хочется жить, да господь не велит:
слишком для этого кожа тонка.

Владнмир НАСУЩЕНКО



Чужая собака

Рассказ

Рис. И. Дяткиной

В «черную субботу» Иван Дмитриевич Коротков отпросился с работы на два часа раньше. В кафельной раздевалке он долго сидел, понурясь, положив промасленные руки на колени. Каменный, чисто вымытый пол содрогался от ударов трехтонного молота за стеной, и Коротков даже чувствовал, как подпрыгивает под ногами деревянная решетка и ритмичные взрывы отдаются в голове белыми вспышками.

Иван Дмитриевич потер ладонями седые виски и помял лицо, царапая его мозолями, размышляя, что здоровье стало совсем ни к черту, раз он так устает за неделю.

В душевой ему полегчало. Он расслабленно мылился под горячими струями, терся капроновой мочалкой, потом тиранил запавшие щеки старым лезвием, глядясь в осколок зеркала.

Целый день от Ивана Дмитриевича не отходила обида: дочь не прислала телеграммы, не поздравила с днем рождения, не говоря уж о подарке. Года три назад она вышла замуж за офицера и жила в Туркменистане в пограничном гарнизоне. Служба там тяжелая — кругом пески.

«Деньжата у нее лежат на книжке, отцу родному могла бы подкинуть десяточку на голые зубы или посылку собрать»,— рассуждал Иван Дмитриевич в предбаннике, натягивая застиранные отсыревшие кальсоны.

В проходной толстая злая охранница не хотела выпускать Ивана Дмитриевича на волю, но он показал записку от начальника цеха, охранница глянула на электрочасы и отомкнула турникет.

Дни стояли совсем куцые — солнце едва покатается над горизонтом. Когда он вышел, на трубах завода зажглись красные огни. Дул ветер. В небе неслись прозрачные воздушные потоки, сшибались, закручивались в огромные рулоны.

Уже несколько лет Коротков ходил к остановке мимо высокого забора, где располагалась учебная воинская часть. Там шла своя жизнь по расписанию: крутился зеленый локатор, висли провода. Из ворот выезжали крытые машины с сильными моторами. Часовые щелкали каблуками, отдавали честь проходившим офицерам.

Забор сегодня показался Ивану Дмитриевичу длинным: шел, шел, конца не видно. В кармане бряцали квартирные ключи и никелевый рубль. Рубль был с великим трудом добыт у хохла Перепеленки. Пришлось льстить и кланяться сверх меры, будь оно неладно... Перед авансом денег ни у кого нет, и праздник на носу. Сегодня Ивану Дмитриевичу стукнуло пятьдесят девять годков, хотелось отметить дату. Придется с единственным рублем ехать к фронтовому дружку Кольке Бугрову. Тот живет богато: имеет шикарную инвалидскую коляску и, кроме пенсии, зашибает сотни полторы в артели. Как инвалиду войны ему дали квартиру на Гражданке, с телефоном.

Так ехать, конечно, стыдно, но он решил не заикаться про день рождения, хотя с Коляней можно не лицемерить, человек он простой, душевный.

Иван Дмитриевич сам свалял дурака: неделю назад отдал последние двадцать рублей мастеру Чегодаеву, тот вымолил христом-богом — очередь негаданно подошла на швейную машину... Теперь свисти в кулак, Иван Дмитриевич...

Он нашарил в крошках табака две копейки и остановился у телефонных будок. В одной будке автомат бесследно слопал монету, а в другой — трубка была вырвана с мясом.

— Во артисты! — ругнулся Иван Дмитриевич и решил ехать не звонивши.

Ветер раскачивал жалобно скрипевшую вывеску на троллейбусной остановке. Город продувался даже с крыш. Подняв воротники, прохожие спешили укрыться в теплые помещения.

Иван Дмитриевич продрог, дожидаясь транспорта. На кольце он вылез, ветер здесь дул еще сильнее. Погода портилась. С залива несло тяжелые тучи.

К новым кварталам нужно было одолевать горбатый мост через низину, где проходила железная дорога. Иван Дмитриевич, терпя одышку, забрался на верхотуру моста, откуда были видны красные и зеленые светофоры, блестящие рельсы. Проносились электрички, высекая искры натруженными загривками.

Отдышавшись, он полюбовался цветными огнями и мыслил, что хорошо бы было уехать куда-нибудь в деревню от этого убийственного климата, от сутолоки огромного города, от вонючих машин, от заводов, этих мрачных порождений сатаны. Но это была лишь глупая мечта.

Снег на тротуарах дворники посыпали крупной солью. Иван Дмитриевич месил этот жуткий рассол, плутая среди одинаковых домов с занавешенными окнами. В зеркальных витринах горели люминесцентные лампы-палки, мертво освещая зыбкие тени проходивших людей. Посредине проспекта тянулись насильно посаженные деревца.

Иван Дмитриевич хмурился, разглядывая номера домов, написанные чернью на стенах. Был он здесь дважды и каждый раз путался в стандарте. Номер дома помнил хорошо. И помнил, что неподалеку был стеклянный ларек, где с Николаем пили пиво.

Зашел за угол и, точно, увидел заведение. Ларек был густо облеплен людьми, как помойка мухами. Косясь на мужиков, сдувавших пену с тяжелых кружек, он храбро миновал приманку. Навстречу несли новогодние елки, связанные веревками. Скоро праздник.

Он поднялся по узкой лестнице, позвонил в дверь, обитую коричневым дерматином, нутром чувствуя, что там никого нет, даже снял кроличью шапку, чтобы слушать шаги. Звонок сиротливо булькал. В соседней квартире хриплый мужской голос орал ругательства и надрывно плакал ребенок: «Ой, папочка, не надо! Ой, папочка миленький, больно!»

Иван Дмитриевич нахлобучил шапку и сильно ударил в ту дверь ногой. Плач и рыдания притихли, загремела цепочка, срываемая бешеной рукой. На пороге вырос мужчина с крутящимися глазами. В руке у него был резиновый эспандер.

— Что вам? — спросил мужчина.

— Зачем так безжалостно бьете своего ребенка? — заикаясь, тихо спросил Иван Дмитриевич.

— Дурак! Сволочь дерьмовая, лезешь не в свое дело! — захлебнулся мужчина, свистя эспандером, и грохнул дверью.

В центре толпа подхватила его, смех и гуденье ошеломили. Люди толклись с боков. Был гололед. Навстречу идущий стремительный князь крепко ударил Ивана Дмитриевича свинцовым плечом, и Иван Дмитриевич чуть не упал на лед. Хотелось закричать от обиды и еще от чего-то, накопившегося за день.

На перекрестке был затор в движении. Автомобили выпускали в лица людей отравленные смеси. Дикие вопли тормозов холодили кровь.

«Эка расплодили на свою голову дерьма!» — подумал Иван Дмитриевич

о машинах, идущих в четыре ряда. Люди плечом к плечу лезли в низкое подземелье, где был переход.

Иван Дмитриевич всегда с содроганием спускался в общем потоке и мыслил скорее выбраться из этой ужасной толкотни. Посреди туннеля, прислонившись к облицованному керамикой столбу, торговал билетами крикливый театральный агент в потертом пальто с каракулевым воротником. Вокруг алюминиевого столика крутился водоворот. Поверх голов двигавшихся людей дул сквозняк. Агент топал валенками в калошах и изрыгал в муравьиный гул имена гастролеров:

— Польша! Петр Котт — вторая труба в Европе! Есть счастливые лотерейные билетики!

Коротков очнулся от неприятно волновавших его мыслей. Во всяком случае, он не забыл про собаку, увязавшуюся за ним от Театра комедии и которая потерялась в людской свалке на углу.

Освободившись из подземных тисков, Иван Дмитриевич повертел головой и увидел: через широкую двигавшуюся улицу спиралями крутилась давешняя собака, не понимавшая холодных светофоров. Он загодя похоронил ее на стылом фиолетовом асфальте. Образовалась пробка из машин. Проклятия и нервная ругань вынудили собаку броситься немного в сторону от Ивана Дмитриевича. Но скоро она вынырнула в добром здравии из-под чьих-то стройных русских сапожек и лизнула замерзшую руку Короткова.

Мужчина с раздутым портфелем возмутился, будто Иван Дмитриевич был хозяином собаки:

— Безобразие! Все движение остановили. Штрафануть бы тебя, подлеца, рублей на сто, знал бы тогда!

И элегантно одетая дама с усами, презрительно окатив взглядом бобриковое пуленепробиваемое пальто Ивана Дмитриевича, фыркнула ему прямо в лицо:

— Держали бы лучше кошек, строитель...

Иван Дмитриевич не понял, почему его обозвали строителем, застеснялся, будто был действительно виновен.

Движение давно восстановилось, но от газетного киоска решительно следовал милиционер в новой красивой форме, издали похожей на генеральскую.

Коротков заспешил уйти от греха подальше. Собака, сочувственно вздыхая, семенила рядом, наваливаясь на его ногу, и все нюхала карман, где лежали ливерная колбаса и несколько мелких монет, оставшихся от пива.

Домой нужно было идти еще целую улицу, к платной стоянке машин на канале, сворачивая с главной дороги в сад. Он любил ходить через сад, где зимой народу гуляло немного и можно было отдохнуть от людской тяжести.

Корявые вековые деревья стыли в густых сумерках. Мраморные статуи были забиты в деревянные футляры от непогоды.

Иван Дмитриевич имел свою выгнутую скамейку в боковой аллее, на которой любил сидеть и мысленно перебирать свои падения, редкие взлеты и людские поступки. Самоанализ, которому он себя подвергал, мог пригодиться в любую эпоху для исправления души, но в этот быстросвистящий век размышления были излишними, как чугунный каторжный привесок на ногах.

Скамейка Ивана Дмитриевича была всегда чисто выметена метлой, другие — завалены снегом. Коротков удивлялся постоянной ее чистоте и думал о той доброй руке, которая незримо заботилась, чтобы он мог посидеть в условной тишине сада.

Запахнув на коленях пальто, он осторожно присел на планочки, собака от холода перебирала издерганными худыми лапами. Он погладил ее по рыжим бровям и оттолкнул даже, чтобы не влюбляться особо. Стал рассматривать неожиданное наследство. Собака была хамской породы, как ему показалось, с вислым трусливым задом.

Иван Дмитриевич вытащил злополучную колбасу, развернул картонную бумагу, мечту гастрономических продавцов, и нащупал острый складной ножичек. Отрезая на равные доли, он сбрасывал колбасу в пасть иждивенца и сам сжевал на товарищеских началах пару кусочков без хлеба.

Иван Дмитриевич большей частью мыслил скептическими категориями, что делало его нерешительным и робким в жизненных ситуациях. Сейчас стояла проблема, где раздобыть деньжат на законную выпивку и что делать с собакой: оставить себе как нежданный подарок судьбы ко дню рождения или всучить бездоходную скотинку охотнику Горшенкову из двадцать третьей квартиры. Но Горшенков мог и не взять, собака, видимо, со скрытым дефектом, раз хозяин ее бросил.

Иван Дмитриевич расстроился. На скамейку подсел человек в толстом пальто с поднятым каракулевым воротником. В руках человека покоилась трость, вырезанная из корневища. Он постучал палкой по мерзлой земле, но Ивану Дмитриевичу вдруг показалось, что сосед бесцеремонно толкнул его в правую ногу своим сучковатым инструментом, словно хоккейной клюшкой. Он даже ощутил боль в косточке и невольно дрыгнул ногой, но как человек по натуре деликатный смолчал, рассудив, что это ему померещилось. Приблудная собака забеспокоилась.

— Отличный песик... Он вас так любит,— завистливо всхлипнул незнакомец, поворотя нос из каракуля. Коротков в сумраке успел заметить его маленькие острые глазки и сдавленное в висках лицо. Не дождавшись ответа, голова незнакомца юркнула в воротник.

Иван Дмитриевич укорил себя за бестактность и уже хотел ответить, но незнакомец опередил.

— Это бретонский гриффон? — спросил он в пространство.

— Гриффон,— повторил Иван Дмитриевич, понимая, что незнакомец спросил о породе собаки.

— Я так и знал... В молодости у меня был гриффон Аякс. Злоба и привязчивость к зверю, в особенности к волку, была изумительная. Брал мертво. Но по зайцу гнал плохо. И была дурная привычка бросаться на овец. Только теперь вот такой охоты нет...

— Нету,— согласился Иван Дмитриевич: не хотелось разочаровывать человека. Желание выпить и поесть чего-нибудь горячего не проходило. Он ощупал мелочь в кармане, проглотил слюну, пососал потухший окурок и выбросил его в снег.

— Гончие привязываются открыто и никогда не лгут в своих симпатиях,— интеллигентно похвалил собаку незнакомец, осторожно дотрагиваясь палкой до густого загривка пса. Собака сверкнула клыками.

— Не любит палку,— предостерег Коротков и пошевелился на ледяной скамье, вытащил часы «Молния» на цепи, посмотрел на стрелки. Мимо прошла дама глубокой молодости и равнодушно покосилась на обоих.

— Квк собачку вашу зовут? — пристал незнакомец, усмехаясь плоскими губами.

— Никак,— грубо ответил Коротков и спрятал часы.

— М-да, отношения людей ложны, несовершенны. От ума идут,— обиделся человек и поковырял тростью мерзлую землю.

Собака столбила кусты.

— Люди о своем уме мыслят, как о собственных часах,— огрызнулся Иван Дмитриевич.— Каждый думает, что его часы хорошо идут.

— Как, как? — встрепенулся незнакомец, даже подпрыгнул на скамейке.

— Так,— желчно сказал Иван Дмитриевич.— На самом деле никто не знает точного времени...

Человек вдруг засмеялся, и смех его был похож на крик гусн:

— Га-га-га! Честное слово, вы мне нравитесь. Блестящий софизм! Га-гага! Не ожидал, не ожидал...

Нос незнакомца качался из стороны в сторону, хлюпал, свистел и трубил.

Коротков покраснел в темноте: ему не понравилось непонятное слово. И было неясно, к чему клонит незнакомец, напустивший столько туману. Он почувствовал тревогу. Чем больше приглядывался к соседу, тем больше укоренялся в мысли, что сосед похож на театрального агента из подземелья, только нос чуточку повнушительней, чем у того пустобреха, торговавшего беспросветными лотерейными билетами.

Над садом горели круглые фонари, освещая мрак аллеи. Сосед выудил из

кармана платок, благодушно высморкался. На платке отчетливо мерцал кабалистический знак непонятного содержания, будто вышитый фосфорными нитками. Иван Дмитриевич протер глаза, но знак — ворон-птица каркающая,— не исчез, а налился кровавым светом. Коротков содрогнулся и ощутил в душе легкое таяние чего-то важного, что берег от всех, и вдруг стал говорить, торопливо захлебываясь, о своей грешной жизни, беспутной годами, выдавая свои сомнения и затаенный плач. Каракуль сипел носом, кивал и все прекрасно понимал с опережением и убивал странно построенными фразами возражения. Иван Дмитриевич говорил, говорил, чувствуя, как ледяные иглы покидают сердце.

— Не горюйте,— сказал человек и аккуратно сложил страшный платок.— Никто сейчас не выполняет обязанностей своего бытия. Человеческий род неразумен. Утешьтесь, вы многое вынесли...

Иван Дмитриевич очнулся от наваждения, с испугом глянул на соседа: тот существовал в своем громадном пальто, и светящееся облако плыло над садом.

«Заболел я, что ли?» — уныло подумал Иван Дмитриевич и аакурил дешевую папиросу. От табака ему стало легче.

— Продайте собаку,— неожиданно предложил незнакомец.— Опа вам ни к чему,— и начертил тростью треугольник на снегу.

— Как это ни к чему? — встревожился Иван Дмитриевич, разгораясь неодолимой симпатией к приблудному псу.

— Конечно, ни к чему! Держать негде, знакомых нет, которые любят собак...

— Гм,— только и произнес Иван Дмитриевич со злобой. Он помнил, что ничего такого про собаку не говорил.

— Я хорошо заплачу,— настаивал старик.— Деньги вам нужны.

Он вытащил пухлый бумажник, извлек оттуда десятку и помахал ею в сумраке.

— Откуда вы взяли, что мне нужны деньги? — сухим тоном возразил Иван Дмитриевич.

— Право, я давно ищу такую собаку. Я одинок...— жалобно застонал старик и надавил палкой землю.

Коротков независимо поднялся со скамьи, свистнул собаке и двинулся на канал. Тут его словно пронзило током. Остановился, глянул назад, вдруг почувствовал незнакомую тошноту под сердцем и невесомость. Им овладела странная апатия и снова зажглось дикое желание исповедываться, как перед смертью. Он вскрикнул с тоской. Из тучи повалил тихий бутафорский снег, и огромный сад с беспечно гуляющими людьми стал нереальным, дрожащим в трех независимых проекциях: одна — перевернутая, две — покосившиеся. Иван Дмитриевич уперся глазами в землю, чтобы не упасть от головокружения.

— Нет! — закричал он, распаляя себя до гнева, чтобы избавиться от чужой власти. Страшно ему стало. Человек в пальто с каракулевым воротником приблизился из снежной завесы и повторил:

— Я хорошо заплачу. Вам нужны деньги!

Иван Дмитриевич отрицательно покачал головой, закрыл глаза, чтобы не видеть искаженного сада и этого насильника, повернулся и пошел прочь на главную аллею. Не обернулся, вышел из сада и тогда облегченно вздохнул.

Идя на Моховую, он отходил сердцем и рассуждал, что поступил глупо, не понимал своего минутного упрямства. У заснеженных машин автостоянки он уже был готов отдать собаку за так, но возвращаться было стыдно.

Марья Ивановна жила в отдельном флигеле, в каменном мешке двора. Он постучал в оконце, там отодвинулась занавеска и мелькнула тень. Иван Дмитриевич поворотил на крыльцо и понуро ожидал, пока хозяйка справится с запорами. Она часто выручала Ивана Дмитриевича в долг. С ее мужем Васей Вороновым он служил в одной роте, вместе воевали на Карельском фронте. Но теперь у нее семьи не существовало: сыновья погибли в блокаду от голода, а мужа фашисты утопили в Ладоге. Женщина она была замкнутая, немного не в себе.

Дверь отворилась, Марья Ивановна высунулась и сурово спросила:

— Сколько?

Иван Дмитриевич вздохнул, поднял три пальца, потом, спохватившись, показал пятерню. Старуха вынесла деньги. Он крепко зажал их в кулаке, вышел на улицу. Хотелось посидеть в теплом помещении, но с собакой нельзя было заходить в столовые, а идти домой не было смысла: злачные заведения закрывались рано.

Снег давно перестал, к вечеру усилился гололед. Льдины под ногами были острые, как ножи, и хрустели, будто ломались кости.

На углу он зашел в «автопоилку». Выпивка здесь не веселила, никто не говорил: «Будьте здоровы!» Мужики меняли деньги у кассирши на мокрые жетоны и торопливо опускали их в щели, машины молниеносно выплевывали в подставленные стаканы порции портвейна, пахнущего железом.

Иван Дмитриевич выбрался оттуда, жуя на ходу закусочную конфету «Кавказ», волоча за ошейник помятую собаку, и свернул ближе к центру, где знал портативный винный подвальчик. Там не было автоматов, буфетчицы обслуживали быстро и вежливо.

Собака легла на опилки под стойкой. Стойка была мокрая от пролитого вина и заполнена стопками блюдечек и стаканами.

— Извините, молодой человек, потесню вас,— сказал Коротков.

Молодой человек отодвинулся и сказал:

— Ничего. Надо всем выпить.

Лицо у него было умное и решительное, под мышкой он держал фирменный сверток с покупкой.

— Здесь только и выпьешь,— добавил он.— В ресторане дорого, и время потеряешь...

Ивану Дмитриевичу хотелось поговорить, и он сказал:

— У меня сегодня день рождения, а с дьяволом я пить не могу...

— Дома, конечно, лучше,— сказал молодой человек.— В вашем возрасте...

— Жена у меня померла,— пояснил Коротков.— А дочь ушла замуж.

— Понятно,— кивнул молодой человек, морщась от едкого лимона.— Сколько зто вам намотало, если не секрет?

Иван Дмитриевич махнул рукой:

— Домой скоро...

— Еще поживете. На вид вам немного. Рыбу на пенсии будете ловить.

— Не умею.

— Научитесь. Теперь все ловят. Интересно, как чувствует себя человек, когда жизнь прожита? Не представляю...

— Никак. Война за войной, пятилетка за пятилеткой — и жизнь прожита,— сказал Иван Дмитриевич и заморгал глазами.— Весь софизм,— вспомнил он непонятное слово.

— Афоризм,— поправил молодой человек и сплюнул лимонную косточку в пса.— Ваш монстр?

— Чего? — не понял Иван Дмитриевич.

— Я спрашиваю, ваша собака? — снисходительно повторил молодой человек.

— Моя, моя. Аяксом зовут. Бретонский гриффон,— еле выговорил Иван Дмитриевич. От выпивки ему хотелось заплакать.

Молодой человек ухмыльнулся и посмотрел на свежевыкрашенную блондинку, пившую шампанское с седым актером.

Люди приходили и уходили. Подсвеченные витражи с виноградными арабесками успокаивали зелеными тонами. Из приоткрытого подвала нахло бочками, прокисшим вином.

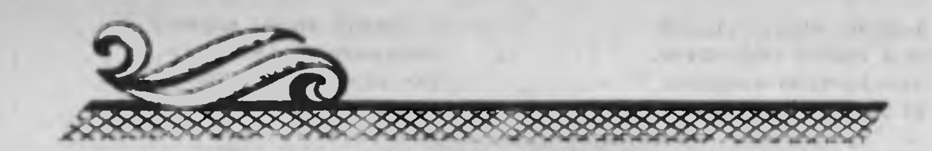
Коротков допил палящую жидкость, чувствуя, как мозг уравновешивается с действительностью. Долго стоял, смотрел на людей, делавших то же самое, потом сказал:

— Собака устала, пойду.

— Счастливо, папаша. Пожалуй, я повторю...

Толпа еще больше загустела, теперь только были видны чужие нанористые спины. Бессмысленный поток качался, медленно двигался, освещенный сильными холодными огнями. Из подземелий метро вырывались клубы тепла. Люди пачками вваливались на лестницы, шатая стеклянные ворота. С простуженного моста катили машины. Канал был завален грязным снегом. Толпа лавой текла в каменном каньоне, с шутками, смехом, своими законами. Тучи, освещенные электрическим городом, лили грозовой мрак и равнодушие.

Коротков с собакой шли по обочине, между колесами и людской черной стеной. Он уже не ощущал времени, ему было тепло, и странный гул города не трогал его сознания.



Семен БОТВИННИК

ИЗ ТОЛЩИ ЛЕТ...

Как мины из пучнны —
или звенья
цепей, что море выбросило в гуле,
из толщи лет выходят, нз забвенья
те дни, что безнадежно утонули...

А было так:
тот город возле моря
лежал, полуразрушенный войною...
И молодость была. И в птичьем хоре
мир ожнвал победною весною.

Он весь клубился в зелени и пепле,
он прорастал — скаозь беды —
все упорней,
в нем зарождались,
множились и крепли
грядущих судеб завязи и корни...

И гарью с кенигсбергских бастионов
на ветерке тянуло то и дело,
и гомон плыл веселый
у вагонов,
и небо так вовек не голубело.

Еще земля
прислушивалась к грому —
каленою отмечена печатью,
а люди шли — кто из дому,
кто к дому...
Последние проклятья —
и объятья...

Уже туда не дотянуться взглядом,
все тучи лет
своей прикрыли рванью...
Но женщина была со мною рядом.
Еще была...
И длилось расставанье.

В сравненьи
с той зарей кроваво-алой,
в сравненьи
с этим временем огромным
тогда любовь
такой казалась малой,
а каждый был спасенным
и бездомным...

И разошлись пути. И громы стихли.
И только пыль дорожная дымилась...
Все как-то затерялось
в этом вихре
и вроде бы навеки позабылось.

Лишь изредка всплывали на мгновенье
те дни, куда мы вместе заглянули,—
как мины из пучины
или звенья
цепей, что море выбросило в гуле...

Ей ни к чему теперь мое участье,
и поздний суд
помочь не может строгий...
Приходит боль
И сердце рвет на части —
о тех,
кто нами брошен на дороге.

ПО МОТИВАМ АНДЕРСЕНА

В царстве голых королей
люди голы, пашни голы,
в небе — вместо журавлей —
поразвешаны глаголы:
дескать, нам всего милей,
дескать, нам всего дороже
царство голых королей —
от беды спаси их, боже!

В царстве голых королей
солнце светит безучастно.
Ночью поступь патрулей
слух терзает ежечасно.

В ярком блеске хрусталей
развернув святое знамя,
груди голых королей
украшают орденами.

В царстве голых королей
растеряли перья птицы...
Там сплоченный строй нулей
замыкают единицы.

И течет рекой елей,
и ведут солдаты войны...
Все обычно, все спокойно
в царстве голых королей.

回 回 回

Ученые спорят упрямо —
но спор ничего не решит...
История — старая дама,
а по-молодому грешит.

Белила ее и румяна —
всего лишь обычный обман,
выходит она из тумана —
и снова уходит в туман...

Ее украшающий глянец
и славу трубящая медь
не могут кровавый румянец
со щек ее впалых стереть.

Уж лучше бы сразу ослеп ты,
чем в хмари следить ее путь...

Ее молодые адепты
в догадках увязли по грудь.

Что помнит, что кануло в Лету —
хоть вычерпай Лету до дна,—
лукавей не сыщешь ответа:
она не былому верна...

Былое таится во мраке —
его ты отыщешь не вдруг.
Быстра эта дама на враки
в кругу легковерных подруг!

Событий чреду от Адама
доводит она до ума:
История — старая дама —
себя гримирует сама...

回 回 回

Какие видел я метели,
какие вихри душу жгли,
какие годы пролетели,
прошелестели, проползли!

Крутой овеянные славой,
они летели над страной,
ползли под проволокой ржавой,
под говорильней ледяной.

Нерастворим в душе осадок:
какая солнце крыла тень,
как горек был мой день —

и сладок,
как был нелегок этот день.

Но я до гроба помнить буду:
со мной судьбу свою деля,
в огонь и воду шла повсюду
меня вскормившая земля.

Она жила нелегкой новью,
завесив тучи кумачом...
И нес я в сердце
боль сыновью,
которой время нипочем.

Геннадий БЕГЛОВ

Повесть

Рис. Ю. Шабанова

ЛИСТ СЕМНАДЦАТЫЙ

Боже, как все просто... Мне же двадцать два года! Двадцать два...

Тюрьма.

Давным-давно, в предалеком детстве, в длинной-предлинной легенде кто-то кого-то бросил в подземелье...

И была картинка. Страшная картинка.

Заплесневелые камни низким сводом нависли над юношей. В углу человеческие кости. Тень от решетки на полу черным крестом. Из расщелин выползли мохнатые пауки и, выпучив белые глаза, ждут...

Не успел я толком научиться читать, как это слово встретило меня в романах. Потом натыкался я на него в поэмах и в хрониках. Оно поджидало меня на страницах учебников, глядело с полотен Эрмитажа, а экскурсия в Петропавловскую крепость познакомила с запахом этого слова...

Тюрьма.

Темницы и каменные мешки, бездонные колодцы и башни замков... Принцессы с бирюзой в глазах, сумасшедшие мудрецы, вожди и рабы, виноватые и без вины, люди с именами вечными и люди без имен, французы и китайцы, люди с крестом на шее и люди без креста. Люди и людская злоба. Двери, громыхающие, как в склепах. Темень. Холод. Решетки. Камень. Камень.

«...То была тьма без темноты,
То была бездна пустоты,
Без протяженья и границ...»

А здесь ничего нет этого.

Ни тебе каменных глыб, ни толщи стен, ни сводов, ни паутины с пауками. Нет даже элементарного мрака. День и ночь горит лампочка в сорок ватт.

Окончание. Начало см.: «Нева», 1988, № 9.

Откуда тут лунный свет с крестом на полу? Я уже не говорю о крысах... Это просто смешно: требовать крысу в современной тюрьме.

Вокруг все издевательски хохочет над экзотикой книжных тюрем. Все читанное когда-то и виденное на картинках стало детской игрой, где каждый должен напридумать побольше ужасов.

Тюрьмы нет.

Есть стандартный дом. Обыкновенный до обидного. Только стены поставлены ближе друг к другу, да площадь комнат доведена до санитарной нормы — восемь квадратных метров на одно лицо.

В распоряжении этого лица окно, чуть меньше того окна, в которое оно смотрело из своего дома (конечно, там стояла герань и пейзаж не был разделен на прямоугольники... Но в рыцарских замках тоже были на окнах решетки. Это даже экзотичнее!).

Матрац стандартен. На таких спят во всех общежитиях и больницах. Постельное белье — того же ГОСТа. На полке чайник (за такими и сейчас бывают очереди в сельмагах). В углу совершенно нормальный белоснежный унитаз с клеймом завода керамических изделий города Бобруйска. Правда, без крышки.

И дверь как дверь. Петли не скрипят, и прилагательные «кованая», «тяжелая» к ней не приложишь, даже при большом воображении. Несомненно, портит дверь круглая дырка, удачно нареченная — «глазок»...

Смотрю на «глазок». Вспоминаю не очень смешные карикатуры: в замочную скважину коммунальных дверей подглядывает крючковатая старуха. Будто молодые не подглядывают. Будто никто никогда не наблюдал этим способом, как «пытают» школьного товарища: помнит он или не помнит, как называется столица Уругвая?

«Глазок»...

Естественный процесс: от детского любопытства к юношеской наблюдательности, от наблюдательности — к зрелости подглядывания, а от подглядывания — один шаг до шпионажа — самой героической и самой презираемой профессии в мире...

Все бы ничего... Жара. Душно. Лижут кожу раскаленными языками два солнца... Одно из-за решетки, тусклое, белое, пыльное; другое под висками, меленькое, чугунно-тяжелое.

Все покрыто моим потом. Линяет масляная краска стен. Не вижу, но чувствую, как оставляют на полу следы босые ноги.

Прохладен лишь унитаз. Беспрерывно спускаю воду, мочу ладони, прикладываю к плечам, к груди, к шее.

Привязался мотив. Мучает уже неделю:

«...Бывали мы в Италии,
Где воздух голубой...»

В тысячный раз просвистываю его, мычу без слов, отстукиваю пальцами по решетке:

«И там глаза матросские
Туманились тоской»

Началась десятая тюремная ночь. Душная, липкая, бессонная.

Лампа в лицо. Но рядом наслаждение — вентилятор.

— Извини, Костров, что разбудили. Ничего. Днем доспишь.

Пытаюсь говорить спокойно. Кажется, это удается мне.

— Вы не пробовали с арестованными говорить нормально? Дома же вы так не разговариваете?

Майор хмыкнул. Продолжает искать что-то в ящике стола.

— Капризный ты, Костров. Перед тобой извиняются, что разбудили... А ты опять недоволен.

— Я по ночам не сплю. Вы не можете об этом не знать. И извинение звучит насмешкой.

— Так не спишь, потому что боишься...

— Да. Я боюсь. Боюсь, что никто никогда не узнает, какой вы...

Он с силой загоняет ящик в стол.

— Мы разобрались, что такое — Костров! Это сейчас важнее...

Снова хмыкнул и презрительно добавил:

— Пистолет запрятать получше и то не мог: ...ровый из тебя контрик.

Обыск в Ленинграде я предвидел. Наган не был спрятан, он валялся на полу под грудой книг. Я бы решился сам сказать о нем, если бы с самого начала была хоть малейшая логическая связь между моей жизнью и арестом.

— Это отцов,— лгу я совершенно сознательно и, как выясняется тут же, совершаю этим ошибку.

— Откуда он у отца появился? Когда?

— Ну, этого я не знаю.

— Умер он в январе сорок второго, так?

— Да. Третьего января.

— Наган был при нем?

— Он умер от голода... При чем тут? А наган я нашел позже, уже после... Когда умерла мама.

— Где нашел?

Болван! Я же сам себя загнал в угол. Где, где я мог его найти? Если я нашел его не в своей комнате, тогда при чем тут отец? Сказать правду?.. Но он же теперь не поверит ни про буфет, ни про мужика в зеленом ватнике...

Пауза затягивалась как петля.

— Горобец приходил к отцу? Иван Петрович Горобец... Ты видел его?

— Никто не приходил... Даже не слышал про такого.

— Ты вспомни, вспомни получше... Высокий такой. Рост...— Майор заглянул в бумаги.— Рост — сто восемьдесят два. Дядька заметный. Я тебе и фото его покажу.

Выдвинул ящик стола, достал офицерскую книжку, раскрыл, подставил под свет лампы.

Каллиграфическим почерком крупно, черной тушью: «Горобец Иван Петрович». Фотография. Глаза мужчины смотрят прямо в мои глаза...

(Это он! Он! Я узнал его мгновенно.)

— Дезертировал из-под Пулкова двенадцатого декабря сорок первого. Труп обнаружен в вашем доме на четвертом этаже, в комнате номер пять. Наган его. Вот регистрационный номер...— Листает удостоверение. — Этот же номер на нагане, найденном у тебя... А?

Майор улыбается, не скрывая удовольствия.

— А? Что же выходит? То ли папочка пристукнул Горобца, забрав оружие... То ли приобрел его у него. Зачем? А?

Я рассмеялся. Да, да — рассмеялся, довольный и счастливый. Все сейчас кончится, и меня отпустят. Ну, не сейчас — утром, но отпустят. Не надо было лгать про отца. Надо было сказать правду, только правду и все. Боже, как все просто...

— Простите меня, майор. Все было не так...

И я рассказал все, как было. В конце рассказа я даже показал ему шрамы у соска и плеча.

— Вот сюда она вошла... А вынимали отсюда...

— Почему не сдал его потом?

— Патроны я выбросил. А он валялся... Так... Как напоминание о собственной слабости.

— Незаконное хранение оружия. Пятерка.

— Знаю.

— А при наличии мыслей о смене правительства — не меньше десятки.

Приблизил лицо к вентилятору. Жмурюсь. Через глаза проникает бодрящая свежесть.

— Оружие было... Мыслей не было.

— А дневничок?

— Вы имеете в виду — блокнот? И что?..

— Ну, как «что»... Ленин призывает учиться, а ты что?

Сейчас я лишу себя вентилятора... Сейчас я буду возвращен в липкую вонючую раковину, где буду всю ночь задыхаться. Я кричу ему в глаза, что встречал в жизни подобных ему кретинов в роли учителей... Но кричу не вслух. Мне хочется еще подышать, хочется, чтобы шевелились у висков волосы. Я продолжаю жалеть себя...

Говорю крайне вежливо:

— Вы же грамотный человек, майор... В записи есть слово «согласен». Оно главное. То есть, я согласен с Лениным.

— Но дальше у тебя вопрос: «А если учитель кретин?» Не так ли?

— Совершенно верно.

— Так, кто этот «учитель»? Это же лицо конкретное?

— Конкретное, конкретное. Для каждого оно свое, но конкретное. Для одного «учителем» может стать отец, для другого — товарищ или школьный учитель. Это не понятно разве?

— Подожди, подожди, Костров... Не уводи в сторону. Здесь слово «учитель» имеет под собой имя соб-ствен-но-е! Ты только хитро зашифровал его... написал с маленькой буквы.

Наступила длинная пауза. Вентилятор. Ради него я был готов слушать любую чушь.

— При чем тут маленькая буква?

— Не «при чем», а «при нем»,— промолвил майор тоном заговорщика.

Взгляд его покидает меня и уходит в сторону. Поворачиваю голову. На стене портрет. (Вот черт! Ничего не поделаешь... Придется расстаться с вентилятором.) Говорю тихо, растягиваю слова и глотаю в последний раз звенящую ласковую струю.

— Объясняю вам, майор, еще раз... И если это пойдет вам на пользу, повторю с удовольствием и в третий... Для кого-то вы — отец, для кого-то вы старший товарищ. Кто-то вас считает для себя учителем с большой буквы. Верит каждому вашему слову, следует вашему совету, перенимает ваши взгляды, поступки...— Пью взахлеб воздух, почти пьянея при этом.— И в этом несчастье не сможет помочь им никто. Даже Ленин... Повторить?

Повторил это я уже в камере.

С вечерним чаем приносят заказанные накануне бумагу (два листа), чернильницу-непроливашку, перо.

Протираюсь водой весь. Пою последний раз: «Бывали мы в Италии...»

Вывожу осторожно, буква за буквой:

«МОСКВА. КРЕМЛЬ. ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ ИОСИФУ ВИССАРИОНОВИЧУ.

Дорогой товарищ Сталин! Я, Костров Виктор Александрович, двадцати двух лет, уроженец г. Ленинграда, выпускник режиссерских Курсов документального кино, более месяца нахожусь под следствием во Внутренней тюрьме Ташкента.

Мне предъявлено обвинение в том, что я, используя средства кино, выразил на экране мысль о якобы неспособности Вашей как Вождя стоять у штурвала нашей страны. Что у Колеса Истории должен стоять ***р у с с к и й*** *человек, что только ему по плечу великая миссия.*

Мне не известны истинные причины этого чудовищного обвинения.

Я знаю только, я клянусь Вам в этом, что ничего подобного не было ни в моем сердце, ни в моей голове при работе над фильмом.

Отснятый материал свидетельствует о предельной документальности эпизода („Пуск нефти“).

Бредовые ассоциации, возникшие у работников следствия, не могут являться криминалом, так как, повторяю, снимался эпизод не отрежиссированный, и любая возникшая ситуация может быть отнесена только к категории случая.

В процессе следствия мне отказано в вызове свидетелей, которые могли бы подтвердить абсолютную документальность события, запечатленного на пленке. Не принят ни один мой протест. Допросы ведутся в унизительной для подследственного форме. Крайнее отчаяние привело меня к решению обратиться к Вам.

С Вашим именем связана, по существу, вся моя жизнь. В школе я пел песни, посвященные Вам. С искренней радостью я рассказывал близким, что видал Вас на параде. Я стоял на охране Вашего проезда на Родину.

Я всегда с чувством уважения относился и к Вашему имени, и к Вашим делам. Да и почему вдруг, ни с того ни с сего, у меня возникли бы сомнения?

Все, что было в моей жизни нескладного, горестного — было от несовершенства моего и несовершенства ряда людей, непосредственно со мною соприкасавшихся. Но даже в порыве отчаяния (что бывает у каждого!) я никогда не сомневался в величии Родины, в красоте и мудрости Народа и его Вождя.

У меня есть святое имя — имя моей матери, которая передала мне свою преданность этим идеалам. Предавая их, я бы предал свою мать.

Я верю, что вся эта история окажется недоразумением. Я верю!

К о с т р о в В. А.

17 июля 1948 года».

Текст приведен дословно. Я неоднократно повторял его про себя и не раз пересказывал вслух, а позже, в лагерях, я пользовался им, когда просили помочь написать Сталину другие заключенные, так как текст, в своей заключительной части, удивительно совпадал с мыслями и чувствами этих разных людей.

Шли письма в Москву. Шли тысячами.

Но Москва молчала. Сталин молчал.

ЛИСТ ВОСЕМНАДЦАТЫЙ

Вот сижу я сейчас вместе с Виктором в камере ташкентской тюрьмы и думаю за него, и за себя (ведь я — это уже не он, а он — еще не я); думаю: не оставить ли мне его здесь в восьмиметровой духоте? Зачем я затеял эту возню?

Что это я, право, привязался к нему? Подумаешь, Спартак! Гарибальди! Юлиус Фучик!

Кому все это надо?!

Ведь от того, что был написан «Фауст», человечество не стало мудрее...

Не стал человек добрее и от прочтения многотомной «Человеческой комедии»... Это ли не комедия!

И что-то не прибавилось красоты у него от «Ромео и Джульетты»...

Прочитываем великие трагедии и творим новые, смеемся над комедией и продолжаем ломать ее в жизни, заучиваем афоризмы мудрецов и упрямо не желаем применять их, разве только, чтобы щегольнуть эрудицией.

А что останется от прочтения этих листов? Что?..

Вместе с прохладой ночей стали приходить ко мне сны... Легкие, хрупкие, похожие на балеты... Хороводы девчат на Дворцовом мосту... Уличные фонари изогнулись, спружинили от натянутых струн, превратились в высоченные чугунные арфы... Поет в струнах ветерок, поют девушки. Кидают цветные бумажки. Бумажки летают, кружатся над мостом и над площадью, плывут по Неве... На бумажках слово... Не прочесть никак. Оно короткое, несколько букв, но никак... Одна девчонка крикнула его, но ветер отнес слово — не расслышать...

Вот уже и другая кричит... Еще одна... Кричат все хором, показывают руками что-то... Но звон струн заглушает крики. А тут еще продавцы-лотошники суют вкуснятину всякую... Румяная лошадка с глазом-изюминкой... Баранки большущие, как спасательные круги... Кто-то схватил, увлек в хоровод...

По ступеням вниз, к воде, и снова к площади, в самую гущу веселья, где с гранитной высоты своей сбрасывает цветные бумажки веселый ангел. Он тоже кричит это слово, вместе со всеми, но...

ЛИСТ ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ

— По хулиганке? Кому-нибудь рожу почистил? Сколько дали?
— Десять.
— Контрик?
Я улыбаюсь грустно, киваю головой.
— Ясно. Анекдот ляпнул?
Мой новый знакомый — Мирошниченко (фамилию он сообщил сразу, как только нас втолкнули в машину) — скручивает цигарку из собранных тут окурков, глотает дым.
— Болтун — находка для шпиона. Курнешь? Как хошь... А я из-за этой суки десятку схватил...
Вынул мятое фото, сует мне.
В ванне стоит женщина. Поставив ногу на край, вытирает ее полотенцем. Глядит на меня чуть испуганно.
— Зинаида Богдановна Полянская! Не женщина — двигатель!..
Машину тряхнуло. Спутник матюгается, сплевывает под ноги, поясняет:
— За город выехали. Скоро пересылочка — отберем посылочку, а потом — этапчик — сосновый шкафчик из семи досок, на ногах номерок...
Рассматриваю его с любопытством, стараюсь угадать, кто он. Руки работяги, лицо интеллигента. Слова не его (это очень заметно) и плевок не его,— это все так, для бодрости. Его мучает что-то, но он стыдится меня и потому неумело играет.
— А что вы совершили? За что вас? — спрашиваю я, заранее прощая ему любое. Не убил же он, наконец, эту Полянскую...
— Я виноват,— отвечает он с каким-то облегчением.— Мне еще мало дали. Награды учли, ранения... Хирург по танковой требухе. Инженер. По ранению демобилизовали, а документы, по ошибке, в два наркомата отослали. В Наркомат обороны и в Наркомат танковой промышленности. Ну, мне там и там пенсия и пошла... Я, само собой, помалкиваю. Бегаю по комиссионкам, меха ищу, изумруды... К ее глазам изумруды очень идут. Четыре года так вот и бегал... Любил в общем. Она женщина солнечная. Ее тепла на сотню мужиков хватило бы. А я один. Из ревности весы сконструировал под матрацем. Один лежит — ничего. Второй ложится — щелк! Пружина на контакт давит — лампочка на крыше загорается... Сейчас смешно. А тогда, как установил, такой страх вошел... Стою на улице, квартала за два — ноги дрожат. Билет на поезд в кармане... Это она мне купила по моей просьбе. Так что я для нее в отъезде числюсь...
— Оставьте курнуть,— перебиваю я.
— Как сейчас помню... В двадцать один час тридцать шесть минут загорелась родная... Сработала, значит, система. Не бросай...
Отнял у меня окурок и, обжигая губы, затянулся.
— На пересылке ларек. Табаку навалом.
— Что же дальше было?
— Да ничего интересного дальше не было. Переночевал у дружка. Днем заявился. Ее нет. Все в мешок затолкал. Ничего не оставил... И в комиссионку. Через неделю забрали. Про две пенсии только она знала, она и сообщила... После суда на свиданку дружок пришел, так рассказывает: лампочка до сих пор горит по ночам. Даже днем... бывает... загорается. Мне-то днем некогда было... Все по магазинам бегал...

ЛИСТ ДВАДЦАТЫЙ

Пересыльный лагерь под Ташкентом. В «пересылке» двенадцать тысяч, и все двенадцать ждут дня отправки, ждут этапа.
В этом барачном городке, окруженном «колючкой», пулеметами и собаками, среди мелких карманников и убийц; среди бывших власовцев и мародеров; среди мошенников и колхозника, который посягнул на пять килограммов артельной капусты; среди гомосексуалистов и профессора, которого черт дернул за язык рассказать в кругу друзей анекдот «про трубку»; среди дезертиров войны и многоженцев; среди бывших полицаев со Смоленщины и перепуганного насмерть еврея, у которого, как установило следствие, двадцать четвертая ветка родословного древа проживает в Бонне; среди всех этих голодных, избитых судьбой, исковерканных пороками, своими и общественными; среди этих дрожащих от холода и страха полулюдей жила надежда...
Она бродит по ночным баракам призраком амнистии, обрывая тяжелые сны, завязывая бесконечные разговоры — разговоры до утра, пока дождливый ноябрьский рассвет не погонит всю эту массу тел инстинктом голода в столовую.
Шепот у печки. Пергаментный старик дразнит молодых тюремной байкой об удачном подкопе. Еще двое не спят на нижних нарах.
— Сеструха в Москву подалась. Собрала все бумаги и махнула. В моем деле главное — справки.
Справа слышно:
— На гидростанции зачеты один к пяти. Вот бы попасть.
— Нас там ждали!.. Туда кессонщики и водолазы.
— Не мели! Какие водолазы?! Пашку знаешь?
— Карзубого?
— Да нет... Харьковский. Тот, что за карман второй срок тянет...
— Ну?
— Х... гну! На плотину поехал. У него срок — пятерка, а через год свободка.
— Счастливчик. В детстве говно жрал...
Невольно роюсь в памяти — не ел ли я чего подобного?
— Вы когда отослали письмо? — в третий раз спрашивает Михаил Михайлович.
У нас с ним одно одеяло (у него украли в первый же день), одно преступление и тот же срок.
Он тоже сделал попытку к свержению существующего строя, но методом расхваливания шведского инструмента с показом цветных иллюстраций своим коллегам и перевода иностранных проспектов на русский язык.
Он одобрял текст письма Сталину, но сомневался в том, что подобные послания доходят до Кремля.
— Нужен человек,— говорил он,— непосредственно туда вхожий. У вас есть такой человек?
Такого у меня не было. Не было его и у Михаила Михайловича.

До того, как случай связал меня с Евгением Рокоссовским, я знал о нем совершенно достоверно следующее: родился на два года раньше меня в маленьком городке у польской границы. До войны был в детдоме, откуда сбежал на фронт. В сорок четвертом в пьяной драке зарезал офицера-летчика. Трибунал заменил расстрел штрафной ротой. Через полгода Женька командует батальоном в звании лейтенанта. Любимец солдат и предмет зависти офицеров дивизии.
За несколько дней до конца войны, войдя со своим подразделением в немецкий поселок, распорядился собрать немцев на площади. Пригнали человек шестьдесят.
Под угрозой расстрела приказал петь:

«Утро красит нежным светом
Стены древнего Кремля.
Просыпается с рассветом
Вся Советская земля...»

Четверых немцев, не пожелавших участвовать в хоровом пении, расстрелял собственноручно.

Снова трибунал. Победа спасла его от расстрела. Со сроком двадцать пять отправлен в лагерь, откуда вскоре бежал и около двух лет жил в Гаграх на содержании жен ответственных работников.

У одной из них он и был арестован. Рядом с постелью висела гимнастерка со звездой Героя (купил на черном рынке)...

Но главное было не это.

Везде и всюду, на воле и в лагере, он называл себя незаконным сыном маршала. Причем в это верили не только заключенные, но и командование лагеря. Его любили и боялись. Боялись и любили.

Он был единственный из двенадцати тысяч, чью голову не тронула машинка цирюльника, а это считалось пределом уважения и доверия со стороны администрации.

Говорили, что он написал Сталину «обо всем»...

Говорили, что отец ждет от него только «покаянного письма» и тогда...

Так, наслушавшись долгими ночами про Рокоссовского, я засыпал, думая больше о нем, чем о себе.

— Костров! С вещами в баню! — рявкает надзиратель, прервав мои грезы.

Через час, после омовения теплой ржавой водой, дрожа от ночного холода под рваным бушлатом, стою у пульмана с решетками на застекленных люках. Рядом дрожит Михаил Михайлович.

— Быстрей! Быстрей! — лает конвой.

— Гав! Гав! — вторят овчарки.

— Пятьдесят шесть! Пятьдесят семь! — слышен счет начальника конвоя.— Пятьдесят восемь! Пятьдесят девять!

Занимаю верхние нары. Забиваюсь в угол. Здесь, кажется, теплее, хотя шляпки болтов белые от инея.

— Девяносто шесть! Девяносто семь!

— Трах-тах-тахсззз! — и дверь-стена закрыла от нас мир.

Стало тепло и даже уютно.

— Рокоссовский...— услышал я шепот Михаила Михайловича среди тел, наваленных рядом. Я приподнялся и увидел его.

Я узнал его сразу, хотя не видел никогда и ничего о его внешности определенного не слышал.

Черный военный полушубок, яркий шерстяной шарф, меховая шапка, из-под которой торчат светлые жидкие волосы. Рост самый обычный, чуть выше среднего.

Необыкновенным было лицо. Оно выражало гордое страдание и потому было красиво. Казалось, он не думает о себе, казалось, он думает обо всех сразу и обо всем.

Вагон затих. Никто не занимался собою. Все ждали чего-то.

И здесь произошло невероятное.

Кумир массы не спеша расстегнул полушубок, подошел к большой бочке и стал мочиться.

— Холодно, отец? — это была его первая фраза. Полувопросительная, теплая.

Михаил Михайлович привстал с нар, развел руками и улыбнулся.

— Со мной ляжешь,— твердо сказал Женька, снимая полушубок и бросая его к нам на верхние нары.

Полушубок упал на людей. Они, их было трое, немедля соскочили вниз, освобождая место.

Пожелав всем спокойной ночи, Женька накрыл себя и старика полушубком и тотчас уснул.

Возникший в углах шепот прекратился. Все провалилось в душную темноту...

Просыпаюсь от отчаянного крика. Вагон весь на ногах. Перед Женькой на коленях стоит довольно здоровый мужик с расквашенным в кровь лицом.

— Будешь блевать, падаль?! — спрашивает Женька и бьет его ногой.

Мужик пытается сделать требуемое, но что-то мешает ему. Наконец его вырвало. Женька внимательно осматривает блевотину.

— Не он,— молвит Женька, оглядываясь вокруг.

— Ты, поганка?! — и цепко схватил худощавого парня за бушлат, развернул его вокруг себя, и парень, не удержавшись на ногах, грохнулся к параше.

— Ну! Ну! Убью ведь...

Парня стошнило.

Оттащив его, Женька осмотрел трофей.

— Одна капуста,— разочарованно протянул он.

— Кто же сожрал булку старика, паскуды?! Выверну кишки!

Экзекуция возобновилась. Он выводил на середину вагона все новых и новых подозреваемых, и все повторялось, как при съемках дублей. Некоторые, правда, сами, выходя, засовывали палец в рот, доказывая тем свою непричастность. Однако доставалось и им.

Наконец Женька, видимо, устал. Он закурил «Казбек», прислонился к вздрагивающей двери и затих. Он долго курил молча и смотрел куда-то в самую даль, мимо вагона и людей.

— Дерьмо вы все! Перевешал бы всех... И тебя тоже.

Последнее относилось к Михаилу Михайловичу.

— Булку у него сперли! Вчера надо было слопать и дрыхнул бы спокойно, гнида. Свитер только перемазал...

Вынул цветастый платок, поплевал на него. Вытер руки. Потер свитер. Кинул платок в парашу и забрался наверх.

Теперь он был от меня не далее метра.

Двадцать семь суток провели мы в вагоне. Происшествий никаких, если не считать тихой смерти Михаила Михайловича.

Скончался он ночью во сне. Утром, при раздаче хлеба и каши, труп был вынесен из вагона. Пайку поделили меж собой те, кто выносил его.

— Сбежал старикашка,— сказал Женька с явной завистью и долго молчал потом.

По утрам он обычно пел. У него был баритон приятного мягкого тембра и отменный слух. Пел он исключительно довоенные комсомольские и молодежные песни, слова и мотив которых он никогда не искажал. Пел лежа, отстукивая такт ногой.

По вечерам он любил слушать. Здесь и состоялось наше знакомство. Узнав, что я работал в кино и прочел много книг, он переселился ко мне в угол.

Я рассказывал то, что помнил, нередко изменяя сюжет или склеивал несколько вещей в одну. Больше всего, помню, ему понравился рассказ Куприна «Наталья Давидовна», где классная дама института, пример добродетели и дисциплины, тайно предавалась порокам. И еще рассказ Некрасова «Двадцать пять рублей». Он просил повторять их, вспоминать подробности.

Однажды я спросил, зачем нужна ему была эта мерзкая затея.

— Наказание должно быть мерзким. Иначе оно не запомнится. Человека надо унизить до низости его поступка.

— Но ты унизил и невиновных.

— Виновны все. Или не виновен никто,— убежденно ответил Женька.— Почему, когда человек делает хороший поступок, общество присваивает его себе?! «Это мы его воспитали! Это наш член общества! Вот какие мы!» А если завелась гнида? Тогда что? Отвернулись?.. «Это не наш! Это прислали в посылке из Ватикана!» ...Отвечают все. И отвечают за всех и за всё,— закончил тираду Женька.

Он еще раз сам вернулся к этой теме, когда я, не вдаваясь в подробности, поведал ему суть своего «дела».

Женька слушал, не перебивая. Глаза были закрыты, будто спал.

Когда я кончил, он, не открывая глаз, тихо изрек:

— Придворные переиграли короля... В детдоме у нас драмкружок был. Режиссер все Шиллера ставил. Придворных на репетициях по затылку лупил... «Кланьтесь! Кланьтесь, сукины дети! Кто же поверит в короля, если вы так кланяться будете?!» И по шее! И по шее!.. Зато знаешь, как старались! На смотрах все грамоты наши были.

— Злой ты, Женя.

— Злой, потому что добрый. Я своей доброты боюсь — она меня в роли придворных переведет. Понял? Думаешь, мне самому тогда приятно было руки об рожи пачкать? Началось с добра — старика жаль стало, обидели ведь... А кончилось злобой. Не делай добра и зла не натворишь. Я на фронте паскуду зарезал тоже от добра. Один красюк немку-школьницу приволок, напоил... Лямки порвал... А я в соседнем доме в картишки балуюсь. Выпиваем, конечно... «Выйди на минутку!» ...Выхожу. Он мне: то да се... На двоих предлагает. Захожу к нему, думаю б... какая-нибудь... А она в угол забилась. Не плачет. Только дрожит вся. Я ему толкую: «Брось!» А он меня трусом назвал... Я немку схватил и к дверям, а он бутылкой по плечу... На столе мессер-складняк... Ну, я его и поддел снизу. Девка в обморок. Шум, гам, как положено... Так трибунал свое затвердил: Рокоссовский — бабник и немку, мол, хотел отнять... Виноваты оба. Летчика нет, он копыта отбросил. Значит, судить кого? Женьку! Вот и вся логика.

— А девушка? Она-то?!

— Вот пень! Тебе же говорят: немка, школьница. По-русски ни бум-бум... Она так и поняла: один раздевать лез, другой пришел — отнимать себе начал...

— А те, другие?

— «Ничего не знаем», «ничего не ведаем!» Каждый под своей шкурой ходит... Да они и вправду ничего не ведали.

— Круг...

— И лучше самому круги замыкать, чем... Ты вот все философию ищешь, по какой жизни жить, а я уже пробовал и так и сяк. Только что к богам не обращался. Они для духа, как слабительное... Поносом душа изойдет, очистится — станет чистенькая и слабенькая. Дистрофия души...

Ангарск [1] встретил нас ветром и морозом в тридцать два градуса. От станции до лагеря — километров десять. Шли медленно. Женька шел крайним, справа от меня, и всю дорогу пел.

Окоченевшие и усталые вконец, останавливаемся перед воротами, на которых, прямо на сплетении колючей проволоки лозунг: «Труд в СССР является обязанностью и делом чести каждого способного к труду гражданина!»

У ворот администрация: человек семь офицеров и большая группа надзирателей.

Начальник конвоя подошел к одному из офицеров. Что-то говорит, рукою показывая на Женьку.

— Рокоссовский! — громко выкликнул по формуляру офицер.

Женька вышел из толпы.

Начались обычные вопросы: статья, срок, место рождения. Женька стоял в трех шагах от офицера и курил, подняв воротник полушубка, ветер начал крепчать.

— Снять шапку! — приказал офицер, отдавая формуляр своему помощнику и засовывая озябшие руки в карман добротной шубы.

— Бесполезно,— ответил Женька.

Бросил окурок. Снял шапку.

— Не сняли в Ташкенте — здесь не пролезет...

— Остричь! — крикнул офицер и тотчас появился лагерный цирюльник, худой бородатый заключенный. В руках он держал машинку и, непонятно зачем, полотенце.

Бородач подошел к Женьке, потоптался около него.

— Не валяй дурака, парень...

— Я сам,— неожиданно сказал Женька, беря у него машинку. Все затихли. Было слышно, как где-то там, на территории лагеря, пыла циркульная пила.

---

[1] Тогда, в 1948 году,— станция Китой («КитойЛАГ»).

Женька надел шапку, поманил к себе пальцем цирюльника. Тот подошел вплотную. Мгновение,— и все заорали, как в цирке, после той мертвой тишины, которая служит увертюрой к опасному трюку. Женька держал мощной хваткой цирюльника и стриг ему бороду.

Бедняга истерично дергал ногами, поднимая фонтаны снега. Совершенно лысый череп (шапка свалилась в самом начале расправы), клочки черной бороды и незабываемое выражение лица.

Вокруг стоял гомерический хохот. Хохотали все, как спятившие. Хохотали все этапники, хохотали надзиратели, хохотал конвой, стоявший вокруг с автоматами наготове, хохотали офицеры и даже тот, чье приказание было началом всему. Бородачу было обидно до слез, но в этой всеобщей истерии смеха его унижение показалось ему ничтожным. Он был *причиной* этого бурного веселья, о существовании которого здесь давно забыли и те, кто там, за проволокой, и те, кто охранял их. Цирюльник почувствовал в эту минуту то, что чувствует актер, когда ему впервые в жизни удается завладеть залом. Он заулыбался. Заулыбался сквозь боль обиды, которая сползала с его лица, как маска. Появилось *человеческое* лицо. Его лицо! Настоящее! То самое, которое имел этот человек до всего этого там, далеко, дома, давным-давно... Он смеялся, счастливый и свободный в этом человеческом смехе. Он не был жертвой Женькиного протеста. Он был сейчас соучастником, пособником его.

Первым, кто понял смысл этой победы смеха, был тот же офицер.

Со злобной улыбкой он спросил Женьку:

— Под блатного работаешь?

— А ты небось под большевика?

Смех стих. Все сразу разделилось, резко и четко. Все, соединяющее, смешавшее всех в единое минуту назад, исчезло. Майор что-то сказал на ходу и удалился. Ушли и все остальные офицеры.

Что-то готовилось...

Прошло полчаса. Все пятьсот человек махали руками, пытались бороться друг с другом. Наступал безжалостный холод.

Из ворот вышел маленький лопоухий сержант и бабьим голосом объявил:

— Стрижца не будешь — никто в зону не пойдеть!

Толпа загудела. Расчет был верен. На единомыслие нашей толпы смешно и рассчитывать было. И Женька, конечно, это понял. Я стоял в пяти шагах от него и видел, как он смотрел на бурлящую массу. Он проигрывал. Он должен был сдаться, подчиниться, унизиться, иначе его разорвет в клочки эта озверевшая от холода масса.

Мы встретились с ним глазами на один миг. За этот миг пронесся наш последний в вагоне разговор и попытка найти выход, найти ему совет... Но это у меня, а у него что?

Безусловно, он тоже жил этим. Он не ждал от меня совета или помощи (что я мог?); ему нужно было видеть, что я от него жду.

А я искренне хотел его победы. Не знаю, увидел ли он это в моих глазах, помогло ли ему это, или он, будучи совершенно одинок в эту минуту, нашел *только в себе* эту силу...

Женька стал раздеваться.

Сбросил шапку к ногам, шарф, полушубок. Рванул в каком-то красивом отчаянии свитер. Сбросил бурки. Размотал байковые портянки, снял вязаные носки.

Как только он начал снимать полушубок, я понял, какой выход он нашел. Кровь бросилась мне в голову, в ноги, в руки — я уже не чувствовал обжигающего ветра. Я даже улыбался. Улыбался не губами, а чем-то там в груди, наверное, мышцами сердца, которые и гнали кровь во все концы окоченевшего тела.

Это творилось не только со мной.

Гул прекратился. Все смотрели на Женьку. Смотрели так же, как тогда в вагоне. Женька продолжал раздеваться. На снег легли галифе, теплые кальсоны, ковбойка, нижняя рубашка. Он остался в трусах. Аккуратно поставил бурки рядышком, развесил на голенищах носки, свернул рулетом портянки. Стоял он, правда, на полушубке — это он себе все-таки позволил.

Все замерло вокруг. Даже собаки, вытянув шеи, смотрели в его сторону.

Женька закурил и, делая очень маленькие шаги по полушубку, о чем-то думал. Лица его я не видел: он стоял ко мне спиной, между лагерем и нами, отхлынувшими от него, как от чуда.

Прошло, наверное, минут двадцать, показавшихся мне часом. Вокруг стали собираться группы вольных. Рядом был город, здесь проходила дорога, и, естественно, голый Женька и гробовая тишина остановили самых нелюбопытных.

В основном это были женщины. Они подняли крик. Сперва отдельные слова долетали до нас. Потом они слились в стон. Нет, никто не плакал, но в голосах слышались удержанные в себе рыдания. Залаяли собаки. Лай был не тот обычный, злобный, который сопровождал нас все десять километров. Это тоже был стон, собачий, но все-таки стон. (Я слышу его даже сейчас, это забыть невозможно.)

Женька курил третью папиросу.

Сдавило горло. Хотелось что-то делать: бежать, кричать, ломать, просто упасть в снег, чтобы ничего не видеть и не слышать...

Вдруг ворвался новый звук. Все повернули головы. По дороге, волоча за собой длинный снежный хвост, несся мотоцикл.

Он влетел в пространство между Женькой и воротами и зарылся от резкого тормоза в снег. Помню желтые новенькие краги перчаток, которые снимал приехавший, и наручники, которые висели прямо на руле, как бусы, и которые еще долго позванивали на морозе. Краги прилажены на сиденье мотоцикла. Холеные, почти женские пальцы расстегивают меховую кожанку. Перед глазами будто магниевая вспышка... Оранжевый круг, слепящий, оглушающий. Только тогда, когда я инстинктивно закрыл глаза рукой, защищаясь от этого, в голову вошел звук выстрела, сухой, как от бича, и громкий властный крик:

— Ложись!

И снова вспышка магния, снова бич и снова «Ложись!». Я уже не видел ничего, так как первое «ложись» вкопало меня в снег, и перед глазами был только рукав моего бушлата.

Стреляли и кричали долго. Потом все стихло.

— Поднимайсь! — тот же голос.

Женьки не было. Не было и его вещей, только коробка «Казбек» валялась на затоптанном, грязном снегу.

Через двадцать суток Женька был выпущен из изолятора, где он провалялся на цементе в своих сатиновых трусах. Меню: триста граммов хлеба, миска теплых щей из кислой капусты и тресковых голов. На ночь ему швыряли матрац и передавали махорку в дни дежурств гуманных надзирателей.

Вернулся он веселый и, что меня поразило, ничуть не похудевший, не побледневший. Только на руках остались ссадины от наручников, которые ему тогда сумели набросить пятеро здоровенных надзирателей.

Первое, что сделал Женька, подходя ко мне,— снял шапку. Волосы были при нем.

Лагерь был юртовый.

Надо объяснить, что такое юрта. Я, признаюсь, тоже думал, что это что-то круглое из шкур...

Это совсем другое, хотя принцип круга положен в это очень удобное сооружение.

На голое место машина привезла щиты. Щиты из досок, а внутри — опилки. Щиты с окошками, щиты без окошек, щиты с дверями. Их по кругу, диаметром в пятнадцать метров, поставили вплотную, соединив при помощи гвоздей.

Это работы на час. Потом внутри круга вкопали четыре столба, на них положили доски — стропила, которые держат крышу из щитов, обитых рубероидом.

К вечеру юрта готова.

Вносим двухъярусные нары, табуреты, тумбочки и входим сами — восемьдесят человек — две рабочие бригады с бригадирами и культоргами. (Последние ведают раздачей писем, получением хлеба.)

Главное достоинство юрт — тепло. Дневальный сутками кормит углем прожорливую печь. Можно сушить портянки и обувь, можно варить похлебку из украденной на кухне мороженой картошки.

При выходе из лагеря два барака. Штабные кабинеты администрации. Бухгалтерия. Цензорская. Надзирательская. Санчасть.

В центре лагеря огромный бревенчатый клуб с театральной сценой, кулисами, занавесом и киноэкраном.

Отдельный вход в библиотеку и читальный зал.

Библиотека...

С какой бережливостью хранятся здесь книги! Их штопают, склеивают, разглаживают утюгом мятые страницы.

Позже я видел, как одного негодяя, сделавшего из «Капитанской дочки» колоду карт, избили до полусмерти.

Лагерная библиотека — хранилище прекрасных книг. Свободно читай Гумилева, бери Цветаеву, Бунина и Булгакова, Фрейда и Ницше...

Издания в основном дореволюционные и двадцатых годов. Почти на каждой книге экслибрис: «Профессор Петербургского Университета...», «Настоятель церкви Св. Ольги...», «Доктор исторических наук...», «Из частного собрания...»

Фамилии, фамилии, инициалы...

После ареста владельцев книги экспроприировали и развозили (странно, не правда ли?) по тюремным и лагерным библиотекам.

Заниматься цензурой, видимо, было просто некогда и некому.

Была другая, более важная работа.

Я зачислен в бригаду бетонщиков.

— Пятьдесят тачек до обеда, тридцать после,— объявил бригадир, вручая брезентовые рукавицы.

Промышленная зона.

По периметру за день не обойдешь. Работы ведутся в три смены. Воздвигаются корпуса комбината и жилые кварталы города.

Два завода круглосуточно выдают жидкий бетон. Самосвалы доставляют к нам на площадку. Мы развозим его в железных тачках.

Бегом по узкой обледенелой доске... Сзади наседают другие... Остановиться нельзя — сшибут. Потом не заберешься с тяжелой тачкой на доску, завязнешь в глубоком снегу.

— Бегом! Бегом!

Болят плечи и спина. Они будут болеть и ночью.

Болят обмороженные пальцы и щеки.

— Живей! Краснознаменная!

Это юмор бригадира. Он у костра. С ним — культорг, беззубый цыган и еще один — Сашка, по кличке «Шпала», длинный, вечно улыбающийся тип.

Шпала — «вор в законе» и работать ему, как известно, не положено. Он хлебает из закопченной кружки чифир и отмечает щепочками на снегу количество тачек.

Все взаимоотношения в бригаде держатся на силе, и потому каждый только сам за себя. О справедливости заикаться глупо и даже опасно.

Возвращаясь с работы, я съедаю вечернюю кашу и заваливаюсь на нары. Заполненное болью тело долго не дает уснуть. Боль сильнее усталости. Волей-неволей становишься очевидцем...

Из санчасти (он там работаем санитаром) к бригадиру пришел Катрин — маленький толстозадый педераст. Он беспрерывно хихикает и облизывает

губы. Макает в сладкий чай печенье. Жмурится от удовольствия, рассказывает последние новости.

— Утром один фашист загнулся. Начали раздевать для вскрытия, а у него браслет на ноге... Девяносто шестая проба.

— Не свисти!

— Во...— Катрин крестится кружкой.

— Давай доедай. Спать охота.

Бригадир нарочито громко зевает. Завешивает угол одеялом. Дневальный гасит свет. Все делают вид, что спят. В щекочущей тишине слышно, как Катрин доедает печенье. Звякнула пустая кружка. Вот скинул один валенок, другой... Хихикнул. А вот и громкий храп бригадира. Это он заглушает другие звуки. Стыдится все-таки...

Пятый день бюллетенит культорг. Вспухла рука. Пользовался грязным шприцем. Достал наркотик и со Шпалой подкололся. У Шпалы ничего, а тут лежи... Больному зачеты не идут. Цыган в плохом настроении.

— Деньги, деньги... У меня навалом деньги были! — Это он бригадиру, который заявил, что цыгане — «сплошная голь-шмоль».— Я таких на воле раз-два и к стенке! Вечор подрулишь к заводу в день получки... Худо-бедно — два лопатника саданешь.

— Зубы, видно, у проходной и оставил,— резонно замечает бригадир.

Юрта ржет.

Дневальный — дед Мазай (это от фамилии Мазаев), обычно молчавший, вступается за культорга:

— Да чего ты ему доказуешь? Послушать, дык он один тыщи имел... А на волюшке встреть, дык в кармане вошь одна и та с голоду ползти не можит.

Бригада хохочет, довольная критикой в адрес бригадира.

— Да, читал я твой формуляр! — многообещающим тоном прерывает бригадир.— Контролер в трамвае! Зайчишек ловил дед Мазай?!

Юрта катается от смеха.

Дневальный бросает веник, опускается на табурет и ждет, когда затихнут.

— Грамотной? — Это он бригадиру.—Давай считай. В Ленинграде сколь маршрутов на кладбищах кольцо имеют?.. Восемь! На второй остановке от кольца садись — полвагона без билетов... А почему?.. Потому что не до этого им... Дык рублики так и вынимают, и вынимают. За один троицын день по двести имел. Законные.

В бригаде был только один убийца — Волобуев. Леха. Москвич. Черноглазое симпатичное лицо портили маленькие жидкие усики.

Большинство относилось к нему с молчаливым уважением. Никто не задевал его, но и не искали контактов. Кого он убил, никто не знал, однако статья и срок свидетельствовали о преступлении со всей очевидностью.

По вечерам он исчезал и возвращался поздно, когда все уже спали.

Однажды в середине января градусник показал минус сорок три градуса! Выход на работу отменили из-за опасности повального обморожения.

В этот день из юрты не выходили. Чтобы не выпустить драгоценное тепло, мочились в форточку. Гудела раскаленная печь.

При раздаче обеда (его принесли в ведрах рабочие кухни) выяснилось, что Лехи нет.

Ему оставили порцию, тут же забыв о нем. Поздно вечером распахнулась дверь. Ворвалось холодное облако, и надзиратель:

— Волобуев ваш?!

— Натворил чего? — спрашивает бригадир.

— Повесился, сука... В бане. Выдели двух — за зону вынести надо.

Еще раз ворвалось холодное облако.

Лехино место наискосок от меня, ближе к печке.

Там уже раскладывал свои шмотки дед Мазай. Мешая ему, топтались еще двое с миской, доедая Лехину порцию...

Теперь о Марке Живило.

Это был очень интересный человек и очень болезненный. Чахотка жила в нем с рождения, и он так привык к ней, что относился к болезни с юмором. Он был весь какой-то удивительно юный, хотя ему было за тридцать. Очень красивые нервные руки. Руки художника. И он был им.

Старушка-мать жила в Москве в большой квартире-мастерской, где он оставил недорисованные полотна и безысходную тоску, которая пряталась между строк материнских писем.

Тачку он катал лучше меня. Я был сильнее его, но у него было то, чего не было ни у кого — озорство души.

Этого озорства боялась чахотка, заявляя о себе лишь румянцем на впалых щеках да нет-нет — невысокой температурой. А с тачкой он был просто дружен.

— Доброе утро, красавица,— восклицал Марк, встречаясь с нею.

Гладит заиндевелые за ночь рукоятки, вертит, разгоняет колесо веселым махом руки.

— Давай покатаемся, славная! Не упрямься! Этак и простудиться можно!.. Вы смотрите, целую ночь лежит на снегу! Воспаление легких схватишь, глупышка!

И покатил ее легко, как катают санки беззаботные мальчишки.

— Виктор Александрович! — кричит он, нагоняя меня.— Какую вы видите перед собой цель?!

Он не ждет ответа. Отвечает за меня, смешно копируя мою интонацию тупого безразличия.

— Будь целью мир — я его не вижу...

— Зануда! У вас атрофировался смехотворный орган! А умрете вы самой неинтересной смертью, уверяю вас! Я вас переeду тачкой и вылью на ваш труп раствор. Как вы догадываетесь, он мгновенно затвердеет и на глазах превратится... Не в обелиск, которого вы не заслуживаете, а, извините, в коровью лепешку из бетона.

Я очень отчетливо вижу эту дурацкую лепешку. И себя, навечно замурованного а ней... Я улыбаюсь.

— Вы улыбнулись! — кричит Марк.— Я вижу это по вашим ушам! Они шевельнули шапку!

И так — весь день. С тех пор, как Марк пришел в бригаду, я начал, во-первых, выполнять норму, во-вторых, быстро засыпать — не так болели плечи. И потом...

— Вы действительно не видите цели, когда катите тачку? — Это уже разговор вечером, в читальном зале клуба.

— В таком количестве юмор вреден,— нелюдимо отвечаю я, не отрываясь от газетной подшивки.

— Я тебя серьезно спрашиваю.

Неожиданный переход на ты настораживает меня. Смотрю в самую глубину его добрых глаз и задаю вопрос, который он, кажется, и ждал от меня.

— Ты хочешь, чтобы я был с тобой откровенен?

— Да.

— Зачем тебе?

Он задумался. Грустно улыбнулся.

— Легче будет...

Помолчал. Добавил:

— ...тебе.

— Хорошо, Марк, но... Надо с чего-то начать.

— Вот и ответь мне о цели. Нет, лучше я тебе скажу... Слушай...

Он отложил газету, пересел ко мне.

— Только ты забудь на миг, что лагерь, что срок, что обида... Забудь. Это все — не ты. Схватываешь? Это новые условия, в которые твое «я» поставлено. Ну, были бы другие... Представь!.. Допустим... Полюс, вокруг льды... У тебя последняя сигарета и мертвая собака у ног. Твоя собака по кличке Марк... Или — иное... Ну, на доске ты в открытом море... В заваленном бомбоубежище... Какая разница! Условия! Схватываешь? Новые условия! Они ненормальные для тебя, потому что они новые! Но ты сам как человек, как личность

остаешься неизменным! Ты — это все равно ты, а не кто-то другой... Я тебе дам сейчас ящик сливочного масла... Твоя сущность изменится?! Ты сегодня будешь спать в кровати в стиле мадам Помпадур!.. Что-то произойдет с твоим мозгом?

— Произойдет,— вырвалось у меня.— Я не знаю, к чему ты это все ведешь, но я тебе говорю, произойдет! Я почувствую себя человеком.

— Выходит, что, переночевав неделю на скотном дворе, ты станешь скотом?

— Да, Марк, да! Иначе для чего все?! Если человеческое остается при любых условиях, даже нечеловеческих, то зачем и сам человек? Заведи общие корыта, сбрось одежду, сожги книги и картины... Для чего все?! Человек и без этого человек! Так, что ли?

— Да! Гордость духа! Она только у человека! Потому он выше условий и сильнее их! Он свободен от них!

Марк действительно глядел сейчас на меня радостно и свободно, не было ни мук, ни заботы, ни сомнений.

— Марк,— сказал я ему.— Я завидую тебе, хотя и не могу понять, как это все у тебя сделано там, внутри...

— Потому, что ты — слабый! — кинул он с лихорадочной радостью.— Слабый! Слабый! — повторил он уже совсем со счастливой улыбкой.— И потому тачка тебе ненавистна... А я ее приветствую, как новое! Я знакомлюсь с нею и осваиваю, как новое условие... Я вижу, как ты возишь бетон... У тебя лицо раба! Да, раба, униженного до скота! А я вижу там дом, я вижу детей, играющих в мяч, на том месте, где ты с проклятием перевернул тачку!

— Презабавно...

— Нет! — кричит он мне в самое лицо.— Нет! Я не сумасшедший! Сумасшедший ты! Потому что цель у тебя одна — создавать условия для существования! Любым способом, но создавать! Создавать! Создавать! Забыв о себе, ты думаешь об условиях для себя! Чтобы теплей! Чтобы сытней! Чтобы легче!.. Истратив себя на это, ты придешь к своей цели пустым! Среди созданных тобою условий ты меньше всего будешь человеком. Ты станешь жирной, сонной свиньей!

— Оригинально,— промямлил я, оглушенный его приговором.

— Ничуть. Просто надо жить познанием самого себя! Схватываешь? Самого себя!! Тебя должна интересовать твоя сущность, и как эта сущность поведет себя в новых условиях и обстоятельствах... Это и есть познание Материи в Пространстве и Времени!

Я растерялся. Все полетело вверх тормашками. Не нахожу ни одной мысли в башке. Наверное, у меня стало лицо круглого дурака, потому что я спросил:

— Ты меня принимаешь за дурака?

— Конечно,— услышал я радостный ответ.

— А я тебя считаю ненормальным.

Он даже подпрыгнул от восхищения.

— Ты — прелесть! Давно не видел такого клинического дурака! Ты дурак-рецидивист! — Он смеялся от души.

— Герцена ты, конечно, забыл,— продолжал он с иронией.— Или не читал. Где уж там... Некогда... Надо создавать условия! Напомню: «Почему вы здесь?» — спрашивает Герцен у одного из обитателей Лондонского сумасшедшего дома. «Мир считает меня сумасшедшим, сэр... А я уверен, что мир сошел с ума. Беда моя в том, что большинство не на моей стороне». Схватываешь? По крайней мере — контакт со мной идет тебе на пользу. Ты не ощущаешь разве?

— Почему ты здесь, в тюрьме? — задаю я коварный вопрос.

— Я этого хотел,— отвечает Марк, не моргнув глазом. Поднялся. С видом абсолютного превосходства оглядел меня, сделал ногами что-то похожее на танцевальное движение и уселся на прежнее место, открыв свою газету.

Психопат. Это точно. Другого быть не может. Но почему он здесь, со всеми вместе? И потом: письма матери... Он давал их читать мне. Нет, что-то иное...

— Ты, кажется, опустился до того, что не веришь мне? — спрашивает он с сожалением.

— Если в это поверить, то...— я замялся.

— То что?

— Ты очень несчастный человек.

— Я счастлив, Виктор. Я счастлив, потому что я всегда делал то, что хотел! А сейчас я хочу спать. Ты утомил меня. Идем.

С этого вечера я стал следить за Марком. Смотрел, как он ест, как разговаривает с другими, как реагирует на события, которым так перенасыщено лагерное бытие. Он превратился в объект моего пристального внимания. Я занимался им и только им. Все остальное как-то невольно отодвинулось, стало неважным, второстепенным.

При всей наблюдательности и внимании к мелочам, при всей остроте восприятия, на которые я был тогда способен, я не мог поймать его, уличить в неискренности или, что я больше всего сам не хотел, прийти к выводу о его ненормальности.

Марк был нормален. Марк жил так, будто хотел жить здесь всегда.

Он постоянно придумывал всяческие приспособления в нашей нехитрой работе и тут же внедрял их, не удивляясь, что большинство презирало его за это. Он писал лозунги в клубе. Читал вслух для всех наиболее интересные сообщения из газет. Получаемые регулярно посылки от матери он ставил на тумбочку посередине юрты и произносил немного театрально, но от души:

— Прошу к столу!

Содержимое расхватывалось тут же и съедалось почти мгновенно.

Марк смотрел в эти минуты на меня взглядом победителя и говорил вполголоса:

— Смотри. Смотри во все глаза... Я сменил им условия, а людьми они не становятся...

Над ним незлобно посмеивались. Он был выгодной потехой в бригаде. Не зная ничего ни о нем, ни о его точке зрения на все, Марка считали «дурачком», «с приветом», «тю-тю».

Его способности как художника не меняли к нему отношения. Ими пользовались.

Как-то на глазах бригады при помощи пера и красной туши в течение часа Марк нарисовал почтовую марку, которая тотчас была наклеена на конверт.

Письмо дошло до адресата.

С тех пор марок никто не покупал.

После того разговора в читальном зале меж нами легла некая дистанция, некая мертвая зона.

Я не переходил ее, изучая Марка со стороны, томясь любопытством к нему и переживая всю непостижимость его бытия, а он... Он — не знаю. Может быть, потянувшись ко мне и открыв себя, он теперь судил себя за эту слабость.

Вторично столкнул меня с Марком случай. Именно случай, хотя Марк позднее и уверял меня, что этого хотел он, что это было его желанием.

Наконец и сюда, за колючую проволоку, через запретные зоны, не обращая внимания на надписи «Стой! Стреляю!», пришла весна.

Сняла пропахшие потом и дымом костров бушлаты, дала отдых печам И принесла с собой такую горькую печаль, что хоть не выходи из юрты.

Горланят сойки, раскачиваются на колючей проволоке, дразнят вооруженных людей: «Не пальнешь! Не пальнешь! Мы — вольные!»

Пахнет жареным... Это успели попасть в котелки доверчивые бурундуки.

Шуршат в прошлогодней траве серые ящерицы. Им нечего бояться — до этого не дошли.

Бригаду перекинули на разгрузку шлакоблоков. С платформы. Он, сволочь, хрупкий. Только из рук в руки, по цепочке. За каждый расколотый кирпич занижают процент выработки всей бригаде.

Небо чистое. Теплынь. Разделись до пояса. По цепочке бегут, словно катятся с горы, пемзовые буханки...

В стороне от цепочки — культорг и Шпала. Курят. Бригадира нет сегодня, он на свидании. К нему приехал отец.

Платформа пустеет. Последний ряд кирпичей и все.

Вдруг Марк (он там, на платформе, в самом начале цепочки) закричал:

— Придумал! — и со всего маха ухает шлакоблок на рельсы.

Все замерли.

— Слушайте вы, дурачье! Я придумал! Положим доски... Вот так... Схватываете?! С платформы — на землю! И они будут катиться сами! Сами! Только лови и складывай!

Марк спрыгнул с платформы.

— Айда за досками!

Дорогу перегораживает Цыган.

— Ты что шута ломаешь, жиденок?!

Культорг поднял с рельс кусок разбитого кирпича.

— Это тебе цирк?! Я тебя спрашиваю: цирк?!

Помню лицо Марка. Он нашел глазами меня. Улыбнулся и развел руками. Он ничего не говорил. Он молчал. Но я слышал его слова: «Видишь, я меняю условия, но они опять...»

Цыган бьет его шлакоблоком и что-то орет. Я не слышу, что... Я прыгаю туда, где его лицо, где его беззубый рот. Он хрипит, таращит на небо глаза, слабо пытается оттолкнуть меня, но я продолжаю сжимать пальцы на его шее.

— Витька, не смей! — кричит Марк.— Не смей!

Крик отрезвляет меня. Ору стоящим вокруг:

— Что вы стоите, скоты?!

Они, кажется, ждали этого.

Били все. Били страшно. Били до смерти. И пришлось бы выносить культорга за зону, если бы не подоспевшие надзиратели.

Не принимали участия в этом Марк и Шпала. Марк с философским лицом обмывал водой из ближайшей лужи ссадины на плече, а Шпала все курил и, как обычно, улыбался бессмысленно.

Штрафной изолятор весной — это пустяки. Через пять суток я возвращаюсь в бригаду. Без меня в бригаде прошли «перевыборы». Теперь культорг — я. Цыган в сангородке и сюда более не вернется. Бригадир приглашает «откушать чаю», а Шпала, сдавая карты партнеру, загадочно шипит:

— Не обрежься, культорг...

Марка я нашел в читальне.

— Как новые условия?

— Я тебя понял,— сказал я, пропуская его насмешливый вопрос.— Но мне это не подходит.

— Почему?

— Ты не совсем свободен, Марк. Ты во власти и очень жестокой. Я еще не знаю, что это, но это власть...

— Ты прав. Я во власти самого себя.

— Ерунда.

— Гляди...

Он вынул из кармана монету, прикоснулся губами к ней и положил передо мною на стол.

— Драхм. Греция. Десятый век.

— И что?

— Это я.

Мне стало не по себе, как и тогда.

— Это очень древнее... Это очень мудро и красиво.

Глаза его заблестели. Юношеский румянец залил его лицо. Он был откровенен сейчас до конца. И был великолепен.

— Схватываешь?

— Нет,— прошептал я, глотнув слюну.

— Я спрашиваю: «да» или «нет»? Бросаю...

Он подбросил монету.

— «Нет!» И я следую этому «нет»! Я спросил себя: будет ли мне интересно в тюрьме?

Он перевернул монету.

— «Да!»... И я сделал так, чтобы быть здесь. И мне интересно!.. Будет ли мне интересно, если я ему откроюсь? «Да»,— ответила монета, и я открылся тебе.

— И ты никогда не поступал иначе?

— Нет.

— Ты давно живешь... так?

— Мне не было четырнадцати... Я нашел ее на Валдае. Там курганы. Священные могильники. Местные мальчишки копали их потихоньку. Кто меч находил, кто кости. Я нашел ее... А бросил впервые в Москве. Спросил: ехать мне с Ураловым этюды рисовать или не ехать? Игорек в нашем дворе жил. Мотоциклист заядлый и рисовал прилично... «Не ехать»,— ответила монета. Ночью звонок в квартиру. Игорь разбился. Все. Точка. Схватываешь?

Марк поднял монету, снова коснулся ее губами и положил в карман. Все это вошло в меня и полностью овладело мной.

На другой день я приступил к обязанностям культорга бригады.

Дневальный будил меня теперь раньше всех, и я мчался в столовую занимать очередь за хлебом.

Днем вместе со всеми стоял на разгрузке по новому методу Марка Живило.

— Культоргу вкалывать не обязательно,— заметил бригадир.

— Обязательно. И бригадиру, кстати, тоже.

— Но-но, не поднимай волны — захлебнешься...

После работы я забегал в цензорскую и получал охапку писем на бригаду.

Писем писали и получали много. Они бережно хранились, их возили с собой по этапам, перечитывали до дыр и часто вслух.

В бригаде только двое не писали и не получали писем: дед Мазай и я.

— Вранье все,— бурчит дед, когда кто-нибудь читал вслух.— Вранье и обман. «Жду, люблю»... А ослобонишься — мать честная! Этому дала, этому дала... Сороки они все. Тьфу!

Но Мазай не в силах был посеять сомнение. Письма продолжали идти, и им продолжали верить.

Выслушав как-то мою историю, Марк возмутился и заставил написать Томке и тете.

Томке я чиркнул буквально несколько строк, а тете накатал четыре листа.

Через неделю пришел конверт. Дрожа всем телом, я вынул из него сложенную вдвое бумажку.

Какая ирония! Это оказалась копия решения народного суда Куйбышевского района города Ленинграда о разводе Фридман Людмилы Яковлевны, проживающей там-то, с Костровым Виктором Александровичем, находящимся в местах заключения...

Выходя из цензорской, я бросил бумажку в ящик для мусора.

Рокоссовский ходил по лагерю в бостоновом костюме цвета натурального индиго и каждый день менял рубашки.

— Привет, контра! Не повесился еще? — Женька угощает «Казбеком».— Бери... Бери больше! От махорки — тоска по Родине возникает. Ну, как Сталин? Помалкивает? А ты еще отошли. Каждый день отсылай. Думаешь секретари их передают? Ими печки топят.

— Сейчас не сезон, вроде,— горько шучу я.

— К зиме идет заготовка. Эх, если б с папашей я поладил... В момент бы твое письмо... В самые руки. Ну, бывай! — Женька подает руку.

— Воры в бригаде есть?

— Есть. Сашка Шпала.

— Не обижает?

— Да нет...

— Не связывайся...

Он уходит, скрипя новыми лаковыми штиблетами, которые накануне я видел на ногах известного скрипача, прибывшего этапом из Москвы.

Марк отрывает меня от книги.

— Я — экспериментатор, ты — кролик. Помещаю кролика в новые условия. Переговоры с начальником ка-вэ-че (культурно-воспитательная часть)

окончились положительно, как и предсказывала монета!.. Ха-ха! Первая запись в журнале опытов: морда кролика вытянулась и стала похожа на муравьеда. Муравьед назначен заведующим клубом!

— Ты что?! Меня выгонят в тот же день.

— Боги никогда не занимались обжигом горшков,— поморщился Марк.

Майор Сметанин, без сомнения, обладал одним из редких качеств: он был вежлив.

— Костров, мы вам доверяем,— сказал начальник КВЧ при первой беседе.— Мы доверяем вам не только материальные ценности. Люди — тоже ценность, а вам работать с людьми. Контингент у нас большой. Талантов — хоть отбавляй. Надо регулярно проводить концерты. Вовлечь в работу кружков максимум. И обязательно — хор. Большой хор. Командование не пожалеет затрат. Пошьем костюмы. Выставки устраивайте. Регулярно чтобы стенная газета выходила и чтоб чистота в клубе была, как в храме. Договорились?

— Договорились, гражданин майор.

— Ну, ни пуха ни пера! К черту посылать начальство не положено... Потому шагайте, принимайте ценности. Жить разрешаю в клубе. Ворья не приводить, не чифирить, педерастов гоните метлой. Все. Вы — свободны.

Я принял ценности: духовые и щипковые инструменты, два аккордеона, рояль и гонг. Расписался в акте в том, что отныне я владетель пяти тысяч четырехсот восьмидесяти семи книг, двух графинов и четырнадцати картин различного жанра (масло).

Штат мой состоял из одного дневального; он же сторож, он же истопник, он же киномеханик, он же Петя Стригун — хулиган из Воронежа, молодой парень с рожей шекспировского плута, который через минуту после подписания акта поставил на стол мятую кружку с крепчайшим чифиром.

— Цейлонский...

Я отхлебнул. Он тоже. Я сделал еще глоток и почувствовал себя заведующим.

— Петр,— произношу я тоном кардинала Ришелье.— Мы должны превратить этот сарай в храм!

Он помрачнел и исподлобья взглянул на меня.

— Сектант, что ли? За это срок могут добавить...

— Да нет же! Вот чудак! В храм искусств! К нам будут идти, как на очищение, понимаешь?

— Как в баню,— осклабился он.

— Да, Петро, да! Баня для омовения души!

— А где метлы брать, заведующий? По юртам воровать больше не пойду — шею могут накостылять.

— Будут метлы! Будут! — пообещал я с такой обнадеживающей интонацией, что Петр просиял и уважительно спросил:

— Как вас звать-величать?

— Зови Виктором... чего там...

— Ни-и... Лучше — Лександрычем.

— Давай Лександрычем.

— Петро! Петро! — ору благим матом на весь зал.

— Ну, чего? Чего вам?

Петр появляется из-за кулис.

— Ты зал подметал?

— А то как? Сам он, что ли, подмелся?

— А это что?

— Где? — спрашивает он, не двигаясь с места. Я в середине зала. Он на сцене, в пятидесяти метрах от меня.

— Вот! Вот! — показываю пальцем на пол.

— Как что? Крыса. Дохлая...

— Ну, и что мы делать с ней будем?

— А я знаю?

— Тебе не приходило в голову ее выбросить?

— Ни-и... Я их боюсь.

Раннее утро апреля. Парит. Я поливаю зеленый газон у входа. Петр присобачивает афишу, которую по вечерам писал Марк. Трехметровый алый тюльпан, из него сыплются буквы: «Большой первомайский концерт!». Внизу — разным цветным шрифтом: «Сегодня». Этих «сегодня» целая куча. Из кучи выглядывает смешной клоун с миской на голове и манит пальцем. Заходите, мол...

Майор Сметанин, оглядев афишу, сказал:

— Ай, ай, ай... Вы историю Первомая знаете? Что он собою олицетворяет? А, Костров?

— Праздник весны, гражданин начальник, праздник дружбы...

— ...и солидарности трудящихся всех стран,— заканчивает майор.— Так? А у вас что?

Я молчу. Гляжу на клоуна с миской на голове.

— Политическая безграмотность. За эту афишу на воле срок заработали бы. Цветочки, буковки, гномик...

— Это не гномик, это — клоун.

— А зачем клоун?

— Он зовет на концерт.

— На первомайский концерт зовет клоун?

Майор смотрит на меня уже совсем подозрительно.

— Мы думали, что все должно быть веселым. Как-то настраивать на веселье... Это же концертная афиша все-таки...

— Не обижайтесь, Костров. Придется переделать. Я дам команду. С объекта пришлют художника.

После обеда Петро приколотил новую: на голубом фоне, обозначающем небо, рядом с маленьким облачком, самолет. На первом плане, взявшись за руки, стоят люди. Рабочий и колхозница, китаец в соломенной шляпе, негр с бусами на шее и еще несколько людей неопределенной национальности. Все они образуют полукруг. Крайние держат кумачовую ленту. На ней надпись: «Первомайский концерт».

Внизу красные силуэты заводов, башенных кранов и мачты высоковольтных линий.

Зал набит до отказа. Шум стоит страшный. Марк успокаивает меня тем, что в Содоме было намного шумнее и что сила зрелища заставит смолкнуть стихию.

Концерт открывает Морозов — высокий парень с бычьей шеей и с голосом ярмарочного зазывалы. Я даю сигнал гасить в зале свет. Морозов пошел за занавес.

Зал сразу стих, а через мгновение наступила такая тишина, будто там, за занавесом, никого не было.

Шагает май! И этим маем
Земля одета в красный цвет!
Мы вас с весною поздравляем!
И шлем горячий вам привет!!

Загрохотало, будто обрушился потолок. Топот ног, свист, крики.

— Крой, Никола!!! Бис!!! — неистовал зал.

— Давай цыганочку! — кричали другие.

— Изобрази, Колька! Шпарь!

— У-гу-гу!!!
Перекрывая галдеж, Морозов кричит:
— Цыганочка будет! Будет! Не лезь без очереди — милиция оштрафует!
Хохот. Аплодисменты. Зал затихает.
— А сейчас стих слушайте о советском паспорте! Маяковский написал! Владимир!
Зал опять словно опустел. Морозов громыхает словами, не торопясь складывает из них фразы, смакует их, поглаживая своим рокочущим баском.
Хорошо читает.
Я стою за кулисой и думаю: не странно ли, что этот Морозов, удрав когда-то из ремеслухи, скитался по городам, воровал, сидел за это, снова скитался, не имея ни крыши, ни этого самого паспорта, о котором сейчас он так вдохновенно рассказывает.
И разве не странно, что зал тих, что все слушают его — Морозова Кольку, воришку, бродягу... И слушаю его я, и Марк, и Петро...

«Я достаю из широких штанин,
Дубликатом бесценного груза...
Читайте!
Завидуйте!
Я — гражданин Советского Союза!»

Снова налетел шквал.
— Да будет вам! Будет! — кричит Морозов.— Другие артисты дожидаются!
Даю сигнал открывать занавес. Зал послушно стихает.
— Соло на немецком аккордеоне! Фокстрот! «Роза-мунда»! Исполняет Павел Стукачев!.. Ну и фамильица у тебя, Паша...
Зал хохочет. Аплодирует выходящему Стукачеву. Его сменяют акробаты: повар лагерной кухни Кузьма и два пацана. За роялем Марк.
Под «Лунный вальс» Кузьма подкидывает то одного, то другого, ловит у самого пола и подбрасывает снова. Вот один вскочил на плечо, второй на другое... «Але!»
Кузьма приседает, начинает медленно садиться, держа обоих...
— Не испорть воздух! — донеслось из зала.
Засмеялись.
— И чего это его на погрузку не гоняют?!
— Заткнись, рожа! Мешаешь!
— Ложись, Кузьма, пупыр летит!!!
На сцену плюхнулась дохлая крыса. Кузьма валится на бок. Пацаны разбегаются за кулисы.
Публика изнывает от смеха.
Кузьма поднимается, поправляет трусы, злобно шевелит скулами и со всей силой поддевает крысу ногой.
Крыса, под вой зала, описывает кривую и падает в дальние ряды.
— Объявляй следующий! Быстро! Быстро! — кричу я ведущему.
Морозов вываливается на сцену, пронзительно свистит.
— Дорогие зрители! Артист не принял вашего букета, и правильно! Скромность украшает человека! А сейчас... Соло на скрипке! Заслуженный, в бывшем, артист республики — Михаил Моисеевич Мазин!
Зал замирает, с любопытством ожидая появления исполнителя.
— Номер он сам объявит... Я два дня заучивал, так и не заучил,— признается Морозов.
И первый аплодирует выходящему из-за кулис Мазину.
Музыкант кланяется залу, трогает смычком струны, подстраивает.
Зал терпеливо ждет.
— Николо Паганини... «Компанелла».
Лицо к инструменту, закрыл глаза и... все полетело тотчас к чертовой матери!
Зазвенела листва... Заметелило тополиным снегом... Кубарем на полянке кузнечики... Цок-цок-цок. Через спинки перекатываются и разлетаются в стороны. Трава легкая, медовая. Перекатываюсь тоже. Пачкаю ромашковой пылью рубашку. Переворачиваюсь на спину, руки раскинул... У-ух! Высотища какая! Небо. В небе птицы. В клювах звезды. Перекидываются ими. Кричат. Опять кричат слово. Что тогда девушки... И ангел на площади. «И! — слышу последнюю букву.— И! И!» Звезды падают на меня и в траву. Совсем рядом. И гаснут. Вот совсем осталось немного... Вот две... Вот последняя упала. Замерцала, моргнула и погасла.

Ударило в голову шумом.
— Ма-зин! Ма-зин!! — скандирует зал.
Михаил Моисеевич торопливо кланяется и уходит. Марк шепчет мне в ухо:
— Человек сохранил сущность... Схватываешь?
Сзади тормошит меня Морозов.
— Чего выпускать? Может, цыганочку?
Я прихожу в себя.
— Ни в коем случае! Давай «Заветный камень»...
Песня проходит отлично. За песней выхожу я с басней. За мной дуэт гитар пред занавесом, а мы готовим хор — сюрприз майору Сметанину.
Сорок две остриженные головы. Сорок два лица. Я помню их все.
Вот маленькое, ушастое, похожее на мышку, лицо... (В начале войны расклеивал немецкие листовки на дверях сельсовета.)
Рядом с ним — рыжий с красными губами... (Дезертир. Всю войну провалялся в тыловом госпитале под чужим именем, ловко имитируя глухоту.) А этот, во втором ряду, с лицом сельского попика с картины Перова... (Врач-педиатр. Показывал подросткам порнографические открытки. Пойман с поличным...) Вот еще одно лицо — староста хора... (Бывший колхозник белорусского села. Приревновав жену к бухгалтеру колхоза, сжег ее вместе с домом и трехлетним сыном...)
— Выступает хоровой коллектив,— объявляет Морозов.— Руководитель и дирижер — Марк Живило!
Сорок два застыло в положении «смирно». Немигающие глаза испуганно смотрят на открывающийся занавес.
— Песня о Родине! Музыка Новикова!
— «Где найдешь страну на свете, краше Родины моей?..» — рявкнули сорок два рта.
Я вышел в коридор.
Хор пел уже «Соловьи, соловьи», а я курил «козью ножку», сворачивать которые научил меня еще на пересылке Мирошниченко. Интересно, где он сейчас? Возит ли с собой «женщину в ванне»?
Петро зовет меня на сцену.
— Лександрыч, завал! Жарикова нет! Его на этап утром вызвали, а до сих пор найти не могут. Надзиратель меня пытает... А я что? Я его в глаза не видел... Он, говорю, у нас в концерте должен выступать. После хора как раз... С фокусами...
Только сейчас соображаю, что Жарикова и я не видел сегодня. Обидно. Хороший номер.
— Готовь «политсатиру». Потом цыганочка и антракт.
— Понял! — выкрикивает Петро и исчезает в кулисах. Концерт шел как по маслу.

Лежу на койке. Слушаю последние известия. В зале громыхает ведром Петр. Пищат под полом крысы. Стучу ботинком о половицу. Замолкли.
...«Прослушайте заметку нашего корреспондента из Лондона»...
Кто-то открывает входную дверь. Наверное, Петр выносит мусор... Нет. Разговаривают. Идут сюда. Голос Петра: «Вот балда! Вот — балда!»
Вошел Марк. Лицо, как из гипса. Даже губы белые. Сел на табурет. Замер.
Он принес ужасную новость. Час назад, когда шел концерт, производилась отправка этапа на Север. Из сотни назначенных на этап не явился Жариков. Надзиратели безуспешно прочесали лагерь два раза. Вагоны задерживать нельзя, и этап был отправлен без него.

После концерта публика, естественно, ринулась в уборные и в одной из них...

Это огромные глубокие ямы, покрытые досками. В досках отверстия. Над всем этим — навес от дождя. Яма, глубиной не меньше трех метров, заполняется за зиму почти доверху.

Несчастный рассчитывал переждать отправку на этап под досками, но не учел своих сил, не удержался за поперечные брусья. Свалился. Кричать нельзя: кругом ищут надзиратели.

Зловонная жижа разъела тело, как крепкая кислота.

Санчасть помочь уже не могла. Жариков стонал не долго. Сознание покинуло его. А затем и сам Жариков отбыл на самый дальний из всех этапов...

Мы просидели всю ночь.

Каждые полчаса я бил ботинком в пол. До чего же они противно пищат!

На другой день в клуб впервые нанес визит Рокоссовский.

— Привет, контра! Еще не повесился?

Шумно расхаживает по комнате, подкидывает в руках тряпочный сверток.

— Ты этого, как его... скрипача увидишь? Ну, что вчера... Отдай ему бахилы...— Бросает сверток на койку.— Один... жмут.

Вечером я передал штиблеты Мазину. Он долго смотрел непонимающе, потом начал мне стыдливо объяснять:

— Я никогда не играл в карты, понимаете? Никогда. Он насильно дал мне какие-то семерки, валеты и, понимаете, выиграл эту обувь. Тут же надел их и мне оставил вот это...— (Показывает на ноги.) — Очень крепкие, прекрасные туфли. Какой странный молодой человек этот Рокоссовский. Вы передайте ему, будьте любезны,— эти... Это же его... Понимаете?

ЛИСТ ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ

Женской проблемы не было, ибо не было женщин. Лишь изредка взрывал лагерь истошно-радостный крик. Так кричал матрос Колумбовой каравеллы, увидев берег. «Земля!!!» — кричал он, заливаясь слезами.

— Ведут!!! — кричал здесь какой-нибудь счастливчик, взобравшись на крышу юрты.

Вскакивала на ноги пятитысячная масса. Отложили недописанные письма, отбросили книги, прервали карточные игры и сны...

— Веду-у-ут!!! — несется из юрты в юрту.

И все туда — к проволоке, за которой дорога... и...

Длинная колонна ватных брюк, бушлатов, шапок-ушанок...

Все то же, как и у нас... Но... Там были глаза и волосы, там были губы, была кожа... Под ватным бушлатом грудь, истомившаяся без ласки... Она хочет, чтобы глядели на нее, трогали. Хочет разбухнуть от сладкого молока и поить им досыта чмокающий ротик...

— Мальчики-и-и!!! — несется зов.

— Милые-е-е!!!

— Костя, я тебе платок послала-а-а! — вырывается вопль.

— Через Вальку пиши! Через Вальку, слышишь?!! — напоминает кто-то с нашей стороны.

— Ой, дяденьки, в постельку хочу!!! — визжит на всю тайгу пацанка в белых бурках; прыгает, бьет рукавицами по ляжкам.

Лагерь глухо рычит в ответ, посылая голосом Рокоссовского:

— Е-гей! Бабоньки!!! Сегодня спите голышком, приволокусь с дружком!!

Конвой торопит колонну. Можно расходиться по юртам. В такие дни лагерь засыпает позже обычного...

Непосредственно в зоне лагеря работали три женщины.

Клава — вольнонаемная — ведала посылками. Она привозила их с вокзальной почты на телеге ежедневно и в присутствии двух надзирателей

вскрывала ящики. Содержимое, после осмотра, выдавалось заключенному, в чем он и расписывался в соответствующем регистре.

Вторая женщина — Элеонора Юлиановна — главный терапевт санчасти, шестидесятилетняя старуха с массой бородавок на подбородке. Каждая из них оканчивается кисточкой седых волос.

Разговор она ведет со всеми только на ты и в таком тоне, будто пациент только что разбил ее очки, выстрелив из рогатки.

— Что расселся?! — скрипит она злобно и таращит рачьи глаза.— Шагай сюда... Подними рубаху!

Шлепает по спине костлявой рукой. Прикладывает фонендоскоп.

— Тридцать семь и четыре,— напоминает пациент, используя очередной выдох.

— Закрой рот! — обрывает она.— Наболтал на десять лет — теперь помалкивай!

Профессор языкознания — Богин, ее ровесник, сутулится еще больше и прекращает дышать.

— С такими легкими на кладбище лежать,— скрипит старуха, заканчивая прослушивание.— А он против власти... Не совестно?

— Я ее строил, Элеонора Юлиановна,— со слезами на глазах говорит профессор.— Я участник плана разгрома Юденича.

— Все вы «участники»,— терапевт скрипит пером в карточке, угрожающе шевеля кисточками на подбородке.

— Три дня из юрты не выходить! — тоном приказа объявляет она, протягивая освобождение от работы.— Увижу на территории, берегись!

И таращит глаза, наслаждаясь произведенным эффектом. Лицо на мгновение становится добрым и милым. А кисточки эти... Божественные кисточки! Ими так хорошо пугать непослушных внучат...

Чудная старуха. Ее любили все, потому что она любила всех, хотя и искусно прятала эту любовь.

Но разве любовь спрячешь?

И третья — Александра Ивановна Цыкина. Гражданин лейтенант. Инспектор спецчасти лагеря. Сорокалетняя женщина, высохшая до неправдоподобия.

Прозвище «Скелет» лейтенант имела не только в связи с худобой. Она ведала «зачетами», что были днями свободы, заработанными трудом, болезнями и бессонницей. Она ведала и отправкой на этап, а этапы бывали разные... Это могла быть Печора. И Дальний Восток. И Север.

Скелета боялись смертельно.

Увидя ее издали, здоровались, унизительно заглядывая в глаза, выражая предельное уважение порядку и безграничную любовь к производительности труда.

Она не видела никого.

Шерстяной костюм, хаки, сшитый по фигуре. Талия перетянута узким ремнем. Мягкие сапожки. Накинутая на плечи серая шинель.

В костях лица прятались от всех неуютные глаза, постоянно будто вспоминающие что-то. Рот ничего не выражал, даже когда произносились слова. Он был мертв. И слой темно-розовой помады не оживлял его, скорей — наоборот: делал его искусственным. Нарисованный рот на безжизненной маске лица.

Регулярно, через день, она брала книги из библиотеки. Я не знаю, что она прочла до меня, так как формуляра, естественно, на нее не велось.

Первая книга, выданная мной, была «Степан Разин». Через день она поменяла «Разина» на «Ермака».

Когда она пришла в третий раз, я предложил ей «Крестоносцев». Оказалось, что она читала их. Взяв «Пугачева», она удалилась.

По субботам инспектор смотрела кинофильмы. Это не удивительно: в ту пору в Ангарске еще не было кинотеатра и, как это ни парадоксально, киноустановки существовали только в лагерных клубах.

Лейтенант входила в клуб за минуту до начала сеанса. Заполненный до отказа бурлящий зал мгновенно стихал. Она садилась в середине прохода на поставленный для нее стул, и сеанс начинался.

Александра Ивановна заговорила со мной первой.

— Живило назначен на этап.
Она стоит между стеллажами. Листает Ключевского. Я впервые слышу от нее такую длинную фразу. Обычно: «да», «нет», изредка — «спасибо».
От неожиданности забываю об осторожности.
— Неужели нельзя оставить?
Качнула головой отрицательно.
Рискую вторично. (Ведь это Марк! Несчастный Марк!)
— У него чахотка, он умрет в дороге...
Она взяла книгу, проходит мимо. Проход между стеллажами узкий, она задевает меня юбкой и запахом жасмина...
Повторяю, глядя в удаляющийся затылок:
— Он умрет, гражданин лейтенант...
— Не хнычьте,— отвечает она, не останавливаясь и не поворачивая головы.— Это сельхозколония. Ему там будет лучше.
Ушла.
Марка не будет. Не будет по вечерам Марка. Его шуток, писем его матери, не будет споров...
Впервые за много месяцев подкатился и застрял в горле комок слез.

Он разбудил меня рано утром.
— Лорд — хранитель печати! Вставайте! Как почивали музы? Как переносят неволю классики? Ты что? Ты глядишь на меня, как поезд на Анну Каренину перед тем, как...
Он мрачнеет вдруг, садится на койку рядом со мной.
— Что-нибудь случилось?
Неужели он еще не знает? Почему не объявили об этом?
Это же делают утром, перед выходом на работу!
— Ты назначен на этап, Марк...
— Какой ты скучный... А я хотел сделать тебе сюрприз...— Он вынул монету.— Я давно не кидал ее... А вчера от тебя пришел... Думаю, не сменить ли мне климат? «Непременно»! — ответил драхм. Ночью собрал вещи. Жду рассвета. «Живило, живей! С вещами!» Не очень, правда, вежливо, но не будем придираться к форме...
— Марк, это — сельхозколония. Это действительно лучше. Там воздух, овощи, морковка...
— Морковка, Витька! Я люблю ее с детства! Маман ежедневно делала мне пюре... Ты любишь пюре из моркови?
Я прячу от него глаза. Вожусь у печки. Разжигаю газетой сырые щепки.
— Сейчас, Марк, будет чай. У меня есть сахар, хлеб.

Через час мы простились.
Этап был в сборе. Уже начали выкликать по формулярам и выводить за ворота к машинам.
— Учи Маяковского. Наизусть. Я тебе серьезно говорю. Это — силища! Подъемный кран для души. И вот еще. Держи,— хватает руку, вкладывает в ладонь монету.— У меня есть другое. А она пусть с тобой... По пустякам не тревожь ее. Сам понимаешь...
Я не успеваю отреагировать. Не успеваю даже поблагодарить его.
— Живило!
— Есть такой! — задорно откликается Марк.
Мы стукаемся головами, пытаясь поцеловаться.
— Будешь в Москве — забегай!
Это была последняя фраза Марка.
Машины давно ушли.
Давно закрыли ворота.
Я стою в пяти метрах от свободы. Один.
Опять один.

Ее не было дней пять.

Вошла. Положила на стол Ключевского. Уселась рядом, листает журнал. Петро, прервав уборку, испуганно удалился.

Рассматриваю ее с тем любопытством, с каким рассматривают саперы обнаруженную мину. «Мина» в полметре от меня.

Начищенные до золотого блеска пуговицы гимнастерки... Ослепительно белый подворотничок... Плоская грудь... Прижатые уши... Проколы для серег... (Целовал ли кто-нибудь ее?) Чтобы изгнать из себя это, произношу:

— Вы болели?

Она лениво поворачивает голову.

— Вас давно не было,— говорю я менее фальшиво, выдерживая ее долгий и, как мне кажется, бессмысленный взгляд.

— Работа.

Это слово я скорее услышал, чем увидел, что это слово сказали ее чуть дрогнувшие губы.

— Да...— протягиваю я, вложив в это «да» некоторое понимание сложности ее работы.

— ...хлеб горький,— закончил я возникшую мысль и встал.

Убрал на место Ключевского. Подшил свежие газеты. Закурил.

Она все сидела. Страшная, почти смертельная, по своей силе, ненавистная всеми и одинокая среди этой ненависти.

Она ушла, не взяв никакой книги.

Майор Сметанин, прочтя мою пьесу, сказал:

— Разрешаю приступить к репетициям. К ноябрьским праздникам покажем. Может, в соседние лагеря вывезем — попробую договориться в Управлении.

Пьесу «В городе будет спокойно» я начал писать еще при Марке. Он подкинул несколько острых коллизий, и в окончательной редакции пьеса приняла вид драматического детектива в семи картинах на двенадцать действующих лиц мужского пола.

Место действия — химический завод в городе, время действия: 1944 год. Тема: бдительность советских людей.

Во второй картине — один труп, в третьей — второй и один тяжелораненый, в пятой — взрыв лаборатории, но без трупов, в финале — сплошное разоблачение и аресты под занавес.

По эскизам Живило приступили к изготовлению декораций. Майор выхлопотал чрезвычайное разрешение «на ношение волос не более пяти сантиметров» для участников спектакля. Работа закипела.

Пьеса держалась на одном персонаже — капитане-контрразведчике — Павле Киселеве. Эту сложнейшую психологическую роль мог сыграть только один человек — Рокоссовский.

На розыски «актера» был послан Петро. Ему тоже была обещана роль «уборщика цеха». У персонажа только одна фраза: «Говорят из цеха... здесь произошло...» После чего персонаж выпускает из рук телефонную трубку и умирает. Петро уже выучил текст роли и критически поглядывал на других, с которыми я возился допоздна.

Посланный на розыск Женьки вернулся ни с чем.

— Не найти, Лександрыч. Аж в изолятор заглядывал. В бригаде не ночует...

Отыскали Женьку только на третий день.

Узнав, чего от него хотят, Женька чуть не побил посланца, а «театр погоревших актеров» послал так далеко, что Петро, как ни старался, не смог повторить мне витиеватого адреса...

На встречу пошел я.

В одной из крайних юрт в махорочной мгле лежал единственный кандидат на главную роль. Кандидат был невменяем. Накурившись «плана» (наркотик, довольно распространенный тогда в лагерях), Женька нес такую ахинею, что переговоры пришлось отложить. Я оставил записку и удалился.

Наконец наступил решающий момент. Рокоссовский сидит напротив меня. Я читаю пьесу. Он бурно реагирует на каждый сюжетный поворот, удивляется, что не предвидел его, материт шпионов и диверсантов и сдержанно хвалит монологи главного героя.

— Ну, как? — спрашиваю его, закрыв «занавес» после седьмой картины.

— Удивляюсь на род людской! Ох, и удивляюсь! Проволокой их запутывают, собаками облаивают, похлебкой свинячей кормят... А они пишут, они в театр играют! И все за власть!

— А чему ты, собственно, удивляешься?

— Ваньки-встаньки все вы. Вас кладут, а вы — торчком! Вас кладут, а вы по новой!

— Радоваться надо...

Женька протягивает мне недокуренную папиросу.

— Чему радоваться?

— Способности вставать на ноги.

— Ноги не только для этого,— скороговоркой возразил он.

Прошел по комнате взад-вперед, остановился у дверей, прислушался. Смотрит исподлобья, кидает слова свинцовые, опасные, приглядываясь, как их воспринимаю.

— Стоять и на сломанных можно... Ноги для того, чтобы бегать.

Помню, сработало сильное что-то, соскочило со звоном под сердцем. Не слова донесли его мысль — я читал ее в Женькиных глазах. Она звала на улицы, где дома с освещенными окнами. Я слышал шум города... Слышал запах воды... Запах Невы... И слово... То слово! Я читал его на цветных бумажках и радовался, что, наконец, читаю его. Я слышал, что кричат девчонки... И ангел на площади...

Женька спрашивает меня что-то. Я не понимаю его. Я улыбаюсь. Я вижу себя улыбающимся. Мне легко и сладостно от всего.

— Женя,— услышал я свой голос и повторил снова, так как голос был сейчас особенный. Голос пел слова. Красиво, мелодично.

— Женя... Ты знаешь, как сейчас красиво на Неве. Ты никогда не был на Неве, бедняга... А я там бегал мальчишкой. Кидал желтые листья... А в Летнем саду боги, Женя! Мраморные... Я вижу белый мрамор молчаливых лиц — античной мифологии созданье.— Прикрыл глаза руками, а губы сами зашептали дальше, без принуждения: — Слышна рапсодия весенних птиц и невских волн блудливое шептанье... Слышишь, Женя? Это я сейчас сочинил...

— Поволокло тебя,— хвалит Женька.

Слова понимаю, а фразу целиком нет. Мешают картины яркие, шумные. Они лезут в голову, разворачиваются панорамой, сворачиваются, открывают новые. Как хорошо! До чего же хорошо, что я живу! Что я...

— Женька, давай сбежим. Я видел сон... Я не буду его рассказывать... Но там ангел кричал: «Беги!», и все кричали. Я только сейчас понял...

— Еще хочешь? — прерывает он.

Я не понимаю его, но это не раздражает меня. Я продолжаю говорить, так как хочу говорить, говорить, говорить.

— Ты слушай, Женя, я все сделаю сам. Я знаю, как это сделать... Я, честное слово, об этом не думал... Но, понимаешь, Женя, внутри меня кто-то все это время сидел... смотрел... высчитывал... думал... Я тебе все объясню. Это очень просто. И совершенно безопасно...

— Только тихо.

— Что?

— Тихо болтай, говорю...

(Глазами показывает на дверь.)

— На... хватани еще...

Слюнявит там, где табак. Протягивает папиросу. Соображаю наконец, что со мной. Мгновенно все сжалось внутри в трусливый комок.

— «План»?

Женька смеется.

— А ты хорош... Помнишь, что говорил-то хоть?

— Помню.
— А стихи?
Я мотаю отяжелевшей сразу головой. Захотелось пить и есть. Дьявольски захотелось жрать. Открыл тумбочку. Миска с холодной кашей. Вынимаю руками застывший студнем блестящий диск. Жадно глотаю, не чувствуя вкуса. Боже, как хочется есть...
— Плебей,— издевается Женька.— Стихи животом сочинил? Не заглоти миску! А то будешь по пуп алюминиевый!
Не обращаю внимания. Доедаю остатки и смотрю с тоской на идеальную чистоту пустой миски.
— Не закрывай засовы, плебей... Приволоку покушать.
Дверь за Женькой закрылась, и сразу наступила гнетущая пустота. Силюсь изменить состояние. Нет, ничего не могу сделать. Патологическое чувство голода — и только. Такого не было даже в блокаду. Грызет и воет забравшееся в кишки животное. Скулит надрывно. По-волчьи... Какая гадость!
Заливаю волка теплой водой из графина. Приумолк чуть. Еще пью... Молчит сволочь...
Очнулся от громыхания котелка.
— Смотри, что по ночам варят! Паскуды...
Котелок доверху набит горячим мясом. Кое-где прилипли крупинки пшена. От всего этого валит такой пар, что выступили слезы, а слюни мешают сказать даже человеческое «спасибо».
Волк вырвался наружу...
Женька образно рассказывает о побоище на кухне, учиненном им только что. Слушаю его невнимательно, поэтому не удивительно, что только в конце трапезы до меня доходит главное: я съел килограмма полтора кобылятины.
На объекте работ под ковш экскаватора попала лошадь. Скорее всего, ее подсунули туда. После составления акта о смерти, лошадку разнесли по юртам.
Конец истории уже слушать трудно — мертвецки хочется спать. Женька, захватив пьесу с собой, уходит.
— Про ангела ты мне в другой раз доскажешь... Если не повесишься...

Как свою да мила-ю
Из могилы выра-ю!
Вырaю — обмою,
Пересплю — заро-ю!..

У Петро хороший тонус: привезли новые швабры. Он с утра моет полы в зале и горланит частушки собственного сочинения.
— Слышь, Лександрыч! Выношу воду сейчас, а по зоне Скелет канает. Без сапог. Потеха! Ноги белые, тонкие... Во!..— Показывает палку у швабры.— Тюк-тюк! Тюк-тюк!
Дневальный «тюкает» по проходу, показывая, как ходит инспектор спецчасти. По пути сгоняет волну грязи к одному из боковых выходов.
В прямоугольнике открытых настежь дверей — тонконогая фигура. Петро почти натыкается на нее. Я все вижу со сцены, но не успеваю предупредить. Он замирает. Неестественно кланяется ей и скрывается за углом.
— Чем занимаемся?
Она идет по центральному проходу. Ноги белые-белые. И тонкие. Петро прав. Зачем она надела баретки? В сапогах это не так заметно.
— Это к спектаклю, гражданин лейтенант. Декорация.
Продолжаю махать флейцем, закрашивая «уличный столб» ко второй картине.
— Я слышала, сами написали?
— Мужской состав,— улыбаюсь я.— Такое драматурги еще не писали.
— Почитать дадите?
— Пожалуйста, только... У меня сейчас нет. Экземпляр единственный. Я дал участнику переписать роль. Разрешите занести вам завтра?
— Я зайду сама.

Вечером я снова «подкурил» с Женькой. Немного. Две маленькие затяжки.
Репетиция шла отлично. Сцена «допроса» из первой картины далась Женьке сразу. Его память уже схватила весь текст, и мне пришлось повозиться лишь с его партнером, Федором Николаевичем.
Профессиональный актер из Новосибирска почему-то волновался, испуганно пялил глаза на Рокоссовского и бубнил текст, будто хотел поскорее избавиться от своих слов.
Кончили около десяти. Я отпустил участников спать. Ушел и Петр, заварив последнюю кружку цейлонского.
Мы остались вдвоем.
— Сегодня я жрать не буду! — пообещал я весело.— Я понял смысл этой отравы! Надо управлять процессом! Управлять!
Я затянулся еще раз отнятой у Женьки папиросой и перешел на шепот.
— Значит, так... Как вам известно, Рокоссовский, на промплощадку приходят вагоны с цементом. Пульманы...
Беру карандаш. Вырываю из тетради лист.
— Двенадцать метров длины и два восемьдесят ширины. Мы напиливаем двадцать четыре рейки... В ширину вагона... Снимаем у каждой фасочки... вот так... Когда мы сложим их впритык, они образуют нам лобовую фальшивую стенку. Красим их в грязно-коричневый и сшиваем на два ремня... Здесь... С обратной стороны. Сворачиваем, как штору, и прячем до момента... Вагоны пришли. Их выгрузили. Мы затаскиваем это в вагон... Один держит эту декорацию... Другой вбивает два гвоздя. Вся стенка висит на ремнях. Нужно всего двадцать пять сантиметров, чтобы только стоять за ней... При длине двенадцать метров заметить недостающие сантиметры невозможно...
— А если залезут в вагон?
— Исключено. Я видел не раз. Чисто машинально глядел, как выпускают порожняк. Смотрят под вагон и на миг... Соображаешь?! На миг заглядывают в открытые двери. Вагон пуст! Смотреть не на что. Человек же в заклепку превратиться не может!
Рокоссовский обдумывал не долго. Он взял рисунок, сжег его на спичке. Потом грохнул кулаком по столу.
— Даешь Москву!! Дойду до Сталина! Лично! — Еще удар по столу.— Пойду чистить фраеров!
Вынул новенькую колоду самодельных карт, потасовал несколько мгновений, спросил:
— Ты веришь во что?
Я пожелал покорить его до конца. Достал монету Марка. Вертанул ее под потолок и прихлопнул ладонью, не дав ей задребезжать на столе.
— Я спрашиваю: будет ли нам хорошо от того, что мы хотим сделать?..— Выдержал паузу.— «Да» или «нет»?!
Отдернул ладонь.
Драхм ответил: «Да».

Александре Ивановне пьеса не понравилась.
Возвращая рукопись, инспектор скривила рот, и я услышал:
— Дешевка...
Я пожал плечами.
— В жизни мало сильных людей,— продолжила она.— А в книжках слишком много.
Щелкнул портсигар. (Я не видел, чтобы она курила.)
Я зажег спичку.
— Спасибо.
Протягивает портсигар.
— Спасибо.
Смотрю вниз, на пол... Коричневые баретки с ажурным накладным язычком. Жесткая мышца ноги. Острые коленки...
— И в жизни, и в книгах много сильных людей,— выдавила из меня эта проклятая коленка.

Я услышал, а когда поднял глаза, и увидел, как он смеется. Скелет смеялся носом... Посапывал коротко, отрывисто, как при насморке.

На смехе разговор и закончился. Но в течение многих дней мне мешало, злило что-то, не давало покоя. Это «что-то» было очень похоже на стыд. Будто получил пощечину, на которую не ответил ничем.

Она заходила через день, брала книги, возвращала их, но разговора больше не возникало, отчего мерзкое состояние униженности разрасталось и готовилось выплеснуться.

Подготовка к побегу не нарушила текущих дел. Днем мазались декорации. Вечером репетировали.

В один из дней на стол майора Сметанина «лег» на подпись эскиз: «стенка коридора» для пятой картины. Это была наша стенка, ее размеры, ее цвет и фасочки. Ее будет делать цех. Нам останется только получить готовое.

По ночам Евгений безбожно обыгрывал лагерь. Деньги, одежда, обувь, часы, кольца, золотые коронки... Чего только он не приносил в клуб!

Деньги прятались в ломаный саксофон. Все остальное, при помощи Петро, сбывалось за зону через бесконвойных, которые на этом, естественно, неплохо зарабатывали.

Медленно отрастали волосы.

По нескольку раз на день я вертел голову перед зеркалом. У Женьки, повторяю, на голове был сущий клад. Я же был похож на сбежавшего из холерного барака.

И еще мы ждали зимы.

Зима не сезон для побегов, но именно поэтому она и была нам нужна.

Вечер. Помню дату, потому что выводил ее пером в этот вечер: «28 октября 1949 года».

Мы, как и обычно, засиделись допоздна. Надзиратели, привыкшие к нашему бдению, при обходе уважительно напомнили:

— Спать, артисты, спать...

Но спать не хотелось. В тысячный раз мы проверяли свою готовность. Обсуждали детали. Спорили из-за мелочей.

Неожиданно, вроде бы исподтишка, всплыло в разговоре имя Александры Ивановны.

Женька сидит на койке. Тихо бренчит по гитарным струнам.

— Женщина — б..., пока она не мать,— резюмирует он.

— Есть и исключения.

— Исключений не знаю. Ты не о Скелете?

— И в мыслях не было,— соврал я.

— Да?

Женька дернул первую струну. Она взвизгнула и долго прятала свой голос в тишине клубных стен.

— Что «да»?

Он «зарядил» папироску, раскурил, передал мне и, откинувшись на подушку, произнес:

— Лиса и Виноград.

— «Косточки от винограда» ты хотел сказать...

— Пусть «косточки», но не по зубам!

— Эту не трудно проверить...

(Белые, сухие коленки... Девчоночьи... Такие коленки были у Люськиной сестренки...)

В руке монета. Я перекатываю ее между пальцами, как это делал Марк.

Монета натягивала и без того натянутое до отказа, она толкала падающее, она была чуть порочнее нас и не была умнее.

— Она ляжет на эту койку!..— (Меня трясло!) — Она ляжет на эту койку! — упрямо повторяю я, глядя на трясущиеся руки.

— Повело...

— Я абсолютно нормален! Потому я ее и хочу, что нормален! Как я не понял этого раньше! Кретин!

Меня действительно «повело». Я тряс монету. Ходил вокруг стола, пытаясь почувствовать свое место, повторяя бессчетный раз «кретин» и вспоминал Марка.

— Кончай, Витька! — крикнул Рокоссовский.

Но было поздно. Монета брякнулась на стол, завертелась. Я шлепнул ее ладонью и затих. Слышу дыхание Женьки. Непривычно звонко булькает пульс в руке. В той, под которой...

— Да или нет? — спрашиваю одними губами и отдергиваю руку.

Драхм одобрял безумство.

— Бумагу! — потребовал я у самого себя и ответил: — Несу, Лександрыч!

Схватил тетрадь. Тут же бросил ее в угол.

— Не то! Нужна грубая оберточная бумага! Только глупцы пишут женщине на листочке с типографской розочкой в уголке! Вот! — Разглаживаю бывший кулек из чьей-то посылки.

— Письмо должно быть длинным. На них действует не мысль, а сам процесс чтения!

«Вы тонете в море людской ненависти. Я вас люблю за то, что вас ненавидят. Мне не нужно сейчас ничего, кроме вас. Свободы я не жду. Что в ней? Разве я встречу там схожее? Да и во мне — возникнет такое? Никогда!

Полужелание мы выдаем за бурю страсти, ленивую ласку за безумный порыв... Лжем постоянно от слабости чувств и от отсутствия напряжения. Лжем себе и тем, с кем ложимся в постель...»

Слова текли, затопляя бумагу, а за ними, толкаясь, давя друг на друга, наплывали еще и еще...

«Я не боюсь вас, ибо люблю вас... Вы поняли, признайтесь, что я не раз раздевал вас, чтобы увидеть то, что не видит никто.

Вы страдаете больше, чем страдаю я. Эти страдания в бледности кожи, лишенной ласки. В вашей груди, которая трется лишь о грубое сукно шинели... Людская желчь выела голубизну ваших глаз, обесцветила губы, разучила улыбаться и плакать...»

— Читай вслух,— клянчит Женька.

Я только отмахнулся от него.

«Кто разберется сейчас: кто виноват, кто — нет? Сейчас — никто! Потом — может быть... Не скоро... А сейчас?! Надо дышать сегодня, надо глядеть сегодня, любить сегодня! Гнать и гнать кровь, петь гимны и целовать, целовать до усталости. Отдать то, что не принадлежит никому, что отгорожено запретной зоной, что в холоде односпальной постели взывает стоном мокрых губ...

Шура!

Не рви письма! Не стреляй в свое женское в упор! Я все равно вижу тебя такой, какой ты бываешь одна, когда нет меди пуговиц. Нет ремня, что телячьей кожей перехватил заблудшую душу. Ты заблудилась, как и я... Я вышел не на ту дорогу: ты — мечешься по бездорожью.

Я зову тебя, потому что одинок. Наши одиночества уже сплелись, мы — еще нет. Я слышу звук твоих шагов. Они за стеной... Они близко... Шура!..»

Подумал и поставил еще два восклицательных знака.

«Шура!!! Завтра, после второго сеанса, в клубе...»

Поставил дату. Подпись.

Оглядываюсь. За спиной Женька.

— Тебя отправят на Север,— ответил он на мой вопросительный взгляд.

— В вопросах пола, Женя, ты не дотягиваешь.

Запечатываю конверт. Пишу на нем:

«Инспектору спецчасти Цыкиной А. И.».

Мы вышли из клуба.

В небо будто ткнули толченое стекло и подсветили несильно. Под ногами с противным хрупаньем ломались мерзлые лужи.

Мы подошли к штабному бараку. У входа ящик. «Для жалоб и заявлений».

— Загремишь на этап,— буркнул в последний раз Женька.
— Если так, то монета — пустое... Ты же понимаешь, Женя... Надо же на чем-то проверить монету.
Женька отвернулся. Он не мог смотреть, как я засовывал разбухший конверт в щель ящика.

«МАШЕНЬКА»

начало в 18 и 20 часов

Фильм я видел не раз, потому, покончив с выдачей книг, брожу по комнате. Примерил рубашку, приготовленную к побегу. Ворот тесен и в плечах тоже... Но зато — белая, шелк-полотно.
Днем несколько раз приходила мысль открыть ящик и изъять письмо. Один раз прошел мимо. Можно было бы оторвать ящик и сбросить в яму ближайшей уборной. Но мне мешал это сделать Марк. Он кашлял где-то рядом за моей спиной и говорил отчетливо: «Создавай новые условия и познавай себя в них. Остальное не имеет цены».

Женька угощает спиртом (пронес через вахту совершенно открыто в бутылочке из-под чернил). Руки в чернилах. Пузырек в чернилах... Снаружи. А внутри чисто. Там спирт.
Ударило. Запело все. Стало тепло и весело.
Шел второй сеанс.
Женька, не дождавшись конца сеанса, ушел.
— Пойду, картишками побалуюсь...
«Переживает»,— отметил я и еще отметил, что во мне не осталось ничего от того, что было днем. (Ящик вскрывают утром... Если бы «что-нибудь», то это «что-нибудь» последовало бы днем.)
Я насвистывал какой-то мотив.

Хлопнулись заслонки в окошках проекционной будки. Зажужжало. Это Петро перематывает ленту...
Я выключил общий свет в зале. Осталась на сцене одна дежурная лампочка.
Запер дверь... вторую... третью... Четвертую, самую близкую к сцене, оставил полуоткрытой.
Метелит. В щель намело длинный белый язык.
Стою у портала сцены. Жду. Курю до горечи. Жду. Холод долетает до меня через зал.
Жду.
Она вошла и потянула за собой дверь.
— Шура...— вырвалось гортанное и громкое, усиленное пустым холодным залом.
— Шура...— я шел по скамейкам навстречу щели, сквозь которую швырялся снегом обезумевший ветер.
Толкаю задвижку, уже успевшую обледенеть.
— Идем.
Она отстранилась чуть, но тут же я поднял и понес ее, легкую, почти невесомую, пахнущую морозом и жасмином.
Я нес ее мимо пустых рядов, мимо кулис и недокрашенных декораций...
Ногой толкнул дверь и осторожно, как тяжелораненую, опустил на койку.
Помню, мешали холодные пуговицы. Я отрывал их зубами и сплевывал в угол.
Помню мятую обвислую грудь и твердые, как пробки, соски...

— Достань портсигар.
Я нащупал его в упавшей на пол шинели.
— Спасибо.

Долго молча курим.
Она сидит, обхватив колени. Изредка протягивает руку, чтобы стряхнуть пепел.
— Что ты хочешь? Говори, что ты хочешь? Я сделаю.
Я молчу.
— Хочешь, я переведу тебя в сельхоз? К твоему Живило... Хочешь?
— Не надо.
— Почему?
— Я хочу быть здесь... С тобой...
Бросила окурок. Вцепилась в губы.

Рассматривает порванный лифчик.
— Оставь его мне.
— Зачем?
— Оставь.
— Сумасшедший...
Бросает лифчик под койку. Вцепилась в губы.

Стоим в полутьме зала.
Черт бы побрал задвижку! Примерзла. Расшатываю ее дверью.
— Шура...— шепчу последний раз, грея лицо в теплом жасмине.
Вырвалась. Ушла.
Метель в морду.
Ночь в морду.

ЛИСТ ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ

Дату эту помню наравне с датой рождения: 11 декабря 1949 года.

С утра побрил-ся
И галстук но-вый
В горошек си-ний
Я на-дел...—

само слетает с языка.
Зализываю перед зеркалом волосы. Косой пробор. Очень даже идет. Галстук (цвет ржавого железа с синей полосой). Шуршит рубашка (шелк-полотно). Вельветовый пиджак — бывшая собственность моего бригадира (Женька за десять минут выиграл ее в «буру»). Темно-синие бриджи английского производства заправлены в новенькие черные валенки военного образца. Шапка из оленьего меха. Безрукавка-самоделка на меху. Демисезонное полупальто (светлый беж).
На всем этом — огромный грязный лагерный бушлат: иначе за зону не выпустят.
Деньги поделены вчера (по четыре тысячи). Вчера же Женька принес снотворное. Произнес театрально:
— Побеждает тот, кто перед боем спит...

Утро тихое, морозное, солнечное.
В десятом часу мы встретились в условленном месте. Вагоны еще разгружали.
Женька угощает цветным драже.
— Если боишься — оставайся. Уеду один.
— Обнаглел ты, Рокоссовский. Мне не трудно передумать и оставить здесь тебя.
Рассмеялись.
— Хлебнешь?
Достал из-за пазухи флягу. Я глотнул дважды и задохнулся спиртом.

— Пошли!

Пересекаем большое корявое поле, заваленное щебнем и бутовым камнем.

Не останавливаясь, прошли мимо сугроба, где ожидает своего часа готовая «стенка». Женька месяц назад получил ее в цехе и запрятал здесь, тщательно проверив размеры.

— Зайдем в столярку. Шлепнем ножовку на всякий случай.

— Зайдем, Женя, зайдем. Меня беспокоит другое: если вагон окажется чуть шире... Ты представляешь? Хотя бы на один-два сантиметра...

— Заклиним рейкой.

— Значит, надо еще и рейку.

Из цеха вышли прямо к котловану. У Женьки под бушлатом ножовка, у меня в кармане молоток и гвозди.

В котловане копошатся люди. Ставят опалубку. Арматуру. Принимают бетон.

— Эй, артист, по тебе тут тачка плачет!

Это моя бригада. Подходим к костру. У огня бригадир и Шпала. Здороваемся.

— Киданем? — предлагает вор, вынимая карты.— Бурочки мне личат. Какой размер?

— Жать будут,— дружелюбно отказывается Женька. Шпала не унимается.

— Воров не уважаешь... Брезгуешь, что ль?

— Отвали,— огрызается Рокоссовский.— Хочешь играть бурки, приходи. Юрту мою знаешь.

— Брезгуешь,— куражится Шпала.

— Пойдем? — вставляю я, предчувствуя конфликт.

— До вечера-то бурочки замажешь, маршал...

Женька отвечает ему одним словом, присел на корточки, подставил руки к самому огню. Греет. Шпала поднялся. Постоянная бессмысленная улыбка вдруг исчезла.

— Я чего-то вроде бы не понял,— спрашивает он у бригадира.— Вроде бы что-то эта сучка сказала?

— Педер,— громко ответил Рокоссовский.— Педер! Слышно теперь?

Искрами взорвался костер. Пыхнула желтым пламенем Женькина шапка... Молоток! Бью со всей силой по тощей спине. Еще раз наотмашь... Шпала осел в снег. Сильно толкают... Это — Женька. Бушлат дымит... Шапки нет... Лица нет... Только белые глаза на угольной маске. Поднял скрюченного от боли Шпалу и в гудящий жар...

— Братцы!! — вопит бригадир.— Воров жгут!!!

Женька глушит его доской. Доска длинная, он сгоряча задевает меня (адская боль в локте). Бьет вылезающего из костра Шпалу... По спине, по рукам... Шпала скачет лягушкой. Крутанулся на спину и в снег. Сбил огонь с себя. Подпрыгнул всем телом и понесся зигзагом по снежной целине.

— Эй, педер! Приходи бурки играть!!!

Женька хохочет осатанело. Зачем-то еще раз огрел лежащего без сознания бригадира и бросил доску в костер.

— Хмыри! — кричит он бригаде.— Пока бригадир спит — погрейте ляжки!!!

Бросили тачки. Идут. Перешагивают через лежащего. Окружили кольцом огонь. Протянули руки.

Женька вынул «Казбек». Закурил. Остальное роздал: один черт, все сломаны.

— Гляньте, что с ним,— распоряжается Рокоссовский. Неохотно отступили от огня двое. Нагнулись над бригадиром.

— Пыхтит...

— Кинь шапку!

Содрали с лежащего, кинули.

Женька напяливает черную кожаную шапку.

— В самый раз... Ну, хмыри, наваливайте больше — катайте дальше!

Двигаемся в обход котлована. Отсюда видны вагоны и ползущее от них по полю серое облако: там еще разгружали цемент.

— Ко-о-стро-ов!!!

Нас догонял человек.

Это оказался культорг бригады, заступивший на должность после меня. Он принес мне письмо.

От тети.

Мы зашли в ближайшую «инструменталку».

С большим трудом, строчку за строчкой, расшифровываю я старческие каракули своего единственного родственника.

«Здравствуй, ненаглядный мой племянничек. Получила я письмо твое и вконец заслепла от слез горючих. Что же это на белом свете делается-то? Али с голоду украл чего? Господи, да усохнут руки у него, коли так. Ни за что не сажают, не ври тетке. Я ить жизнь прожила чужого не тронула, слова грязного не болтнула. За что же сажать? А ты, паршивец, супружницу бросил, дом родной кинул, невесть куды подался. Кина ему понабилась. Люди без кина жили сколь? Во и хлебай тепереча слезы ладошкой. Господи, хворобу-то там не подхвати каку. Крестися не забывай хочь перед сном.

Витенька, я посылочку собрала. Не осуди за бедность уж. Крупы разной уложила и гречу тоже. Сахару пиленого и такого. И сала на базаре купила. Сейчас морозно, не зацветет по дороге. Витенька, чего ж будет-то, миленький? Ой, не можно совсем... Царапаю, а сама не вижу ничего. Слезы мешают.

Клавдия. Тетка твоя».

Около двух часов дня едкое облако наконец опустилось на снег. Разгрузка окончилась. Вокруг ни души.

Из трех пульманов мы выбрали первый, тот, к которому подцепят паровоз: ширина этого вагона точно соответствовала стандарту.

Женька пошел за «стенкой», я тем временем разложил на полу гвозди, приготовил молоток. (Руки горят, совершенно не ощущая мороза.)

С грохотом влетела «стенка-рулон», а за ней впрыгнул и Женька.

Наступила ответственная минута. Рокоссовский подтянул «стенку» поближе и поднял ее на вытянутых руках, как штангу.

Я начал вколачивать гвоздь в край одной из верхних реек с расчетом, что он выйдет в боковую стенку вагона.

Гвоздь согнулся при третьем ударе: промерзлое дерево не впускало его.

— Держи! — злобно прохрипел Рокоссовский.

Теперь всю эту колыхающуюся на ремнях многопудовую штору держал я. (Я точно знаю, что никогда в жизни не поднял бы такой тяжести, но в эту минуту тяжесть была смыслом жизни.)

Женька всаживал один за другим проклятые гвозди. Рейки звенели, как стеклянные, кололись, сопротивлялись.

— Все! Отвали!

«Стена» висела! Висела!

— Натурализм! — воскликнул Женька, «запудривая» ее цементом. Откатив обе двери до отказа (смотрите на здоровье!), заползаем в узкое пространство между стенками.

Сквозь щели виден кусок заснеженного поля — справа, слева — огромный цементный холм.

Глотнули еще спирта.

Прошло не более получаса. Совсем близко загудел паровоз: чувствуем ногами, как дрожит вагон. Лязгнули буфера. Вагон дернуло, и я оцепенел от ужаса... Все двадцать четыре рейки разом рванулись от лица. Инстинктивно вцепляюсь в ремни, стараясь удержать завесу, но этого не требовалось. Восемь гвоздей надежно держали ее. Она просто колыхалась, как любой висящий предмет.

Проплыли мимо штабеля досок... Ящики со станками... Горы кирпича... Люди, копающие котлован... Мелькнула шлакоблочная постройка...

Сейчас будет запретная зона, колючая проволока, вышка с пулеметом, а потом...

Потом — *воля!*

Женька снял шапку. Я сделал то же самое. Вагон замедлял ход. Все медленнее, медленнее...

Идеально ровная перина запретной зоны... Первая линия проволоки... Фанерный прямоугольник: «Стой! Стреляю!»

Вторая линия проволоки...

И вдруг — лицо мальчишки... двадцатилетнего, курносого. Из-под шапки светлые кудри. Он поет... Да! Да! Поет без слов! Тараракает весело и беззаботно. И весело и беззаботно пробежал глазами по пустому вагону. Его взгляд на мгновение встретился с моим: он был от меня не более чем в четырех метрах...

Вот он повернул голову к противоположной стене и юркнул под вагон, продолжая тараракать свой веселый мотив. А мимо уже плыла вышка...

У пулемета, спиной к нам, черный тулуп...

Потом ничего не было.

Я закрыл глаза. Слышу скрип промерзшей обшивки вагона и глухие удары сердца...

А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер!
Веселый ветер! Веселый ветер! —

тихо пел Женька.

Качалась «стенка». Ветер ударял в нее, стегал через щели по глазам цементной пылью.

Моря и горы ты обшарил все на свете..

Нас встречала *свобода.*

ЛИСТ ДВАДЦАТЬ ТРЕТИЙ

Свобода...

Это ощущение коротко. Это — миг, как и все, что прекрасно.

Если это продлить, не выдержит ни разум, ни сердце. И сравнить это не с чем.

Ни экстаз любви, ни глоток воды при смертельной жажде, ни первый крик младенца для матери, ни исцеление от слепоты, ни находка клада не могут сравниться с этим...

Я не говорю о долгожданном назначении на должность, о выигрыше в лотерею, о чтении некролога с портретом личного врага...

Нет ничего общего с этим ни в моменте великого научного открытия, ни в минуте, когда вместо привычной шляпы надевают вам на голову венец из благородного лавра...

Не найти красок для живописания этого и не сыграть этого никакому актеру...

Пожалуй, лишь глухота Бетховена услышала однажды это...

Вспомните!

Рушится тьма, низвергаются в небытие глыбы мрака. Рвутся черные завесы. Смерть смерти. Конец ночи! И...

...бежит издалека, трепещет золотом и оранжем звонкий свет! Слепит на миг, но тут же материнской лаской гладит очи, гладит душу!

И сразу хочется рыдать! Рыдать и хохотать! Протягивать озябшие ладони! Хватать! Хватать лучи! Хоть чуть их придержать, запомнить, приберечь!

Куда там...

Они летят... И это скорость света! Они не только для тебя! Они для всех! Они спешат и к тем, кто жив, и к тем, кто мертв!

И все ликует!

Солнце! Солнце!! Солнце!!!

Людвиг Ван Бетховен.

Купите черный диск. Запритесь дома...

Поставьте на «фортиссимо» шкалу и не дышите.

Да! Да! Дышать не надо.

Дыханьем вашим будет он! И вашим сердцем...

Ударят враз смычки по нервам скрипок. Заплачут флейты... Хлынут медной лавой трубы... Сойдутся на неистовый шабаш гигантские литавры...

И по бесчисленным дорогам ваших вен, где час за часом, год за годом течет в сонливой неге кровь, задует ветер!

Ветер — буря!..

Погонит вверх! Погонит вниз! Туда — сюда! Давай! Давай, стоячее болото! Эй, эй! Быстрей! Живей! Не отдыхать сюда явился! Тоже мне — Обломов... Шевелись! Ну, словно труп, ей-богу! Смотри, как ярко светит солнце! Смотри: кругом цветы! Твои любимые ромашки, будто дети, вышли в поле! Смотри, вон — люди! Такие же глаза у них, как у тебя и так же пахнет кожа!

Это — Люди! Люди!!!

Они порою воют волком... Бывает, что укусят больно...

И все лишь оттого, что все хотят СВОБОДЫ!

Колеса вагона отстукивали свое: тык-тык, дак-дак... Ошеломило свободой. Ошпарило вольностью и тут же захватило прищипом сердце.

Из глубин сознания выполз банально вечный и трагический в своей бессмертности вопрос:

Что делать?

— Что делать будем? — спрашивает Женька.

— Как «что»? Жить будем,— отвечаю я,— а если откровенно: то и сам Аристотель не ответил бы на этот вопрос, будь он на нашем месте...

Винтовочными затворами лязгают стрелки, швыряют со стороны в сторону порожний вагон.

Мелькает редкий лесок... Проскочила лесопилка... Люди в знакомых бушлатах... Это бесконвойные.

— На запад волокет,— замечает Женька.— Километров восемьдесят чешет. Как думаешь?

— Давай вылезем, прикроем двери... а?

Прикрыли. Не так шкодит ветер, а то такие сквозняки устроил, что по вагону заходили цементные смерчи.

— Значит, договариваемся как? — спрашивает Женька.

— Как и договорились: при первой остановке разойдемся.

— Постарайся сесть на скорый. Товарняк осматривают.

— Будто пассажирский не проверяют.

— Поголовно нет. Я-то знаю. Конечно, если ты рыло не будешь всем показывать...

— Что же, мне на унитазе сидеть?

Помолчали.

— Времени у нас много,— снова заговорил Женька.— Искать будут на промплощадке дня три, не меньше.

— Это точно,— соглашаюсь я.— То, что ты со Шпалой затеял, гениально!

— Еще бы! Вся бригада в свидетелях... Избили «вора в законе»! Значит, точняк: зарезали обоих. Неделю будут трупы искать!

— А трупы,— подхватил я весело,— будут дефилировать по столице!

— Не суйся туда сразу... Приведи себя в порядок... А то прямо на вокзале накроют.

— Документик бы какой-нибудь...

— Паспорт не хочешь? На имя товарища Уинстона Черчилля?! Никак тормозим?!

Состав замедлял ход. Пристанционные постройки. Пацаны лепят «бабу». На голове у «бабы» ржавый таз без днища.

— Нижнеудинск,— прочли мы вслух.

Сворачиваем с центральной магистрали. Соседние пути забиты товарняком.

Остановились.

Скидываем бушлаты, пихнули за «стенку». Отряхиваемся от цементной пыли. Допили спирт.

— Я пошел,— сказал Рокоссовский.

Ладонь в ладонь. Пальцы в пальцы. Глаза в глаза. (Какие слова тут скажешь?)

Шагов его я не слышал, они потонули в гудках и грохоте товарного тупика.

Смотрю на часы: без двадцати шесть.

Ушел паровоз. Пришли сумерки, притащив с собою еще градусов десять мороза. Итого не меньше двадцати пяти.

Замерзли руки (перчаток мы так и не достали!). Замерз нос. Надо выходить...

За кривыми путями — ровное поле. Над ровным полем — кривая луна. Через поле синяя тропка к домам. Домики махонькие — в одно-два окошка — и все дымят голубым. Тихо, ни собак, ни людей. Где-то у черта на куличках, поеживаясь от мороза, выстрелила древесина, и опять тишь.

Брожу вокруг станции часа три.

Согрелся ходьбою, и руки согрелись, и нос, но по спине нет-нет, да и пробежит холодок... Это я знаю что... Это — страх.

Властно приказываю, кричу себе: на станцию не пойдешь! Поезда нет, там пустынно, и тебя, как миленького... Будешь ждать рассвета! Будешь ждать дня! Тогда к кассе! Билет! И в поезд! Инстинкт, как собаку, погнал к домам.

Ночлег. Ночлег. Ночлег.

Домишки оказались близко. (Наверное, быстро шел?) Окошечки маленькие, как у вагонов.

Занавески, занавески, занавески.

Хоть бы одно лицо в окне! И на улочках ни души. Да и улочек нет — тропки в глубоком снегу.

Окно.

Лицо. Пожилой мужчина. Железнодорожная фуражка. Обхожу дом вокруг. Еще одно окно. Сквозь пыльную изморозь вижу что-то вроде нар. Цветные подушки и дети. Двое. Что-то едят... Да это яблоки... Подошла женщина, на плечах телогрейка. Говорит что-то ребятам, садится тут же на нары. Улыбается... Она очень молоденькая, почти девочка.

Другой угол мне не виден. Там мужчина.

Жду.

Вот, наконец, он надевает полушубок. Вместо фуражки — шапку. Лет пятьдесят, не меньше. Наверное, отец...

На стук ответили оба.

— Кто там?

— Пожалуйста, извините...— Запнулся.— Я незнаком вам. Мне необходимо поговорить с вами...

Дверь открыли.

Вошел, как под детское одеяло... Две головки... Открытые рты... Глазки — пуговки.

Женщина двинула табурет, смахнув с него шкурки от яблок.

— Присядьте.

Сел. Смотрю в ее глаза. Его не вижу (он за моей спиной, у двери). Нет! Соврать не могу! Не смогу, хоть лопни!

— Я сбежал из лагеря.

Ничего не изменилось в лице. Ничего. Поворачиваюсь к мужчине, повторяю:

— Я сбежал из лагеря.

С его лицом тоже ничего не происходит. Он отворачивается от меня и... запирает дверь на крюк.

— Там об этом еще не знают. Вы не беспокойтесь... Я не смог больше... Я осужден несправедливо. Я — не вор, клянусь вам, не мошенник. Я никого не убил. Сейчас на станцию нельзя... У меня есть деньги...— В руках деньги.— Мне надо до Москвы, там у меня все... Я никогда не забуду вашей доброты... До утра, до поезда... Прошу вас...

Замолчал. И они молчат. Мужчина присел к столу. Подкрутил фитиль в керосинке.

Морщинки, морщинки... Седые брови... Совсем дед. Все шестьдесят. Порез от бритвы на шее залеплен папиросной бумажкой.

— Седьмой у нас — без остановки. Только «Свердловский»... В девять шестнадцать.

Я не видел, но почувствовал, что женщина улыбнулась.

(Дрожит подбородок. Дрожит и ничего с ним сделать не могу.)

— Дядя, ябли! Дядя, ябли!

Малыш тянет руку с огрызком яблока.

(Дернулось лицо. Не выдерживаю — плачу.)

Засуетились.

— На бочок, на бочок,— зашикала она на сыновей.

Хозяин поднялся.

— Задерни занавески...— Взял фонарь и уже в дверях: — Разбужу к поезду.

Вышел.

— Да не тревожьтесь... Он на дежурство пошел.

— Ну, как вы можете...

(Стыдом ошпарило морду — у меня действительно мелькнула эта зловещая мысль.)

— Наш папаня тоже... отбывает. Два отсидел, год остался. Вы в каком?.. Из какого? — поправилась она и улыбнулась.

Я назвал номер.

— А наш папаня в сангородке трудится... Медбрат.

Поставила на керосинку чайник.

— Это ваш отец?

Кивнула головой.

— Серьезное что-нибудь?

Снова кивнула.

— Пить и есть захотел богато. Я ему сто раз твердила: «Не пакости! Не пакости!..» Скиньте валенки. Вот сюда кладите. Утром теплые будут. Вал какой-то ценный из депо стащил и в колхоз продал. Ну, и что теперь?.. Сам сидит. Нас — с квартиры долой: деповская. Куда устроишься? Яслей нету... Хорошо, дед приехал. С пенсии да за работу. Вот ведь как...

(Молодая, совсем молодая. Сколько, интересно, ей лет? Двадцать, наверное... Руки усталые. Обломаны ногти. Медное колечко — символ супружества. Круги под глазами. Говорит сердито, а сердиться не умеет еще, по-детски только хмурит брови и все.)

— Вам внакладку?

Мне постелено на полу. Дедовский тулуп пахнет машинным маслом и табаком. Вкусно. Гудит в печи уголь.

Свет погашен. Дети спят. Она не спит, вздыхает, ворочается.

Мне не спится — понятно. А она? Может, боится все-таки?

— Вы меня боитесь?

— Ни капельки,— донеслось из темноты.

— Тогда спите.

— Не получается.

— И у меня ни в одном глазу.

— Давайте в карты играть,— неожиданно предлагает она.

— В карты?

— Ну да. Давно в карты не играла. Как Валерку посадили... Вот с того времени...

Зажгла огонь. Из шкатулки — она тоже сшита из карт — вынула колоду. Садится рядом на тулуп.

— В подкидного умеете?

— Мало-мальски,— скромничаю я, сдавая карты.— А на что?

— Начнем с маленькой,— объявляет она, будто не слышала вопроса.

Выкидывает две семерки. Крою. Подкинула девятку. Я потащил карты к себе. (Совсем как школьница. Забылась в игре. Ничего уже нет: ни Валерия в тюрьме, ни меня из тюрьмы.)

Накидывает мне целую кучу — везет девчонке.

— Мы с ним на поцелуи играли... С Валеркой...

Брови нахмурены. Напряженно думает, с чего ходить.

— Мама, пись-пись,— замяукал Лёшик.

(Лёшик и Олёшик — так она их называет.)

— Потерпи минуточку, сынок...

Не отрывается от карт. Ходит дамой. Трачу на даму козыря.

— Нету,— разочарованно говорит хозяйка и берет на руки сына.

— Пись-пись-пись,— помогает она ему, держа над ящиком с углем.

— А у вас на поцелуи не играют?

— Где? В лагере?

Засмеялась.

— Нет... В Москве?

— Играют... почему же... Только мне не везет — проигрывал.

— А проигравший чего делает? — допытывается лукавая.

— Обязан целовать выигравшего.

— Надо же! И у нас такое же правило!

Смеемся оба.

Уложила Лешика. Смешала карты.

— Давайте сначала.

— Под интерес?

— Конечно... А то скучно.

(О, молодость!) Я тоже забываю обо всем на свете; гляжу на пухлый рот и, в прямом и переносном смысле, захожу с туза:

— Меня, добрый мой ангел, зовут Виктором.

— Я все спросить хотела, да как-то неудобно...

— А вас?

— Надежда,— отвечает она кокетливо и кладет на моего бубнового туза козырную шестерку.

Подкидного прерывал за ночь три раза Лешик, два раза Олешик и один раз я.

Проигрыш платили по-честному...

Вошел дед. Еловой веткой у порога сбил с подшитых валенок снег. Подкинул уголь в печь.

— Пора... «Свердловский» вышел на перегон...

Сидя на полу, надеваю теплые валенки. Встаю.

На столе — железнодорожный билет.

— До конечного пункта,— сказал дед не мне — сказал ей.

— Ты умница...

(У меня опять что-то творилось с подбородком.)

Я протянул деньги.

— Ни! Ни! — крикнула она отцу.

Дед аккуратно сложил деньги и, с неожиданной для его лет силой, вложил их в мои руки.

— Не обижайте Наденьку...

Я вымазал их лица своими слезами и вылетел вон...

Скорый «Хабаровск — Свердловск» принял в свое чрево двух пассажиров: меня и хмельную толстуху. Я помог ей втиснуть в тамбур корзины, из которых торчали шипящие гусиные клювы.

— Во, жельтмен! Во, жельтмен! — гыкнула тетка на весь вагон.— Дай-то те бог всякого всего такого!..

ЛИСТ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

Свердловск, пятнадцатое декабря. Полдень.

— Бяги, бяги! Чево пялишься?! Занимай в камеру!

— Да где они, камеры-то?

— Дык, спроси, остолоп, спроси!

— А ты?

— Я тут покуда с вешшами.

— Внимание! Внимание! Пассажир Лютиков, прибывший из Омска! Вас ожидают у справочного бюро вокзала! Повторяю...

— Ресторан к вечеру отворят...

— На кой те ресторан? Ее в гастрономе — залейся.

— А пить? Опять в сортире?

— Гляды-ко-тка! Санитарный какой... Тама у деда стакан зато. Завсегда дает.

— Ой, сынок, заблудилась... На Тагил мне надоть, на Тагил.

— Осторожней с мешком! Тыква!

— Пирожки горячие! Кому пирожки горячие?!

— Напечатано во вчерашней... Вы что, мне не верите?

— Это любопытно...

— Я сам своим глазам не поверил.

— Внимание! Встречающие родственники, вас ждет у справочного бюро пассажир Лютиков, прибывший из Омска! Повторяю...

Если бы не зеркало-гигант во втором этаже вокзала, быть мне в пикете... Так и подмывает у самого себя спросить: «А вы откуда, милейший? Ваши документы?! Пальто (светлый беж) не у гражданина Лютикова сняли? А бриджи? Дар английских летчиков? А что у вас с глазами? Нервы?..»

(Милиция! Сразу двое!)

Поворачиваюсь и прямо к ним, радостно:

— Помогите, дорогие товарищи!.. Как до Управления зм-вэ-дэ доехать? Спрашиваю, спрашиваю — никто не знает...

Объясняют подробно и вежливо.

— Благодарю вас.

Решительно иду на выход.

На привокзальной площади выбрал старуху.

— Мать, барахолка у вас где?

— Это, родимый, на трамвае. Садись сейчас на...

Полупустой промерзший трамвай тащится через весь город минут сорок.

Послевоенная барахолка... «Толкучка»... «Толчок»... Прими поклон до самой земли и да будь ты проклята во веки веков!

Сколько согрела ты рук мятыми рублями... Сколько обула босых ног... Сколько накормила голодных детских ртов, сорвав с родительских плеч последнюю одежонку...

Не подсчитать обманов, сделок, барышей, украденных капиталов. А капитал-то — тощая трубочка, перевязанная веревочкой.

Осторожно, не спеша разматывает мужик веревочку. Неохотно отдал бумажку. Остальные опять в трубочку и опять веревочку... Мотает, мотает, да и в карман задний и засунул. Платок цветастый, что купил, трясет... И сам любуется, и показать другим охота.

— Сколько отдал, батя?

— Сотнягу.

— Переплатил, батя.

— Чего болтаешь? Не слушай его, батя! Платок — что надо! Жена опупеет.

— Жену схоронил... Это — сеструхе.

— За такую тряпицу и молодуху найти можно,— вставляет третий.

Мужик доволен: повезло с покупкой, оценили люди. Не грех и стопку... В базарной пивной у стойки... Рука в карман... Е-мое... Ни трубочки, ни веревочки... Через распоротый бритвой карман видны кальсоны.

— Ы-ы-ы!!! — воет мужик, вытирая сопли цветастым платком.

А котел кипит. Валит пар из тысячи носов и ртов...

...«Почем?»...— «Сколько просишь?»...— «Кому шинель?!» — «Лещенко не надо? „Чубчик"! Дорого?! Крути „Светит месяц"!» — «Да это ж „хром", дура! В таких Керенский не ходил!» — «Часы, хлопец, не продашь?» — «Где дырочка?! Где дырочка?! С магазина кофта. Не видишь — ярлык!» — «Сколько вы за щенка хотите? — Не продажный: сам купил».— «Десятку?! Ты что, офонарел?!» — «Да дай ему в глаз, чего споришь?!» — «Презервативы японские...— Примерить не дашь?.. Гы-гы-гы!» — «Мам, смотри, белочка!»...

— «Темная ночь. Только пули свистят по степи»...

— Эй, девочки, купите патефон — женихов заманивать!

— Вашему брату лучше бутылку! Это — вернее!

— Гы-гы-гы...

— Да разве я продавала бы... Завтра хоронить, а на что?

— Спекулянт несчастный! Пересажать вас всех за решетку!

— Вона! Вона! Я сама видела! Держите его!

— Дер-жи-и-и!!!

— Медальками не интересуетесь? Есть «За отвагу». Уступлю недорого...

— Да я на одних продовольственных карточках по две «косых» имел! А сейчас — прокол полный.

— Будь благоразумна, Катенька. Это же — безвкусица и притом дорогая.

— Подайте, люди добрые...

— Ишь, харю нажрал! Кобель недорезанный!

— Зайки-копилки! Зайки-копилки! Копейку бросаешь — тыщу вынимаешь!

— Ну, что пристали к человеку? Не видите — калека...

— Мово с «Уралмаша» уволили. Алкоголиком обозвали. Вот с горя и пьет кажинный день.

— Бисер старинный, дамочка. Вы же видите... Теперь такого не встретите.

— Беляши! Беляши! Бери еще, красавчик!

Беру шестой. Приятно течет по пальцам горячее сало. Рядом ждет девица. Девица — так себе... Фуфайка. Платок пуховый. Красные валеночки.

— Это что у вас? Женское? — спрашивает она.

У меня на руке пальто (светлый беж). На плечах — обновка: меховая куртка коричневой кожи с капюшоном на «молнии». (К бриджам комплект — что надо!)

— Нет. Мужское.

— Материал красивый...

— Габардин.

(Разворачиваю и демонстрирую «товар».)

— И сколько просите?

Я уже с ним хожу битый час. В продажу оно поступило за 300, потом цена упала до 200, а сейчас я был готов отдать за сотню. Кому он нужен? Под Новый год — габардин... Смешно...

— Отдам за сотню, девушка. Честное слово, надоело ходить. Оно совсем неношеное. Смотрите...

Взяла. Накинула на себя. Соображает.

— Перешить можно... Цвет больно приятный.

— Конечно! К весне как раз. И цвет вам идет. Берите... Это же просто даром.

Она держит пальто. Гладит мятый рукав. Чуть смущенно произносит:

— Я бы взяла... У меня с собой нет столько... Я за чулками пришла. Вы не смогли бы дойти? Это рядом...

— Конечно! Какой разговор...

Выбираемся из толпы к трамвайному кольцу. Свернули налево в узкий проулок.

— Вы — из-за границы?

— Откуда? — не понял я.

— Из-за границы?

— Почему вы так решили?

— А у нас парни тут приехали... В Германии служат. У них тоже куртки такие и вообще вид такой...— Она долго подбирает слово.— Солидный...

— Я из Москвы. В командировке.

(Кажется, возникла необходимость объяснить теперь, почему столичный командировочный загоняет демисезонное пальто... Идиот! На подобные вопросы у тебя должны быть готовые ответы!)

— А это — товарищ попросил продать.

(Не очень удачно. Теперь надо объяснить, почему «товарищ» сам не пошел на базар.)

— Он здесь в госпитале. С войны еще...

— В каком? — любопытствует покупательница.

— В этом... э... в центральном.

— На улице Красной Армии, который?

— Ну да.

(Дальше врать легко — прямо само выскакивает.)

— Заехал к нему, а он — сами знаете мужиков — выпить охота, скучно... Все равно валяется. Говорит: «Продай, да продай...»

— А что у него?

— Рука... Вот так отпилили...

— Осторожней! Тут у нас ступеньки неважные.

— Ерунда.

Печь в полкомнаты. Круглая, горячая.

— Доменная? — шалю я словами.— Кузбасс на дому?

— Грейтесь.

Скинула фуфайку, платок. Забросила за печку валенки. Так и осталась в шерстяных чулках.

Подошла к швейной машине, достала из ящичка деньги.

— Извините, что так вышло. Задержала вас...

— Ерунда. Спешить некуда.

Сказалось это как-то очень грустно: «Спешить некуда».

— Вы не сегодня уезжаете?

— Могу ехать, могу — не ехать...

И скажи она мне сейчас хоть слово, посмотри она сейчас как-нибудь иначе, не как на продавца пальто...— не двинулся бы от этой толстухи-печки. Так захотелось побыть в доме. В чужом, но доме... хоть немного...

Но она молчит. Разложила на кровати покупку. Обдумывает.

(Надо уходить. Не раскисать. Ну, баба. Ну, дом. Ну, печка. Тебе-то что?)

Дернули за язык... (Кто, кроме черта, мог это сделать!)

— У вас так уютно, что и уходить не хочется.

— Я укорочу немного — будет кушачок. Правда, с кушачком интересней?

— Я не хочу уходить...

— Пуговочки можно обшить этим же...

— Я никуда не уйду.

Повернулась ко мне, оставив пальто. И прямо в глаза:

— А зачем вы мне про товарища неправду сказали? И про госпиталь?

(Проваливаюсь сквозь землю.)

— На Красной Армии никакого госпиталя нет...

Улыбнулась понимающе, будто все-все ей ясно стало.

— Я щей сегодня сварила. Будете кушать?

Съел две тарелки щей, кусок студня и шесть баранок с чаем.

За это время выяснилось: муж бросил, Игорь на «круглосуточном», работает в пошивочной мастерской.

Тщательное наблюдение обнаружило: серые и добрые глаза и широковатый носик, который при улыбке делается еще шире, тогда лицо Валентины становится похоже на матрешку.

Вопрос о возрасте не задавался. На вид — лет двадцать семь — двадцать восемь. Особая примета: принимает меня за спившегося.

Оскорбленный этим, я горячо принялся доказывать обратное и даже

божился. Кончилось тем, что я сбегал на толкучку и принес вонючего самогона.

Вконец охмелев от обиды, сытости и толстухи-печки, я возвестил миру о решении остаться ночевать следующей оригинальной фразой:

— Я, извиняюсь... б-буду с-спать...

Дальнейшие события память сохранить отказалась...

Открыть глаза — проблема... И если бы не запах, невероятный по силе и бесспорный по своему происхождению,— эта проблема так бы и не была решена.

Перед глазами потолок. Разбегающиеся от угла трещины... Дышит в плечо спящая Валентина. Но запах!.. Откуда так несет?.. Шорох... Это там, где печь... Скосил глаза, не поворачивая головы...

У открытой печки — мальчонка. Рубашка до пупа. Весь в говне... Мнет его руками... Лепит из него лепешки и кладет их в еще теплую печь, в золу.

Задыхаюсь от вони и смеха.

Валентина вздрогнула. Проснулась. Шепотом в самое ухо:

— Ты что?

Не могу вымолвить ни слова, иначе смех разорвет меня в клочья.

Скрипнула печная дверца.

— Игорек,— позвала она нежно.

В ответ сопение.

Не отрывая головы от подушки, а значит, не видя его, говорит:

— Это — папа... Поцелуй папу...

Летели клочья.

ЛИСТ ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ

Москва. Казанский вокзал. Восемнадцатое декабря. Утро.

Столица еще дремлет. На пустынном тротуаре соскребает ледяные корки девушка.

— Доброе утро, синьорита!

— Доброе утро, синьор!

Прервала работу. Цветной рукавицей провела под носом.

— Из Рима?

— Да. От Папы...

Прыснула в рукавичку.

— А где гостиницы?

Сосредоточенно шарю по карманам. Натыкаюсь на монету.

— Вот!..

Верчу перед ее носом.

— Загадай любое желание... А мы ответим: исполнится оно или — увы...

— Ну-ка, ну-ка! — заинтересовалась она.

— Оп-ля!

Монета кружится у ее ног и ложится «орлом».

— Порядок! Гарантия самого Папы! Будьте здоровы!

У гостиницы «Ленинград» ныряю в такси.

— На Колхозную площадь, пожалуйста...

Квартиру тридцать семь найти нелегко.

Со двора через лестницу вы попадете во второй двор-колодец, а из колодца, спотыкаясь о поленницы дров, вползете в узкую дверь, которая впустит вас еще на одну лестницу. Подниметесь на пятый этаж и здесь, в глубокой нише, увидите последнюю дверь и рядом пластинку из тусклой меди. Четкий брусковый шрифт: «М. Д. Живило».

Мать Марка. Она стоит рядом. Маленькая, сухонькая. Никак не может приладить гребень в сбившийся волос.

— Вы не волнуйтесь, Эмма Яковлевна. С ним все в порядке.

— Вы — Виктор?

— Да, да, Виктор Костров.

— Так раздевайтесь... Что же вы стоите? Он в каждом письме о вас... Он всегда такой влюбленный. Вас освободили? У вас, кажется, тоже большой срок?

— Пришла бумага. Я писал Сталину много раз.

— Идемте, идемте сюда... Сейчас кофе... Вы, конечно, хотите есть? Нет, вы не махайте на меня руками... Я же вижу, что вам нужно есть.

— Эмма Яковлевна, милая, не...

— В «мешочек» два яичка... Вас там кормили яичками?

Схватила за руку, тащит на кухню, усаживает на плетеный стул и начинает порхать вокруг плиты, как девчонка.

— Вы — ленинградец... Я знаю. Но вы можете здесь пожить. Никаких церемоний! Я буду только рада... Часто температурит? Ай, вы же не скажете... Он, конечно, предупредил вас...

— Честное слово, Эмма Яков...

— Не лгите! Не лгите Эмме Яковлевне, все равно не поверю.

Как много общего между ними. Страшно похожи: и манера говорить — эти рваные фразы... И резкий жест.

— Сначала вы будете есть яички и пить кофе... Потом я буду допрашивать... Там действительно овощи? Он их терпеть не мог. Берите масленку... Несите в мастерскую — в столовой холодно...

Комнатой не назовешь. Это — зал с высоченным потолком. Два окна почти рядом. В углу — чучело обезьяны. Обезьяна держит в руке кисть, другой чешет подмышки.

Картоном завешены стены. На каждом куске картона — кусок Москвы: мост, бульвар, набережная, памятник, опять мост...

— Марик любил акварель и гуашь,— разъясняет Эмма Яковлевна.— Я выслала ему краски, он так просил. Он не очень худой?.. Неужели клопы? Это ужасно... Тонус?.. Да что вы, Виктор... Я же мать. Я-то знаю. Он всех обманывает... Он очень страдает... Но он не покажет этого никому, даже мне... Только подумайте! В тот день, когда он не вернулся домой... Его арестовали у Лаговских, и ему разрешили позвонить домой... Вы знаете, что он мне прокричал в трубку?.. «Мама, я еду в тюрьму! У меня будет новая тема!»... Как вам это нравится: «Новая тема»? А какие он пишет матери письма!.. Так пишут из Ниццы... «Стоит чудная погода. Пахнет кедром и птичьими гнездами»... Он ничего ни разу не попросил... Он, конечно, посылки раздает? Нет?.. Только не лгите... Да-да. Он не может иначе. Единственное, что его всегда беспокоит,— это деньги... Вы же знаете, как он любит деньги... Если бы вы только знали, Виктор, сколько денег он истратил на эти «деньги»... Как, не понимаете? Он разве не говорил вам о своей коллекции? Странно... У него богатейшая коллекция... Я ее берегу, конечно... Вы только посмотрите...

Она открывает картонные коробки, узкие и длинные, похожие на пеналы. На цветном бархате монеты. «На Валдае?.. Нет-нет. Он никогда не был на Валдае. Он выезжал из Москвы только один раз, в Казань. У нас там дальняя родственница. Нет-нет, вы что-то путаете. Или, скорее всего, Марик... Он же великий лгун и выдумщик. Уралов, вы говорите?.. Что вы!.. В нашем доме не было никаких Ураловых... Особенно с мотоциклами... Греческая монета? Совершенно верно... Он как раз и поехал за нею в то утро к Лаговским, к Фиме... Он возит ее с собой?.. Она у вас?.. Спасибо... Драхм... десятый век?.. Это он так сказал? Я сегодня же напишу ему... Я положу ее в эту коробку... Вы видите, Виктор, на ней написано: „Греция"!.. Но неужели клопы?.. Это ужасно...»

Об этих людях мне сказать более нечего. И потому только две справки:

1. Марк Живило скончался в той самой сельхозколонии в тысяча девятьсот

пятьдесят третьем году. В тысяча девятьсот пятьдесят шестом реабилитирован посмертно.

2. Э. Я. Живило умерла в пятьдесят шестом году. (Из официальной справки адресного бюро Москвы.)

В высотном доме, что на Калашниковской, живет Александр Фомин.

Шурик...

Бабьим летом сорок седьмого я встретил его здесь совершенно случайно перед отъездом в ковыльную степь.

— Моя хата не с края,— сказал чуть хвастливо старший лейтенант МГБ Фомин, кивнув на небоскреб.— Вещи вот никак не перевезу — некогда.

— Уже приступил? Где? — спросил я без интереса.

— Охрана Кремля. Но ты главного не знаешь?.. Помнишь Светлану? В столовке нашей работала... В школе. Блондинка такая...

— Официантка?

— Ну да.

— Смутно.

— Ну как же!.. Она наш столик обслуживала. Она еще так потешно не выговаривала «ш»: «Фурик», «фпионы». Помнишь?

Выглянула из памяти краснощекая с пышным бюстом... «Фурик»...

— А-а-а... Ну, конечно!

— Моя невеста.

— Ну и вкус у тебя.

— А что?

— Да нет... Ничего,— увернулся я от объяснений.— Людмила лучше.

— Вот дает! Что же ты от нее ушел?

— У меня от сладкого зубы болят.

В домоуправлении подтвердили, что Фомин Александр Яковлевич действительно проживает именно здесь, и квартира его находится на четырнадцатом этаже.

О том, что он женат на Светлане Степановне Рюминой (ныне Фомина), свидетельствовала запись, которую я легко прочел в домовой книге, через спину паспортистки.

«Заявлюсь вечером»,— логично рассудил я. Днем он на работе, а разводить тары-бары с этой краснощекой бессмысленно.

Я пошел бродить по Москве.

Меня не миновала и на этот раз необъяснимая странность, которую я замечал за собою и позже. Эту странность подтвердили мне и многие другие люди, приезжающие в Москву.

Зачем бы человек ни приехал сюда: по делам ли командировки, в гости ли к другу или просто проездом, имея час-другой...— человек этот, покружив с целью или бесцельно по городу, обязательно выйдет сюда... К стене.

У елочек концы веток окрашены патиной — цветом Вечности.

Иду мимо. Вдоль стены. Как и тогда — на параде.

Раз-два! Раз-два! Взмах руки... Глаза смотрят на Мавзолей. Кровь знамен... Ветерок за ворот... А рядом плечи, мускулы, загорелые лица, взволнованные и чуть напряженные. Раз-два! Еще шаг, еще... Вот он!! Машет рукой...

Стою у Мавзолея. Стою совсем близко. Вижу винты в дверях.

И летит мимо глаз на жуткой скорости лента времени... Не удержать, не исправить, не начать снова...

Коридор буквой «Г»... Голая мама в тазу... Отец стучит сухарями... Под зеленым ватником кобура с наганом... Среди вороха одеял глаза Верочки... «Это что, спички?»... Фланелевый шарф и мальчишкины руки, перепачканные углем... Гипсовый Марк...

— Он в яме был! В яме!..

Лагерный хор. Слова из поганых ртов:

— «Страна моя-я-я!!!..»

— Сомнут тебя, Витенька,— шепчет Томка холодными губами.

— Га-га-га! — гусиные головы из корзины...

— Уважаемый, не подскажете... Нам до почты надобно.

— Идемте... Мне в ту же сторону.

— У нас там найдется что? Разогрей...

Светлана уходит на кухню.

Я сижу за обеденным столом, верчу в руках солонку.

— Значит, сбежал? — вторично спрашивает Фомин, заправляя нижнюю рубашку в пижамные брюки.

— Как видишь.

— Та-а-ак...

Закрыл дверцу серванта. Потер виски. Переставил с одного места на другое керамическую белую лошадку с золотой гривой.

— От тебя прошу одного: передай письмо. Оно у меня с собой. Это же ничего тебе не стоит. На приеме или еще когда...

— Ты что, дурак, что ли?

(Опять трет виски.)

— Не понимаю.

— Это заметно.

— Но почему? Тебя же не просят что-то говорить, что-то доказывать... Только передать. Лично в руки... И все...

Рванулся ко мне, зашептал в самое лицо:

— Можешь ты понять, дура... Меня арестуют тут же. И я буду там, где ты... Откуда ты, я хотел сказать. Это — не игрушки. Одно уже, что ты здесь... А! — он безнадежно махает рукой.— Ничего не понимает! Ты считаешь, что тобой заниматься должны все! Все! Вся страна должна заниматься Костровым! Только им. Вся партия... Фомин, Сталин!.. Ты спятил! Бежать! Это же... Как тебе только это в голову пришло?! Тоже мне искровец... Запутался в юбках... Брагина на кой-то дьявол разгневал... Я-то точно знаю, что это его работа. Но кто будет доказывать? Я справлялся о твоем «деле». Это очень серьезно... Очень. Идет битва идей... Битва систем! А ты не только не принимаешь в этом участие, но ты еще и... Ты думаешь, я забыл про пацана?! Я его помню... Но есть вещи святые... Как граница, например... Где каждая тень — враг. Как ты этого не можешь понять?! Или ты будешь выяснять, кому эта тень принадлежит? Нашим или вашим?! Я тебе как бывшему другу... Ты понимаешь... Мы — не бабы... Я тебе говорю: кончай рыпаться! Кончай ходить в одиночку!

Вошла Светлана. Поставила передо мною суп, хлеб.

— Ешь.

Я ткнулся в тарелку.

Гороховый суп пересолен, но не в этом дело... Я чувствую, как по спине холодной лужей расползается страх. Он вошел в комнату вместе с ней. Он и сейчас в ее остановившихся глазах. Она сидит напротив, сложив руки на большом животе.

Я не могу больше. Суп не только пересолен, он — холодный, он — ледяной. Я нахлебался страха...

В прихожей мокрые следы. Это от моих валенок.

Снимая с вешалки свою куртку, увидел шинель, погоны капитана и начищенные до блеска пуговицы.

— Ты куда, Фурик?

— Никуда,— огрызнулся муж.

Открыл замки. Выпустив меня на лестницу, шепнул:

— Я могу дать тебе денег...

— Перебьюсь.

Залпом ахнула тяжелая дверь.

По тонкому льду Москва-реки гоняются на коньках мальчишки...

ЛИСТ ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЙ

Ленинград. Девятнадцатое декабря. Утро.

Из вагона ступаю прямо в лужу.

Сделал я это мужественно, так как другого выхода ни у меня, ни у вагона не было.

Город истекал водой.

Я мгновенно превратился в объект иронического внимания своих земляков: шествующий по Невскому человек в валенках и разбрызгивающий по сторонам воду, это, согласитесь, бывает не часто. А в данном случае может вызвать даже подозрение.

Надо было принимать срочные меры.

У Обводного канала стоит исцарапанный осколками дом. У ворот — девочки с санками: две маленькие, одна постарше — в классе, наверное, шестом.

— Я тебя очень попрошу, девочка... Поднимись в квартиру семь. Спросишь Пшеничникову, тетю Клаву. Скажи ей, только тихонечко, на ушко... Племянник, мол, ждет внизу.

— Пшенникова?

— Пшеничникова, Пшеничникова.

Девочка юркнула в парадную. Я перешел на другую сторону улицы.

Вот и тетя.

Трусит по булыжникам через улицу. Лицо в слезах. Бормочет что-то бессвязное. Припала со стоном и разревелась навзрыд с икотой...

— Мила-ай... Что же это... Господи-и-и...

Объясняю ей, как можно короче и понятней: «Сапоги! Сапоги!» И что на барахолке мне появляться нельзя! И что деньги есть. Нужно только купить. Сейчас! Немедленно!

— Так ты зайди, зайди... Покушай... Компотцу я изготовила...

Чуть ли не силой уволакиваю тетю из опасной зоны.

— Потом, тетушка, все потом... Сейчас — сапоги. Размер сорок второй. Офицерские. Запомните, сорок второй!.. Я буду ждать здесь, у моста...

Тетю всосала густая толпа базара.

Теплая парадная — очень удобное место для переобувания. Тетя безостановочно причитает, ахает, охает, в сотый раз начинает толковать о «компотце» и льет слезы на валенки и без того мокрые.

Мудрость тети простерлась до того, что, кроме добротных сапог, она купила и вязаные носки.

— Душегубы...— шипит тетя.— Где видано: пятьдесят рублев за этакую пару. Шерсти нету, господи... я б и сама...

Все. Ноги в спасительном тепле. Все в порядке.

Следующий вопрос: ночлег.

— У вас нет никакой завалящейся старушки? Пожить мне...

В ее глазах вопрос. Она не решается задать его вслух. Его я видел еще час назад там, при встрече. И вот опять...

Надо отвечать. Иного выхода нет.

Тетя прослушала все до конца абсолютно спокойно. Я даже подумал: поняла ли она?

Она поняла. Никаких слез, ни охов, ни ахов: тетя самым добросовестным образом думала. Я не мешал ей.

Через минуту она нарушила молчание следующим изречением:

— Из тюрьмы убежишь — от бога некуда.

Мы вышли на улицу. Она — впереди с валенками под мышкой. Я плелся следом.

— Документа у тя никакого, значит, нету?

— Никакого.

— Значит, выхрдит, надобно тебе к Зое Блаженной...

Остров Декабристов. Или попросту — Голодай, как здесь называют его многие и поныне.

Черный пустырь сливается с черным заливом. Только там, совсем далеко, видна серая кромка льда. Грязь — по колено. Ветер мокрой пылью моет лицо.

Холодно.

На краю острова — дом. Бурый кирпич стен. Маленькие окошечки. Все погружено в ранние сумерки... (Тюрьма...) Во дворе и совсем темно. Жгу спички у каждой двери. Здесь...

Дергаю за проволоку... (Других сигнальных приспособлений не нашел.) «Динь-динь» за дверью.

И отчего-то сразу тепло. И никакого сырого ветра не было. И не тюрьма вовсе. Просто: дом ствренький, убогий. Не вечно же молодцом быть.

— Кто там?

— Человек божий,— отвечаю я в полном соответствии с теткиной инструкцией.

Отворили.

— Входи, сынок, входи. Не пущай холоду...

Старушка, ничем не примечательная, провела по коридору мимо кухни, где сидели две таких же и пили чай.

Миновали еще одну дверь и уткнулись в крайнюю.

Стучит тихонько.

— Зоенька... Тут до тебя...

— Пусти.

Вошли.

На истертом ковре кушетки — девочка. Худенькое бескровное личико. И будто парик... Высохшее мертвое золото свесилось паутиной, закрыв пол-лица. Плечи-косточки... Руки-косточки... Медленно, как во сне, подняла к лицу руку. Отодвинула золотую паутину.

Глаза.

Голубое... Без конца и края... Голубое...

Смотрю очумело. Не думается, не чувствуется, только легкость какая-то и от легкости этой почему-то плакать хочется.

— Говори, говори, сынок,— тронула мне локоть старуха.

Я протянул записку от тети.

Девочка не спеша развернула ее и, как мне показалось, долго читала короткие строки старательно выведенных букв.

— Постели, Ивановна,— молвила она старухе.

Та тронула локоть.

— Спасибо, Зоенька. Спасибо,— прошептал я, еще раз заглянув в голубое, без конца и края.

Большая и почти пустая комната. Выцветшие довоенные обои. Окно закрыто полотняной занавеской. Домотканый половичок поблек. На письменном столе бронзовая рамочка для фотографий. Пустая. Два стула в серых чехлах и кровать с пугающей чистотой подушек.

Старуха молча разобрала постель и вышла, прикрыв дверь так, будто в комнате лежал тяжелобольной.

Я скинул с себя все, выключил свет и спрятался под одеяло.

Уснуть оказалось непросто.

У девочки взрослый голос... Совсем взрослый. Словно сказала все миллиарды своих слов, что было предназначено сказать ей. А теперь только необходимое, без чего нельзя: «Пусти», «Постели, Ивановна»... Если бы можно и этого не говорить — не говорила бы. Молчала.

Отчего же ей молчать хочется? Немые и те не молчат. Они наоборот: болтуны страшные. Молчат только мертвые...

Неделя пролетела в великой праздности.

Знакомлюсь с городом заново по системе «турист-одиночка». Эрмитаж, Русский музей, просмотр нового фильма, экскурсия за город с одновременной

экспроприацией елки (Старый Петергоф), знакомство с премьерой театрального сезона (такая ерунда, что и название не помню), покупка в Пассаже полушерстяного костюма, и — как апофеоз — рискованный кутеж в ресторане «Москва»... (Ресторан занимает второй этаж, а на четвертом — коридор буквой «Г» и шестьдесят семей, знающих меня, как облупленного!)

В конце недели перед «туристом» возникла новая проблема.

Реальность подсказывала два решения.

Или пить чай с «ситным» на кухне в обществе сострадальных старушек и тем самым удовлетворять основную физиологическую потребность, или...

Я предпочел «или».

В магазине «Канцелярские товары. Бланки бухгалтерского учета» приобретается книжечка квитанций: «Получено от... руб. За... Итого: ... (сумма прописью)... Подпись: ...»; копировальная бумага (пришлось взять пачку, хотя нужен один лист) и нумератор (восьмизначный).

В ту же ночь в тиши святой квартиры были пронумерованы попарно все квитанции. Чернилами проставлен текст: «Союзпечать. Подписка».

Утром я приступил к операции, не имеющей специального кодового названия, ибо она была совсем не оригинальна.

Это был плагиат чистейшей воды. (Из сотен рассказов, что мне пришлось прослушать за два года, валяясь на нарах, у меня волей-неволей остался в памяти ряд сравнительно безопасных способов, к которым прибегают люди, когда они не хотят трудиться или когда право на труд использовать невозможно.)

В ближайшем почтовом отделении толково объясняю девушке, что в цехе завода, где я — ответственный за распространение подписки, много желающих, и что мне надо от нее лишь плакатик, призывающий население к этой самой подписке.

Девушка очень любезно вручила мне целых пять таких плакатов.

В районе Охты появился молодой человек с новеньким дерматиновым портфелем, из которого торчали свернутые трубочкой плакаты.

На продолжительный звонок в одну из квартир ему открыла молодая женщина с диатезным ребенком на руках.

— Добрый день. Из Союзпечати... По распространению,— произнес молодой человек и решительно шагнул в прихожую.

— Есть полугодовая на «Крокодил»... Журнал «Костер». Осталось тридцать экземпляров на район.

От «Костра» женщина отказалась. Зато «Крокодил» она предпочла читать круглый год.

— Распишитесь здесь... И здесь... Эта квитанция вам. В случае недоставки — в ваше почтовое отделение. Ай-ай-ай! У меня, пожалуй, сдачи не найдется... Давайте мелочь. Отлично. Благодарю вас. Будьте здоровы!

Не менее часа веселый молодой человек обзванивал квартиры этого дома, отрывая хозяек от стирки и приготовления пищи.

Потревоженные не сердились; они внимательно выслушивали удобное предложение «представителя» Союзпечати, с интересом изучали красочные плакаты и... платили.

Часам к пяти операция подошла к концу: кончились квитанции. Последняя была выписана пенсионеру на журнал «Смена». Отсчитывая деньги, подписчик спросил:

— Что, вы работы не нашли поинтересней? Гоняетесь по лестницам...

— Общественная нагрузка.

— А-а-а,— одобрил подписчик.

— Будьте здоровы!

Падение всегда стремительнее подъема — таков закон. И я летел вниз. Летел не оглядываясь. Я смотрел только туда, куда летел.

На дно.

ЛИСТ ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЙ

За все это время я видел Зою не более четырех раз. На мое «здравствуйте» чуть заметный поклон и все. Чаепития, почти ежевечерние, проходили при глубоком молчании старушек, лица которых я никак не мог запомнить.

Ко мне ни разу никто не обратился с вопросом, никто не нарушил при мне одиночество моей комнаты. Однако регулярно менялось белье, и кто-то по ночам стирал и гладил мои рубашки. Моя попытка выяснить, кому принадлежат добрые деяния, натолкнулась на непонимающие глаза старушек.

Привезенная из Петергофа елка не вызвала у обитателей квартиры никаких эмоций. Она стояла в коридоре много дней. Исчезновение ее я заметил лишь утром тридцать первого.

Этим же утром в конце чаепития одна из старушек, к моему искреннему удивлению, оказалась говорящей.

— Зоенька просит быть к двенадцати...

— Спасибо,— ответил я.— Передайте Зоеньке, что я обязательно буду.

Поздно вечером обитель вздрогнула от здравицы, настоянной на коньяке.

— С Новым годом, мамаши!!

На стол посыпались конфеты и пряники.

Старушки испуганно жались по углам. Когда же из-за пазухи появилась семьсотпятидесятиграммовая бутыль кагора, они, неистово крестясь, выпорхнули из кухни.

Я сел тут же и запел Вертинского:

Господи, боже мой, господи!
Что тебе стоит к весне
Бедяой весчастной безноженьке
Ножки приклеить во сне...

— Ноги для того, чтобы бегать,— добавил я Женькину фразу и перешел к мелодекламации:

Гарун бежал быстрее лани,
Быстрей, чем заяц от орла...

Все это грозило перерасти в заурядный концерт самодеятельности, если бы не Зоя. Она не вошла, не появилась. Она возникла в дверях такая же, как и всегда, в своем ситцевом платьице с протертыми плечами. Из-за спины торчали испуганные старушечьи лица.

— Не шуми,— сказала Зоя.

Долго фыркаю под краном, изгоняя «змия». Намочив полотенце, уже в комнате протираюсь до пояса.

Очень хочется курить. Но я не курил в этом доме и сейчас не позволил себе сделать исключение.

Первое, что удивило меня и озадачило крайне — в комнате не было икон. Ни одной.

В углу висела большая фотография: профиль красивой женщины; она улыбается, лукаво закусив губу. Из-под золотистого локона сверкает камень сережки.

— Мама,— сказала хозяйка.

— Я догадался: вы очень похожи.

Зоя сидела на диване, сложив на коленях руки. Старушки — их было пять — окружили стол кольцом черных платков и глубоких морщин. Сейчас среди них она казалась совсем юной.

На елке горят свечи. Горят два тусклых шарика. Белеют накиданные на ветки клочки ваты.

На столе небольшой пирог, винегрет в селедочнице и клокочущий самовар. Бутылки не было. Не было ни пряников, ни конфет. Не было также ни ножей, ни вилок. Это я заметил, когда после длительного молчания одна из старушек пододвинула пирог к Зое, и та начала ломать его на куски. Каждая, принимая ломоть, целует ей руку и кладет пирог себе на тарелку.

Я сделал то же, что и все.

Ровно в двенадцать — за стрелками ходиков неусыпно следили старушки — все встали, кроме нее.

— Тебя нет и нас нет. Есть только звери. Когда звери съедят зверей — будет радость.

— Будет Радость! — прошептали старушки.

Сели. Разлили чай. Стали есть.

Трапеза не затянулась. Откушав пирог, тщательно подобрали крошки. Отведали винегрет. Выпили еще чаю и молча стали расходиться.

Ходики показывали час ночи.

Мы остались вдвоем.

— Ты тоже зверь.

Передо мной старуха. И у старухи — голубые глаза... Но это — не небо... Глаза — впадины... Глаза-колодцы, бездонные, жуткие...

Колодцы слез.

Я съежился. Захотелось прыгнуть букашкой, проползти червем. Только не напомнить о том, что я — человек.

— Что же делать? — вырвалось из самой души.

— Зверям быть в клетках. В клетках.

— За что так, Зоенька? Есть и люди...

— Нет людей. Звери. Я знаю. Знаю. Уйди.

Колыхнулось пламя свечей. Стараясь не громыхнуть стульями, вышел из комнаты.

Из кухни доносится шепот — там свои дела... Не раздеваясь, лег на кровать.

Как плохо мне, Господи... Как тошно... Ведь ничего нет... Никого нет... За что зацепиться? Один... Как в одиночке... За стеной девочка-старуха со своим безумием. Я — здесь, близкий к тому же... Бежать некуда... Некуда!..

И тут же вскочил. Дверь от себя. На кухне моют тарелки старухи. Взял со стола бутылку, вернулся в комнату.

— И все-таки буду рыпаться, Шурик! Буду! — произнес я вслух.

В руке стакан с кровью.

Пью сладкое густое... (За людей! За людей! За людей!)

Без стука вползла старушка, прикрыла за собой дверь, уселась напротив.

— Не спорь, родимый, с ней, не спорь. Живи тихо. У нее горе... Все наши — во...— (сделала пальцами щепотку)...— горюшки-песчинки. Мать ее, говорят, съели... В блокаду-то...— (Волосы дернулись, вот-вот выпадут разом)...— В точности никто не видел, не знают...

— Ерунда! — выдохнул я, приходя в себя.— Чушь это. Не было такого...

— Не было. Не было,— закивала старуха.— Но ей сказали так. Люди — звери, это она верно говорит. Мать-то ее разведенная до войны еще... Война началась — она в паспортистки и пойди. Карточками ведала, их в первые месяцы по жительству вручали... И пропала она, как сейчас помню, в октябре. Сумку с документами нашли после, а ее нет... Вот слух по дому и пошел... Мол, съели. Из милиции приходили, объясняли, что умерла она и все тут... Девочка — ей тогда пятнадцатый шел — поплакала, поплакала и успокоилась. Тут война кончилась, квартиры начали занимать. У нее, вишь, отдельная... Как так... Одинокая и в такой квартире... Вот одна тут — чистый упырь — и завись. Она уж больно на эту квартиру зарилась... Возьми и скажи про мать... Что, мол, значит, съели ее. Что все в доме знают. Вот тогда и случилось все... И в психиатричке она лежала, и люди ей так и сяк доказывали... Ни в какую... Вот и мается...

— А ты?.. Сволочь-то эту, посадили?

— За что ж? Свидетелей нету... «Не говорила я» — и все тут. Жильцы письмо написали: «Из дома выселить!». Выселили. Уважили все-таки...

Бродить по городу одному, да еще в новогоднюю ночь, да еще и бесцельно — это как наказание, бесчеловечное и жестокое.

Но и там находиться не мог. Подступало желание рушить стены, поджечь

дом к чертовой матери и увезти несчастную куда-нибудь к тихой речке, к солнцу...

Но бессилие рождало только бешенство.

Вот и бреду, гонимый ветром, через Васильевский, мимо хмельных дворников, мимо целующихся парочек, мимо дверей и окон...

— Мальчишечка! — окликнули откуда-то сверху.— Целоваться умеешь?! У нас тут одного не хватает! Ха-ха-ха!..

Из окна кинули фантики из-под конфет.

На набережной, между сфинксами, веселая компания. Под губную гармошку отстукивают ботиками две девушки.

— Тюх-тюх, тюх-тюх!

— Разгорелся наш утюг! — выкрикивает парень в матросской шинели.

Одна в ответ визжит на всю Неву:

Полюбила старшину
В милицейском кителе,
Оттого вочую я
Только в вытрезвителе!!!

Рядом смеется постовой — молодой старшина.

— Айда в общагу — погреешься! — голосит компания.

— Не могу — вахта...

— Товарищ, не в силах я вахту стоять! — затягивает мужской квартет и, подхватив под руки своих подруг, уходит прочь...

— Спичек нет, гражданин? Унесли коробок... весельчаки,— спохватывается старшина.

— Пожалуйста.

Закурили.

— Что не празднуете?

— Перепил... Протрястись вышел...

— От «ерша» мутит здорово,— соболезнует старшина.

— Вот именно.

— Я тоже у сестренки на свадьбе выпил шампанского, а потом водки принял...

— Это ужасно.

Стоят у подножья древних сфинксов двое: молодой старшина милиции и сбежавший из лагеря заключенный.

Говорят о том, что «неплохо перед предстоящей пьянкой кусок сливочного проглотить — тогда и сам черт не страшен».— «А вообще лучше коньяка — нет».— «А еще лучше — закусывать плотнее».

Бесцельность иногда выводит к цели. Часам к четырем ночи я вышел к Мариинскому театру.

Пробежал глазами по ярко освещенным афишам, и какое-то сочетание букв натолкнуло меня на имя. Римма...

Она живет здесь, совсем рядом, на Фонтанке. Я вспомнил и дом, и садик во дворе, и два окна, выходящие во двор.

Прежде чем позвонить, долго стою, прислушиваюсь.

Квартира ходила ходуном.

Веселый говор и перезвон посуды перекрывал, пользуясь мощью проигрывателя, Леонид Кострица. Ему подпевали несколько голосов.

Вырвался звонкий голос:

— Девочки! Девочки! У нас еще шампанское! Смотрите!

— Ура-а-а!..

Я нажал кнопку.

— Римма! Звонят!

— Да, слышу я, слышу! Это, наверное, Борис...

Я отошел к перилам.

— Борька, заходи! — На всю лестницу.

Белое платье. На плечах пятнышки конфетти.

— Ты?!

Лицо позеленело.

— Тебя ищут...— (Вышла на площадку, прикрыв дверь.) — Были здесь... Оставили телефон... Если появишься...

— Спасибо. Извини...

Вслед спросила:

— Ты что-нибудь хотел?

— Нет, ничего... А впрочем, да!

Поднялся в два прыжка. Схватил за плечи и поцеловал с жадной силой в зеленые от страха губы.

— С Новым годом, Риммка!

На столе, под бронзовой рамочкой, меня ждал конверт: ночью здесь была тетя.

«Заходили двое. Справлялися о тебе и в чулан заглядывали. Хорошо, валенки твои в сундук схоронила. Ко мне нельзя. Соседи кабы не сделали чего. Клавдия. Тетка твоя!».

ЛИСТ ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ

В столовке, что на Чкаловском, торговали в ту пору пивом. Если бы разрешали курить, то и совсем пивная.

Я с тарелкой устроился на свободное место. Отпил пиво и принялся за щи.

— На ташкентской пересылке — вот где я тебя видел...

Поднял голову. За столом — трое: один пожилой с бритой наголо головой, двое других молодые.

— В пятом бараке... Отличные романы тискал. Освободили?

— Освободили.

Лицо парня незнакомое. Судя по одежде, из тех мест недавно.

— Прокололся?

— Нет еще...

В разговор вступает второй:

— Я ксивы сдаю на прописку, а мне начальничек говорит: «Покупай билет, Толик, на курьерский...» И расписание поездов показал.

Рассмеялись оба. Бритоголовый тянул пиво, не улыбнулся даже.

— За что тянул срокешник? — интересуется Толик.

— Да, так... За дело...— ответил я многозначительно.

Переглянулись. Помолчали.

— Кого из воров знаешь? — спросил пожилой.

— Кешку Голубка... С Санькой Шпалой в одной бригаде были...

— С Москвы Шпала?

— Тот самый.

— Я с ним еще в Карелии тянул,— хвастается Толик.— Карту знает.

— Заткнись,— обрывает его пожилой и ко мне.— Потолкуем, хлопец...

— Почему и не потолковать.

Принесли еще пива. Из «кармана» дяди Феди — так его звали — полилась в мою кружку водка. Налил и себе. Остальные смиренно хлебали пиво.

— По хатам ползал?

— Было...

— Тебя как кличут?

— Витек.

— На дело пойдешь?.. Физиономия у тебя в порядке... Если столкуемся, третья часть твоя.

— Годится.

Почувствовал себя нужным. Было дело. А какое это «дело»... Да какое это имеет значение? Меня уже ищут, значит, не завтра, так послезавтра, мы встретимся: и тот, кто ищет, и тот, кого ищут. Это будет, и этого не избежать. Поэтому к чертям все философии мира! Есть день, и он — мой!

Выпивая теплую хмельную бурду, доедаю щи.

— Пойдем, Витек...

Мы освободили столик.

На трамвае доехали до Сенного рынка, где долго искали какую-то Галочку.

— Приболела, видать,— предположил «чухонец».

Сходство с чухонцем действительно было у этого малого: глаза с синевой, белые брови кустом и целая шапка таких же белых кудрей.

По дороге к Галочке покупается коробка конфет «Жар-птица», круг колбасы «Польской» и две бутылки водки.

Притон «Мечта» — так назвал дядя Федя жилплощадь Галочки, когда мы поднимались по лестнице, пахнущей прачечной.

Название не содержало иронии: прямо с лестницы вы попадаете в опрятную комнату, площадью около тридцати метров. Прямо в комнате плита-голландка и рукомойник. Над головой балкон-антресоли. Шик!

Опухшее со сна лицо Галочки не вызвало у меня ассоциаций ни с Карлой Доннер, ни с Диной Дурбин. Впрочем, глаза...

— Где вы откопали его? Это же — блеск! Я буду с ним спать и, может быть, даже рожу от него ребенка!

— Кончай буровить,— злится Федя.

— А он не в Эм-гэ-бэ работает? У него в глазах решеточки...

— Кончай, Галка,— урезонивает Толик, самый молодой из всех, с золотой «фиксой», которую он постоянно натирает пальцем.

— О! «Жар-птичка»! Ты — мужчина, Федя! Ты — настоящий самец! Я сейчас переоденусь и выйду к столу...

Скинула халат... Забралась по лестнице на антресоли.

— Я одену вишневое! Вот это!

Она показывает яркое платье с белым кружевом ворота и манжет.

— Свари картошечки,— скулит Толик.

— Ты пошляк, Толик! Мои пальчики лобзал Даниил Васильевич! Лично! Ведущий режиссер с «Ленфильма». Серость! Вы не ходите даже в кино...

Она спускалась «к столу».

— Давайте знакомиться...

Грациозно протянула руку.

— Вас я буду называть на вы. Не возражаете? Мне надоели все эти «Толики», «Бобики», «Нолики»... Хочу водки.

Дядя Федя разливал водку в граненые стаканы. «Чухонец» превращал круг колбасы в гору кривых ломтей.

— За тех, кто у начальничка! — сказал тост Федя и первым опорожнил стакан.

Толик долго булькал со своей порцией, да так и не допил, поперхнувшись. Занялся колбасой.

«Чухонец» чокнулся с хозяйкой. Выпили враз.

— А вы что ж?

В ответ подкладываю первую мину.

— Красиво пьешь, чертовка.

— Ого! — присвистнул «чухонец».

— Я ее только за это и уважаю,— сказал Федя.

Не закусывая, закурил. Налил себе и ей еще.

— Давайте на брудершафт, Виктор!

Тряхнула черным волосом. Обошла стол. Руки в бедра. Качает ими.

— Возьмите меня... Я же хочу сидеть...

Подставил колени. Села. «Чухонец» подал стакан. Дзынь... стекло о стекло... рука за руку петлей... Обожгло водкой и взглядом... Закрыла глаза... И отдала рот, словно рабыня.

Кто-то аплодировал. Кажется, «чухонец». Толик вилкой отбивал на бутылке секунды.

— Мамонька! — оторвалась от меня ошалевшая.— Детей от него хочу! В уборщицы пойду! В судомойки!..— (Она пьянела на глазах)...— Кормить буду сытно! Не надо воровать! Постелька чистая. Тепло... Кормить с ложки буду!

Она рухнула на пол, целуя мои колени.

— Ребенка хочу! Маль-чиш-ку-у!!!

— Кончай,— процедил сквозь зубы Федор.
— Отстаньте от него!..— (В глазах злоба.) — Уйдите! — (Вцепилась в колени до боли.) — Уйдите!!!
Мелькнула рука. Хлесть!.. Галка дернулась и сполала на пол. Я поднялся.
— Брось! Зачем тебе это? Она же баба...
— Суки они все,— ответил Федя и налил себе еще.
Я отнес женщину на кровать. Носом шла кровь. Мочу полотенце под краном, снова подхожу. Но она уже крепко спит, свернувшись калачиком.
— Ладно, хватит порожняк гонять,— сказал дядя Федя.— Дело вот какое...

Вечером мне открыла Зоя.
— Здравствуй, Зайка! — сказал я весело.— А где бабуси?
— В церкви.
— А ты?
Она промолчала.
— Пойдем погуляем. На улице снежок, красиво...
— Зимы не люблю.
(Я понял почему и сменил тему.)
— Можно, я подарю тебе платье?
— Зачем?
— Чтобы носить. Ты будешь красивая.
— Ты — зверь.
— Нет! Посмотри в глаза... Видишь?
— Страдаешь... Но ты — зверь,— повторила она твердо.
Пошла к себе. Кричу вслед:
— Я куплю тебе платье, Зайка!
Повернулась и сказала жалобно, просительно:
— Не зови меня так... Не зови.
— Это же так тебе идет...
— Не надо... Не надо...
Испуганно попятилась и скрылась в своей комнате.

На многолюдной улице, рядом с кинотеатром, трое мужчин в синих халатах выносят из парадной вещи и аккуратно укладывают их нв двухколесную тележку.
— Никаких перекуров, комсомольцы! — весело покрикивает старший.— Так и соревнование проиграть можно! Осторожно листочки, осторожно...
Из парадной вышел юноша с выгоревшими бровями. В руках фикус. За ним еще один с двумя чемоданами.
— Много еще там? — громко вопрошает старший, помогая взвалить цветок.
— Есть еще...
— Не разевай рот! Пошел! Пошел! У нас еще две заявки!
Тщательно увязаны вещи. Дрожит листьями фикус. Тележка трогается.
Маршрут следования тележки сложен и необъясним.
Через полчаса ее видели на Суворовском, потом, облегченная на два чемодана, она проследовала по Полтавской, где сделала минутную остановку и свернула к Невской лавре.
К кладбищу тележка подкатила совсем пустая, если не считать фикуса в кадке.
В районе заброшенных пакгаузов тележка остановилась и, скрипнув ржавыми рессорами, замерла в одиночестве.
Рядом, коченея на морозе, стоял фикус.

— Я тебе в следующий раз глаз выну! — бушует Федя.— Не дыбай по сторонам, когда работаешь!
«Чухонец» молчит виновато, косится на деньги.

Федор разглаживает каждую, кладет то сюда, то туда — в три стопки.
Я сижу на подоконнике, листаю журнал мод. Галка жарит яичницу.
— Хочу в Ялту,— неожиданно объявляет хозяйка.— Там Чехов жил.
— Толику денег не давать,— предупреждает Федор.— Не дорос цыпленок...
— Хочу в Ялту... Не слышишь, что ли?
— А в ... не хочешь?
Федор назвал место, ничего общего не имеющее с географическим пунктом.
— У меня неврастения. Мне надо отдохнуть.
— Триппер у тебя, а не неврастения.
Заржал «чухонец».
— Да хватит вам, ей-богу...— вставляю я.— Озверели, что ли?
— Успел подхватить, Витек? — поясничает «чухонец».
— Легче! Легче! — рычит Федор, перехватывая мою руку.
Я вырываюсь и бью «чухонца» в переносицу.
— Ха-ха-ха! — заливается Галка.— Цирк на дому! Прыжки со стулом!
— Нет ли охоты зарезать? — дразню я «чухонца».
Он сидит на полу. В глазах, вместо обычной синевы, свинец.
Федор грохочет по столу.
— Кончайте, подонки!
— Ты очень шумишь, Федя,— говорю я тихо.
Взял с плиты нож с деревянной ручкой, бросаю «чухонцу» под ноги.
— Ну...— кличу я смерть.— Ну...
Оглушительно визжит Галка. Бросилась к ножу, подняла с пола.
— Вы что? Вы что?! — задыхается она словами.— Вы что, не люди?! Не люди?!
— Все,— сказал я тихо.— Извини Галочка... Это я виноват.
— Не благородствуй,— перебил «чухонец», поднимаясь с пола.— Я начал...
Дядя Федя ухмыльнулся.
— Подонки.
И добавил уже совсем весело:
— Кормить-то будешь, Галка?
Та просюсюкала нарочито капризно:
— Я в Ялту хочу...
Рассмеялись все. И она тоже.

На другой день.
— Зайка, я должен как честный человек предупредить заранее: скоро мой день рождения — пятое февраля...
Разворачиваю пакет.
— Оно очень теплое... Это шерсть. И голубое. К твоим глазам. Так вот... Я буду ждать и от тебя подарок... Р-р-р-р! Я — зверь.
Она сидит на диване мумией. Смотрит. Молчит.
Повесил платье на стул перед нею и вышел.
Наступил день обыкновенный, обычный. И никто не знает, что самой счастливой из всех женщин в этот день была Галка.
Я пригласил ее в театр. В «Комиссаржевку».
Притон «Мечта» мгновенно превратился в сумасшедший дом. Грелись на плите утюги и щипцы для завивки. В поисках чулка были вывернуты наизнанку ящики и чемоданы. Пахло паленым волосом и дрожали антресоли, с которых каждые пять минут скатывалась хозяйка и, вертясь перед трильяжем, восклицала:
— Дешевка! Вокзальная потаскуха!
Взбегала наверх и снова скатывалась, теперь уже в трикотажном костюме.
— Боже, какая я старая. Тебя примут за моего сына...
Остановилась она на белой блузке с черной юбкой.
— Проститутка! Вы посмотрите на эту шлюху! — Она тычет пальцем в свое отражение.— В театр тебе?! В театр?! На тебе! На! На!

В зеркало полетела пудреница, выпустив при этом розовое облако. За ней гребни и щетки.

Я подоспел, когда в руке был флакон с каким-то эликсиром.

— Хватит! Достаточно! Нет ничего хуже заплаканного лица. Будешь реветь — сиди дома! Чем тебе не нравится кофта? Скромно и строго.

— Да?

— Да, черт возьми, да! — терял я терпение.

— И Даниил Васильевич это же говорил.

— Какой Даниил Васильевич?!

— Режиссер... С «Ленфильма»...

Бывают мгновения, когда женщину хочется ударить. Так хочется! Но вместо этого...

— Ты с ним спала, конечно...

— Что ты! Что ты! Они там все импотенты...— (Вот видите! Ударил бы женщину ни за что!)

— А что у тебя будет в руках?

— Ой, совсем забыла!

Сумки оказались все дрянь. Была утверждена муфта из белого зайца, который, видимо, решил в середине зимы сменить шкуру.

— Я буду вся в пуху!

— Ты не будешь, надеюсь, ею махать. Это же не веер.

— Ой, как хорошо... Напомнил. У меня есть веер!

— Никаких вееров! — категорически запротестовал я.

Были забракованы также часы и немыслимый браслет: серебристый уж с глазами из бутылочного стекла.

— А это колечко?

— Можно,— сдался я.

Галка протерла запудренное зеркало и в испуге отшатнулась.

— Боже, какая я нищая...

Все грозило начаться снова. Я пошел на провокацию.

— Эта фраза типичная для проституток. Что ты постоянно клянчишь у мира?! Ты здорова, ты красива! Что тебе еще надо?!

— Шубку.

— Дура.

— Я тебе нравлюсь?

(Вот это серьезный разговор! А то — «шубка»! Смешно.)

— Безумно!

— А что мы идем смотреть?

— «Дон Сезар де Базан».

Сняла юбку, стала отпаривать ее.

— Я хочу в Испанию... Из-за меня дрались бы на шпагах. Пели бы под окном серенады... Ой!!

— Что еще?!

Щипцами поддела крышку кастрюли. Супа не было, на дне лежало черное что-то и подозрительное, оно пузырилось и угрожающе шипело.

— Суп «по-испански»,— определил я, кашляя от дыма.

В фойе театра надел очки, предусмотрительно купленные накануне в магазине уцененных товаров.

— Плохо вижу издали.

— А вблизи?

Галка приблизилась вплотную, целует мне нос.

— Вблизи хорошо.

Себе купил программку, даме — мороженое. Ходим чинно по коврам, болтаем всякую бестолочь. Галка и впрямь красива. В особенности — ноги. И глаза южанки. Темно-вишневые. «Кагоровые» глаза.

— А ты где родилась?

— В Чернигове. Слыхал?

— Так ты хохлушка?

— Батько. А мамка — ленинградка... Хочу вина.

Но мы не успели: звонок приглашал в зал.

Наши места в третьем ряду. Сели. Галка уткнулась в программку. А во мне вдруг заворочалось беспокойство. Что-то произошло. Вот только сейчас... Не могу понять — что... Вспоминаю по порядку... Вошли в зал... Галина впереди.. Зашла между рядами... Протискиваюсь следом, задевая колени сидящих...

Не может быть!.. Рука... На спинке кресла... Тонкие пальцы... «Ими совершают дворцовые перевороты»... и ямочки... Нет! Показалось. Ошибся. Мало ли рук с ямочками... Взглянуть. Это в четвертом, за нами... Место, примерно, шестое от нас... Шея стала деревянная. Пальцы липкие. Что-то спрашивает Галка...

— Что ты говоришь?

— Я забыла зайти в туалет,— шепчет она.

— Зачем? — механически спрашиваю я.

Галка прыскает в программку. Гаснет свет. Вступила музыка. Прошло минуты две. По сцене на фоне холщовых стен города в ярких камзолах двигались люди, говорили громко и длинно.

Вот зал засмеялся... Еще...

Я медленно поворачиваю голову. Поправляю очки и делаю между пальцами щель... Нет. Ее нет. Мешает мужчина, он перекрыл собою несколько лиц...

Тонкие усики... Чуть навыкате глаза. Жирный черный волос. Громко смеется. Откидывается на спинку кресла... Она!!! Рядом с ним... Сдерживает смех... Поправляет через платье лямку лифчика... (Одна из привычек. Никак не мог отучить от этого...) Лицо пополнело. Округлилось. В основном, такая же, как и была.

Я повернулся к сцене, где танцевала средневековую тарантеллу большеглазая куртизанка.

Первый антракт я провел в зале, заучивая наизусть программку. Галка притащила два апельсина и винный дух.

— Я бокальчик...

— Ну, и молодец.

— А ты?

— Я бросил.

— Удивительно.

— Мир состоит из удивительных вещей, Галочка.

Фраза оказалась пророческой.

Во втором действии, среди многочисленной свиты испанского короля, мелькнуло лицо. Это уж слишком!.. Мысленно снимаю дурацкие усы... Я не ошибся! Ленька!.. Выученная программка подсказывает текст: «В спектакле заняты студенты пятого курса театрального института»...

Мне стало весело.

Если есть всему этому режиссер, то он гениален, как бог! Впрочем, почему бы богу не заняться режиссурой? Творить чудеса надоедает. Надо иметь какое-нибудь хобби.

Но Ленька!..

Я смотрел только за ним, и мне стало жаль его. Он хватался за шпагу, когда этого совсем не требовалось, он, не думая вовсе о короле, отталкивал заслонявших его других придворных и тянул тонкую шейку, и глазами искал кого-то в зале... (Наверное, Людмилу. Видимо, он и пригласил их.)

До самого конца спектакля передо мной подпрыгивал на цыпочках жалкий, бессловесный лакей... «Кланьтесь! Кланьтесь, канальи!» — вспомнил я рассказ Рокоссовского. «И по шее им! По шее!» — добавил я мысленно.

Во мне зрело озорство. Хотелось выкинуть что-то совсем несусветное...

И я выкинул.

Вестибюльная теснотища.

Вне очереди подаю номерок, предварительно завернув его в рубль. Помогаю одеться Галке. Вывел на улицу.

— Обожди меня на углу. Я сейчас...
Ныряю в подъезд. Нахожу швейцара.
— Карандашика не найдем?
— Почему не найдем?
Старик протягивает авторучку. Пишу на программке несколько слов.
— Сами понимаете: в любви все средства хороши. Это надо передать даме... При выходе...— (Кладу в программку трешник.)
— Понимаем,— улыбнулся швейцар.
— Вон... С лестницы спускается. С лисичкой на шее...
— С чернявым?
— С чернявым.
— Будет исполнено.
Галка ждала меня в такси.
Эта девчонка остановит и автобус, если только очень захочет этого.

— Ха-ха-ха! — заливается во мне мальчишка.
— Ха-ха-ха! — как и тогда, давным-давно, опуская парусиновый тапочек в кислые щи бедной тети Нюры...
— Ха-ха-ха!
«Грузите лавровый лист бочками. Штаны не стирайте — их нужно показать маме. Филипп Второй испанский».

ЛИСТ ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ

Пятое февраля.
Проснулся рано. Зажег свет.
На стуле глаженая рубашка, на столе варежки. Вязаные. Синие. У большого пальца голубой зайчик.
В квартире пахнет пирогами.

Весь вечер тихий и трезвый сижу у Зои. Кроме нас — Алевтина Кузьминична. (Это от нее я узнал все о Зое.)
Был ли праздничным вечер?
Да.
Было радостно: принят подарок. (Платье к лицу.)
Было радостно: она улыбнулась! В первый раз!
(Алевтина Кузьминична рассказала о церковном стороже, который выпил вино для причастия и съел все просвирки, но пьянчужка сознался, и потому был прощен батюшкой.)
Ем яблочный пирог и пью ароматный чай.

Галка, мобилизовав все свои чары, настойчиво склоняет меня к женитьбе. С каждой встречей выкручиваться становится все сложней.
Пришлось положить конец этому.
Мое заявление об отказе встречается такой душераздирающей истерикой, что Федор, присутствующий при этом, не выдерживает.
«Отволоки ты ее в загс, чего мучаешь бабу?!»
(Вот бы сказать им сейчас о побеге! Представил их лица...)
Рассмеялся.
Федор матюгается, хлопает дверью.
И тотчас стихли вопли. Голосом, полным нежности и любви, Галка объявляет мне, что она беременна.
Любая женщина, увидев в эту минуту мое лицо, выбросила бы меня вон, но у этой все наоборот: Галка шепчет о пяточках, о носике, о ямочках на ручках, о ямочках на попке.
— Заткнись! Какие ямочки?! Что ты несешь?! Мы сами в яме!! Кто его

отец?! Бездомный ворюга?! А мать?! Хозяйка воровской хаты?! Почти проститутка! По мне скучают решетки!.. Я слышу по ночам овчарок, а ты... ты...
Она не слышит меня; тихо, уже совсем как сошедшая с ума, бормочет на одной ноте:
— ...и ушки будут шевелиться так же, когда рассердится...
Ее безумие было сильнее моего здравого смысла.
— Делай что хочешь,— промямлил я и взялся за шапку.
— Ты не придешь больше?
— Нет.
— Поцелуй меня.
— Ну, что за ерунда.
— Поцелуй!!! — заорала она страшно.
Я повиновался.

Зоя и Алевтина Кузьминична не спали всю ночь: безбожно пьяный квартирант нецензурно ругал себя, порвал в клочья рубашку, потом, упав на колени, целовал ноги хозяйки, около которых и уснул.

Апрель на острове начинается с грязи.
Сугробы черными грядами выстроились вдоль тропинок, которые уже и не тропинки вовсе, а ручьи; они подбирают по дороге мусор и несут его в главный мусороприемник — залив.
Вербное воскресенье.
Наломав веток, потянулись к Смоленскому родственники.
Я тоже хочу наломать веток, я тоже хочу на кладбище, к маме. Может, рискнуть? Может, и нет там никакого наблюдения? Не поехал. Не рискнул.

Первое мая.
Тянет за собою, всасывает в себя, подчиняет себе бурный поток. Не устоять, не отвернуться, не уйти. Машет руками и флажками, зазывает оркестрами и песнями... Качается цветами и буквами. И тысяча ног, и тысяча глаз! И все туда... Назад никто.
И пошел сам, не позванный никем, не приглашенный. Иду за «папиросой»... «Папироса» на полуторке. Табачная фабрика. В колонне — девчата.

Пора в путь-дорогу!
Дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем!

— Клавка, твоего нет?!
— У меня второй припасенный!
— Ха-ха-ха!!
— Девочки! Не короткое сшила? Посмотрите...
— В норме!
— Меня секретарь пугнул: «Что ты, говорит, Светлова, ноги наружу высунула? А еще комсорг»...
— А ты?
— Я ему: знаешь, секретарь...
(Шепчет. Не разобрать из-за гула.)
— Ха-ха-ха! — заливаются девчата.
— Технолог-то с женой...
— Которая? Которая?
— На демонстрацию так с женой...

Судить буду строго —
Мне сверху видно все,
Ты так и знай!!

Прошли через площадь. «Папироса» сворачивает в переулок.
— Девчонки! Кому до автобазы?!

Кому куда: кому — домой, кому — в магазин, кому — на свидание.

А мне...

Иду по набережной. Свободное такси.

— Подбрось до Охтинского!

Сюда не долетает гул Первомая. Здесь свои праздники. Малолюдно. В конце дорожки мелькнула старушечья тень. Канавка. У мостика две интеллигентные дамы.

Дорожка разделилась на две тропинки. Теперь направо... Фамильный склеп...

«МИРАБО
Эллада Ричардовна
1862—1901»

А вот и сосна... На могиле космы седой травы. Цветочный горшок. Наверное, тетя была... Еще прошлым летом... Вытер рукой крест. Иголки, иголки... Старые, а колются.... Совсем рядом стучит дятел. Холодно.

Выбрался на главную дорожку. Опять мимо мостика. Черпанул воды, отмыл сапоги от глины. Иду к выходу. Перегоняю интеллигентных.

У часовни — старушка. В руках бумажные пионы.

— Костров!..

Ратиновое пальто. Шляпа. Улыбается. В руке пистолет.

— Побегал и хватит...

На крыльце часовни — еще один и тоже улыбается.

— Три месяца тут припухаем... Надоело...

В кармане иголки. Надо же... Никогда не думал, что они такие колючие...

Обратно до Иркутска везли в купейном вагоне. Со мной оперативно-розыскная группа. Трое. Все трое довольные: в Ленинграде побывали впервые и сбежавшего поймали. Относились ко мне хорошо. Наручники, правда, не снимали. Только когда кормежка и когда в туалет...

В первый же вечер спросил:

— Интересно, кому в голову пришло ждать на кладбище?

— Это элементарно,— объясняет старший.— Из «Дела» твоего ясно. В дневнике про мать... В письме к Сталину опять про мать пишешь... Да и нет у тебя никого на свете. Один ты, Костров. Дневальный твой, в клубе который...

— Петро?

— Ну да. На допрос когда дернули... Он так и ляпнул: «Чего, мол, шухер подняли? Лександрыч к матухе подался. Цветочков положит на могилку и вернется...»

Все трое рассмеялись.

ЛИСТ ТРИДЦАТЫЙ

Одиннадцатое октября тысяча девятьсот пятидесятого года. Лагерный суд. Ввели остриженного наголо Рокоссовского.

— Привет, контра! Еще не повесился? — услышу сейчас... Нет. Ничего я не услышал от Женьки.

Вопросы. Ответы. Вопросы. Ответы.

Узнаю, что Женька был арестован в Москве через двадцать два дня после того, как мы расстались в Нижнеудинске.

— Начало срока исчислять со дня суда,— заканчивает Председательствующий.

Снова десять лет.

Из них отбыл... один день.

ЛИСТ ТРИДЦАТЬ ПЕРВЫЙ

Штрафной лагерь. Длинный бетонированный барак, наполовину врытый в землю. На сплошных нарах в два яруса лежит, сидит и ходит триста «особо опасных» преступников. Днем и ночью два ярких прожектора пронизывают холодную сырую мглу этой «братской могилы», так называл ее Женька. Ни на работу, ни на прогулки не выводят. От многомесячного ничегонеделания люди зверели, и закон животной силы здесь окончательно взял верх над разумом и чувством.

Мы отдалились друг от друга: я ушел в себя, а Женька примкнул к воровскому миру: целыми ночами играл в карты, выигрывал хлеб и кашу, бил морды нежелающим платить, часами лежал, погрузившись в наркотический бред и больше не пел. Помню, однажды он подошел ко мне и положил две пайки хлеба, только что выигранные им.

— Не надо, Женя, спасибо...

— Брезгуешь, сука?..

Я отвел глаза в сторону.

— Ну, и сдыхай,— промолвил Женька и бросил хлеб на середину барака, где тут же завязалась драка. Это был последний наш разговор.

Вечером прибыл этапом новенький, знаменитый среди воровского мира Володя Бакенбард, высокий, черный мужчина лет сорока с лицом чеченца.

На левом виске пульсировал фиолетовой кожей большой шрам, отдаленно напоминающий бакенбард.

Женька как старший среди блатных пригласил Бакенбарда «откушать» с ним. Это воровская традиция: признаешь, уважаешь — садись. Бакенбард отказался, сказав громко и отчетливо:

— Сучьего куска не ем!

Женька стал белым. Он знал, что по воровским законам воевать на фронте и вообще служить в армии «не положено».

— Это кто сука? — свистящим шепотом спросил Женька и, спрыгнув с верхних нар, вплотную подошел к Бакенбарду.

— Ты, ты — сука... Орденоносец и погань,— спокойно и с какой-то нежной улыбкой ответил Бакенбард. Барак замер, предвкушая спектакль.

— Братцы! Воры! — заорал Женька.— Я делаю его начисто!

Но Бакенбард опередил его. Длинная сухая рука поддела Женьку снизу под подбородок. Женька икнул, захлебываясь кровью, но не упал; его только отбросило к вертикальному брусу нар. Бакенбард успел еще ударить ногой, но, видимо, неудачно. Женька окончательно осатанел. Таким я его не видел. Оттолкнувшись ногой от бруса, он головой нанес страшный удар в грудь. И тут же, подпрыгнув, ударил сразу двумя руками по затылку. Бакенбард рухнул на пол. Дальше смотреть было невыносимо. Женька буквально плясал на нем. Серые бурки почернели от крови, но еще долго он продолжал избивать совершенно неподвижное тело.

Потом, пошатываясь и тяжело дыша, пошел к бочке с водой, сплевывая по дороге кровь. Обмывшись, Женька забрался на свое место и продолжал прерванную карточную игру.

Через час обо всем забыли — зрелище было банальным. Жизнь шла своим чередом.

Я долго не мог заснуть в эту ночь. Мешал свет прожекторов и дыхание огромной спящей массы.

Вдруг я услышал хруст. Именно хруст. Как будто какое-то огромное животное пережевывало хрящи другого.

Я сел, прислушиваясь. Вот опять: хрр... хрр... Я взглянул туда, где хрустело, и заорал, оглушая себя и других... В метрах пятнадцати от меня, на спине спящего Женьки (он всегда спал на животе), сидел Бакенбард и двумя руками вбивал в него «пику» (это — скоба, которой скрепляют балки. Выпрямленная, с обмотанным тряпкой одним концом, она и впрямь напоминает пику, длиною не менее полуметра).

Даже после того, как мой крик поднял на ноги весь барак, Бакенбард продолжал казнь. Во всем этом был ритм: на счете один, два — он вынимал

ее... На счете «три» — всаживал до тех пор, пока она не упиралась во что-то твердое и хрустящее.

Я сидел и плакал долго и беззвучно. Утром пришли надзиратели и вынесли Женьку. Я проводил его глазами.

Лицо Женьки было спокойно, как у человека, спящего глубоким и здоровым сном.

ЛИСТ ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ

Перешагиваю через четыре года. За эти четыре года... Нет. Не буду. О чем рассказывать? Сколько спилил сосен и кедров? Сколько перетаскал кирпичей и бревен? Сколько видел зарезанных, повесившихся? Сколько прослушал исповедей и сколько лжи? Сколько видел обмороженных рук и ног? Сколько я сам провалялся в сангородках (цинга, дистрофия, язвы, геморрой, чирии)? Про это рассказывать?

Поверьте мне: больно об этом писать, а читать скучно.

Тысяча девятьсот пятьдесят третий год.

Март.

Кончина.

— Газету!!!

По дверям цензорской руками и ногами...

— Давай га-зе-ту!!!

Шепнул об этом кто-то из вольных. Облетело мгновенно. Поднялся весь лагерь. Закипел. Забурлил.

— Что же будет?.. Что же будет?..

— Да ничаво. Ряшотки потолше, а пайка потоньше буде...

— Представляю, в Москве что творится...

— Сожгут?! Что вы, Федор Николаевич! Никогда! Заложат еще один Мавзолей, вот увидите...

— Теперь и вовсе не до нас...

— Второго такого нет. Эпоха не в состоянии лепить гениев, как сырники...

— Кстати, о сырниках... Анекдот вспомнил...

— Ха-ха-ха!!!

— И не стыдно вам? В такой день... Осталось же, наконец, что-нибудь человеческое у вас?

— Ты чего пасть разинул, контра?! Небось, сам про него анекдоты тискал!

— Да ну его, Серега! Он же чеканутый: тридцать писем накатал покойничку...

— Умора!.. Лучше б две колоды смастырил.

А я только девять. Последнее, девятое, было тогда с собой... В Москве. От Фомина вышел, поплелся в приемную ЦК и сунул в огромный дубовый ящик.

Что же будет теперь?

ЛИСТ ТРИДЦАТЬ ТРЕТИЙ

— Распишитесь, пожалуйста, здесь...

Бланк. Герб.

«...нашла необоснованным... отменить... реабилитировать. Председатель специальной комиссии Верховного Совета СССР... 17 октября 1956 года».

— Вы следуете на постоянное жительство в Ленинград?

— Нет. Мне бы хотелось некоторое время поработать здесь, в Ангарске.

— Тогда с этой бумагой вы обратитесь в местный Совет. Препятствий с пропиской не будет.

Жмет руку второй раз.

— А отчаяние, Костров, изгоните. Вы еще так молоды. Не сломайтесь... Трагедия не только ваша... Партия просит принять извинения, а, по существу, больше всего пострадала она... Разберитесь не спеша. Будьте трезвы и мужественны. В добрый путь...

Из-за стола поднялась седая женщина. На серой кофте орден Ленина. Руки — кости да кожа с мозолями.

— Виктор, я, как мать...— (Она ищет слова.) — Я девять лет... Ты должен верить...

Взяла из пепельницы окурок. Затянулась.

— Такой же сын у меня,— гордо сказала она.— Он верит. И ты должен верить, Костров. Другого нет. Нет...

ЛИСТ ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

— Не оглядывайся!..

Это кричат мне вслед остающиеся. Есть примета: выходишь на свободу — не оглядывайся, а то вернешься. Но я оглянулся. Какие там приметы, когда оставляю здесь так много.

— Прощайте, бараки и юрты! Вы сохранили от стужи тело мое! Прощай, кухня, где на моем счету, в буквальном смысле, пуд съеденной соли...

Хотя... что я?.. Сейчас умножим...

Прохожу через вахту. Овчарка посмотрела на меня без интереса и зевнула.

...Значит, триста шестьдесят пять умножим на восемь... четыре в уме... трижды восемь... итого: две тысячи девятьсот двадцать... округляем... две тысячи девятьсот дней. В день по десять граммов... так... Двадцать девять кило.

Почти два пуда!

В город мчатся машины. А, ну их! Пойду пешком. Мороз невелик.

Дорога повернула круто, обогнула пологий холм с высоковольтной опорой и уперлась в городок.

Слева дымится черная вода Ангары, мороз еще слабоват. Остановит ее он позже, в декабре, а может быть, в январе.

Городок начался с двухэтажных разноцветных домиков. Около каждого конвой — пятнадцатиметровые кедры и ни одного забора.

(Как я ненавижу заборы!)

У розового домика пилят дрова.

— На Социалистическую как пройти?

— Вон дымит, видите? Это баня. До нее дотопаете и влево до моста... Там спросите.

Стучу в дверь зеленого домика в конце Социалистической улицы.

— Сейчас, Виктор, сейчас,— весело крикнули из-за двери.— У нас тут две задвижки, французский замок и русский крюк!..

Распахнулась дверь, и нос к носу — хохочущая девчонка.

— Здрасте! Здрасте! Я — Женя. По мужу — Боброва. Андрейка на работе. Давайте валенки — у нас тепло...

Толкает меня на табурет, хватается за валенок.

— Ну, что вы, что вы, Женечка! Я сам...

— Сами вы ничего не будете!

Сдернула валенок. Не даю ей схватить за второй. Она бьет по рукам и смеется на весь дом.

— Не буяньте! А то свяжем! Вот Андрейка придет и свяжем! У нас санаторный режим.

— Как, опять режим?!

— Ничего! Ничего! Андрейка и тот привык. Вот шлепанцы. Я почему-то представляла вас седым...

— Я вас почему-то черненькой...

— И с такими ногами?

Она делает колесом ноги, оттопыривает нижнюю губу и проходит впереди меня в комнату.

— У Андрея Васильевича самая красивая жена в Ангарске,— говорит она совсем серьезно самой себе в маленькое круглое зеркальце.

— А я — в курсе!
— Откуда?
— Он мне о вашей красоте все уши прожужжал: «Женя, Женя, Женя, Женя».
— Он мне про вас тоже. Только и слышу целыми днями: «Витя, Витя, Витя, Витя!»
Выскочила в кухню.
С Андреем Бобровым я жил в одном бараке целый год, и целый год он действительно говорил со мной только на одну тему. О ней.
Лишь пять дней они прожили вместе. Пять дней прошло после того, когда, оглушенные счастьем, они вышли из местного загса.
Они успели привезти новую мебель в новый дом, успели выкрасить его в темно-зеленый, успели вскопать клумбу под резеду, а на пятый день, вечером, успели станцевать танго во Дворце культуры.
Когда танго кончилось, к ним подошли трое.
Андрей не нашел слов, чтобы защитить ее. Он только озверело бил сильными руками их пьяные хари, пока один из них не исчез в сутолоке танцевального зала, а оставшихся двоих вместе с ним не увезла милиция.
За драку в общественном месте дали всем поровну — по два года.
Через год, учтя отличную работу и прочие добродетели, его освободили.
Покидая меня, он уносил тяжелую пачку Жениных писем и данное мною слово: после освобождения обязательно заглянуть к нему.
— Андрей не пьет,— оправдывается жена и ставит на стол графин с водкой.
— Это он сам?
Показываю на потолок.
— Сам. Краски я составляла...
Андрей работал маляром на стройке. Это я знал. Но чтобы сделать такие белые бутоны в углах... нужен или талант, или любовь.
Хозяйка тоже чем-то напоминает бутон. Полная, беленькая. Зубы крупные, белые. Белая вязаная кофта с пуговицами-шишечками. Глазки только темные, ореховые. В них добрая лукавинка и абсолютная уверенность в себе, в Андрее, во всем, что вокруг. Такое лицо трудно представить плачущим. С таким лицом бывают медсестры. Она и была медсестрой в городской больнице.
— Вечером пойдете с Андрейкой в баню.
Вносит тарелку с крупно нарезанным омулем. Омуль копченый.
Рот заполнился слюной.
— Женечка, я сегодня,— глотаю слюни,— утром мылся. Там есть душ.
— А у нас — пар и венички...
Не отвести глаз от омуля. Ну, никак...
— Венички — это прекрасно,— лепечу я бессмысленно и, воспользовавшись тем, что она опять в кухне, прикасаюсь к рыбе, нюхаю палец и даже лизнул его один раз.
Спасительный стук в дверь.
— Вить!
— Андрюшка!
И нет больше слов.
— Как телята! — хохочет Женечка и расталкивает нас локтями. Руки у нее заняты чугуном, а в чугуне картошка, одетая в самый что ни есть парадный мундир.
Душа и тело с трудом выдерживали обрушивающиеся на них наслаждения. Наконец тело не выдержало и рухнуло. Это произошло на самой верхотуре, в парной. Андрей на плечах вынес меня и усадил под «летний дождь».
Очнувшись, вижу подмигивающий глаз Андрея.
— Как сибирская банька?
— П-прекрасно,— и снова теряю сознание.
Окончательно открыл глаза в раздевалке. Андрей смеется и шлепает ладонями по моим щекам.
— От счастья не умирают, дурак!

Рассказывать о счастье, о жизни счастливого человека невозможно. Слова бессильны.
Это состояние души можно, и то лишь отчасти, выразить песней, танцем, музыкой, криком, наконец!.. И глазами.
И молчанием.
Это мое мнение. Я его не навязываю вам. Я хочу только, чтобы вы, читатель, поняли, почему здесь, на этом месте, я обрываю заведенное на самого себя досье.

Ленинград, 1970

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОСЬЕ

(Справки)

1957 год — Ангарск. Работаю на кирпичном заводе в горячем цехе (большая зарплата). Во Дворце культуры ставлю веселую детскую сказку (сам написал).
1958 год — Возвращаюсь в Ленинград. Тети Клавы уже не застал (даже не знаю, где ее могила).
Ставлю пьесы в народных театрах. Пишу для телевидения сатирические миниатюры.
1962 год — «Ленфильм». Режиссер Михаил Ершов, выслушав мою биографию, волочет к директору киностудии Киселеву. Через десять минут я зачислен в штат ассистентом режиссера.
1966 год — Москва. Высшие режиссерские курсы. Шеф — Леонид Захароич Трауберг.
1968 год — Работаю вторым режиссером у Глеба Панфилова (фильмы: «В огне брода нет» и «Начало»).
1970 год — Женитьба. Рождение Сашеньки. (Сейчас он в Военно-морском училище.)

Тамара. Давно замужем. Муж — офицер. Две дочери. Полковник Брагин умер.
Ленька (Леонид Павлович), который разбил на свадьбе хрустальный бокал моей тещи,— режиссер. Поставил несколько детских фильмов. Виделись ежедневно. Умер этой весной...
Людмилу не встречал. По слухам — живет в Ленинграде. Родители умерли давно.
Галку (притон «Мечта») нашел с трудом. Там все плохо, очень плохо. После моего тогда исчезновения сделала аборт.
Горбунов (единственный воздержавшийся при голосовании на бюро Школы) умер недавно. В последние годы — комментатор Центрального телевидения. Настоящая фамилия — Летунов. Юрий.
Шурика Фомина встретил случайно в Москве. Работает в уголовном розыске. Двое сыновей. Все в порядке. Только лысый совсем.

И ПОСЛЕДНЕЕ

О любви...
Это отдельная огромная тема. Это пока не дописанный мною роман...

Природа одарила Геннадия Ивановича Алексеева (1932—1987) разными талантами: в нем соединялись архитектор, художник, поэт, замечательный педагог, он изучал модерн в архитектуре и собирался писать об этом книгу, в последние годы много работал над прозой, завершил роман «Зеленые берега». На всем, что им сделано, лежит печать неординарной личности, интеллектуала, интеллигента, человека, который выше всех земных благ ценил искусство и полагал главным смыслом жизни служение Красоте.

В его облике коренного ленинградца, его интересах, привычках, манере держаться, блеске культуры было что-то скорее даже петербургское, а в его стихах (он отдавал предпочтение верлибрам) — тревоги, сомнения, раздумья, одиночество перед лицом Вселенной человека наших дней.

На страницах «Невы» Геннадий Алексеев выступал не раз. Его уже нет, а стихи все идут к нам и будут еще долго идти, ведь четыре книги стихов, изданные при жизни поэта, вобрали только малую часть всего им написанного.

Вот мы снова слышим голос нашего товарища. Ирония, усмешка не могут скрыть детской чистоты его души и мудрой горечи зрелости, преждевременно оборвавшейся.

Наталья БАНК

Геннадий АЛЕКСЕЕВ

ЗВЕЗДНОЕ НЕБО

Все злитесь,
все обижаетесь,
все возмущаетесь
чем-то,
а, между прочим,
в безоблачные ночи
небо бывает удивительно звездное.
Все бегаете,
все хлопочете,
все домогаетесь
чего-то,
а ведь у вас
есть звездное небо
с миллиардами звезд.

Бросьте все,
дождитесь безоблачной ночи,
заберитесь на ближайший пригорок
и глядите:
вон, созвездие Рыб,
вон, Плеяды,
а вот и Сириус!
Чего же вам еще надо?

◻ ◻ ◻

Когда сосны
несутся за окнами сломя голову,
и в вагоне пусто,
мне кажется,
что произошло нечто непоправимое,
мне кажется,
что леса в панике,
и остановить их бегство
уже невозможно.

Поэтому я побаиваюсь
ранних электричек.

РИЖСКИЙ ДОЖДЬ

Струится дождь
по водосточным трубам.
В кофейне сухо,
тихо
и уютно.
Струится дождь
по черепичным крышам.
В кофейне пахнет
кофе и корицей.
Струится дождь
по плитам тротуаров,
по фонарям
и по телам машин.
В кофейне
полумрак и безмятежность.

Не думать о дождях средневековья,
струившихся по крышам старой Риги,
смывавших кровь с дощатых эшафотов,
стиравших копоть с крепостных бойниц.

О маске думать,
о гранитной маске,
глядящей с улицы в окно кофейни,
о маске думать,
мокрой от дождя —
несмотря ни на что
она улыбается.

ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ

Среди голых,
босых деревьев
брожу
тепло одетый,
в новых ботинках на толстой подошве.

Совестно мне
как-то.

ЭТА ЖЕНЩИНА И ЭТА КРЕПОСТЬ

В этой крепости сидели декабристы,
а теперь
здесь сидит эта женщина
с гордым профилем.
В этой крепости сидел Достоевский,
а теперь
здесь сидит эта женщина
с большим ртом.
В этой крепости сидел Чернышевский,
а теперь
здесь сидит эта женщина
с прямыми светлыми волосами.

Она сидит здесь каждый день
с девяти утра до пяти вечера.

В этой крепости я, как дома.
Эта женщина водит меня
по всем закоулкам
и открывает мне
все двери.

— Погляди,— говорит она мне,—
Здесь лежит Анна,
там — Павел,
а здесь никто не лежит,
здесь свободное место.

Перед смертью
я пойду в горсовет
и выпрошу разрешение.

Эта женщина будет говорить туристам:
— Поглядите,
здесь лежит Елизавета,
там — Александр Первый,
а тут — один мой знакомый,
он занял свободное место.

Эта женщина переживет меня,
я уверен.

◻ ◻ ◻

Постучи в мое окно,
путник,
разбуди меня внезапным стуком
среди ночи,
постучи и пройди мимо
ночным путем.

Выйду на крыльцо —
никого.
Обойду вокруг дома —
никого.
Выбегу на улицу —
никого.

— Что за черт,— скажу,—
никого! —
и не засну до утра.

Потревожь
меня бестревожного,
путник,
после полуночи!

ЧЕГО МНЕ ХОЧЕТСЯ

— Чего тебе хочется? — спрашивают.—
Чего ты, собственно, хочешь?

— Ничего,— говорю,—
ровным счетом ничего мне не хочется,
ничего я уже не хочу.

— Вот именно! — говорят.—
Ни черта ты не хочешь!—
И уходят.

— Подождите! — кричу
и подбегаю к ним запыхавшись.
— Простите,— говорю,—
я забыл.
Мне хочется
прожить остаток жизни
на берегу не очень широкой,
но глубокой реки
с высокими
зелеными
берегами.

ЧЕРТОВСКИЕ СТИХИ

Я говорю:
Да ну вас!
Надоели вы мне!
Идите вы, знаете, куда!
Они говорят:
Нет, не знаем!

Тогда я говорю:
То есть как не знаете?
Идите к черту,
к лешему,
к дьяволу,
к чертовой матери,
к чертовой бабушке,
ко всем чертям!
И они послушно уходят.

Потом возвращаются.

Где,— спрашиваю,— были?

То есть как,— говорят,— где?
У черта,
у лешего,
у дьявола,
у чертовой матери,
у чертовой бабушки
и у прочих чертей!

Шутите! — говорю,
а самому завидно:
сижу дома,
никуда не хожу
и ни черта не вижу,
ни черта!

Аркадий СТРУГАЦКИЙ
Борис СТРУГАЦКИЙ

Фантастический роман

Рис. Г. Ковенчука

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Он сидел на скамейке перед дурацкой цементной чашей фонтана и прижимал влажный, уже степлившийся платок к здоровенной, страшной на ощупь, гуле над правым глазом. Света белого он не видел, голову ломило так, что он опасался, не лопнул ли череп, саднили разбитые колени, ушибленный локоть онемел, но, по некоторым признакам, обещал в ближайшем будущем еще заявить о себе. Впрочем, все это, может быть, было даже и к лучшему. Все это придавало происходящему отчетливо выраженную грубую реальность. Не было никакого Здания, не было Стратега и темной липкой лужи под столом, не было шахмат, не было никакого предательства, а просто брел человек в темноте, зазевался да и загремел через низенький цементный барьер прямо в идиотскую чашу, треснувшись дурацкой своей башкой и всем прочим о сырое цементное дно...

То есть Андрей, конечно, прекрасно понимал, что на самом деле все было совсем не так просто, но приятно было думать, что, может быть, все-таки именно брел, именно зацепился и треснулся — тогда все получалось даже забавно и во всяком случае удобно. Что же мне теперь делать, думал он туманно. Ну, нашел я это Здание, ну, побывал, увидел своими глазами... А дальше? Не забивайте мне голову, больную мою голову теперь не забивайте всеми этими разглагольствованиями о слухах, мифах и прочей пропаганде. Это раз. Не забивайте... Впрочем, виноват — кажется, это я сам всем забивал голову. Надо немедленно выпустить этого... как его... с флейтой. Интересно, эта его Элла — тоже там играла в шахматы?.. Сволочь, как голова болит...

Платок совсем степлился, Андрей, кряхтя, поднялся, подковылял к фонтану и, перегнувшись через край, подержал влажную тряпку в ледяной струйке. В гулю кто-то горячо и яростно толкался изнутри. Вот тебе и миф. Он же мираж... Он отжал платок, снова приложил его к больному месту и посмотрел через улицу. Толстяк по-прежнему спал. Зараза жирная, подумал Андрей с озлоблением. Службу он несет. Я тебя зачем с собой брал? Дрыхнуть я тебя сюда брал? Меня тут сто раз могли кокнуть... Конечно, а эта скотина, выспавшись, заявилась бы завтра утром в прокуратуру и доложила бы как ни в чем не бывало: господин, мол, следователь как зашли ночью в Красное Здание, так больше наружу и не вышли... Некоторое время Андрей представлял себе, как славно было бы набрать сейчас ведро ледяной воды, подобраться бы к толстому гаду и вылить ему все за шиворот. То-то бы взвился. Это как на сборах ребята развлекались: задрыхнет кто-нибудь, а ему за шнурок привяжут к причинному месту ботинок, а потом этот огромный грязный говнодав поставят на морду. Тот спросонья озвереет и этот ботинок запускает в пространство с бешеной силой... Очень было смешно.

Андрей вернулся к скамейке и обнаружил, что у него появился сосед. Какой-то маленький тощенький человечек, весь в черном, даже рубашка черная, сидел, положивши ногу на ногу, держа на колене старомодную шляпу-котелок. Наверное, сторож при синагоге. Андрей тяжело опустился рядом с ним, осторожно прощупывая сквозь влажный платок границы гули.

— Ну, хорошо,— сказал человечек ясным старческим голосом.— А что будет дальше?

— Ничего особенного,— сказал Андрей.— Всех выловим. Я этого дела так не оставлю.

— А дальше? — настаивал старик.

— Не знаю,— сказал Андрей, подумав.— Может быть, еще какая-нибудь гадость появится. Эксперимент есть Эксперимент. Это — надолго.

— Это навечно,— заметил старик.— В согласии с любой религией это — навечно.

— Религия здесь ни при чем,— возразил Андрей.

— Вы и сейчас так думаете? — удивился старик.

— Конечно. И всегда так думал.

— Хорошо, не будем пока об этом. Эксперимент есть Эксперимент, веревие — вервие простое... здесь многие так себя утешают. Почти все. Этого, между прочим, ни одна религия не предусмотрела. Но я-то о другом. Зачем даже здесь нам оставлена свобода воли? Казалось бы, в царстве абсолютного зла, в царстве, на вратах которого начертано: «Оставь надежду...»

Андрей подождал продолжения, не дождался и сказал:

— Вы все это себе как-то странно представляете. Это не есть царство абсолютного зла. Это скорее хаос, который мы призваны упорядочить. А как мы сможем его упорядочить, если не будем обладать свободой воли?

— Интересная мысль,— произнес старик задумчиво.— Мне это никогда не приходило в голову. Значит, вы полагаете, что нам дан еще один шанс? Что-то вроде штрафного батальона — смыть кровью свои прегрешения на переднем крае извечной борьбы добра со злом...

— Да при чем здесь — «со злом»? — сказал Андрей, понемногу раздражаясь.— Зло — это нечто целенаправленное...

— Вы — манихеец! — прервал его старик.

— Я — комсомолец! — возразил Андрей, раздражаясь еще больше и чувствуя необыкновенный прилив веры и убежденности.— Зло — это всегда явление классовое. Не бывает зла вообще. А здесь все перепутано, потому что — Эксперимент. Нам дан хаос. И либо мы не справимся, вернемся к тому, что было там — к классовому расслоению и прочей дряни,— либо мы оседлаем хаос и претворим его в новые, прекрасные формы человеческих отношений, именуемые коммунизмом...

Некоторое время старик ошарашенно молчал.

— Надо же,— произнес он наконец с огромным удивлением.— Кто бы мог поду-

Окончание первой книги. Начало см.: «Нева», 1988, № 9.

мать, кто бы мог предположить... Коммунистическая пропаганда — здесь! Это даже не схизма, это...— Он помолчал.— Впрочем, ведь идеи коммунизма сродни идеям раннего христианства...

— Это ложь! — возразил Андрей сердито.— Поповская выдумка. Раннее христианство — это идеология смирения, идеология рабов. А мы — бунтари! Мы камня на камне здесь не оставим, а потом вернемся туда, обратно, к себе, и все перестроим так, как перестроили здесь!

— Вы — Люцифер,— проговорил старик с благоговейным ужасом.— Гордый дух! Неужели вы не смирились?

Андрей аккуратно перевернул платок холодной стороной и подозрительно посмотрел на старичка.

— Люцифер?.. Так. А кто вы, собственно, такой?

— Я — тля,— кратко ответствовал старик.

— Гм...— спорить было трудно.

— Я — никто,— уточнил старик.— Я был никто там, и здесь я тоже никто.— Он помолчал.— Вы вселили в меня надежду,— объявил он вдруг.— Да, да, да! Вы не представляете себе, как странно, как странно... как радостно было слушать вас! Действительно, раз свобода воли нам оставлена, то почему должно быть обязательно смирение, терпеливые муки?.. Нет, эту встречу я считаю самым значительным эпизодом во все время моего пребывания здесь...

Андрей с неприязненной внимательностью оглядывал его. Издевается, старый хрен... Нет, не похоже... Сторож синагоги?.. Синагога!

— Прошу прощенья,— вкрадчиво осведомился он.— Вы давно здесь сидите? Я имею в виду — на этой скамеечке?

— Нет, не очень. Сначала я сидел на табуретке вон в той подворотне, там есть табуретка... А когда дом удалился, я перешел на скамеечку.

— Ага,— сказал Андрей.— Значит, вы видели дом?

— Конечно! — с достоинством ответил старик.— Его трудно не видеть. Я сидел, слушал музыку и плакал.

— Плакал...— повторил Андрей, мучительно пытаясь сообразить, что к чему.— Скажите, вы еврей?

Старик вздрогнул.

— Господи, нет! Что за вопрос? Я католик, верный и — увы! — недостойный сын римско-католической церкви... Разумеется, я ничего не имею против иудаизма, но... А почему вы об этом спросили?

— Так,— сказал Андрей уклончиво.— К синагоге, значит, вы не имеете никакого отношения?

— Пожалуй, нет,— сказал старик.— Если не считать того, что я часто сижу в этом скверике, и иногда сюда приходит сторож...— Он стесненно захихикал.— Мы с ним ведем религиозные диспуты...

— А Красное Здание? — спросил Андрей, закрывая глаза от боли в черепе.

— Дом? Ну, когда приходит дом, мы, естественно, здесь сидеть не можем. Тогда нам приходится подождать, пока он уйдет.

— Значит, вы видите его не в первый раз?

— Разумеется, нет. Редкую ночь он не приходит... Правда, сегодня он был здесь дольше, чем обычно...

— Погодите,— сказал Андрей.— А вы знаете, что это за дом?

— Его трудно не узнать,— тихо сказал старик.— Раньше, в той жизни, я не раз видел его изображения и описания. Он подробно описан в откровениях святого Антония. Правда, этот текст не канонизирован, но сейчас... Нам, католикам... Словом, я читал это. «И еще явился мне дом, живой и движущийся, и совершал непристойные движения, а внутри через окна я видел в нем людей, которые ходили по комнатам его, спали и принимали пищу...» Я не ручаюсь за точность цитирования, но это очень близко к тексту... И, разумеется, Иероним Босх... Я бы назвал его святым Иеронимом Босхом, я многим обязан ему, он подготовил меня к этому...— Он широко повел рукой вокруг себя.— Его замечательные картины... Господь, несомненно, допустил его сюда. Как и Данте... Между прочим, существует рукопись, которую приписывают Данте, в ней тоже упоминается этот дом. Как это там...— Старик закрыл глаза и поднял растопыренную пятерню ко лбу.— Э-э-э... «И спутник мой, простерши руку, сухую и костлявую...» М-м-м... Нет... «Кровавых тел нагих сплетенье в покоях сумрачных...» М-м-м...

— Погодите,— сказал Андрей, облизывая сухие губы.— Что вы мне несете? При чем здесь святой Антоний и Данте? Вы к чему, собственно, клоните?

Старик удивился.

— Я ни к чему не клоню,— сказал он.— Вы ведь спросили меня про дом, и я... Я, конечно, должен благодарить Бога за то, что он в предвечной мудрости и бесконечной доброте своей еще в прежнем существовании моем просветил меня и дал мне подготовиться. Я очень и очень многое узнаю здесь, и у меня сжимается сердце, когда я думаю о других, кто прибыл сюда и не понимает, не в силах понять, где они оказались. Мучительное непонимание сущего и, вдобавок, мучительные воспоминания о грехах своих. Возможно, это тоже великая мудрость Творца: вечное сознание грехов своих без осознания возмездия за них... Вот, например, вы, молодой человек,— за что он низвергнул вас в эту пучину?

— Не понимаю, о чем вы говорите,— пробормотал Андрей. «Религиозных фанатиков нам здесь еще только и не хватало»,— подумал он.

— Да вы не стесняйтесь,— сказал старик ободряюще.— Здесь скрывать это не имеет смысла, ибо суд уже состоялся... Я, например, грешен перед народом своим — я был предателем, доносчиком, я видел, как мучили и убивали людей, которых я выдавал слугам сатаны. Меня повесили в тысяча девятьсот сорок четвертом.— Старик помолчал.— А вы когда умерли?

— Я не умирал...— произнес Андрей, холодея.

Старик покивал с улыбкой.

— Да, многие так думают,— сказал он.— Но это неправда. История знает случаи, когда людей брали живыми на небо, но никто никогда не слыхал, чтобы их — в наказание! — живыми ссылали в преисподнюю.

Андрей слушал, обалдело воззрившись на него.

— Вы просто забыли,— продолжал старик.— Была война, бомбы падали на улицах, вы бежали в бомбоубежище, и вдруг — удар, боль, и все исчезло. А потом — видение ангела, говорящего ласково и иносказательно, и вы — здесь...— Он снова понимающе покивал, выпятив губу.— Да-да, несомненно, именно так вот и возникает ощущение свободы воли. Теперь я понимаю: это инерция. Просто инерция, молодой человек. Вы говорили так убежденно, что несколько даже поколебали меня... Организация хаоса, новый мир... Нет-нет, это просто инерция. Это должно со временем пройти. Не забудьте, преисподняя вечна, возврата нет, а вы ведь еще только в первом круге...

— Вы... серьезно? — голос Андрея дал маленького петуха.

— Вы же все это знаете сами,— ласково сказал старик.— Вы отлично все это знаете! Просто вы — атеист, молодой человек, и не хотите себе признаться, что ошибались всю свою — пусть даже недолгую — жизнь. Вас учили ваши бестолковые и невежественные учителя, что впереди — ничто, пустота, гниение; что ни благодарности, ни возмездия за содеянное ждать не приходится. И вы принимали эти жалкие идеи, потому что они казались вам такими простыми, такими очевидными, а главным образом потому, что вы были совсем молоды, обладали прекрасным здоровьем тела и смерть была для вас далекой абстракцией. Сотворивши зло, вы всегда надеялись уйти от наказания, потому что наказать вас могли только такие же люди, как вы. А если вам случалось сотворить добро, вы требовали от таких же, как вы, немедленной награды. Вы были смешны. Сейчас вы, конечно, понимаете это — я вижу это по вашему лицу...— Он вдруг засмеялся.— У нас в подполье был один инженер, материалист, мы часто спорили с ним о загробной жизни. Господи, как он издевался надо мною! «Папаша,— говорил он.— В раю мы с вами закончим этот бессмысленный спор...» И вы знаете, я все ищу его здесь, ищу и никак не могу найти. Может быть, в его шутке была правда, может быть, он и в самом деле пошел в рай — как мученик. Смерть его воистину была мучительна... А я — здесь.

— Ночные диспуты о жизни и смерти? — проквакал вдруг над ухом знакомый голос, и скамейка затряслась. Изя Кацман, по обыкновению растерзанный и взлохмаченный, с размаху плюхнулся по другую сторону от Андрея и, придерживая левой рукой огромную светлую папку, сейчас же принялся правой терзать свою бородавку. Как и всегда, он был в состоянии какого-то восторженного возбуждения.

Андрей сказал, стараясь, чтобы получилось по возможности небрежно:

— Вот этот пожилой господин полагает, что все мы находимся в аду.

— Пожилой господин абсолютно прав,— немедленно возразил Изя и захихикал.— Во всяком случае, если это и не ад, то нечто совершенно неотличимое по своим проявлениям. Однако согласитесь, пан Ступальский, вы ведь так и не нашли в моей прижизненной карьере ни одного проступка, за который стоило меня сюда отправить! Я даже не прелюбодействовал — до такой степени я был глуп.

— Пан Кацман,— заявил старик,— я вполне допускаю, что вы и сами не знаете ничего об этом своем роковом проступке!

— Возможно, возможно,— легко согласился Изя.— Судя по твоему виду,— обратился он к Андрею,— ты побывал в Красном Здании. Ну, и как тебе там?

Вот тут Андрей окончательно пришел в себя. Словно лопнула и растаяла эта липкая полупрозрачная пленка кошмара, утихла боль в голове, теперь он резко и ясно различал все вокруг себя, и Главная улица перестала быть мглистой и туманной, и полицейский с мотоциклом вовсе, оказывается, не спал, а прохаживался по тротуару, светя красным огоньком сигареты и поглядывая в сторону скамейки. «Господи,— подумал Андрей почти с ужасом.— Что я здесь делаю? Я ведь следователь, время ведь уходит,

а я занимаюсь здесь болтовней с этим психом, а ведь здесь Кацман... Кацман? Он-то как здесь оказался?»

— Откуда ты знаешь, где я был? — спросил он отрывисто.

— Нетрудно догадаться,— сказал Изя, хихикая.— Ты бы посмотрел на себя в зеркало...

— Я тебя серьезно спрашиваю! — сказал Андрей, повышая голос.

Старик вдруг поднялся.

— Спокойной ночи, панове,— произнес он, плавно подвигав котелком над головой.— Добрых сновидений.

Андрей не обратил на него внимания. Он смотрел на Изю. А Изя, щипля бородавку и слегка подпрыгивая на месте, смотрел вслед удаляющемуся старичку, осклабясь до ушей и уже заранее давясь и кряхтя.

— Ну? — сказал Андрей.

— Какая фигура! — с восхищением прошипел Изя.— Ах, какая фигура! Ты дурак, Воронин, ты как всегда ни черта не знаешь! Ты знаешь, кто это такой? Это же знаменитый пан Ступальский, Иуда-Ступальский! Он выдал гестапо в Лодзи двести сорок восемь человек, дважды его уличали, дважды он как-то выкручивался и подставлял вместо себя кого-нибудь другого. Уже после освобождения его окончательно прищучили, судили судом скорым и правым, но он и тут выкрутился! Господа Наставники сочли полезным выдуть его из петли и переправить сюда. Для букета. Здесь он живет в сумасшедшем доме, изображает психа, а сам продолжает активно работать по своей любимой специальности... Ты думаешь, он случайно оказался здесь, на скамеечке, как раз рядом с тобой? Знаешь, на кого он теперь работает?

— Заткнись! — сказал Андрей, усилием воли раздавив в себе привычное любопытство и интерес, которые одолевали его во время Изиных рассказов.— Меня все это не интересует. Как ты здесь оказался? Откуда, черт возьми, ты знаешь, что я был в Здании?

— А я и сам там был,— спокойно сказал Изя.

— Так,— сказал Андрей.— И что же там происходило?

— Ну, это тебе виднее, что там происходило. Откуда мне знать, что там происходило с твоей точки зрения?

— А что там происходило с твоей точки?

— А вот это уж тебя совершенно не касается,— сказал Изя, поправляя на коленях свою объемистую папку.

— Папку ты взял там? — спросил Андрей, протягивая руку.

— Нет,— сказал Изя.— Не там.

— Что в ней?

— Послушай,— сказал Изя.— Какое тебе дело? Что ты ко мне привязался?

Он еще не понимал, что происходит. Впрочем, Андрей и сам еще не вполне понимал, что происходит, и лихорадочно раздумывал, как действовать дальше.

— А знаешь, что в этой папке? — сказал Изя.— Я раскопал старую мэрию, это километрах в пятнадцати отсюда. Копался там весь день, солнце погасло, темнотища, как у негра в задпице, никакого освещения там, сам понимаешь, уже лет двадцать нету... Плутал я там, плутал, еле выбрался на Главную — кругом развалины, дикие голоса какие-то орут...

— Так,— сказал Андрей.— Ты что, не знаешь, что в старых развалинах рыться запрещено?

Азартное выражение исчезло из глаз Изи. Он внимательно посмотрел на Андрея. Кажется, он начинал понимать.

— Ты что,— продолжал Андрей,— инфекцию в Город затащить хочешь?

— Что-то мне твой тон не нравится,— сказал Изя, криво улыбаясь.— Как-то ты не так со мной разговариваешь.

— А ты мне весь не нравишься! — сказал Андрей.— Ты зачем мне голову забивал, будто Красное Здание — это миф? Ты же знал, что это не миф. Ты же мне врал. Зачем?

— Это что — допрос? — спросил Изя.

— А ты как думаешь? — сказал Андрей.

— Я думаю, что ты себе голову сильно зашиб. Я думаю, тебе надо умыться холодненькой водичкой и вообще прийти в себя.

— Дай сюда папку,— сказал Андрей.

— А пошел ты на ...! — сказал Изя, вставая. Он сильно побледнел.

Андрей тоже встал.

— Поедешь со мной,— сказал он.

— И не подумаю,— сказал Изя отрывисто.— Предъяви ордер на арест.

Тогда Андрей, леденея от ненависти, не спуская с Изи глаз, медленно расстегнул кобуру и вытащил пистолет.

— Идите вперед,— приказал он.

— Идиот...— пробормотал Изя.— Совершенно свихнулся... —

— Молчать! — гаркнул Андрей.— Вперед!

Он тинул Изю стволом в бок, и Изя послушно заковылял через улицу. Видимо, у него были стерты ноги, он сильно хромал.

— От стыда же подохнешь,— сказал он через плечо.— Проспишься — от стыда сгоришь...

— Не разговаривать!

Они подошли к мотоциклу, полицейский ловко откинул полог в коляске, и Андрей показал туда стволом пистолета.

— Садитесь.

Изя молча и очень неуклюже уселся. Полицейский быстро вскочил в седло, Андрей сел позади него, сунув пистолет в кобуру. Двигатель взревел, застрелял, мотоцикл развернулся и, подскакивая на выбоинах, помчался обратно к прокуратуре, распугивая психов, утомленно и бессмысленно бродивших по сырой от выпавшей росы улице.

Андрей старался не смотреть на Изю, скорчившегося в коляске. Первый запал прошел, и он испытывал теперь что-то вроде неловкости — как-то все произошло слишком уж быстро, слишком торопливо, впопыхах, как в том анекдоте про медведя, который катал зайца в люльке без дна. Ладно, разберемся...

В предбаннике прокуратуры Андрей, не глядя на Изю, приказал полицейскому зарегистрировать задержанного и доставить его наверх к дежурному, а сам, шагая через три ступеньки, поднялся к себе в кабинет.

Было около четырех часов — самое горячее время. В коридорах стояли у стен или сидели на длинных, отполированных задами скамьях подследственные и свидетели, вид у всех у них был одинаково безнадежный и сонный, все почти судорожно зевали и таращились осоловело. Дежурные время от времени вопили от своих столиков на весь дом: «Не разговаривать! Не переговариваться!» Из-за обитых дерматином дверей следственных камер доносился стук пишущих машинок, бубнящие голоса, слезливые вопли. Было душно, нечисто, сумрачно. Андрея замутило — захотелось вдруг заскочить в буфет и выпить чего-нибудь бодрящего: чашку крепкого кофе или хотя бы просто рюмку водки. И тут он увидел Вана.

Ван сидел на корточках, прислонившись к стене спиной, в позе бесконечно терпеливого ожидания. На нем была своеобычная ватная стеганка, голова втянута в плечи, так что ворот стеганки оттопыривал уши, круглое безволосое лицо спокойно. Он дремал.

— Ты что тут делаешь? — спросил Андрей удивленно.

Ван открыл глаза, легко поднялся и сказал, улыбнувшись:

— Арестован. Жду вызова.

— Как арестован? За что?

— Саботаж,— сказал Ван тихонько.

Здоровенный детина в испачканном плаще, дремавший рядом, тоже открыл глаза, вернее — один глаз, потому что другой заплыл у него фиолетовым фингалом.

— Какой саботаж?! — поразился Андрей.

— Уклонение от права на труд...

— Статья сто двенадцать, параграф шесть,— деловито пояснил детина с фингалом.— Шесть месяцев болотной терапии — и все дела.

— Помолчите,— сказал ему Андрей.

Детина посветил на него своим фингалом, ухмыльнулся (Андрей тотчас вспомнил и ясно ощутил собственную гулю на лбу) и прохрипел миролюбиво:

— Можно и помолчать. Почему не помолчать, когда все ясно без слов?

— Не разговаривать! — грозно заорал издали дежурный.— Кто там к стене прислоняется? А ну, отслонись!

— Подожди,— сказал Андрей Вану.— Тебя куда вызвали? Сюда? — он указал на дверь двадцать второй камеры, пытаясь припомнить, чей это кабинет.

— Точно,— прохрипел детина с готовностью.— В двадцать вторую нас. Полтора часа уже стенку подпираем.

— Подожди,— снова сказал Андрей Вану и толкнул дверь.

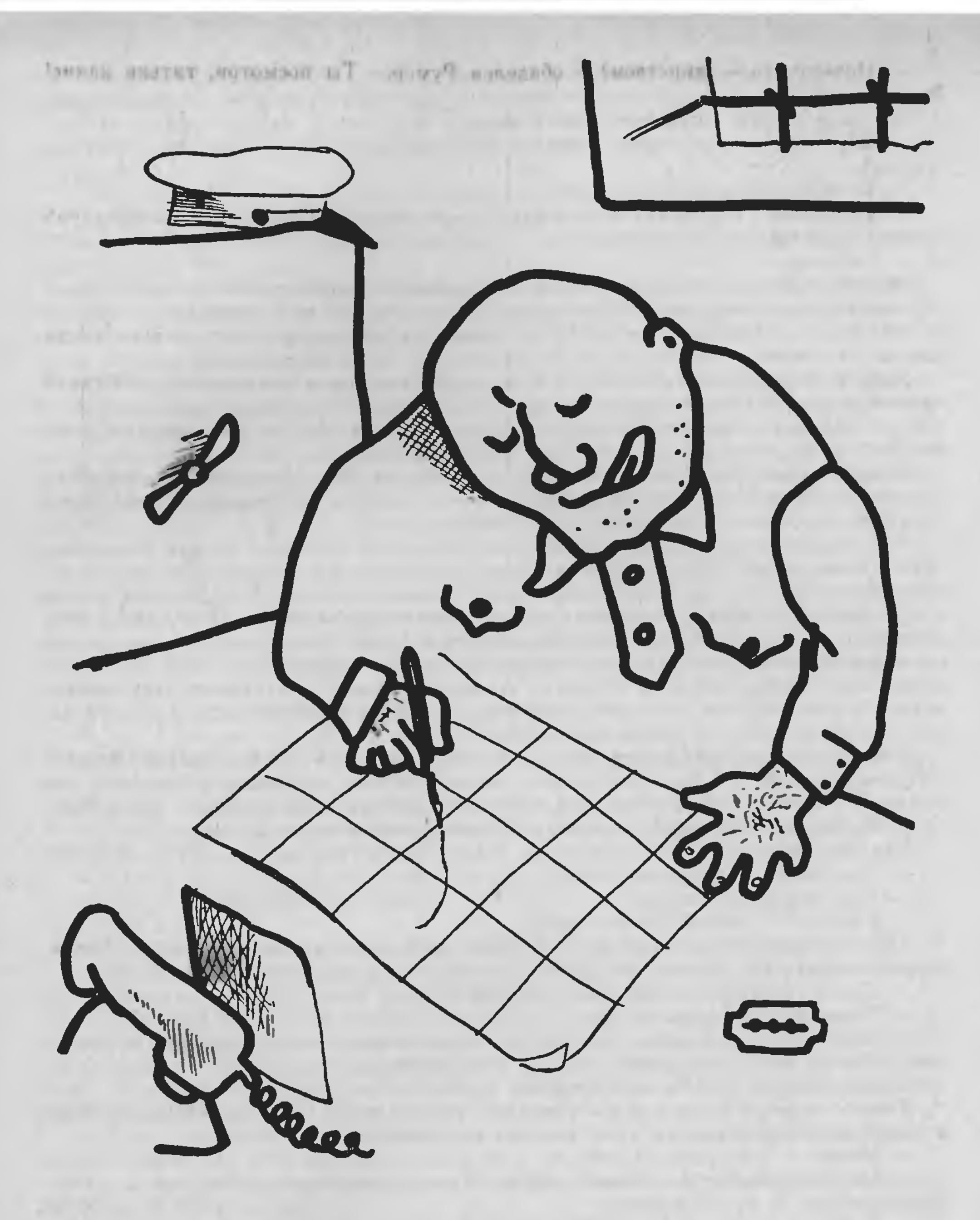
За столом восседал Генрих Румер, младший следователь и личный телохранитель Фридриха Гейгера, бывший боксер среднего веса и мюнхенский букмекер. Андрей спросил: «Можно к тебе?», но Румер не отозвался. Он был очень занят. Он что-то рисовал на большом листе ватмана, склоняя то к одному плечу, то к другому свою звероподобную физиономию с расплющенным носом, он пыхтел и даже постанывал от напряжения. Андрей прикрыл за собою дверь и подошел к столу вплотную. Румер перерисовывал порнографическую открытку. Ватман и открытка были расчерчены на клеточки. Работа была в самом начале, на ватман пока наносились лишь общие контуры. Труд предстоял титанический.

— Чем это ты занимаешься на службе, скотина? — укоризненно спросил Андрей.

Румер заметно вздрогнул и поднял глаза.

— А, это ты...— проговорил он с видимым облегчением.— Чего тебе?

— Это ты так работаешь? — горестно сказал Андрей.— Тебя там люди ждут, а ты...



— Кто ждет? — встрепенулся Румер.— Где?
— Подследственные твои ждут! — сказал Андрей.
— А-а... Ну и что?
— Ничего,— сказал Андрей со злостью. Наверное, надо было как-то пристыдить этого типа, напомнить зверюге, что ведь Фриц за него ручался, честным своим именем ручался за кретина ленивого, за обормота, но Андрей почувствовал, что сейчас это выше его сил.
— Кто это тебе в лоб засветил? — с профессиональным интересом спросил Румер, разглядывая Андрееву гулю.— Красиво кто-то засветил...
— Неважно,— сказал Андрей нетерпеливо.— Я к тебе вот за чем: дело Ван Лихуна у тебя?
— Ван Лихуна? — Румер перестал разглядывать гулю и задумчиво запустил палец в правую ноздрю.— А что такое? — осторожно спросил он.
— У тебя или нет?
— А ты почему спрашиваешь?
— Потому что он сидит там перед твоей дверью и ждет, пока ты здесь свинством занимаешься!

— Почему это — свинством? — обиделся Румер.— Ты посмотри, титьки какие! М-ммух! А?
Андрей брезгливо отстранил фотографию.
— Давай сюда дело,— потребовал он.
— Какое дело?
— Дело Ван Лихуна давай сюда!
— Да нет у меня такого дела! — сердито сказал Румер. Он выдвинул средний ящик стола и заглянул в него. Андрей тоже заглянул в ящик. В ящике действительно было пусто.
— Где вообще все твои дела? — спросил Андрей, сдерживаясь.
— Тебе-то что? — сказал Румер агрессивно.— Ты мне не начальник.
Андрей решительно сорвал телефонную трубку. В поросячьих глазках Румера мелькнула тревога.
— Постой,— сказал он, торопливо прикрывая телефонный аппарат огромной лапищей.— Ты это куда? Зачем?..
— Вот я сейчас позвоню Гейгеру,— сказал Андрей зло.— Даст он тебе по мозгам, идиоту...
— Подожди,— бормотал Румер, пытаясь отобрать у него телефонную трубку.— Что ты, в самом деле... Зачем звонить Гейгеру? Что мы — вдвоем с тобой это дело не уладим? Ты, главное, объясни толком, чего тебе надо?
— Я хочу взять себе дело Ван Лихуна.
— Это китайца, что ли? Дворника?
— Да!
— Ну, так бы и сказал с самого начала! Нет на него никакого дела. Только что доставили. Я с него первичный допрос снимать буду.
— За что его задержали?
— Профессию не хочет менять,— сказал Румер, деликатно таща к себе телефонную трубку вместе с Андреем.— Саботаж. Третий срок дворником сидит. Статью сто двенадцать знаешь?..
— Знаю,— сказал Андрей.— Но это случай особый. Вечно они что-нибудь напутают. Где сопроводиловка?
Шумно сопя, Румер отобрал, наконец, у него трубку, положил ее на место, снова полез в стол — в правый ящик,— покопался там, заслонив содержимое гигантскими плечами, вытянул бумажку и, обильно потея, протянул ее Андрею. Андрей пробежал бумагу глазами.
— Тут не сказано, что он направляется именно к тебе,— объявил он.
— Ну и что?
— А то, что я его забираю к себе,— сказал Андрей и сунул бумажку в карман.
Румер забеспокоился.
— Так он же на меня записан! У дежурного.
— Так вот позвони дежурному и скажи, что Ван Лихуна взял себе Воронин. Пусть перепишет.
— Это уж ты сам ему позвони,— сказал Румер важно.— Чего это я ему буду звонить? Ты забираешь, ты и звони. А мне расписку давай, что забрал.
Через пять минут все формальности были закончены. Румер спрятал расписку в ящик, посмотрел на Андрея, посмотрел на фотографию.
— Титьки какие! — сказал он.— Вымя!
— Плохо ты кончишь, Румер,— пообещал ему Андрей, выходя.
В коридоре он молча взял Вана под локоть и повлек за собой. Ван шел покорно, ни о чем не спрашивая, и Андрею пришло в голову, что вот так же безмолвно и безропотно он бы шел и на расстрел, и на пытку, и на любое унижение. Андрей не понимал этого. Было в этом смирении что-то животное, недочеловеческое, но в то же время возвышенное, вызывающее необъяснимое почтение, потому что за смирением этим угадывалось сверхъестественное понимание какой-то очень глубокой, скрытой и вечной сущности происходящего, понимание извечной бесполезности, а значит, и недостойности противодействия. Запад есть Запад, Восток есть Восток. Строчка лживая, несправедливая, унизительная, но в данном случае она почему-то казалась уместной.
У себя в кабинете Андрей усадил Вана на стул — не на табурет для подследственных, а на стул секретаря сбоку от стола,— уселся сам и сказал:
— Ну, что там у тебя с ними произошло? Рассказывай.
И Ван сейчас же принялся рассказывать своим размеренным и повествовательным голосом:
— Неделю назад ко мне в дворницкую явился районный уполномоченный по трудоустройству и напомнил мне, что я грубо нарушаю закон о праве на разнообразный труд. Он был прав, я действительно грубо нарушал этот закон. Три раза мне приходили повестки с биржи, и три раза я выбрасывал их в мусор. Уполномоченный объявил мне, что дальнейшее манкирование грозит большими для меня неприятностями. Тогда

я подумал: ведь бывают же случаи, когда машина оставляет человека на прежней работе. В тот же день я отправился на биржу и вложил свою трудовую книжку в распределительную машину. Мне не повезло. Я получил назначение директором обувного комбината. Но я заранее решил, что на новую службу не пойду, и остался дворником. Сегодня вечером за мной пришли двое полицейских и привели сюда. Вот как все было.

— Поня-атно,— протянул Андрей. Ничего ему было непонятно.— Слушай, хочешь чаю? Здесь можно попросить чаю с бутербродами. Бесплатно.

— Это будет большое беспокойство,— возразил Ван.— Не стоит.

— Какое там беспокойство!..— сердито сказал Андрей и заказал по телефону два стакана чая и бутерброды. Потом он положил трубку, посмотрел на Вана и осторожно спросил: — Я все-таки не совсем понимаю, Ван, почему ты не захотел стать директором комбината? Это уважаемая должность, ты бы получил новую профессию, принес бы много пользы, ты ведь очень исполнительный и трудолюбивый человек... А я знаю этот комбинат — вечно там воровство, целыми ящиками обувь выносят... При тебе этого бы не было. И потом, там гораздо выше зарплата, а у тебя все-таки жена, ребенок... В чем дело?

— Да, я думаю, тебе это трудно понять,— сказал Ван задумчиво.

— А чего тут понимать? — сказал Андрей нетерпеливо.— Ясно же, что лучше быть директором комбината, чем всю жизнь разгребать мусор... Или, тем более, вкалывать шесть месяцев на болотах...

Ван покачал круглой головой.

— Нет, не лучше,— сказал он.— Лучше всего быть там, откуда некуда падать. Ты этого не поймешь, Андрей.

— Почему же обязательно падать? — спросил Андрей, растерявшись.

— Не знаю — почему. Но это обязательно. Или приходится прилагать такие усилия удержаться, что лучше уж сразу упасть. Я знаю, я все это прошел.

Полицейский с заспанным лицом принес чаю, откозырял, качнувшись, и боком выдвинулся в коридор. Андрей поставил перед Ваном стакан в потемневшем подстаканнике, придвинул тарелку с бутербродами. Ван поблагодарил, отхлебнул из стакана и взял самый маленький бутерброд.

— Ты просто боишься ответственности,— сказал Андрей расстроенно.— Извини, конечно, но это не совсем честно по отношению к другим.

— Я всегда стараюсь делать людям только добро,— спокойно возразил Ван.— А что касается ответственности, то на мне лежит величайшая ответственность. Моя жена и ребенок.

— Это верно,— сказал Андрей, снова несколько растерявшись.— Это, конечно, так. Но, согласись, Эксперимент требует от каждого из нас...

Ван внимательно слушал и кивал. Когда Андрей кончил, он сказал:

— Я тебя понимаю. Ты по-своему прав. Но ведь ты пришел сюда строить, а я сюда бежал. Ты ищешь борьбы и победы, а я ищу покоя. Мы очень разные, Андрей.

— Что значит — покоя? Ты же на себя клевещешь! Если бы ты искал покоя, ты нашел бы тепленькое местечко и жил бы себе припеваючи. Здесь ведь полным-полно тепленьких местечек. А ты выбрал себе самую грязную, самую непопулярную работу и работаешь ты честно, не жалеешь ни сил, ни времени... Какой уж тут покой!

— Душевный, Андрей, душевный! — сказал Ван.— В мире с собой и со Вселенной.

Андрей побарабанил пальцами по столу.

— И что же, ты так всю свою жизнь и намерен пробыть дворником?

— Не обязательно дворником,— сказал Ван.— Когда я сюда попал, я был сначала грузчиком на складе. Потом машина назначила меня секретарем мэра. Я отказался, и меня отправили на болота. Я отработал шесть месяцев, вернулся и по закону как наказанный получил самую низкую должность. Но потом машина опять стала выталкивать меня наверх. Я пошел к директору биржи и объяснил ему все, как тебе. Директор биржи был еврей, он попал сюда из лагеря уничтожения, и он меня очень хорошо понял. Пока он оставался директором, меня не беспокоили,— Ван помолчал.— Месяца два назад он исчез. Говорят, его нашли убитым, ты, вероятно, это знаешь. И все началось сначала... Ничего, я отработаю на болотах и снова вернусь в дворники. Сейчас мне будет гораздо легче — мальчик уже большой, а на болотах мне поможет дядя Юра...

Тут Андрей поймал себя на том, что смотрит на Вана во все глаза, совершенно неприлично, как будто это не Ван сидел перед ним, а какое-то диковинное существо. Впрочем, Ван ведь и в самом деле был диковинкой. Господи, подумал Андрей. Какую же надо прожить жизнь, чтобы докатиться до такой философии? Нет, я ему должен помочь. Просто обязан. Как?..

— Ну, хорошо,— сказал он наконец.— Как хочешь. Только на болота тебе ехать совершенно незачем. Ты не знаешь, случайно, кто теперь директором биржи?

— Отто Фрижа,— сказал Ван.

— Что? Отто? Так в чем же дело?..

— Да. Я бы к нему пошел, конечно, но он ведь совсем маленький, он ничего не понимает и всего боится.

Андрей схватил телефонную книгу, нашел номер, снял трубку. Ждать пришлось долго: видимо, Отто спал, как сурок. Наконец он отозвался прерывающимся, испуганно-сердитым голосом:

— Директор Отто Фрижа слушает.

— Здравствуй, Отто,— сказал Андрей.— Это Воронин говорит, из прокуратуры.

Наступило молчание. Слышно было, как Отто несколько раз откашлялся. Потом он проговорил осторожно:

— Из прокуратуры? Слушаю вас.

— Ты что — не проснулся? — сердито сказал Андрей.— Это Эльза тебя так укатала? Андрей говорит! Воронин!

— Ах, Андрей?! — совсем другим голосом сказал Отто.— Что ты, в самом деле, среди ночи? Фу ты, сердце как колотится... Что тебе?

Андрей объяснил ситуацию. Как он и ожидал, все свершилось без сучка без задоринки. Отто был со всем полностью согласен. Да, он всегда считал, что Ван находится на своем месте. Да, он безусловно полагал, что директор комбината из Вана все равно не получится. Он очевидно и недвусмысленно восхищен стремлением Вана остаться на столь незавидной должности («Побольше бы нам таких людей, а то все лезут вверх, что твои горные егеря!..»), он с негодованием отвергает самое идею отправки Вана на болота, а что касается закона, то он полон священного негодования относительно идиотов и бюрократических кретинов, подменяющих здоровый дух закона его мертвенной буквой. В конце концов закон существует, чтобы ограничить поползновения разных ловкачей пролезть вверх, а людей, желающих остаться внизу, он никак касаться не должен и не касается. Директор биржи совершенно ясно понимал все это. «Да! — повторял он.— О да, конечно!»

Правда, у Андрея осталось смутное, смешное и досадное впечатление, что Отто согласился бы на любое его, Андрея Воронина, предложение — например, назначить Вана мэром или посадить его в карцер. Отто всегда питал к Андрею болезненно-благодарные чувства, потому, наверное, что Андрей был единственным человеком в их компании (а может быть, и во всем городе), который относился к Отто по-человечески... Впрочем, в конце концов, важнее всего было дело.

— Я распоряжусь,— в десятый раз повторял Отто.— Ты можешь быть совершенно спокоен, Андрей. Я дам указание, и Вана больше никто никогда не тронет.

На том и порешили. Андрей положил трубку и принялся писать Вану пропуск на выход.

— Ты прямо сейчас пойдешь? — спросил он, не переставая писать.— Или подождешь до солнца? Смотри, сейчас опасно на улицах...

— Благодарю вас,— пробормотал Ван.— Благодарю вас...

Андрей удивленно поднял голову. Ван стоял перед ним и мелко-мелко кланялся, сложив ладони перед грудью.

— Да брось ты эти китайские церемонии,— проворчал Андрей с досадой и неловкостью.— Что я тебе — благодеяние, что ли, оказал? — Он протянул Вану пропуск.— Я спрашиваю, ты прямо сейчас пойдешь?

Ван принял пропуск с очередным поклоном.

— Я думаю, мне лучше пойти сразу,— сказал он, как бы извиняясь.— Прямо сейчас. Мусорщики, наверное, уже приехали...

— Мусорщики...— повторил Андрей. Он посмотрел на тарелку с бутербродами. Бутерброды были большие, свежие, с отличной ветчиной.— Погоди-ка,— сказал он, вытащил из ящика старую газету и принялся заворачивать бутерброды.— Возьмешь домой, для Мэйлинь...

Ван слабо сопротивлялся, бормотал что-то о чрезмерном беспокойстве, но Андрей сунул пакет ему за пазуху, обнял за плечи и повел к двери. Он чувствовал себя страшно неловко. Все было не так. И Отто, и Ван как-то странно реагировали на его действия. Он ведь только хотел сделать все по справедливости, чтобы все было правильно и разумно, а получилось черт знает что — благотворительность какая-то, кумовство, блат... Он торопливо искал какие-то слова, сухие, деловые, подчеркивающие официальность и законность ситуации... И вдруг ему показалось, что нашел. Он остановился, поднял подбородок и, глядя на Вана сверху вниз, холодно сказал:

— Господин Ван, от имени прокуратуры приношу вам глубочайшие извинения за незаконный привод. Ручаюсь, что это больше никогда не повторится.

И тут ему стало совсем неудобно. Чушь какая-то. Во-первых, привод не был, строго говоря, незаконным. Был он, прямо скажем, вполне законным. А во-вторых, следователь Воронин ни за что ручаться не мог, не имел такого права... И тут он вдруг увидел глаза Вана — странный и очень знакомый своей странностью взгляд, и он вдруг все вспомнил, и его обдало жаром при этом воспоминании.

— Ван,— проговорил он, внезапно охрипнув.— Я хочу тебя спросить, Ван.

Он замолчал. Глупо было спрашивать, бессмысленно. И уже нельзя было не спросить. Ван выжидательно смотрел на него снизу вверх.

— Ван,— сказал он, откашлявшись.— Где ты был сегодня в два часа ночи?

Ван не удивился.

— Как раз в два часа за мной пришли,— сказал он.— Я мыл лестницы.

— А до этого?

— А до этого я собирал мусор, мне помогала Мэйлинь, потом она пошлв спать, а я пошел мыть лестницы.

— Да,— сказал Андрей.— Так я и думал. Ладно, до свиданьи, Ван. Прости, что так получилось... Или нет, подожди, я тебя провожу...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Прежде, чем вызвать Изю, Андрей все продумал заново.

Во-первых, он запретил себе относиться к Изе с предубеждением. То, что Изя циник, всезнайка и болтун, то, что он готов высмеять — и высмеивает — все на свете, что он неопрятен, брызгает, когда разговаривает, мерзко хихикает, живет с вдовой, как альфонс, и неизвестно, каким образом зарабатывает себе на жизнь,— все это в данном случае не должно было играть никакой роли.

Надлежало также выкорчевать без остатка примитивную мысль, что Кацман есть простой распространитель панических слухов о Красном Здании и прочих мистических явлений. Красное Здание — реальность. Загадочная, фантастическая, непонятно зачем и кому понадобившаяся, но — реальность. (Тут Андрей полез в аптечку и, глядясь в маленькое зеркальце, помазал сочащуюся гулю зеленкой.) В этом плане Кацман — прежде всего свидетель. Что он делал в Красном Здании? Как часто там бывает? Что может о нем рассказать? Какую папку он оттуда вынес? Или папка действительно не оттуда? Действительно из старой мэрии?..

Стоп, стоп! Кацман неоднократно проговаривался... нет, не проговаривался, конечно, а просто рассказывал о своих экскурсиях на север. Что он там делал? Антигород тоже где-то на севере! Нет, Кацмана я задержал правильно, хоть и впопыхах. Так ведь оно всегда и бывает: все начинается с простого любопытства, сует человек свой любопытный нос куда не следует, а потом и пикнуть не успел, как его уже завербовали... Почему он никак не хотел отдать мне эту папку?.. Папка явно оттуда. И Красное Здание оттуда! Тут шеф явно что-то недодумал. Ну, это-то понятно — у него не было фактов. И ему не пришлось там побывать. Да, распространение слухов — это страшная штука, но Красное Здание пострашнее любого слуха. И страшно даже не то, что люди исчезают в нем навсегда — страшно, что иногда они оттуда выходят! Выходят, возвращаются, живут среди нас. Как Кацман...

Андрей чувствовал, что ухватился сейчас за главное, но ему недоставало смелости проанализировать все до конца. Он знал только, что Андрей Воронин, который вошел в дверь с медной резной ручкой, был совсем не тот Андрей Воронин, который вышел из этой двери. Что-то сломалось в нем там, что-то утратилось безвозвратно... Он стиснул зубы: «Ну нет, здесь вы просчитались, господа хорошие. Не надо было вам меня выпускать. Нас так просто не сломаешь... не купишь... не разжалобишь...»

Он криво ухмыльнулся, взял чистый лист бумаги и написал на нем крупными буквами: «КРАСНОЕ ЗДАНИЕ — КАЦМАН. КРАСНОЕ ЗДАНИЕ — АНТИГОРОД. АНТИГОРОД — КАЦМАН». Вот как все это получается. Нет, шеф. Нам не распространителей слухов искать надо. Нам надо искать тех, кто вернулся из Красного Здания живым и невредимым — искать их, вылавливать, изолировать... или устанавливать тщательнейшее наблюдение... Он написал: «Побывавшие в Здании — Антигород». Так что пани Гусаковой придется-таки рассказать все, что она знает про своего Франтишека. А флейтиста, наверное, можно выпустить. Впрочем, ладно, не о них речь... Может быть, шефу позвонить? Спросить благословения на переориентировку? Рановато, пожалуй. Вот если мне удастся расколоть Кацмана... Он снял трубку.

— Дежурный? Задержанного Кацмана ко мне в тридцать шестую.

...А расколоть его не только должно, но и можно. Папка. Тут уж он не открутится... У Андрея мелькнула на мгновение мысль, что не совсем этично ему заниматься делом Кацмана, с которым неоднократно выпивалось и вообще... Но он одернул себя.

Дверь отворилась, и задержанный Кацман, осклабясь и засунув руки в лоснящиеся карманы, разболтанной походочкой вступил в камеру.

— Садитесь,— сухо сказал Андрей, показав подбородком на табурет.

— Благодарю вас,— отозвался задержанный, осклабляясь еще шире.— Я вижу, вы еще не очухались...

Все ему, мерзавцу, было как с гуся вода. Он уселся, дернул бородавку на шее и с любопытством оглядел кабинет.

И тут Андрей похолодел. Папки при задержанном не было.

— Где папка? — спросил он, стараясь говорить спокойно.

— Какая папка? — нагло осведомился Кацман.

Андрей сорвал трубку.

— Дежурный! Где папка задержанного Кацмана?

— Какая папка? — тупо спросил дежурный.— Сейчас посмотрю... Кацман... Ага... У задержанного Кацмана изъяты: носовых платков — два, кошелек пустой, подержанный...

— Папка там есть в описи? — гаркнул Андрей.

— Папки нет,— отозвался дежурный замирающим голосом.

— Принесите мне опись,— хрипло сказал Андрей и повесил трубку. Потом он исподлобья поглядел на Кацмана. От ненависти у него шумело в ушах.— Еврейские штучки...— сказал он, сдерживаясь.— Где ты девал папку, сволочь?

Кацман откликнулся немедленно:

— «Она схватила ему за руку и неоднократно спросила: где ты девал папку?»

— Ничего,— сказал Андрей, тяжело дыша носом.— Это тебе не поможет, шпионская морда...

На лице Изи мелькнуло изумление. Впрочем, через секунду он уже вновь ухмылялся своей отвратительно-издевательской ухмылкой.

— Ну, как же, как же! — сказал он.— Председатель организации «Джойнт» Иосиф Кацман, к вашим услугам. Не бейте меня, я и так все скажу. Пулеметы спрятаны в Бердичеве, место посадки обозначим кострами...

Вошел испуганный дежурный, неся перед собою в далеко вытянутой руке листок описи.

— Нету тут папки,— пробормотал он, кладя листок перед Андреем на край стола и отступая.— Я в регистратуру звонил, там тоже...

— Хорошо, идите,— сказал Андрей сквозь зубы.

Он взял чистый бланк допроса и, не поднимая глаз, спросил:

— Имя? Фамилия? Отчество?

— Кацман Иосиф Михайлович.

— Год рождения?

— Тридцать шестой.

— Национальность?

— Да,— сказал Кацман и хихикнул.

Андрей поднял голову.

— Что — да?

— Слушай, Андрей,— сказал Изя.— Я не понимаю, что это с тобой сегодня происходит, но имей в виду, ты на мне всю свою карьеру испортишь. Предупреждаю по старой дружбе...

— Отвечайте на вопросы! — произнес Андрей сдавленным голосом.— Национальность?

— Ты лучше вспомни, как у врача Тимашук орден отобрали,— сказал Изя.

Андрей не знал, кто такая врач Тимашук.

— Национальность!

— Еврей,— сказал Изя с отвращением.

— Гражданство?

— Эс-эс-эс-эр.

— Вероисповедание?

— Без.

— Партийная принадлежность?

— Без.

— Образование?

— Высшее. Пединститут имени Герцена. Ленинград.

— Судимости имели?

— Нет.

— Земной год отбытия?

— Тысяча девятьсот шестьдесят восьмой.

— Место отбытия?

— Ленинград.

— Причина отбытия?

— Любопытство.

— Стаж пребывания в городе?

— Четыре года.

— Нынешняя профессия?

— Статистик управления коммунального хозяйства.

— Перечислите прежние профессии.

— Разнорабочий, старший архивариус города, конторщик городской бойни, мусорщик, кузнец. Кажется, все.

— Семейное положение?

— Прелюбодей,— ответствовал Изя, ухмыляясь.

Андрей положил ручку, закурил и некоторое время рассматривал задержанного сквозь голубой дымок. Изя был осклаблен, Изя был взлохмачен, Изя был нагл, но Андрей хорошо знал этого человека, и он видел, что Изя нервничает. По-видимому, ему было из-за чего нервничать, хотя от папки он сумел избавиться, прямо скажем, ловко. По-видимому, он понимал теперь уже, что берутся за него по-настоящему, и поэтому глаза его нервно щурились, а уголки осклабленного рта подрагивали.

— Вот что, подследственный,— сказал Андрей с хорошо отработанной сухостью.— Я настоятельно рекомендую вам вести себя прилично перед лицом следствия, если вы не хотите ухудшить своего положения.

Изя перестал улыбаться.

— Хорошо,— сказал он.— Тогда я требую, чтобы мне было предъявлено обвинение и объявлена статья, по которой произведено задержание. Кроме того, я требую адвоката. С этой минуты без адвоката я не скажу ни слова.

Андрей внутренне ухмыльнулся.

— Вы задержаны по статье двенадцатой у-пэ-ка о профилактическом задержании лиц, дальнейшее пребывание которых на свободе может представлять социальную опасность. Вы обвиняетесь в незаконной связи с враждебными элементами, в сокрытии или уничтожении вещественных доказательств в момент задержания... а также в нарушении постановления муниципалитета, запрещающего выход за городскую черту из санитарных соображений. Это постановление вы нарушали систематически... А что касается адвоката, то прокуратура может предоставить вам адвоката лишь по истечении трех суток с момента задержания. В соответствии с той же статьей у-пэ-ка, двенадцатой... Кроме того, поясняю: вы можете заявлять протесты, вносить жалобы и подавать апелляции только после того, как удовлетворительно ответите на вопросы предварительного следствия. Все та же статья двенадцатая. Вам все понятно?

Он внимательно следил за Изиным лицом и видел, что Изе все понятно. Было совершенно ясно, что Изя будет отвечать на вопросы и ждать истечения трех суток. При упоминании об этих трех сутках Изя довольно откровенно перевел дух. Прелестно...

— Теперь, когда вы получили разъяснение,— сказал Андрей и снова взял ручку,— продолжим. Ваше семейное положение?

— Холост,— сказал Изя.

— Домашний адрес?

— Что? — спросил Изя. Он явно думал о другом.

— Ваш домашний адрес? Где проживаете?

— Вторая Левая, девятнадцать, квартира семь.

— Что вы можете сказать по существу предъявленного обвинения?

— Пожалуйста,— сказал Изя.— Насчет враждебных элементов: сумасшедший бред. Первый раз слышу, что бывают какие-то враждебные элементы, считаю это провокационной выдумкой следствия. Вещественные доказательства... Никаких вещественных доказательств при мне не было и быть не могло, потому что никаких преступлений я не совершал. Поэтому я ничего не мог ни скрыть, ни уничтожить. А что касается постановления муниципалитета, то я — старый работник городского архива, продолжаю там работать на общественных началах, имею допуск ко всем архивным материалам, а значит, и к тем, которые находятся за чертой города. Все.

— Что вы делали в Красном Здании?

— Это мое личное дело. Вы не имеете права вторгаться в мои личные дела. Докажите сначала, что они имеют отношение к составу преступления. Статья четырнадцатая у-пэ-ка.

— Вы бывали в Красном Здании неоднократно?

— Да.

— Можете назвать людей, которых там встречали?

Изя ужасно осклабился.

— Могу. Только следствию это не поможет.

— Назовите этих людей.

— Пожалуйста. Из нового времени: Петэн, Квислинг, Ван Цзинвэй...

Андрей поднял руку.

— Попрошу в первую очередь называть людей, которые являются гражданами нашего города.

— А зачем это понадобилось следствию? — агрессивно осведомился Изя.

— Я не обязан давать вам отчет. Отвечайте на вопросы.

— Я не желаю отвечать на дурацкие вопросы. Вы ни черта не понимаете. Вы воображаете, что раз я встретил там кого-то, значит он там и на самом деле был. А это не так.

— Не понимаю. Объясните, пожалуйста.

— А я и сам не понимаю,— сказал Изя.— Это что-то вроде сна. Бред взбудораженной совести.

— Так. Вроде сна. Вы были сегодня в Красном Здании?

— Ну, был.

— Где находилось Красное Здание, когда вы в него вошли?

— Сегодня? Сегодня там, у синагоги.

— Меня вы там видели?

Изя опять осклабился.

— Вас я вижу каждый раз, когда захожу туда.

— В том числе сегодня?

— В том числе.

— Чем я занимался?

— Непотребством,— сказал Изя с удовольствием.

— Конкретно?

— Вы совокуплялись, господин Воронин. Совокуплялись сразу со многими девочками и одновременно проповедовали кастратам высокие принципы. Втолковывали им, что занимаетесь этим делом не для собственного удовольствия, а для блага всего человечества.

Андрей стиснул зубы.

— А вы чем занимались? — спросил он, помолчав.

— А вот этого я вам не скажу. Имею право.

— Вы лжете,— сказал Андрей.— Вы там не видели меня. Вот ваши собственные слова: «Судя по твоему виду, ты побывал в Красном Здании...» Следовательно, там вы меня не видели. Зачем вы лжете?

— И не думаю,— легко сказал Изя.— Просто мне было стыдно за вас, и я решил дать вам понять, что вас там не видел. А теперь, конечно, другое дело. Теперь я обязан говорить правду.

Андрей откинулся и забросил руку за спинку стула.

— Вы же говорите, что это вроде сна. Тогда какая разница, видели вы меня во сне или не видели? Зачем что-то там давать понять?..

— Да нет,— сказал Изя.— Я просто постеснялся вам сказать, что о вас думаю иногда. И зря постеснялся.

Андрей с сомнением покачал головой.

— Ну ладно. А папку вы тоже вынесли из Красного Здания? Так сказать, из собственного сна?

Лицо Изи застыло.

— Какая папка? — сказал он нервно.— О какой папке вы все время спрашиваете? Не было у меня никакой папки.

— Бросьте, Кацман,— проговорил Андрей, томно прикрывая глаза.— Папку видел я, папку видел полицейский, папку видел этот старик... пан Ступальский. На суде вам все равно придется давать объяснения... Не отягощайте!

Изя с застывшим лицом шарил глазами по стенам. Он молчал.

— Предположим, что папка не из Красного Здания,— продолжал Андрей.— Тогда, значит, вы получили ее за городской чертой? От кого? Кто вам ее дал, Кацман?

Изя молчал.

— Что было в этой папке? — Андрей встал и прошелся по кабинету, заложив руки за спину.— У человека в руках папка. Человека задерживают. На пути в прокуратуру человек избавляется от папки. Тайно. Почему? По-видимому, в папке содержатся документы, которые этого человека компрометируют... Вы следите за ходом моих рассуждений, Кацман? Папка получена за городской чертой. Какие документы, полученные за городской чертой, могут скомпрометировать жителя нашего города? Какие, скажите, Кацман?

Изя, нещадно терзал бородавку, смотрел в потолок.

— Только не пытайтесь выкручиваться, Кацман,— предупредил Андрей.— Не пытайтесь продать мне какую-нибудь очередную басню. Я вас вижу насквозь. Что было в папке? Списки? Адреса? Инструкции?

Изя вдруг ударил себя ладонью по колену.

— Слушай, идиот! — заорал он.— Что за чушь ты мелешь? Кто тебе все это внушил, простая твоя душа? Какие списки, какие адреса? Майор ты Пронин задрипанный! Ты же знаешь меня три года, знаешь, что я копаюсь в руинах, изучаю историю города. Какого черта ты все время клеишь мне какой-то идиотский шпионаж? Кто здесь может шпионить, сам подумай? Зачем? Для кого?

— Что было в папке?! — гаркнул Андрей изо всех сил.— Перестаньте вилять и отвечайте прямо: что было в папке?

И тут Изя сорвался. Глаза его выкатились и налились кровью.

— Иди ты к ... матери со своими папками! — завизжал он фальцетом.— Не буду я тебе ничего говорить! Дурак ты, идиот, жандармская морда!..

Он визжал, брызгался, ругался матом, показывал дули, и тогда Андрей достал лист чистой бумаги, написал сверху: «Показания подследственного И. Кацмана относительно виденной у него и впоследствии бесследно пропавшей папки», дождался, пока Изя утихомирится, и сказал по-доброму:

— Вот что, Изя. Я тебе неофициально говорю. Дело твое дрянь. Я знаю, что ты вляпался в эту историю по легкомыслию и из-за дурацкого своего любопытства. Тебя уже полгода держат под прицелом, если хочешь знать. И я тебе советую: садись сюда вот и пиши все, как есть. Много я тебе обещать не могу, но все, что в моих силах, для тебя сделаю. Садись и пиши. Я вернусь через полчаса.

Стараясь не глядеть на притихшего от изнеможения Изю, противный сам себе из-за своего лицемерия, подбадривая себя, что в данном случае цель несомненно оправдывает средства, он запер ящики стола, поднялся и вышел.

В коридоре он поманил к себе помощника дежурного, поставил его у дверей, а сам направился в буфет. На душе у него было гадко, во рту — сухо и мерзко, будто дерьма наелся. Допрос получился какой-то кривобокий, неубедительный. Версию Красного Здания он прогадил целиком и полностью, не надо было сейчас с этим связываться. Папку — единственную реальную зацепку! — позорнейше упустил, за такие ляпы в шею надо гнать из прокуратуры... Фриц небось бы не упустил, Фриц бы сразу понял, где собака зарыта. Сентиментальность проклятая. Как же — вместе пили, вместе трепались, свой, советский... А какой был случай — сразу всех сгрести! Шеф тоже хорош: слухи, сплетни... Тут целая сеть под носом работает, а я должен источники слухов искать...

Андрей подошел к стойке, взял рюмку водки, выпил с гадливостью. Куда же он все-таки дел эту папку? Неужели просто выбросил на мостовую? Наверное... Не съел же он ее. Послать кого-нибудь поискать? Поздно. Психи, павианы, дворники... Нет, неправильно, неправильно у нас поставлена работа! Почему такая важная информация, как наличие Антигорода, является секретом даже от работников следствия? Да об этом в газете нужно писать каждый день, плакаты по улицам развешивать, показательные процессы нужны! Я бы этого Кацмана давным-давно бы уже раскусил... Конечно, с другой стороны, и свою голову надо на плечах иметь. Раз есть такое грандиозное мероприятие, как Эксперимент, раз в него втянуты люди самых разных классов и политических убеждений, значит, неизбежно должно возникнуть расслоение... противоречия... движущие противоречия, если угодно... антагонистическая борьба... Должны рано или поздно выявиться противники Эксперимента, люди классово-несогласные с ним, а значит, и те, кого они перетягивают на свою сторону — деклассированный элемент, морально неустойчивые, нравственно разложившиеся, вроде Кацмана... космополиты всякие... Естественный процесс. Мог бы и сам сообразить, как все это должно развиваться...

Маленькая крепкая ладонь легла ему на плечо, и он обернулся. Это был репортер уголовной хроники «Городской газеты» Кэнси Убуката.

— О чем задумался, следователь? — спросил он.— Распутываешь запутанное дело? Поделись с общественностью. Общественность любит запутанные дела. А?

— Привет, Кэнси,— сказал Андрей устало.— Водки выпьешь?

— Да, если будет информация.

— Ничего тебе не будет, кроме водки.

— Хорошо, давай водку без информации.

Они выпили по рюмке и закусили вялым соленым огурцом.

— Я только что от вашего шефа,— сказал Кэнси, выплюнув хвостик.— Он у вас очень гибкий человек. Одна кривая идет вверх, другая кривая падает вниз, оборудование одиночных камер унитазами заканчивается — и ни одного слова по интересующему меня вопросу.

— А что тебя интересует? — спросил Андрей рассеянно.

— Сейчас меня интересуют исчезновения. За последние пятнадцать дней в городе исчезли без следа одиннадцать человек. Может быть, ты что-нибудь знаешь об этом?

Андрей пожал плечами.

— Знаю, что исчезли. Знаю, что не найдены.

— А кто ведет дело?

— Вряд ли это одно дело,— сказал Андрей.— А лучше спроси у шефа.

Кэнси покачал головой.

— Что-то слишком часто последнее время господа следователи отсылают меня то к шефу, то к Гейгеру... Что-то слишком много тайн развелось в нашей маленькой демократической общине. Вы, случаем, не превратились тут между делом в тайную полицию? — Он заглянул в пустую рюмку и пожаловался: — Что толку иметь друзей среди следователей, если никогда ничего не можешь узнать?

— Дружба дружбой, а служба службой.

Они помолчали.

— Между прочим, знаешь, Вана арестовали,— сказал Кэнси.— Предупреждал же я его, не послушался, упрямец.

— Ничего, я уже все уладил,— сказал Андрей.

— Как так?

Андрей с удовольствием рассказал, как ловко и быстро он все уладил. Навел порядок. Восстановил справедливость. Приятно было рассказывать об этом единственном удачном деле за целый дурацкий невезучий день.

— Гм,— сказал Кэнси, дослушав до конца.— Любопытно... «Когда я приезжаю в чужую страну,— процитировал он,— я никогда не спрашиваю, хорошие там законы или плохие. Я спрашиваю только, исполняются ли они...»

— Что ты этим хочешь сказать? — осведомился Андрей, нахмурившись.

— Я хочу сказать, что закон о праве на разнообразный труд, насколько мне известно, не содержит никаких исключений.

— То есть ты считаешь, что Вана надо было закатать на болота?

— Если этого требует закон — да.

— Но это же глупо! — сказал Андрей, раздражаясь.— На кой черт Эксперименту плохой директор комбината вместо хорошего дворника?

— Закон о праве на разнообразный труд...

— Этот закон,— прервал его Андрей,— придуман на благо Эксперименту, а не во вред ему. Закон не может все предусмотреть. У нас, у исполнителей закона, должны быть свои головы на плечах.

— Я представляю себе исполнение закона несколько иначе,— сухо сказал Кэнси.— И уж во всяком случае эти вопросы решаешь не ты, а суд.

— Суд укатал бы его на болота,— сказал Андрей.— А у него жена и ребенок.

— Дура лекс, сед лекс,— сказал Кэнси.

— Эту поговорку придумали бюрократы.

— Эту поговорку,— сказал Кэнси веско,— придумали люди, которые стремились сохранить единые правила общежития для пестрой человеческой вольницы.

— Вот-вот, для пестрой! — подхватил Андрей.— Единого закона для всех нет и быть не может. Нет единого закона для эксплуататора и для эксплуатируемого. Вот если бы Ван отказывался перейти из директоров в дворники...

— Это не твое дело — трактовать закон,— холодно сказал Кэнси.— Для этого существует суд.

— Да ведь суд не знает и знать не может Вана, как знаю я!

Кэнси, криво улыбаясь, помотал головой.

— Господи, ну и знатоки сидят у нас в прокуратуре!

— Ладно-ладно,— проворчал Андрей.— Ты еще статью напиши. Растяпа-следователь освобождает преступного дворника.

— И написал бы. Вана жалко. Тебя, дурака, мне нисколько не жалко.

— Так ведь и мне Вана жалко! — сказал Андрей.

— Но ты же следователь,— возразил Кэнси.— А я — нет. Я законами не связан.

— Знаешь что,— сказал Андрей.— Отстань ты от меня Христа ради. У меня и без тебя голова кругом идет.

Кэнси поднял глаза и усмехнулся.

— Да, я вижу. Это у тебя на лбу написано. Облава была?

— Нет,— сказал Андрей.— Просто споткнулся.— Он поглядел на часы.— Еще по рюмке?

— Спасибо, хватит,— сказал Кэнси, поднимаясь.— Я не могу выпивать так много с каждым следователем. Я пью только с теми, кто дает информацию.

— Ну и черт с тобой,— сказал Андрей.— Вон Чачуа появился. Пойди спроси его насчет «Падающих Звезд». У него там бо-ольшие успехи, он сегодня хвастался... Только учти: он очень скромный, будет отнекиваться, но ты не отставай, накачай его как следует, матерьялец получишь — во!

Кэнси, раздвигая стулья, двинулся к Чачуа, уныло склонившемуся над тощей котлеткой, а Андрей, мстительно ухмыльнувшись, неторопливо пошел к выходу. Хорошо бы подождать, посмотреть, как Чачуа будет орать, подумал он. Жалко, времени нет... Н-ну-с, господин Кацман, интересно, как там у вас дела? И не дай вам бог, господин Кацман, снова вола вертеть. Я этого не потерплю, господин Кацман...

В камере тридцать шесть весь мыслимый свет был включен. Господин Кацман стоял, прислонившись плечом к раскрытому сейфу, и жадно листал какое-то дело, привычно терзая бородавку и неизвестно чему осклабляясь.

— Какого черта! — проговорил Андрей, потерявшись.— Кто тебе разрешил? Что за манера, черт побери!..

Изя поднял на него бессмысленные глаза, осклабился еще больше и сказал:

— Никогда я не думал, что вы столько понаворотили вокруг Красного Здания.

Андрей вырвал у него папку, с лязгом захлопнул железную дверцу и, взяв за плечо, толкнул Изю к табурету.

— Сядьте, Кацман,— сказал он, сдерживаясь из последних сил. В глазах у него все плыло от ярости.— Вы написали?

— Слушай,— сказал Изя.— Вы здесь все просто идиоты!.. Вас тут сидит сто пятьдесят кретинов, и вы никак не можете понять...

Но Андрей уже не смотрел на него. Он смотрел на листок с надписью «Показания подследственного И. Кацмана...». Никаких показаний там не было, там красовался рисунок пером — мужской орган в натуральную величину.

— Сволочь,— сказал Андрей и задохнулся.— Скотина.

Он сорвал телефонную трубку и трясущимся пальцем набрал номер.

— Фриц? Воронин говорит...— свободной рукой он рванул на себе ворот.— Ты мне очень нужен. Зайди ко мне сейчас же, пожалуйста.

— В чем дело? — недовольно спросил Гейгер.— Я домой собираюсь.

— Я тебя очень прошу! — Андрей повысил голос.— Зайди ко мне!

Он повесил трубку и посмотрел на Изю. Он сейчас же обнаружил, что не может на него смотреть, и стал смотреть сквозь него. Изя булькал и хихикал на своей табуретке, потирал ладони и непрерывно говорил, разглагольствовал о чем-то с отвратительной самодовольной развязностью, что-то о Красном Здании, о совести, о дураках-свидетелях — Андрей не слушал и не слышал. Решение, которое он принял, переполняло его страхом и каким-то дьявольским весельем. Все в нем плясало от возбуждения, он ждал и все никак не мог дождаться, что вот сейчас откроется дверь, мрачный злой Фриц шагнет в комнату, и как изменится тогда это отвратительное самодовольное лицо, исказится ужасом, позорным страхом... Особенно, если Фриц явится с Румером. Одного вида Румера будет достаточно, его зверской волосатой хари с раздавленным носом... Андрей вдруг почувствовал холодок на спине. Он весь был в испарине. В конце концов еще можно переиграть. Еще можно сказать: «Все в порядке, Фриц, все уладилось, извини за беспокойство...»

Дверь распахнулась, и вошел хмурый и недовольный Фриц Гейгер.

— Ну, в чем дело? — осведомился он и тут же увидел Изю.— А, привет! — сказал он, заулыбавшись.— Что это вы затеяли среди ночи? Спать пора, утро скоро...

— Слушай, Фриц! — завопил Изя радостно.— Ну объясни хоть ты этому болвану! Ты же здесь большое начальство...

— Молчать, подследственный! — заорал Андрей, грохнув кулаком по столу.

Изя замолк, а Фриц мгновенно подобрался и посмотрел на Изю уже как-то по-другому.

— Эта сволочь издевается над следствием,— сказал Андрей сквозь зубы, стараясь унять дрожь во всем теле.— Эта сволочь запирается. Возьми его, Фриц, и пусть он скажет, что у него спрашивают.

Прозрачные нордические глаза Фрица широко раскрылись.

— А что у него спрашивают? — с деловитым весельем осведомился он.

— Это неважно,— сказал Андрей.— Дашь ему бумагу, он сам напишет. И пусть он скажет, что было в папке.

— Ясно,— сказал Фриц и повернулся к Изе.

Изя все еще не понимал. Или не верил. Он медленно потирал ладони и неуверенно осклаблялся.

— Ну что ж, мой еврей, пойдем? — ласково сказал Фриц. Угрюмости и хмурости его как не бывало.— Пошевеливайся, мой славный!

Изя все медлил, и тогда Фриц взял его за воротник, повернул и подтолкнул к двери. Изя потерял равновесие и схватился за косяк. Лицо его побелело. Он понял.

— Ребята,— сказал он севшим голосом.— Ребята, подождите...

— Если что, мы будем в подвале,— бархатно промурлыкал Фриц, улыбнулся Андрею и выпихнул Изю в коридор.

Все. Ощущая противный тошный холодок внутри, Андрей прошелся по кабинету, гася лишний свет. Все. Он сел за стол и некоторое время сидел, уронив голову в ладони. Он был весь в испарине, как перед обмороком. В ушах шумело, и сквозь этот шум он все время слышал беззвучный и оглушительный, тоскливый, отчаянный, севший голос Изи: «Ребята, подождите... Ребята, подождите...» И еще была торжественно ревущая музыка, топот и шарканье по паркету, звон посуды и невнятное шамканье: «...гюмку кюгасо и а-ня-няс!...» Он оторвал руки от лица и бессмысленно уставился в изображение мужского органа. Потом взял листок и принялся рвать его на длинные узкие полоски, бросил бумажную лапшу в мусорную корзину и снова спрятал лицо в руки. Все. Надо было ждать. Набраться терпения и ждать. Тогда все оправдается. Пропадет дурнота, и можно будет вздохнуть с облегчением.

— Да, Андрей, иногда приходится идти и на это,— услышал он знакомый спокойный голос.

С табуретки, где несколько минут назад сидел Изя, теперь, положив ногу на ногу и сцепив тонкие белые пальцы на колене, смотрел на Андрея Наставник, грустный, с усталым лицом. Он тихонько кивал головой, уголки рта его были скорбно опущены.

— Во имя Эксперимента? — хрипло спросил Андрей.

— И во имя Эксперимента тоже,— сказал Наставник.— Но прежде всего — во имя себя самого. Дороги в обход нет. Надо было пройти и через это. Нам ведь нужны не всякие люди. Нам нужны люди особого типа.

— Какого?

— Вот этого-то мы и не знаем,— сказал Наставник с тихим сожалением.— Мы знаем только, какие люди нам не нужны.

— Такие, как Кацман?

Наставник одними глазами показал: да.

— А такие, как Румер?

Наставник усмехнулся.

— Такие, как Румер, это — не люди. Это живые орудия, Андрей. Используя таких, как Румер, во имя и на благо таких, как Ван, дядя Юра... понимаешь?

— Да. Я тоже так считаю. И ведь другого пути нет, верно?

— Верно. Пути в обход нет.

— А Красное Здание? — спросил Андрей.

— Без него тоже нельзя. Без него каждый мог бы незаметно для себя сделаться таким, как Румер. Разве ты еще не почувствовал, что Красное Здание необходимо? Разве сейчас ты такой же, какой был утром?

— Кацман сказал, что Красное Здание — это бред взбудораженной совести.

— Что ж, Кацман умен. Я надеюсь, с этим ты не будешь спорить?

— Конечно,— сказал Андрей.— Именно поэтому он и опасен.

И Наставник опять показал глазами: да.

— Господи,— проговорил Андрей с тоской.— Если бы все-таки точно знать, в чем цель Эксперимента! Так легко запутаться, так все смешалось... Я, Гейгер, Кэнси... Иногда мне кажется, я понимаю, что между нами общее, а иногда — какой-то тупик, несуразица... Ведь Гейгер — бывший фашист, он и сейчас... Он и сейчас бывает мне крайне неприятен — не как человек, а именно как тип, как... Или Кэнси. Он же что-то вроде социал-демократа, пацифист какой-то, толстовец... Нет, не понимаю.

— Эксперимент есть Эксперимент,— сказал Наставник.— Не понимание от тебя требуется, а нечто совсем иное.

— Что?!

— Если бы знать...

— Но ведь все это во имя большинства? — спросил Андрей почти с отчаянием.

— Конечно,— сказал Наставник.— Во имя темного, забитого, ни в чем не виноватого, невежественного большинства...

— Которое надо поднять,— подхватил Андрей,— просветить, сделать хозяином земли! Да-да, это я понимаю. Ради этого можно на многое пойти...— Он помолчал, собирая мучительно разбегающиеся мысли.— А тут еще этот Антигород,— сказал он нерешительно.— Ведь это же опасно, верно?

— Очень,— сказал Наставник.

— А тогда, если я даже не совсем уверен насчет Кацмана, все равно я поступил правильно. Мы не имеем права рисковать.

— Безусловно! — сказал Наставник. Он улыбался. Он был доволен Андреем, Андрей это чувствовал.— Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Не ошибки опасны — опасна пассивность, ложная чистоплотность опасна, приверженность к ветхим заповедям! Куда могут вести ветхие заповеди? Только в ветхий мир.

— Да! — взволнованно сказал Андрей.— Это я очень понимаю. Это как раз то, на чем мы все должны стоять. Что такое личность? Общественная единица! Ноль без палочки. Не о единицах речь, а об общественном благе. Во имя общественного блага мы обязаны принять на свою ветхозаветную совесть любые тяжести, нарушить любые писаные и неписаные законы. У нас один закон: общественное благо.

Наставник поднялся.

— Ты взрослеешь, Андрей,— сказал он почти торжественно.— Медленно, но взрослеешь!

Он приветственно поднял руку, неслышно прошел по комнате и исчез за дверью.

Некоторое время Андрей бездумно сидел, откинувшись на спинку стула, курил и смотрел, как голубой дым медленно крутится вокруг голой желтой лампы под потолком. Он поймал себя на том, что улыбается. Он больше не чувствовал усталости, исчезла сонливость, мучившая его с вечера, хотелось действовать, хотелось работать, и досада брала при мысли, что вот придется все-таки сейчас пойти и несколько часов проспать, чтобы не ходить потом вареным.

Он нетерпеливым движением придвинул телефон, снял трубку и сейчас же вспомнил, что телефона в подвале нет. Тогда он поднялся, запер сейф, проверил, заперты ли ящики стола, и вышел в коридор.

Коридор был пуст, дежурный полицейский кивал носом за своим столиком.

— Спите на посту! — укоризненно бросил ему Андрей, проходя мимо.

В здании царила гулкая тишина, как всегда в это время, за несколько минут до включения солнца. Сонная уборщица лениво возила по цементному полу сырую тряпку. Окна в коридорах были распахнуты, вонючие испарения сотен человеческих тел рассеивались и выползали в темноту, вытесняемые холодным утренним воздухом.

Грохоча каблуками по скользкой железной лестнице, Андрей спустился в подвал, небрежным взмахом руки усадил на место подскочившего было охранника и распахнул низкую железную дверь.

Фриц Гейгер, без куртки, в сорочке с закатанными рукавами, насвистывая полузнакомый маршик, стоял возле ржавого рукомойника и обтирал волосатые мосластые руки одеколоном. Больше в комнате никого не было.

— А, это ты,— сказал Фриц.— Это хорошо. Я как раз собирался подняться к тебе... Дай сигаретку, у меня все кончилось.

Андрей протянул ему пачку. Фриц извлек сигарету, размял ее, сунул в рот и с усмешкой посмотрел на Андрея.

— Ну? — не выдержал Андрей.

— Что — ну? — Фриц закурил, с наслаждением затянулся.— Пальцем ты в небо попал — ну. Никакой он не шпион, даже не пахнет.

— То есть как? — проговорил Андрей, обмирая.— А папка?

Фриц хохотнул, зажав сигарету в углу большого рта, и вылил на широкую ладонь новую порцию одеколона.

— Еврейчик наш — бабник сверхъестественный,— сказал он наставительно.— В папке у него были любовные письма. От бабы он шел — разругался и любовные письма отобрал. А он свою вдову боится до мокрых штанов и, сам понимаешь, не будь дурак, от папочки этой постарался избавиться в первый же удобный момент. Говорит, бросил ее по дороге в канализационный люк... И очень жалко! — продолжал Фриц еще более наставительно.— Папочку эту, господин следователь Воронин, надо было сразу же отобрать — компромат получился бы первостатейный, мы бы нашего еврея вот где держали бы!..— Фриц показал, где они держали бы нашего еврея. На костяшках пальцев виднелись свежие ссадины.— Впрочем, протокольчик он нам подписал, так что шерсти клок мы все-таки получили...

Андрей нащупал стул и сел. Ноги не держали его. Он снова огляделся.

— Ты — вот что...— сказал Фриц, опуская завернутые рукава и возясь с запонками.— Я вижу, у тебя шишка на лбу. Так вот пойди к врачу и эту шишку запротоколируй. Румеру я уже нос разбил и отправил в медкабинет. Это на всякий случай. Подследственный Кацман во время допроса напал на следователя Воронина и младшего следователя Румера и нанес им телесные повреждения. Так что вынужденные к обороне... и так далее. Понял?

— Понял,— пробормотал Андрей, машинально ощупывая гулю. Он еще раз огляделся.— А где... он? — спросил он с трудом.

— Да Румер, горилла этакая, опять перестарался,— с досадой сказал Фриц, застегивая куртку.— Сломал ему руку, вот здесь... Пришлось отправить в больницу.

Часть третья. РЕДАКТОР

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В городе издавна выходили четыре ежедневные газеты, но Андрей прежде всего взялся за пятую, которая начала выходить совсем недавно, недели за две до наступления «тьмы египетской». Газетка эта была маленькая, всего на двух полосах,— не газета, собственно, а листок,— и выпускала этот листок партия Радикального возрождения, выделившаяся из левого крыла партии радикалов. Листок «Под знаменем Радикального возрождения» был ядовитый, агрессивный, злобный, но люди, издававшие его, были всегда великолепно информированы и, как правило, очень хорошо знали, что происходит в Городе вообще и в правительстве в частности.

Андрей просмотрел заголовки: **«Фридрих Гейгер предупреждает: вы погрузили город во тьму, но мы не дремлем!»; «Радикальное возрождение — единственная действенная мера против коррупции»; «А все-таки, мэр, куда делось зерно с городских складов?»; «Плечом к плечу — вперед! Встреча Фридриха Гейгера с вождями крестьянской партии»; «Мнение рабочих сталелитейного: скупщиков зерна — на фонарь!»; «Так держать, Фриц! Мы с тобой! Митинг домашних хозяек-эрвисток»; «Снова павианы?»**. Карикатура: задастый мэр, восседая на куче зерна,— надо понимать, того самого, которое исчезло с городских складов,— раздает оружие мрачным личностям уголовного вида. Подпись: «А ну-ка, объясните им, ребятки, куда девалось зерно!»

Андрей бросил листок на стол и почесал подбородок. Откуда у Фрица столько денег на штрафы? Господи, до чего все надоело! Он встал, подошел к окну, выглянул. В жирной сырой тьме, еле подсвеченной уличными фонарями, грохотали телеги, слышался сиплый мат, надсадный прокуренный кашель, время от времени звонко ржали лошади. Второй день в окутанный мраком город съезжались фермеры.

В дверь постучались, вошла секретарша с пачкой гранок. Андрей досадливо отмахнулся:

— Убукате, Убукате отдайте...

— Господин Убуката у цензора,— робко возразила секретарша.

— Не будет же он там ночевать,— раздраженно сказал Андрей.— Вернется, тогда и отдадите...

— Но метранпаж...

— Все! — грубо сказал Андрей.— Ступайте.

Секретарша ретировалась. Андрей зевнул, сморщился от боли в затылке, вернулся к столу, закурил. Голова трещала, во рту было мерзко. И вообще все было мерзко, темно, слякотно. Тьма египетская... Откуда-то издалека донеслись выстрелы — слабое потрескивание, словно ломали сухие сучья. Андрей снова поморщился и взял «Эксперимент» — правительственную газету на шестнадцати полосах.

Мэр предупреждает эрвистов: правительство не спит, правительство видит все!

Эксперимент есть эксперимент. Мнение нашего научного обозревателя по поводу солнечных явлений.

Темные улицы и темные личности. Комментарий политического консультанта муниципалитета к последней речи Фридриха Гейгера.

Справедливый приговор. Алоиз Тендер приговорен к расстрелу за ношение оружия.

«У них там что-то испортилось. Ничего, починят»,— говорит мастер-электрик Теодор У. Питерс.

Берегите павианов, они — ваши добрые друзья! Резолюция последнего собрания общества покровительства животным.

Фермеры — надежный костяк нашего общества. Встреча мэра с вождями крестьянской партии.

Волшебник из лаборатории над обрывом. Сообщения о последних работах по бессветному выращиванию растений.

Снова «Падающие Звезды»?

У нас есть броневики. Интервью с полицейпрезидентом.

Хлорелла не паллиатив, а панацея.

Арон Вебстер смеется, Арон Вебстер поет! Пятнадцатый благотворительный концерт знаменитого комика.

Андрей сгреб всю эту кучу бумаги, скатал в ком и зашвырнул в угол. Все это казалось нереальным. Реальной была тьма, двенадцатый день стоявшая над Городом, реальностью были очереди перед хлебными магазинами, реальностью был этот зловещий стук расхлябанных колес под окнами, вспыхивающие в темноте красные огоньки цигарок, глухое металлическое позвякивание под брезентом в деревенских колымагах. Реальностью была стрельба, хотя до сих пор никто толком не знал, кто и в кого стреляет... И самой скверной реальностью было тупое похмельное гудение в бедной голове и огромный шершавый язык, который не помещался во рту и который хотелось выплюнуть. Портвейн с сырцом — с ума сошли, и больше ничего! Ей-то что, валяется себе под одеялом, отсыпается, а ты тут пропадай... Скорее бы все это разваливалось уже к чертовой матери, что ли... Надоело небо коптить, и шли бы они в глубокую задницу со своими экспериментами, наставниками, эрвистами, мэрами, фермерами, зерном этим вонючим... Тоже мне, экспериментаторы великие — солнечного света обеспечить не могут. А сегодня еще в тюрьму идти, тащить Изе передачу... Сколько ему еще сидеть осталось? Четыре месяца... Нет, шесть. Сука Фриц, его бы энергию да на мирные цели! Вот ведь не унывает человек. Все ему в жилу. Из прокуратуры выперли — партию создал, планы какие-то строит, борьба с коррупцией, да здравствует возрождение, с мэром вот сцепился... А хорошо бы сейчас пойти в мэрию, взять господина мэра за седой благородный загривок, ахнуть мордой об стол: «Где хлеб, зараза? Почему солнце не горит?» и под ж...— ногой, ногой, ногой...

Дверь распахнулась, ахнув о стену, и вошел Кэнси, маленький, стремительный и сразу видно, что в ярости — глаза щелками, мелкие зубы оскалены, смоляная шевелюра дыбом. Андрей мысленно застонал. Опять сейчас потащит с кем-нибудь воевать, подумал он с тоской.

Кэнси подошел и шваркнул об стол перед Андреем пачку гранок, исполосованных красным карандашом.

— Я этого печатать не буду! — объявил он.— Это саботаж!

— Ну, что у тебя опять? — спросил Андрей уныло.— С цензором поцапался, что ли? — Он взял гранки и уставился в них, ничего не понимая, да и не видя ничего, кроме красных линий и загогулин.

— Подборка писем — из одного письма! — яростно сказал Кэнси.— Передовицу нельзя — слишком острая. Комментарий к выступлению мэра нельзя — слишком

вызывающ. Интервью с фермерами нельзя — больной вопрос, несвоевременно... Я так работать не могу, Андрей, воля твоя. Ты должен что-то сделать. Они убивают газету, эти сволочи!

— Ну подожди...— морщась сказал Андрей.— Подожди, дай разобраться...

Большой ржавый болт ввинтился ему вдруг в затылок, в ямку у основания черепа. Он закрыл глаза и тихонько застонал.

— Стонами тут не поможешь! — сказал Кэнси, падая в кресло для посетителей и нервно закуривая.— Ты стонешь, я стенаю, а стонать должна эта сволочь, а не мы с тобой...

Дверь снова распахнулась. Цензор — жирный, потный, весь в красных пятнах,— загнанно дыша, ввалился в комнату и уже с порога пронзительно закричал:

— Я отказываюсь работать в таких условиях! Я, господин главный редактор, не мальчишка! Я — государственный служащий! Я здесь не для собственного удовольствия сижу! Я похабную ругань от ваших подчиненных выслушивать не намерен! И чтобы обзывались!..

— Да вас душить надо, а не обзывать! — прошипел из своего кресла Кэнси, сверкая глазами, как змея.— Вы саботажник, а не служащий!

Цензор окаменел, переводя налитые глазки с него на Андрея и обратно. Потом он вдруг сказал очень спокойно и даже торжественно:

— Господин главный редактор! Я объявляю формальный протест!

Тут Андрей сделал, наконец, над собой чудовищное усилие, хлопнул ладонью по столу и сказал:

— Я попрошу всех замолчать. Сядьте, пожалуйста, господин Паприкаки.

Господин Паприкаки сел напротив Кэнси и, теперь уже ни на кого не глядя, вытащил из кармана большой клетчатый носовой платок и принялся вытирать потную шею, щеки, затылок, кадык.

— Значит, так...,— сказал Андрей, перебирая гранки.— Мы подготовили подборку из десяти писем...

— Это тенденциозная подборка! — немедленно объявил господин Паприкаки.

Кэнси немедленно взвился:

— У нас за вчерашний день девятьсот писем насчет хлеба! — заорал он.— И все — вот такого вот содержания, если не хлеще!..

— Минуточку! — сказал Андрей, повысив голос, и снова хлопнул ладонью по столу.— Дайте говорить мне! А если вам неугодно, выйдите оба в коридор и препирайтесь там... Так вот, господин Паприкаки, наша подборка основана на тщательном анализе поступивших в редакцию писем. Господин Убуката совершенно прав: мы располагаем корреспонденцией, гораздо более резкой и невыдержанной. Но в подборку мы включили как раз самые спокойные и сдержанные письма. Письма людей не просто голодных или напуганных, а понимающих сложность положения. Более того, мы даже включили в подборку одно письмо, прямо поддерживающее правительство, хотя это — единственное такое из семи тысяч, которые мы...

— Против этого письма я ничего не имею,— прервал его цензор.

— Еще бы,— сказал Кэнси.— Вы же сами его и написали.

— Это ложь! — взвизгнул цензор так, что ржавый винт снова вонзился Андрею в затылок.

— Ну, не вы, так кто-нибудь другой из вашей шайки,— сказал Кэнси.

— Сами вы шантажист! — выкрикнул цензор, снова покрываясь пятнами. Это был странный возглас, и на некоторое время воцарилось молчание.

Андрей перебрал гранки.

— До сих пор мы неплохо с вами срабатывались, господин Паприкаки,— сказал он примирительно.— Я уверен, что и сейчас нам следует найти некоторый компромисс...

Цензор замотал щеками.

— Господин Воронин! — сказал он проникновенно.— При чем здесь я? Господин Убуката — человек невыдержанный, ему только бы сорвать злость, а на ком — ему безразлично. Но вы-то понимаете, что я действую строго в соответствии с полученными инструкциями. В городе назревает бунт. Фермеры в любую минуту готовы начать резню. Полиция ненадежна. Вы что же, хотите крови? Пожаров? У меня дети, я ничего этого не хочу. Да и вы этого не хотите! В такие дни пресса должна способствовать смягчению ситуации, а не обострению ее. Такова установка, и, должен сказать, я с нею совершенно согласен. А если бы даже и был не согласен, все равно обязан, это моя обязанность... Вот вчера арестовали цензора «Экспресса» за попустительство, за пособничество подрывным элементам...

— Я вас прекрасно понимаю, господин Паприкаки,— сказал Андрей с наивозможнейшей сердечностью.— Но вы же видите, в конце концов, что подборка вполне умеренная. Поймите, именно потому, что времена тяжелые, мы не можем поддакивать правительству. Именно потому, что грозит выступление деклассированных элементов и фермеров, мы должны сделать все, чтобы правительство взялось за ум. Мы исполняем свой долг, господин Паприкаки!

— Подборку я не подпишу,— тихо сказал Паприкаки.

Кэнси шепотом выматерился.

— Мы будем вынуждены выпустить газету без вашей санкции,— сказал Андрей.

— Очень хорошо,— сказал Паприкаки с тоской.— Очень мило. Просто очаровательно. На газету наложат штраф, а меня арестуют. И тираж арестуют. И вас тоже арестуют.

Андрей взял листок «Под знаменем Радикального возрождения» и помахал им перед носом цензора.

— А почему не арестовывают Фрица Гейгера? — спросил он.— Сколько цензоров этой газетки арестовано?

— Не знаю,— сказал Паприкаки с тихим отчаянием.— Какое мне до этого дело? И Гейгера когда-нибудь арестуют, допрыгается...

— Кэнси,— сказал Андрей.— Сколько у нас в кассе? На штраф хватит?

— Соберем между сотрудниками,— деловито сказал Кэнси и поднялся.— Я даю метранпажу команду начать тираж. Выкрутимся как-нибудь...

Он пошел к двери, цензор тоскливо смотрел ему вслед, вздыхал и сморкался.

— Сердца у вас нет...— бормотал он.— И ума нет. Молокососы...

На пороге Кэнси остановился.

— Андрей,— сказал он.— На твоем месте я бы все-таки сходил в мэрию и нажал там на все рычаги, какие только можно.

— Какие там рычаги...— мрачно проговорил Андрей.

Кэнси сейчас же вернулся к столу.

— Пойди к заместителю политконсультанта. В конце концов, он тоже русский. Ты же с ним водку пил.

— Я ему и морду бил,— сказал Андрей угрюмо.

— Ничего, он не обидчивый,— сказал Кэнси.— И потом, я точно знаю, что он берет.

— Кто в мэрии не берет? — сказал Андрей.— Разве в этом дело? — Он вздохнул.— Ладно, схожу. Может, узнаю что-нибудь... А с Паприкаки что будем делать? Он же сейчас звонить побежит... Побежите ведь, а?

— Побегу,— согласился Паприкаки без всякого энтузиазма.

— А я его сейчас свяжу и завалю за шкаф! — сказал Кэнси, сверкнув всеми зубами от удовольствия.

— Ну, зачем...— сказал Андрей.— Зачем это сразу: свяжу, завалю... Запри его в архиве, там телефона нет.

— Это будет насилие,— заметил Паприкаки с достоинством.

— А если вас арестуют, это не будет насилие?

— Так я же не возражаю! — сказал Паприкаки.— Я просто так... отметил...

— Иди, иди, Андрей,— сказал Кэнси нетерпеливо.— Я тут без тебя все сделаю, не беспокойся.

Андрей с кряхтением поднялся, волоча ноги, побрел к вешалке, взял плащ. Берет куда-то запропастился, он поискал внизу, среди каких-то галош, забытых посетителями в старые добрые времена, не нашел, матюкнулся и вышел в приемную. Худосочная секретарша вскинула на него испуганные серенькие глазки. Шлюшка задрипанная. Как ее звать-то?..

— Я в мэрию,— мрачно сказал он.

В редакции все шло вроде бы как обычно. Орал кто-то по телефону, писал кто-то, примостившись с краю стола, кто-то рассматривал мокрые фотографии, кто-то пил кофе, метались мальчишки-курьеры с папками и бумагами, было накурено, намусорено, заведующий литературным отделом, феноменальный осел в золотом пенсне, бывший чертежник из какого-то квазигосударства наподобие Андорры, высокопарно вещал тоскующему автору: «Вы здесь где-то переусердствовали, где-то не хватило у вас чувства меры, материал оказался крепче вас и лабильнее...», «Ногой, ногой, ногой»,— думал Андрей, проходя. Ему вдруг вспомнилось, как все это было мило его сердцу, как ново, увлекательно,— совсем недавно! — казалось таким перспективным, нужным, важным... «Шеф, одну минутку»,— крикнул ему Дэнни Ли, завотделом писем, и устремился было следом, но Андрей, не оборачиваясь, только отмахнулся назад. «Ногой, ногой, ногой...»

Выйдя из подъезда, он остановился и поднял воротник плаща. По улице по-прежнему грохотали телеги — и все в одну сторону, к центру города, к мэрии. Андрей засунул руки поглубже в карманы и, ссутулившись, двинулся в том же направлении. Минуты через две он заметил, что идет рядом с чудовищной колымагой с колесами в человеческий рост. Колымагу влекли два гигантских битюга, притомившихся, видно, с дальней дороги. Поклажи в колымаге видно не было за высокими дощатыми бортами, зато хорошо был виден возница на передке — даже не столько сам возница, сколько его колоссальный брезентовый плащ с треугольным капюшоном. От самого возницы усмат-

ривалась только борода, торчащая вперед, и сквозь скрип колес и перестук копыт слышались издаваемые им непонятные звуки: то ли он лошадей своих ободрял, то ли лишние газы выпускал по деревенскому простодушию.

И этот в Город, думал Андрей. Зачем? Что им тут всем нужно? Хлеба они здесь не достанут, да и не нужен им хлеб, есть у них хлеб. И вообще все у них есть, не то что у нас, у горожан. Даже оружие есть. Неужели действительно хотят устроить резню, махновщину? Может быть. Только какая им от этого польза? По квартирам шарпать?.. Ничего не понятно.

Он вспомнил интервью с фермерами, и как Кэнси был этим интервью разочарован, хотя сам же его и брал,— опросил чуть ли не полсотни мужиков на площади перед мэрией. «А как народ, так и мы»; «Надоело, понимаешь, на болотах сидеть, дай, думаю, съезжу...»; «И не говорите, господин хороший, чего народ прет, куда прет, зачем? Сами удивляемся...»; «Ну, вижу я — все в Город. И я — в Город. Что я — рыжий, что ли?»; «...Автомат-то? А как же нам без автомата? У нас без автомата шагу ступить нельзя...»; «...Вышел это я утром коров доить, гляжу — едут. Семка Костылин едет, Жак-Француз едет, этот, как его... ах, ядрит-твою, все время я его забываю, за Вшивым Бугром живет... тоже едет! Я спрашиваю, ребята, мол, куда? Да вот, говорят, солнца седьмой день нету, надо бы в Город съездить...»; «А вы у начальства спросите. Начальство — оно все знает...»; «Так говорили же, что трактора автоматические давать будут! Чтобы самому дома сидеть, поясницу чесать, а он бы за тебя чтобы работал... Третий год обещают...».

Уклончиво, смутно, неясно. Зловеще. То ли они просто хитрят, то ли сбивает их в кучу какой-то инстинкт, а может быть, и организация какая-нибудь тайная, хорошо замаскированная... Тогда что же — Жакерия? Антоновщина?.. В чем-то их понять можно: солнца нет двенадцатый день, урожай гибнет, что будет — неясно. Вот их и сорвало с насиженных мест...

Андрей миновал небольшую тихую очередь в мясной магазин, потом другую — в хлебный. Стояли в основном женщины, у многих на рукавах были почему-то белые повязки. Андрей, конечно, сразу вспомнил про Варфоломеевскую ночь и тут же подумал, что на самом деле сейчас не ночь, а день, час дня, а лавки до сих пор закрыты. На углу, под неоновой вывеской ночного кафе «Квисисана», кучкой стояли трое полицейских. Вид у них был какой-то странный — неуверенный, что ли? Андрей замедлил шаг, прислушиваясь.

— Что ж нам теперь, в драку лезть прикажете? Так их больше раза в два...

— А пойдем — и так и доложим: не пройти туда, и все тут.

— А он скажет: «Как это не пройти? Вы — полиция».

— Ну полиция, ну и что? Мы полиция, а они — милиция...

Милиция еще какая-то, подумал Андрей, проходя. Не знаю я никакой милиции... Он миновал еще одну очередь, свернул на Главную. Впереди уже виднелись яркие ртутные фонари Центральной площади, обширное пространство которой все было занято чем-то серым, шевелящимся, окутанным не то паром, не то дымом, но тут его остановили.

Рослый молодой человек, собственно, юнец даже, переросток, в плоской кепке с козырьком, надвинутым на самые глаза, заступил дорогу и спросил негромко:

— Вы куда, сударь?

Руки он держал под бока, а на обоих рукавах у него были белые повязки, а у стены позади него стояло еще несколько человек самого разнообразного вида, и все тоже с белыми повязками на рукавах.

Краем глаза Андрей заметил, что дядёк в брезентовом плаще проследовал дальше со своей колымагой беспрепятственно.

— Я в мэрию,— сказал Андрей, вынужденный остановиться.— А в чем дело?

— В мэрию? — громко повторил юнец и оглянулся через плечо на своих. Еще двое отделились от стены и подошли к Андрею.

— А позвольте спросить, зачем вам в мэрию? — осведомился коренастый, небритый, в промасленном комбинезоне и в каскетке с буквами «джи» и «эм». У него было энергичное мускулистое лицо и недобрые шарящие глаза.

— Кто вы такие? — спросил Андрей, нащупывая в кармане медный пестик, который вот уже четвертый день таскал с собой по причине неспокойного времени.

— Мы — добровольная милиция,— ответил коренастый.— Что вам понадобилось в мэрии? Кто вы такой?

— Я — главный редактор «Городской газеты»,— сердито сказал Андрей, стискивая пестик. Ему очень не нравилось, что за разговором юнец зашел к нему слева, а третий добровольный милиционер, тоже парень, по всему видно, крепкий, сопел над ухом справа.— Иду в мэрию с протестом против действий цензуры.

— А,— сказал коренастый с неопределенным выражением.— Понятно. Только зачем вам в мэрию? Арестовали бы цензора и выпускали бы свою газету на здоровье.

Андрей решил пока держаться нагло.

— А вы меня не учите,— сказал он.— Цензора мы и без ваших советов арестовали. И вообще позвольте мне пройти.

— Представитель прессы...— проворчал тот, что сопел над правым ухом.

— А чего? Пусть идет,— снисходительно разрешил юнец слева.

— Пусть,— сказал коренастый.— Пусть идет. Только пусть потом на нас не пеняет... Оружие у вас есть?

— Нет,— сказал Андрей.

— Зря,— сказал коренастый, отступая в сторону.— Проходите...

Андрей прошел. За спиной его коренастый сказал петушиным голосом: «Жасмин — хорошенький цветочек!..» и милиционеры засмеялись. Андрей знал этот стишок, и ему захотелось сердито обернуться, но он только ускорил шаг.

На Главной оказалось довольно много народу. Держались они в основном вдоль стен, кучками стояли в подворотнях, все были с белыми повязками. Некоторые торчали прямо посередине мостовой — подходили к проезжающим фермерам, что-то говорили им, и фермеры ехали дальше. Магазины все были закрыты, но очередей возле них здесь не было. Около булочной пожилой милиционер с узловатой тростью втолковывал какой-то одинокой старушенции: «Я вам совершенно наверняка говорю, мадам. Магазины сегодня не откроются. Я сам владелец бакалеи, мадам, я знаю, что говорю...» Старушенция визгливо отвечала в том смысле, что умрет здесь, на этих ступеньках, но очереди своей не бросит...

Старательно подавляя в себе нарастающее чувство тревоги и какой-то ирреальности окружающего — все было, как в кино,— Андрей добрался до площади. Горловина Главной, выходящая на площадь, была плотно забита телегами, повозками, арбами, колымагами, возами. Здесь воняло конским потом, свежим навозом, мотали головами разномастные лошади, зычно перекликались сыны болот, вспыхивали цигарки. Несло дымом — где-то недалеко палили костер. Из-под арки вышел, застегиваясь на ходу, толстый усач в техасской шляпе — едва не налетел на Андрея, чертыхнулся благодушно и пошел пробираться между телегами, ряакающим голосом выкликая какого-то Сидора: «Сюда давай, Сидор! Во двор давай, там можно! Под ноги только смотри, не вляпайся!..»

Андрей покусал губу и пошел дальше. У самого входа на площадь телеги стояли уже на тротуаре. Многие были распряжены, стреноженные кони вприскочку бродили кругом, уныло обнюхивая асфальт. В телегах спали, курили, ели, слышалось аппетитное бульканье и причмокивание. Андрей взобрался на какое-то крыльцо и посмотрел поверх становища. До мэрии было шагов пятьсот, но это был лабиринт. Трещали и дымились костры, сизые от ртутных фонарей дымы тянулись поверх фургонов и колымаг и, как в гигантский дымоход, втягивались в Главную улицу. Какая-то сволочь с жужжанием уселась Андрею на щеку и впилась, словно булавку вонзила. Андрей с омерзением прихлепнул что-то крупное, колючее, сочно хрустнувшее под ладонью. Понатащили с болот, сердито подумал он. Из приоткрытой парадной отчетливо тянуло аммиаком. Андрей соскочил на тротуар и решительно двинулся в лошадино-тележный лабиринт, на первых же шагах угодив в мягкое и рассыпчатое.

Тяжелое округлое здание мэрии возвышалось над площадью как пятиэтажный бастион. Почти все окна были темны, только в некоторых горел свет, и еще тускло и желтовато светились выведенные наружу колодцы лифтов. Лагерь фермеров окружал здание кольцом, между телегами и мэрией пролегало пустое пространство, освещенное яркими фонарями на фигурных чугунных столбах. Под фонарями толклись фермеры, почти все с оружием, а напротив них, у входа в мэрию, стояла шеренга полицейских — судя по знакам различия, преимущественно сержантов и офицеров.

Андрей уже проталкивался через вооруженую толпу, когда его окликнули. Он остановился и завертел головой.

— Да здесь я, вот он я! — гаркнул знакомый голос, и Андрей увидел наконец дядю Юру.

Дядя Юра вперевалочку приближался к нему, заранее отводя ладонь для рукопожатия — все в той же гимнастерочке, в пилотке набекрень, и известный Андрею пулемет висел у него на широком ремне через плечо.

— Здорово, Андрюха, городская твоя душа! — провозгласил он, с треском ударяя своей жесткой ладонью а ладонь Андрея.— А я тут все тебя ищу, буча идет, нет, думаю, не может быть, чтобы нашего Андрюхи тут не было! Он — парень заводной, думаю, обязательно где-нибудь тут же крутится...

Дядя Юра был основательно на взводе. Он стащил пулемет с плеча, оперся на ствол подмышкой, как на костыль, и продолжал с той же горячностью:

— Я туда, я сюда — нет Андрюхи. Ах ты, ядрит-твою, думаю, что же это такое? Фриц твой белобрысый — этот здесь. Толкается среди мужвков, речи произносит... А тебя нет как нет!

— Подожди, дядя Юра,— сказал Андрей.— Ты-то чего сюда приперся?

— Права качать! — ухмыльнулся дядя Юра. Борода его раздвинулась веником.—

Исключительно для этой цели сюда прибыл, но ничего у нас тут, видно, не получится.— Он сплюнул и растер огромным сапожищем.— Народ — вша. Сами не знают, чего пришли. То ли просить пришли, то ли требовать пришли, а может, не то и не другое, а просто по городской жизни соскучились — постоим здесь, засрем ваш город, да и назад, по домам. Говно народ. Вот...— Он обернулся и помахал кому-то рукой.— Вот, к примеру, возьми Стася Ковальского, дружка моего... Стась, т-твою... Иди сюда!

Стась подошел — худой сутулый мужик с унылыми вислыми усами и редкой шевелюрой. От него так и шибало самогоном. На ногах он держался исключительно инстинктивно, однако то и дело воинственно вскидывал голову, хватался за странный автомат-коротышку, висящий у него на шее, и, с огромным трудом приподнимая веки, угрожающе оглядывался по сторонам.

— Вот — Стась...— продолжал дядя Юра.— Ведь воевал же, Стась, воевал, ну скажи! Нет, ты скажи: воевал? — требовал дядя Юра, горячо обхватив Стася за плечи и качаясь вместе с ним.

— Хэ! Хо!..— откликнулся Стась, всем своим видом стараясь показать, что воевал, что еще как воевал, слов нет выразить, как воевал.

— Он пьяный сейчас,— объяснил дядя Юра.— Он не может, когда солнца нет. ...О чем это я? Да! Ты спроси его, дурака, чего он здесь топчется? Оружие есть. Ребята боевые есть. Ну, чего еще, спрашивается?

— Подожди,— сказал Андрей.— Чего вы хотите?

— Так я же тебе и говорю! — проникновенно сказал дядя Юра, выпуская Стася, которого сразу же по длинной дуге унесло в сторону.— Я тебе втолковываю! Один раз дрвануть на гадов — и все! У них же пулеметов нет! Сапогами затопчем, шапками закидаем...— Он вдруг замолчал, снова вскинул на спину пулемет.— Пошли.

— Куда?

— Выпьем. Надо допивать все к чертовой матери и ехать отсюда по домам. Чего, в самом деле, время тратить? У меня там картошка гниет... Пошли.

— Нет, дядя Юра,— сказал Андрей извиняющимся голосом.— Не могу сейчас. Мне в мэрию надо.

— В мэрию? Пошли! Стась! Стась, т-твою...

— Да подожди, дядя Юра! Ты же... того... не пустят тебя.

— М-меня? — взревел дядя Юра, сверкнув глазами.— А ну, пошли! Посмотрим, кто там меня не пустит. Стась!..

Он обхватил Андрея за плечи и поволок через пустое, ярко освещенное пространство прямо на шеренгу полицейских.

— Ты пойми,— горячо бормотал он прямо в ухо упирающемуся Андрею.— Страшно, понял? Никому не говорил, тебе скажу. Жутко! А если оно теперь вовсе не загорится больше, а? Затащили нас сюда и бросили... Нет, пусть объяснят, пусть правду скажут, суки, а так жить нельзя. Я спать перестал, понял? Такого со мной и на фронте не бывало... Ты думаешь, я пьяный? Ни хрена я не пьяный — это страх, страх во мне ходит!..

У Андрея озноб пошел по спине от этого горячечного бормотания. Он остановился шагах в пяти от шеренги (ему казалось, что на площади все стихло и все смотрят на него — и полицейские, и фермеры) и, стараясь говорить внушительно, произнес:

— Ты вот что, дядя Юра. Я сейчас схожу, улажу один вопрос насчет моей газеты, а ты меня здесь подожди. Потом пойдем ко мне и обо всем как следует поговорим.

Дядя Юра изо всех сил замотал бородой.

— Нет, я с тобой. Мне тоже надо один вопрос уладить...

— Да не пустят тебя! И меня из-за тебя не пустят!

— Пойдем, пойдем...— приговаривал дядя Юра.— Как так — не пустят? Почему? Мы — тихо, благородно...

Они были уже совсем рядом с шеренгой, дородный капитан полиции в щегольской форме, с расстегнутой кобурой слева на поясе шагнул им навстречу и холодно осведомился:

— Вам куда, господа?

— Я главный редактор «Городской газеты»,— сказал Андрей, тихонько отпихивая дядю Юру, чтобы не обнимался.— Я должен встретиться с господином политическим консультантом.

— Попрошу документы,— обтянутая лайкой ладонь протянулась к Андрею.

Андрей достал удостоверение, отдал капитану и покосился на дядю Юру. К его удивлению, дядя Юра стоял теперь спокойно, пошмыгивал носом и то и дело поправлял ремень своего пулемета, хотя никакой надобности в этом не было. Глаза его, вроде бы и не пьяные совсем, неторопливо шарили по шеренге.

— Можете пройти,— вежливо сказал капитан, возвращая удостоверение.— Хотя должен вам сказать...— Он не кончил и обратился к дяде Юре: — А вы?

— Это со мной,— поспешно сказал Андрей.— В некотором роде представитель... э-э... части фермеров.

— Документы!

— Какие у мужика могут быть документы? — сказал дядя Юра с горечью.

— Без документов не могу.

— Почему же это нельзя без документов? — совсем огорчился дядя Юра.— Без какой-то бумажки паршивой я, значит, уже и не человек?

Кто-то жарко задышал Андрею в затылок. Это Стась Ковальский, все еще воинственно взбыкивая и пошатываясь, подпирал теперь тыл. По освещенному пространству вяло, словно бы нехотя, подтягивались еще какие-то люди.

— Господа, господа, не скапливаться! — нервно сказал капитан.— Да проходите же, сударь! — зло прикрикнул он на Андрея.— Господа, назад! Скапливаться запрещено!..

— То есть если у меня бумажки какой-то исчириканной нет,— сокрушался дядя Юра,— то уже мне, значит, ни проходу ни проезду...

— Дай ему в рыло! — неожиданно ясным голосом предложил сзади Стась.

Капитан схватил Андрея за рукав плаща и резко рванул на себя, так что Андрей сразу же очутился за спинами шеренги. Шеренга быстро сомкнулась, заслоняя от него фермеров, столпившихся перед капитаном, и он, не дожидаясь дальнейшего развития событий, быстро зашагал к сумрачному, слабо освещенному порталу. За спиной гудели:

— Хлеб им давай, мясо им давай, а как пройти куда-нибудь...

— Па-апрашу не скапливаться! Имею приказ арестовывать...

— Почему представителя не пропускаешь, а?

— Солнце! Солнце, сволочи, когда обратно зажжете?

— Господа, господа! Ну при чем тут я?

По беломраморной лестнице навстречу Андрею, звеня подковками, сыпались новые полицейские. Эти были вооружены винтовками с примкнутыми штыками. Сдавленный голос скомандовал: «Баллоны приготовить!» Андрей дошел до верха лестницы и оглянулся. Освещенное пространство было теперь усеяно людьми. Фермеры, кто медленно, а кто и бегом, двигались к большой черной куче образовавшегося толковища.

Андрей с усилием оттянул на себя дверь — тяжелую, высокую, обитую медью — и вошел в вестибюль. Здесь тоже было полутемно, и стоял резкий явственный запах казармы. В роскошных креслах, на диванах и прямо на полу спали вповалку полицейские, укрывшись шинелями. На слабо освещенной галерее, тянувшейся под потолком вдоль трех стен вестибюля, маячили какие-то фигуры. Андрей не разобрал, было ли у них оружие.

По мягкой ковровой дорожке он взбежал на второй этаж, где располагался отдел прессы, и двинулся по широкому коридору. Его вдруг охватило сомнение. Что-то слишком тихо было сегодня в этом огромном здании. Обычно здесь толклась масса народу, стрекотали пишущие машинки, гремели телефонные звонки, гул стоял от разговоров и начальственных окриков, а сейчас ничего этого не было. Некоторые кабинеты были распахнуты настежь, там стояла тьма, да и в самом коридоре горела только каждая четвертая лампа.

Предчувствие его не обмануло: кабинет политконсультанта оказался заперт, а в кабинете заместителя сидели два каких-то незнакомых человека в одинаковых серых пальто, застегнутых до подбородка, в одинаковых котелках, надвинутых на глаза.

— Прошу прощения,— сердито сказал Андрей.— Где я могу найти господина политконсультанта или его заместителя?

Головы в котелках неторопливо повернулись к нему.

— А зачем вам? — спросил тот, что был поменьше ростом.

Лицо этого человека показалось вдруг Андрею не таким уж незнакомым, да и голос тоже. И почему-то стало неприятно и странно оттого, что этот человек находится здесь. Нечего ему здесь было делать... Андрей насупился и, стараясь говорить отрывисто и решительно, объяснил, кто он и что ему нужно.

— Да вы заходите,— произнес полузнакомый человек.— Что это вы стоите там в дверях?

Андрей вошел и огляделся, но он ничего не видел: перед глазами все время маячило только это гладко выбритое скопческое лицо. Где же я его видел? Неприятная какая-то личность... и опасная... Зря я сюда зашел, только время теряю.

Маленький человек в котелке тоже пристально его рассматривал. Было тихо. Высокие окна затянуты были тяжелыми портьерами, и шум снаружи едва доносился сюда. Маленький человек в котелке вдруг легко вскочил и подошел к Андрею вплотную. Серые глазки его, почти без ресниц, мигали, а от верхней пуговицы пальто подскочил к самому подбородку и снова ушел вниз могучий хрящеватый кадык.

— Главный редактор?..— проговорил маленький человек, и тут Андрей, наконец, узнал его и в обессиливающем томлении, теряя ощущение ног под собою, понял, что узнан сам.

Скопческое лицо ощерилось, показывая редкие дурные зубы, маленький человек присел, и Андрей ощутил жестокую боль в животе, словно у него лопнули внутренности, и сквозь тошную муть в глазах увидел вдруг навощенный пол... Бежать, бежать... Целый фейерверк вспыхнул у него в мозгу, и над ним закачался, медленно поворачиваясь, далекий темный потолок, испещренный трещинами... из наваливающейся душной тьмы выскакивали раскаленные добела пики и втыкались в ребра... убьет... убьет же!.. Голова вдруг распухла и, обдирая уши, полезла в какую-то узкую вонючую щель, а громовой голос неторопливо говорил: «Спокойнее, Копчик, спокойнее, не все сразу...» Андрей закричал изо всех сил, теплая густая каша наполнила его рот, он захлебнулся, и его вырвало.

В комнате никого не было. Огромная портьера была отдернута, окно распахнуто, тянуло сырым холодным воздухом и слышался какой-то отдаленный рев. Андрей с трудом поднялся на четвереньки и пополз вдоль стены. К двери. Прочь отсюда...

В коридоре его снова вырвало. Он полежал немного в блаженном изнеможении, затем попробовал подняться на ноги. «Плохо мне,— подумал он.— Ох, как мне плохо». Он сел и ощупал лицо. Лицо было влажное и липкое, и тут он обнаружил, что смотрит только одним глазом. Болели ребра, трудно было дышать. Болели челюсти, и ужасной, невыносимой болью сводило низ живота. «Сволочь, Копчик. Изуродовал меня»,— Андрей заплакал. Он сидел на полу в пустом коридоре, прислонившись спиной к золоченым завитушкам, и плакал. Ничего не мог с собой сделать. Плача, он с трудом задрал полу плаща и полез рукой под брючный ремень. Болело ужасно, но не там, а выше. Весь живот болел. Трусы были мокрые.

Кто-то, тяжело бухая сапогами, прибежал из глубины коридора и остановился над ним. Какой-то полицейский — красный, распаренный, без фуражки, с растерянными глазами. Постоял несколько секунд словно бы в нерешительности и вдруг опрометью бросился бежать дальше, а из глубины коридора уже бежал второй, на ходу сдирая с себя китель.

Тут до Андрея дошло, что там, откуда они бежали, стоит ревущий многоголосый гомон. Тогда он с усилием поднялся и, придерживаясь за стену, поплелся на этот гомон, все еще всхлипывая, со страхом ощупывая лицо и то и дело останавливаясь, чтобы постоять, согнувшись и держась за живот.

Он добрался до лестницы и ухватился за скользкие мраморные перила. Внизу в огромном вестибюле ворочалась густая человеческая каша. Совершенно непонятно было, что там делается. Прожекторные лампы, установленные вдоль галереи, озаряли холодным слепящим светом это месиво, в котором мелькали разномастные бороды, форменные фуражки, золотые шнуры витых полицейских аксельбантов, примкнутые штыки, растопыренные пятерни, бледные лысины, и от всего этого поднимался к потолку теплый влажный смрад.

Андрей закрыл глаза, чтобы не видеть всего этого, и ощупью, перебирая руками по перилам, кое-как, задом, боком, стал спускаться, сам не понимая, зачем он это делает. Несколько раз он останавливался, чтобы отдышаться и постонать, открывал глаза, глядел вниз, ему снова становилось невмоготу от этого зрелища, он опять зажмуривался и принимался перебирать руками по перилам. Уже внизу руки его ослабели окончательно, он сорвался и прокатился по последним ступенькам до мраморной лестничной площадки, украшенной гигантскими бронзовыми плевательницами. Сквозь муть и гомон он услышал вдруг надсадный хриплый рев: «Гляди, да это же Андрюха!.. Ребята, там наших насмерть убивают!..» Открыв глаза, он увидел совсем рядом дядю Юру, всклокоченного, в растерзанной гимнастерке, глаза дикие, выкаченные, борода растопырена, и он увидел, как дядя Юра поднял на вытянутых руках свой пулемет и, не переставая реветь быком, ударил длинной очередью по галерее, по прожекторам, по стеклам двусветного зала...

Потом были какие-то отрывочные впечатления, потому что сознание приливало и отливало вместе с приливами и отливами боли и дурноты. Сначала он обнаружил себя в центре вестибюля. Он, оказывается, упрямо полз на карачках к далекой распахнутой двери, перебираясь через неподвижные тела, оскальзываясь руками в мокром и холодном. Кто-то однообразно стонал совсем рядом, приговаривая: «О господи, о господи, о господи...» На ковре было полно осколков стекла, стреляных гильз, обломков штукатурки. В распахнутую дверь ворвались с ревом и бежали прямо на него какие-то страшные люди с горящими факелами в руках...

Потом он очутился снаружи, в портале. Он сидел, расставив ноги, упираясь ладонями в холодный камень, и на коленях у него лежала винтовка без затвора. Пахло свежим дымом, где-то на краю сознания грохотал пулемет, дико визжали лошади, а он монотонно твердил вслух, втолковывая самому себе: «Тут меня растопчут, тут меня обязательно растопчут...»

Но его не растоптали. Он очнулся уже на мостовой, в стороне от лестницы. Он прижимался щекой к шершавому граниту, над ним светила ртутная лампа, винтовки не было, и тела, кажется, тоже не было, он словно бы висел в пустоте со щекой, прижатой к граниту, а на площади перед ним, как на сцене, разыгрывалась некая диковинная трагедия.

Он увидел, как вдоль цепи фонарей, окаймлявших площадь, вдоль кольца сцепившихся телег и повозок со звоном и лязгом мчится бронеавтомобиль, его пулеметная башня ходит из стороны в сторону, обильно плюясь огнем, светящиеся трассы мечутся по всей площади, а перед броневиком, задрав голову, галопом скачет лошадь, волоча оборванные постромки... И вдруг из гущи телег, наперерез броневику, выкатился фургон, крытый брезентом, лошадь бешено рванулась в сторону и разбилась о фонарный столб, а броневик резко затормозил, его занесло, и тут на открытое пространство выбежал длинный человек в черном, взмахнул рукой и плашмя упал на асфальт. Под броневиком вспыхнуло пламя, раскатился гулкий удар, и железная махина грузно осела назад. Человек в черном уже снова бежал. Он обогнул броневик, сунул что-то в смотровую амбразуру водителя и отскочил в сторону, и тогда Андрей увидел, что это Фриц Гейгер, а амбразура озарилась изнутри, в броневике грохнуло, и из амбразуры вылетел длинный коптящий язык пламени. Фриц, пригнувшись, на полусогнутых ногах и растопырив длинные, до земли, руки, боком, как краб, двигался вокруг машины, и тут бронированная дверца распахнулась, на асфальт вывалился охваченный пламенем лохматый тюк и с пронзительным воем стал кататься, рассыпая искры...

Потом снова был обморок, словно занавес опустился, и какие-то свирепые голоса, и нечеловеческие визги, и топот множества ног. От горящего броневика несло вонью раскаленного железа и бензина. Фриц Гейгер в окружении толпы людей с белыми повязками на рукавах, возвышаясь над ними на целую голову, выкрикивал команды, резко взмахивал, показывая в разные стороны, длинными руками, лицо и белобрысые растрепанные волосы были у него покрыты копотью. Другие люди с белыми повязками облепили фонари перед входом в мэрию, лезли зачем-то наверх и спускали оттуда, сверху, длинные, мотающиеся под ветром веревки. Кого-то волокли по лестнице, отбивающегося, дрыгающего ногами, кто-то все визжал высоким бабьим голосом так, что закладывало уши, и вдруг лестница вся покрылась народом, замелькали черные бородатые лица, залязгало оружие. Визг прекратился, темное тело поползло вверх вдоль фонарного столба, судорожно дергаясь и извиваясь. Из толпы ударили выстрелы, дергающиеся ноги обмякли, вытянулись, и темное тело начало медленно крутиться в воздухе.

А потом Андрей очнулся уже от ужасной тряски. Голова его моталась на жестких пахучих узлах, он куда-то ехал, везли его куда-то, и знакомый остервенелый голос выкрикивал: «Н-но! Н-но, лярва, т-твою!.. Пошла!» А прямо перед ним на фоне черного неба горела мэрия. Жаркие языки вырывались из окон, сыпали искры в черноту, и видно было, как слегка покачиваются, свешиваясь с фонарных столбов, длинные вытянутые тела.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Вымытый и переодетый, с повязкой через правый глаз, Андрей полулежал в кресле и угрюмо смотрел, как дядя Юра и Стась Ковальский, у которого голова была тоже обмотана бинтом, жадно хлебают прямо из кастрюли какое-то дымящееся варево. Заплаканная Сельма сидела рядом с ним, судорожно вздыхала и все пыталась взять его за руку. Волосы ее были растрепаны, краска с ресниц измазала щеки, лицо было опухшее и все горело красными пятнами. И дико выглядел на ней легкомысленный прозрачный халатик, спереди весь мокрый от мыльной воды.

— ...Это он забить тебя хотел,— объяснял Стась, не переставая хлебать.— Нарочно тебя так, понимаешь, аккуратно обрабатывал, чтобы надольше хватило. Я эту штуку знаю, меня голубые гусары тоже вот так же обрабатывали. Только я весь курс, понимаешь, прошел — уже меня ногами топтать стали, да тут, слава божьей матери, оказалось, что я не тот, другого им надо было...

— Нос сломали — это ерунда,— подтверждал дядя Юра.— Нос не это самое... и сломанный сойдет... А ребро...— Он махнул рукой с ложкой.— Я их сколько себе ломал, ребер этих. Главное — кишки целы, печенки-селезенки...

Сельма судорожно вздохнула и снова попыталась взять Андрея за руку. Он посмотрел на нее и сказал:

— Хватит реветь. Поди переоденься, и вообще...

Она послушно встала и вышла в другую комнату. Андрей пошарил во рту языком, нащупал еще что-то твердое и вытолкнул на палец.

— Пломбу выбил,— проговорил он.

— Ну да? — удивился дядя Юра.

Андрей показал. Дядя Юра присмотрелся и покачал головой. Стась тоже покачал головой и сказал:

— Редкий случай. А только я, когда отлеживался,— три месяца, знаешь ли,

отлеживался,— так я все больше зубы сплевывал. Баба мне ребра парила каждый день. Умерла потом, а я вот видишь — жив. И хоть бы хрен.

— Три месяца! — сказал дядя Юра с презрением.— Мне когда задницу оторвало под Ельней, я полгода по госпиталям мотался. Это же жуткая вещь, браток, когда ягодицу оторвет. Там, понимаешь, в ягодице, все главные сосуды сплетаются. А мне по касательной как шваркнет болванкой!.. Ребята, спрашиваю, что же это такое, где же задница-то? А мне, веришь, штаны содрало начисто по самые голенища, как не было штанов... в голенищах еще что-то осталось, а сверху — ну ничего!..— Он облизал ложку.— Федьке Чепареву тогда голову оторвало,— сообщил он.— Той же болванкой и оторвало...

Стась тоже облизал ложку, и некоторое время они сидели молча и глядели в кастрюлю. Потом Стась деликатно кашлянул и снова запустил ложку в пар. Дядя Юра последовал его примеру.

Вернулась Сельма. Андрей взглянул на нее и отвел глаза. Вырядилась дура. Серьги свои гигантские нацепила, декольте, намазалась опять, как шлюха... Шлюха и есть... Не мог он на нее смотреть, ну ее к черту совсем. Сначала этот срам в прихожей, а потом срам в ванной, когда она, рыдая в голос, стягивала с него обмоченные трусы, а он глядел на сине-черные пятна у себя на животе и боках и опять плакал — от жалости к себе и от бессилия... И конечно же пьяна, опять пьяна, каждый божий день она пьяна, и сейчас, пока переодевалась, обязательно хлебнула из горлышка...

— Врач этот...— сказал дядя Юра задумчиво.— Ну, лысый этот, который сейчас приходил,— где это я его видел?

— Очень может быть, у нас и видели,— сказала Сельма, улыбаясь обольстительно.— Он в соседнем подъезде живет. Кем он сейчас работает, Андрей?

— Кровельщиком,— мрачно сказал Андрей.

Она напропалую спала с этим лысым доктором, весь дом знал. Он и не скрывался особенно. Да и никто не скрывался, впрочем.

— Как так — кровельщиком? — поразился Стась, не донеся ложку до усов.

— А вот так,— сказал Андрей.— Крыши кроет, баб кроет...— Он с кряхтением поднялся, полез в комод и вытащил сигареты. Опять двух пачек не хватало.

— Баб-то ладно...— ошарашенно бормотал Стась, потряхивая ложкой над кастрюлей.— Крыши-то как? А ежели он сорвется? Врач ведь...

— А они вечно что-нибудь в Городе придумают,— ядовито сказал дядя Юра. Он сунул было ложку за голенище, но спохватился и положил ее на стол.— Это как у нас в Тимофеевке, сразу после войны, прислали в один колхоз председателем грузина, политрука бывшего...

Зазвенел телефон. Сельма взяла трубку.

— Да,— сказала она.— Д-да... Нет, он болен, не может подойти...

— Дай сюда трубку,— сказал Андрей.

— Это из газеты,— сказала Сельма шепотом, прикрывая микрофон ладонью.

Андрей протянул руку.

— Дай трубку! — повторил он, повысив голос.— И не имей привычки за других расписываться!

Сельма отдала ему трубку и схватила пачку сигарет. Руки у нее тряслись, губы — тоже.

— Воронин слушает,— сказал Андрей.

— Андрей? — это был Кэнси.— Куда ты провалился? Я тебя всюду ищу. Что делать? В городе фашистский переворот.

— Почему — фашистский? — ошеломленно спросил Андрей.

— Ты придешь в редакцию? Или ты, правда, болен?

— Приду, конечно, приду,— сказал Андрей.— Ты объясни...

— У нас списки,— торопливо проговорил Кэнси.— Спецкоры и все такое прочее... Архивы...

— Понял,— сказал Андрей.— Только почему ты думаешь, что фашистский?

— Я не думаю, я знаю,— нетерпеливо сказал Кэнси.

Андрей стиснул зубы, закряхтел.

— Подожди,— сказал он с раздражением.— Не пори горячку...— Он лихорадочно соображал.— Ладно, ты все подготовь, а я сейчас выхожу.

— Давай,— сказал Кэнси.— Только осторожнее на улицах.

Андрей бросил трубку и повернулся к фермерам.

— Ребята,— сказал он.— Ехать надо. Подвезете до редакции?

— Отчего же, подвезем...— отозвался дядя Юра. Он уже поднимался из-за стола, на ходу заклеивая козью ножку.— Давай-ка, Стась, вставай, нечего тут рассиживаться. Мы тут с тобой рассиживаемся, а они там, понимаешь, власть берут.

— Да,— сокрушенно согласился Стась, тоже поднимаясь.— Ерунда какая-то получается. Всю головку вроде бы сняли, всех поперевешали, а ей-то все равно ни хрена нет... Еж твою двадцать, куда это я машинку свою сунул?..

Он шарил по всем углам, отыскивая свой уродец-автомат, дядя Юра, попыхивая козьей ножкой, неторопливо натягивал поверх гимнастерки рваный ватник, и Андрей тоже было поднялся одеваться, но натолкнулся на Сельму. Сельма стояла, загораживая ему дорогу, очень бледная и очень решительная.

— Я с тобой! — заявила она тем самым особенным наглым высоким голосом, которым обычно затевала свару.

— Пусти,— сказал Андрей, пытаясь отстранить ее здоровой рукой.

— Я тебя никуда не пущу,— сказала Сельма.— Или ты берешь меня с собой, или ты остаешься дома!

— Уйди с дороги! — заорал Андрей, срываясь.— Тебя только там не хватало, дура!

— Не пу-щу! — сказала Сельма с ненавистью.

Тогда Андрей, не разворачиваясь, но очень сильно ударил ее ладонью по щеке. Наступила тишина. Сельма не шевельнулась, только белое лицо ее с вытянутыми в ниточку губами снова пошло красными пятнами. Андрей опомнился.

— Извини,— сказал он сквозь зубы.

— Не пущу...— повторила Сельма совсем тихо.

Дядя Юра пару раз кашлянул и сказал как бы в сторону:

— Вообще-то в такое время женщине одной в квартире... нехорошо, пожалуй...

— Это точно,— подхватил Стась.— Нехорошо сейчас одной, а с нами никто не тронет, мы — фермеры...

А Андрей все стоял перед Сельмой и смотрел на нее. Он пытался хоть сейчас и хоть что-нибудь понять в этой женщине и как всегда ничего не понимал. Она была шлюхой, шлюхой природной, шлюхой божьей милостью — это он понимал. Это он понял давно. Она любила его, полюбила с первого же дня — это он тоже знал, и знал, что это нисколько ей не мешает. И одной в квартире остаться сейчас ей было все равно что плюнуть, она вообще никогда ничего не боялась. Это тоже ему было прекрасно известно. Все в отдельности о себе и о ней он знал и понимал, а вот все вместе...

— Ладно,— сказал он.— Одевайся.

— Ребра-то болят? — осведомился дядя Юра, стремясь увести разговор куда-нибудь подальше в сторону.

— Ничего,— буркнул Андрей.— Терпеть можно. Перетопчемся.

Стараясь ни с кем не встречаться глазами, он сунул в карман сигареты, спички и остановился перед буфетом, где в самом дальнем углу под грудой салфеток и полотенец лежал у него пистолет Дональда. Брать или не брать? Он представил себе разные сцены и обстоятельства, в которых пистолет мог бы пригодиться, и решил не брать. Ну его к черту, обойдусь как-нибудь. Воевать я во всяком случае не собираюсь...

— Ну, пошли, что ли? — сказал Стась.

Он уже стоял у двери и осторожно продевал перебинтованную голову в ремень автомата. Сельма стояла рядом с ним в длинном своем грубом свитере, который она натянула прямо поверх декольте. На руке у нее был плащ.

— Пошли,— скомандовал дядя Юра, громыхнув об пол прикладом пулемета.

— Серьги сними,— буркнул Андрей Сельме и вышел на лестницу.

Они стали спускаться. На лестничных площадках шушукались в темноте жильцы, испуганно замолкали и сторонились, различив вооруженных людей. Кто-то сказал: «Это Воронин...» — и сейчас же окликнул:

— Господин редактор, вы не скажете, что в Городе происходит?

Андрей не успел ничего ответить, потому что на спрашивающего зашикали со всех сторон, а кто-то зловещим шепотом проговорил: «Не видишь, дурак, повели человека!..» Сельма истерически хихикнула.

Они вышли во двор, погрузились в телегу, и Сельма накинула на плечи Андрея плащ. Дядя Юра вдруг сказал: «Тихо!» и все стали прислушиваться.

— Палят где-то,— негромко сказал Стась.

— Длинными очередями,— добавил дядя Юра.— Не жалеют боеприпаса... И где они его берут? Десяток патронов — пол-литра самогонки, а он — во как чешет... Н-но! — заорал он.— Застоялась!

Телега с грохотом вкатилась под арку. На ступенях дворницкой стоял с метлой и совком маленький Ван.

— Гляди-ка — Ваня! — воскликнул дядя Юра.— Тпр-р-р! Здорово, Ваня! Ты что здесь, а?

— Подметаю,— отозвался Ван, улыбаясь.— Здравствуйте.

— Брось, брось подметать! — сказал дядя Юра.— Что ты, в самом деле! Поехали с нами, мы тебя министром, понимаешь, сделаем, в чесуче ходить будешь, на «Победе» раскатывать!

Ван вежливо засмеялся.

— Ладно, дядя Юра,— нетерпеливо сказал Андрей.— Поехали, поехали!..

У него сильно болел бок, в телеге сидеть было неудобно, и он уже жалел, что не пошел пешком. Незаметно для себя он привалился к Сельме.

— Ну ладно, Ваня, не хочешь — не надо,— решил дядя Юра.— Но насчет министра — приготовься! Причешись, понимаешь, шею помой...— Он взмахнул вожжами.— Н-но!

С грохотом выкатились на Главную.

— А чья это телега, не знаешь? — спросил вдруг Стась.

— Хрен его знает,— отозвался дядя Юра, не оборачиваясь.— Лошадь вроде бы этого крохобора... ну, по-над самым обрывом живет, рыжий такой, конопатый... канадец, что ли...

— Ну? — сказал Стась.— Во, матерится, наверное.

— Нет,— сказал дядя Юра.— Убили его.

— Ну? — сказал Стась и замолчал.

Главная улица была пуста и затянута тяжелым ночным туманом, хотя по часам было пять пополудни. Впереди туман имел красноватый оттенок и беспокойно мерцал. Время от времени там ярко вспыхивали пятна белого света — то ли прожектора, то ли мощные фары,— и оттуда, глухо сквозь туман, перекрывая иногда грохот колес и перестук копыт, доносилась пальба. Что-то там происходило.

В домах по сторонам улицы многие окна были освещены, однако большею частью только в верхних этажах, выше второго. Очередей возле запертых магазинов и лавок не было, но Андрей заметил, что в некоторых подворотнях и подъездах стоит народ — осторожно выглядывают, снова прячутся, а самые отчаянные выходят на тротуар и смотрят туда, где мерцает и трещит в тумане. Кое-где на мостовой неподвижно лежали какие-то словно бы темные мешки, Андрей не сразу понял, что это, и только через некоторое время с удивлением убедился, что это мертвые павианы. В скверике возле темной школы паслась одинокая лошадь.

Телега грохотала и тряслась, все молчали. Сельма тихонько нащупала руку Андрея, и он, отдавшись боли и усталости, совсем привалился к ее теплому свитеру и закрыл глаза. «Плохо мне,— думал он.— Ох и плохо... Что это Кэнси там горячку порет, какой там еще фашистский переворот?.. Просто остервенели все от страха, от злости, от безнадежности... Эксперимент есть Эксперимент».

Тут вдруг телегу дернуло, и сквозь грохот колес послышался такой дикий и пронзительный визг, что Андрей тут же очнулся, мгновенно весь покрывшись потом, выпрямился и очумело завертел головой.

Дядя Юра ожесточенно матерился, изо всех сил натягивая вожжи, чтобы удержать лошадь, рвущуюся куда-то вбок, а слева по тротуару, испуская нечеловеческие и в то же время совсем человеческие, полные боли и ужаса визги, неслось что-то горящее, какой-то комок пламени, оставляя за собой брызги огня, и прежде, чем Андрей успел опомниться, понять, Стась ловко соскочил с телеги и от живота, в две коротких очереди срезал из автомата этот живой факел — только стекла зазвенели в какой-то витрине. Огненный комок, кувыркаясь, прокатился по тротуару, жалобно пискнул в последний раз и замер.

— Отмучился, бедняга,— сказал Стась хрипло, и Андрей наконец понял, что это был павиан, горящий павиан. Чуть какая-то... Теперь он лежал, свесившись с тротуара, продолжая медленно гореть, и тяжелый смрад распространялся от него по улице.

Дядя Юра снова тронул лошадь, телега покатилась, и Стась пошел рядом, положив руку на дощатый борт. Андрей, вытягивая шею, смотрел вперед, а мерцающий, сделавшийся очень светлым и розовым туман. Да, что-то там происходило, что-то совершенно непонятное — какой-то вой доносился оттуда, стрельба, рокот моторов, и время от времени яркие малиновые вспышки возникали там и сейчас же гасли.

— Слышь, Стась,— сказал вдруг дядя Юра, не оборачиваясь.— Сбегай-ка, браток, вперед, глянь, что там делается. А я за тобой потихонечку-полегонечку...

— Ладно,— сказал Стась и, взяв свой чудо-автомат под мышку, трусцой побежал вперед, держась стены дома. Очень скоро его не стало видно в мерцающем тумане, а дядя Юра все придерживал и придерживал лошадь, пока она совсем не остановилась.

— Сядь поудобнее,— шепнула Сельма.

Андрей дернул плечом.

— Да ничего такого не было,— продолжала шептать Сельма.— Это же управляющий был, он по всем квартирам ходил, спрашивал, не прячет ли кто оружие...

— Замолчи,— сказал Андрей сквозь зубы.

— Честное слово,— шептала Сельма.— Он же только на одну минутку зашел, он уже уходить собирался...

— Так без штанов и собирался? — холодно осведомился Андрей, отчаянно пытаясь отогнать отвратительное воспоминание: он, обессиленно вися на дяде Юре и на Стасе, смотрит в прихожей собственной квартиры на какого-то белоглазого коротышку, воровато запахивающего халат, из-под которого виднеются фланелевые кальсоны. И отвратительно невинное, пьяное лицо Сельмы из-за плеча коротышки. И как выражение невинности сменяется на этом лице испугом, а потом — отчаянием.

— Но он же так и ходил по квартирам — в халате! — шептала Сельма.

— Слушай, заткнись,— сказал Андрей.— Заткнись, ради бога. Я тебе не муж, ты мне не жена, какое мне до всего этого дело?..

— Но я же тебя люблю, хороший мой! — шептала Сельма с отчаянием.— Только одного тебя...

Дядя Юра гулко закашлялся.

— Едет кто-то,— произнес он.

В тумане впереди возник огромный темный силуэт, надвинулся, приближаясь, вспыхнули фары — это был грузовик, мощный самосвал. Клокоча мотором, он остановился шагах в двадцати от телеги. Послышался крикливый голос, подающий команды, какие-то люди полезли через борта и понуро разбрелись по мостовой. Хлопнула дверца, еще одна темная фигура отделилась от грузовика, постояла немного, а потом нетерпеливо направилась прямо к телеге.

— Сюда идет,— сообщил дядя Юра.— Ты, это, Андрей... ты в разговоры не ввязывайся. Я говорить буду.

Человек подошел к телеге. Это был, видимо, так называемый милиционер в кургузом пальтишке с белыми повязками на рукавах. На плече у него, дулом вниз, висела винтовка.

— А, фермеры,— сказал милиционер.— Здорово, ребята.

— Здорово, если не шутишь,— откликнулся дядя Юра, помолчав.

Милиционер помялся, покрутил головой, как бы в нерешительности, потом сказал стеснительно:

— Хлебца на продажу нету?

— Хлебца тебе,— сказал дядя Юра.

— Ну, может, мясо есть, картошечка...

— Картошки тебе,— сказал дядя Юра.

Милиционер совсем застеснялся, шмыгнул носом, вздохнул, посмотрел в сторону своего грузовика и вдруг с каким-то облегчением заорал: «Да вон, вон еще валяется! Задницы слепые! Вон горелое лежит!», после чего сорвался с места и, шумно топая плоскостопыми ногами, убежал по мостовой. Видно было, как он размахивает руками и распоряжается, а понурые люди, слабо и невнятно огрызаясь, волокут что-то темное, с натугой раскачивают и швыряют в ковш самосвала.

— Картошки ему,— ворчал дядя Юра.— Мяса!..

Грузовик тронулся и проехал мимо, совсем рядом. От него ужасно понесло паленой шерстью и горелым мясом. Ковш был загружен доверху, жуткие скрюченные силуэты проплыли на фоне слабо освещенной стены дома, и вдруг Андрей почувствовал, что у него мороз пошел по коже: из этой жуткой груды, явственно белея, торчала человеческая рука с растопыренными пальцами. Понурые люди в ковше, хватаясь друг за друга и за борта, толпились возле кабины. Их было человек пять-шесть, какие-то приличного вида люди в шляпах.

— Похоронная команда,— сказал дядя Юра.— Это правильно. Сейчас их на свалку, и — вася-кот... Эге, а вон и Стась нам машет! Н-но!

В освещенном тумане впереди виднелась длинная нескладная фигура Стася. Когда телега поравнялась с ним, дядя Юра вдруг наклонился с передка, вглядываясь, и почти с испугом спросил:

— Ты что это, браток? Что это с тобой?

Стась, не отвечая, попытался вспрыгнуть на телегу боком, сорвался, громко скрипнул зубами, потом взялся обеими руками за борт и принялся что-то бормотать сдавленным голосом.

— Что он? — спросила Сельма шепотом.

Телега медленно катилась туда, где все громче рокотали моторы и хлопали выстрелы, а Стась, держась руками за телегу, шел рядом, словно не в силах взобраться, пока дядя Юра, наклонившись, не втащил его на передок.

— Да ты что? — в голос, громко спросил дядя Юра.— Ехать-то можно? Да говори ты толком, что ты болбочешь?

— Матерь божия,— сказал Стась ясным голосом.— Да зачем же они это делают? Это кто же такое приказал?

— Тпр-р-р! — сказал дядя Юра на весь город.

— Нет, ты езжай, езжай,— сказал Стась.— Ехать можно. Смотреть только не надо... Пани,— он повернулся к Сельме,— вам смотреть совсем не надо, отвернитесь, вон туда смотрите... а лучше вообще не смотрите.

У Андрея перехватило горло, он поглядел на Сельму и увидел ее расширенные на все лицо глаза.

— Давай, Юра, давай...— бормотал Стась.— Да гони ты ее, стерву, что ты плетешься! Быстро езжай! — заорал он.— Вскачь! Вскачь!..

Лошадь помчалась вскачь, дома слева кончились, туман вдруг отступил, рассеялся, и открылся Павианий бульвар — источник шума, несомненно, находился здесь. Шеренга грузовиков с двигателями, работающими вхолостую, охватывала бульвар полу-

кольцом. В грузовиках и между грузовиками стояли люди с белыми повязками, а по бульвару среди горящих деревьев и кустов бегали с воплями и визгами люди в полосатых пижамах и совершенно обезумевшие павианы. Все они спотыкались, падали, карабкались на деревья, срывались с ветвей, пытались спрятаться в кустах, а люди с белыми повязками стреляли, не переставая, из винтовок и пулеметов. Множество неподвижных тел усеивало бульвар, некоторые дымились и тлели. С одного из грузовиков с длинным шипением излилась огненная струя, клубящаяся черным дымом, и еще одно дерево, облепленное черными гроздьями обезьян, вспыхнуло огромным факелом. И кто-то завопил нестерпимо высоким фальцетом, перекрывая все шумы: «Я здоровый! Это ошибка! Я нормальный! Это ошибка!..»

Все это, трясясь и подпрыгивая, отдаваясь острой болью в ребрах, опалив жаром и обдав вонью, оглушив и ударив по глазам, пронеслось мимо и через минуту осталось позади, мерцающий туман вновь сомкнулся, но дядя Юра еще долго гнал лошадь, отчаянно гикая и размахивая вожжами. «Это черт знает что,— тупо твердил про себя Андрей, обессиленно привалившись к Сельме.— Это же черт знает что такое! Они же сумасшедшие, они ополоумели от крови... Безумцы овладели городом, кровавые безумцы овладели, теперь всему конец, они же не остановятся, они же потом возьмутся за нас...»

Телега вдруг остановилась.

— Ну нет,— сказал дядя Юра, поворачиваясь всем телом.— Это дело надо того...— Он пошарил в телеге среди мешков, достал большую бутылку, зубами вытащил пробку, сплюнул и принялся глотать прямо из горлышка. Потом он передал бутылку Стасю, вытер рот и сказал: — Истребляете, значит... Эксперимент... Ладно.— Он достал из нагрудного кармана свернутую газету, аккуратно оторвал угол и полез за табаком.— Круто берете. Ох, круто! Крутенько!..

Стась протянул бутылку Андрею, Андрей помотал головой. Сельма взяла бутылку, отхлебнула два раза и вернула Стасю. Все молчали. Дядя Юра дымил и трещал цигаркой, бурчал горлом, как огромный пес, потом вдруг повернулся и разобрал вожжи.

До поворота на Стульчаковую остался всего один квартал, когда туман впереди снова озарился светом и послышался нестройный шум многих голосов. На перекрестке, прямо посредине улицы, освещенная прожекторными лампами, кишела, гудела и колыхалась огромная толпа. Перекресток был забит, проехать было невозможно.

— Митинг какой-то,— сказал дядя Юра, обернувшись.

— Это уж как водится...— уныло согласился Стась.— Если уж взялись расстреливать, значит, тут же и митинги... Объехать никак нельзя?

— Погоди, браток, а зачем нам объезжать? — сказал дядя Юра.— Надо послушать, что людям говорят. Может, насчет солнца чего скажут... Гляди, здесь наших полно.

Гул затих, и над толпой, усиленный микрофонами, раздался надсадный яростный голос:

— ...И еще раз повторяю: беспощадно! Мы очистим Город!.. от грязи!.. от нечисти!.. от всех и всяческих тунеядцев!.. Воров — на фонарь!..

— А-а-а! — проревела толпа.

— Взяточников — на фонарь!..

— А-а-а!

— Кто выступает против народа, будет висеть на фонаре!

— А-а-а!

Теперь Андрей разглядел говорившего. В самом центре толпы возвышался клепаный борт какой-то военной машины, а над бортом, вцепившись в него обеими руками, озаренный голубым светом прожектора, качался взад-вперед всем своим длинным, затянутым в черное туловищем и разевал в крике запекшийся рот бывший унтер-офицер вермахта, а ныне руководитель партии Радикального возрождения Фридрих Гейгер.

— И это будет только начало! Мы установим в городе наш, истинно народный, истинно человеческий порядок! Нам нет дела до всяких там Экспериментов! Мы не морские свинки! Мы не кролики! Мы — люди! Наше оружие — разум и совесть! Мы никому не позволим! Распоряжаться нашей судьбой! Мы сами распорядимся нашей судьбой! Судьба народа — в руках народа! Судьба людей — в руках людей! Народ доверил свою судьбу мне! Свои права! Свое будущее! И я клянусь! Я оправдаю это доверие!..

— А-а-а!

— Я буду беспощаден! Во имя народа! Я буду жесток! Во имя народа! Я не допущу никакой розни! Хватит борьбы между людьми! Никаких коммунистов! Никаких социалистов! Никаких капиталистов! Никаких фашистов! Хватит бороться друг с другом! Будем бороться друг *за* друга!..

— А-а-а!

— Никаких партий! Никаких национальностей! Никаких классов! Каждого, кто проповедует рознь,— на фонарь!

— А-а-а!

— Если бедные будут продолжать драться против богатых! Если коммунисты будут продолжать драться против капиталистов! Если черные будут продолжать драться против белых! Нас растопчут! Нас уничтожат!.. Но если мы! Встанем плечом к плечу! Сжимая в руках оружие! Или отбойный молоток! Или рукоятки плуга! Тогда не найдется такой силы, которая могла бы нас сокрушить! Наше оружие — единство! Наше оружие — правда! Какой бы тяжелой она ни была! Да, нас заманили в ловушку! Но, клянусь богом, зверь слишком велик для этой ловушки!..

— А! — рявкнула было толпа и ошеломленно смолкла. Вспыхнуло солнце.

Впервые за двенадцать дней вспыхнуло солнце, запылало золотым диском на своем обычном месте, ослепило, обожгло серые выцветшие лица, нестерпимо засверкало в стеклах окон, оживило и зажгло миллионы красок — и черные дымы над дальними крышами, и пожухлую зелень деревьев, и красный кирпич под обвалившейся штукатуркой...

Толпа дико взревела, и Андрей завопил вместе со всеми. Творилось что-то невообразимое. Летели в воздух шапки, люди обнимались, плакали, кто-то принялся палить в воздух, кто-то в диком восторге швырял кирпичами в прожектора, а Фриц Гейгер, возвышаясь над всем этим, как господь Бог, сказавший «да будет свет», длинной черной рукой указывал на солнце, выкатив глаза и гордо задрав подбородок. Потом голос его снова возник над толпой.

— Вы видите?! Они уже испугались! Они дрожат перед вами! Перед нами! Поздно, господа! Поздно! Вы снова хотите захлопнуть ловушку? Но люди уже вырвались из нее! Никакой пощады врагам человечества! Спекулянтам! Тунеядцам! Расхитителям народного добра! Солнце снова с нами! Мы вырвали его из черных лап! Врагов человечества! И мы больше никогда! Не отдадим его! Никогда! И никому!..

— А-а-а!

Андрей опомнился. Стаси в телеге не было. Дядя Юра, широко расставив ноги, стоял на передке, потрясал пулеметом и, судя по налившемуся кровью затылку, тоже ревел нечленораздельное. Сельма плакала, колотя Андрея кулачками по спине.

«Ловко,— холодно подумал Андрей.— Тем хуже для нас. Чего я тут сижу? Мне бежать надо, а я сижу...» Преодолевая боль в боку, он поднялся и выпрыгнул из телеги. Вокруг ревела и шевелилась толпа. Андрей полез напролом. Первое время он еще берегся, пытался защититься локтями, да разве в такой каше убережешься!.. Покрытый потом от боли и подступающей тошноты, он лез, толкался, наступал на ноги, даже бодался и, наконец, выбрался-таки в Стульчаковый переулок. И все это время вдогонку ему гремел голос Гейгера:

— Ненависть! Ненависть поведет нас! Хватит фальшивой любви! Хватит иудиных поцелуев! Предателей человечества! Я сам подаю пример святой ненависти! Я взорвал броневик кровавых жандармов! У вас на глазах! Я приказал повесить воров и гангстеров! У вас на глазах! Я железной метлой выметаю нечисть и нелюдей из нашего города! У вас на глазах! Я не жалел себя! И я получил священное право не жалеть других!..

Андрей ткнулся в подъезд редакции. Дверь была заперта. Он злобно ударил в нее ногой, задребезжали стекла. Он принялся стучать изо всех сил, шепча ужасные ругательства. Дверь отворилась. На пороге стоял Наставник.

— Входи,— сказал он, посторонившись.

Андрей вошел. Наставник запер за ним дверь на засов и повернулся. Лицо у него было мучнисто-бледное с темными кругами под глазами, и он то и дело облизывал губы. У Андрея сжалось сердце — никогда раньше он не видел Наставника в таком подавленном состоянии.

— Неужели все так плохо? — спросил Андрей упавшим голосом.

— Да уж...— Наставник бледно улыбнулся.— Уж чего тут хорошего.

— А солнце? — сказал Андрей.— Зачем вы его выключали?

Наставник стиснул руки и прошелся взад-вперед по вестибюлю.

— Да не выключали мы его! — проговорил он с тоской.— Авария. Вне всякого плана. Никто не ожидал.

— Никто не ожидал...— повторил Андрей с горечью. Он стянул плащ и бросил его на пыльный диван.— Если б не выключилось солнце, ничего бы этого не было...

— Эксперимент вышел из-под контроля,— пробормотал Наставник, отвернувшись.

— Вышел из-под контроля...— снова повторил Андрей.— Вот уж никогда не думал, что Эксперимент может выйти из-под контроля.

Наставник посмотрел на него исподлобья.

— Н-ну... В известном смысле ты прав... Можно смотреть на это и таким образом... Вышедший из-под контроля Эксперимент — это тоже Эксперимент. Возможно, кое-что придется несколько изменить... заново откорректировать. Так что ретроспективно — ретроспективно! — эта тьма египетская будет рассматриваться уже как неотъемлемая, запрограммированная часть Эксперимента.

— Ретроспективно...— еще раз повторил Андрей. Глухая злоба охватила его.— А что вы теперь прикажете делать нам? Спасаться?

— Да. Спасаться. И спасать.

— Кого спасать?

— Всех, кого можно спасти. Все, что еще можно спасти. Ведь не может же быть, чтобы некого и нечего было спасать!

— Мы будем спасаться, а Фриц Гейгер будет проводить Эксперимент?

— Эксперимент остался Экспериментом,— возразил Наставник.

— Ну да,— сказал Андрей.— От павианов до Фрица Гейгера.

— Да. До Фрица Гейгера и через Фрица Гейгера, и невзирая на Фрица Гейгера. Не пускать же из-за Фрица Гейгера пулю в лоб! Эксперимент должен продолжаться... Жизнь ведь продолжается, несмотря ни на какого Фрица Гейгера. Если ты разочаровался в Эксперименте, то подумай о борьбе за жизнь...

— О борьбе за существование,— криво усмехнувшись, проговорил Андрей.— Какая уж теперь жизнь!

— Это будет зависеть от вас.

— А от вас?

— От нас мало что зависит. Вас много, вы все здесь решаете, а не мы.

— Раньше вы говорили по-другому,— сказал Андрей.

— Раньше и ты был другой! — возразил Наставник.— И тоже говорил по-другому!

— Боюсь, что я свалял дурака,— медленно проговорил Андрей.— Боюсь, что я был просто глуп.

— Боишься ты не только этого,— с каким-то лукавством заметил Наставник.

У Андрея замерло сердце, как это бывает, когда падаешь во сне. И он грубо сказал:

— Да, боюсь. Всего боюсь. Пуганая ворона. Вас когда-нибудь били сапогом в промежность?..— Новая мысль пришла ему в голову.— Да вы ведь и сами побаиваетесь? А?

— Конечно! Я же говорю тебе, что Эксперимент вышел из-под контроля...

— Э, бросьте! Эксперимент, Эксперимент... Не в Эксперименте дело. Сначала павианов, потом — нас, а потом и вас, так ведь?..

Наставник ничего не ответил. Самое ужасное заключалось в том, что Наставник не сказал на это ни слова. Андрей все ждал, но Наставник только молча бродил по вестибюлю, бессмысленно передвигал с места на место кресла, стирал рукавом пыль со столиков и даже не глядел на Андрея.

В дверь постучали — сначала кулаком, а потом сразу стали бить ногой. Андрей отодвинул засов — перед ним стояла Сельма.

— Ты меня бросил! — сказала она возмущенно.— Я еле пробилась!

Андрей стесненно оглянулся. Наставник исчез.

— Извини,— проговорил Андрей.— Мне было не до тебя.

Ему было трудно говорить. Он старался подавить в себе ужас от одиночества и ощущения беззащитности. Он с дребезгом захлопнул дверь и торопливо задвинул засов.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Редакция была пуста. Видимо, сотрудники разбежались, когда началась пальба около мэрии. Андрей проходил по комнатам, равнодушно оглядывая разбросанные бумаги, опрокинутые стулья, неопрятную посуду с остатками бутербродов и чашки с остатками кофе. Из глубины редакции доносилась громкая бравурная музыка, это было странно. Сельма тащилась следом, держа его за рукав. Она все говорила что-то, что-то сварливое, но Андрей ее не слушал. «Зачем я сюда приперся,— думал он.— Все же удрали, дружно, как один, и правильно сделали, сидел бы сейчас дома, лежал бы в постели, гладил бы свой несчастный бок и дремал, и наплевать на все...»

Он вошел в отдел городской хроники и увидел Изю.

Сначала он не понял, что это Изя. За дальним, в углу, столом, согнувшись над раскрытой подшивкой, стоял, упираясь широко расставленными руками, неряшливо, ступеньками, остриженный посторонний человек в подозрительной серой хламиде без пуговиц, и только через мгновение, когда человек этот вдруг знакомо осклабился и принялся знакомым жестом щипать себя за бородавку на шее, Андрей понял, что перед ним Изя.

Некоторое время Андрей стоял в дверях и смотрел на него. Изя не слышал, как он вошел, Изя вообще ничего не слышал и не замечал — во-первых, он читал, а во-вторых, прямо у него над головой висел репродуктор, и оттуда неслись громовые бряцания победного марша. Потом Сельма ужасно завопила: «Да ведь это же Изя!» — и ринулась вперед, оттолкнув Андрея.

Изя быстро поднял голову и, осклабившись еще шире, распахнул руки.

— Ага! — заорал он радостно.— Явились!..

Пока он обнимался с Сельмой, пока звучно и с аппетитом чмокал ее в щеки и в губы, пока Сельма вопила что-то неразборчивое и восторженное и ерошила его уродливые волосы, Андрей приблизился к ним, стараясь побороть в себе острую мучительную неловкость. Режущее ощущение вины и предательства, которое едва не свалило его с ног в то утро в подвале, за последний год притупилось и почти забылось, но сейчас снова пронзило его, и он, приблизившись, несколько секунд колебался, прежде чем рискнул протянуть руку. Он нашел бы совершенно естественным, если бы Изя не заметил этой его руки или даже сказал бы что-нибудь презрительное и уничтожающее — сам он наверняка поступил бы именно так. Но Изя, освободившись от объятий Сельмы, с жаром схватил его руку, пожал и с огромным интересом спросил:

— Где это тебя разукрасили?

— Побили,— кратко ответил Андрей. Изя поразил его. Хотелось очень много ему сказать, но он спросил только: — А ты откуда здесь взялся?

Вместо ответа Изя перебросил несколько страниц подшивки и, преувеличенно жестикулируя, прочел с пафосом:

— ...«Никакими доводами разума невозможно объяснить ту ярость, с которой правительственная пресса нападает на партию Радикального возрождения. Но если мы вспомним, что именно эрвисты — эта крошечная молодая организация — наиболее бескомпромиссно выступают против каждого случая коррупции...»

— Брось,— сморщившись сказал Андрей, но Изя только повысил голос:

— «...беззакония, административной глупости и беспомощности; если мы вспомним, что именно эрвисты подняли „дело вдовы Баттон“; если мы вспомним, что эрвисты первыми предупредили правительство о бесперспективности болотного налога...» Белинский! Писарев! Плеханов! Ты сам это сочинил или твои идиотики?

— Ладно, ладно...— сказал Андрей, уже раздражаясь, и попытался отобрать у Изи подшивку.

— Нет, погоди! — кричал Изя, грозя пальцем и таща подшивку к себе.— Вот тут еще один перл!.. Где это? Вот. «Наш город богат честными людьми, как и всякий город, населенный тружениками. Однако, если говорить о политических группировках, то разве что лишь Фридрих Гейгер может сейчас претендовать на высокое звание...»

— Хватит! — заорал Андрей, но Изя вырвал у него подшивку, забежал за ликующую Сельму и, шипя и брызгаясь, продолжал оттуда:

— «...Не будем говорить о речах, будем говорить о делах! Фридрих Гейгер отказался от поста министра информации; Фридрих Гейгер голосовал против закона, предусматривающего крупные льготы для заслуженных деятелей прокуратуры; Фридрих Гейгер был единственным видным деятелем, возражавшим против создания регулярной армии, в которой ему предлагалась высокая должность...» — Изя зашвырнул подшивку под стол и принялся потирать руки.— Ты всегда был потрясающим ослом в политике! Но за эти последние месяцы ты поглупел просто катастрофически. Поделом тебе начистили чайник! Глаз-то хоть цел?

— Глаз цел,— медленно сказал Андрей. Он только сейчас заметил, что Изя как-то неловко двигает левой рукой и три пальца на этой руке у него не сгибаются вовсе.

— Да выключи ты его к чертовой матери! — заорал Кэнси, появляясь в дверях.— А, Андрей, ты уже здесь... Это хорошо. Здравствуй, Сельма,— он стремительно пересек комнату и вырвал вилку репродуктора из розетки.

— Зачем? — закричал Изя.— Я хочу слышать речи моих вождей! Пусть гремят боевые марши!..

Кэнси только бешено глянул на него.

— Андрей, пойдем я тебе расскажу, что мы сделали,— сказал он.— И нужно подумать, что делать дальше.

Лицо и руки его были покрыты копотью. Он устремился в глубь редакции, и Андрей пошел за ним. Только сейчас он почувствовал, что в помещениях основательно попахивает горелой бумагой. Изя с Сельмой шли позади.

— Всеобщая амнистия! — шипя и булькая, повествовал Изя.— Великий вождь открыл двери узилищ! Ему понадобилось место для других заключенных...— Он заухал и застонал.— Всех уголовников выпустили до единого, а я ведь, как известно, уголовник! Даже бессрочников выпустили...

— Худой стал,— говорила Сельма с жалостью.— Все на тебе висит, облезлый ты сделался какой-то...

— Так ведь последние дни — три дня — ни жрать не давали, ни умываться...

— Так ты, наверное, есть хочешь?

— Да нет, ни черта, я тут нажрался...

Они вошли в кабинет Андрея. Здесь стояла ужасающая жара. Солнце било прямо в стекла, и жарко пылал камин. Перед камином сидела на корточках шлюшка-секретарша, тоже чумазая, как и Кэнси, и старательно ворочала кочергой в груде горящей бумаги. Все в кабинете было покрыто копотью и черными клочьями бумажного пепла.

Увидев Андрея, секретарша вскочила и улыбнулась ему испуганно и заискивающе. «Вот уж не ожидал, что она останется»,— подумал Андрей. Он сел за свой стол и виновато, через силу, покивал ей и улыбнулся в ответ.

— ...Списки всех спецкоров, списки и адреса членов редколлегии,— деловито перечислял Кэнси.— Оригиналы всех политических статей, оригиналы еженедельных обзоров...

— Статьи Дюпена надо сжечь,— сказал Андрей.— Он у нас был главный антиэрвист, по-моему...

— Уже сжег,— нетерпеливо сказал Кэнси.— И Дюпена, и, на всякий случай, Филимонова...

— Что вы суетитесь? — сказал Изя весело.— Да ведь вас на руках носить будут!

— Это как сказать,— мрачно проговорил Андрей.

— Да чего там «как сказать»! Хочешь пари? На сто щелбанов!

— Да подожди, Изя! — сказал Кэнси.— Заткнись ты, ради бога, хоть на десять минут!.. Всю переписку с мэрией я уничтожил, а переписку с Гейгером пока оставил...

— Протоколы редколлегии! — спохватился Андрей.— За прошлый месяц...

Он торопливо полез в нижний ящик стола, достал папку и протянул ее Кэнси. Тот, скривившись, перебросил несколько листков.

— Да-а-а...— сказал он, качая головой.— Это я забыл... Вот как раз выступление Дюпена...— Он шагнул к камину и швырнул папку в огонь.— Перемешивайте, перемешивайте! — раздраженно приказал он секретарше, которая слушала начальство, приоткрывши рот.

В дверях появился заведующий отделом писем, потный и очень возбужденный. На руках перед собой он тащил кипу каких-то папок, прижимая их сверху подбородком.

— Вот...— пропыхтел он, с грохотом сваливая кипу возле камина.— Тут какие-то социологические опросы, и даже разбираться не стал... Вижу — фамилии, адреса... Господи, шеф, что с вами?

— Привет, Денни,— сказал Андрей.— Спасибо, что вы остались.

— Глаз цел? — спросил Денни, вытирая со лба пот.

— Цел, цел...— успокоил его Изя.— Вы все не то уничтожаете,— объявил он.— Вас ведь никто не тронет: вы — желтоватая оппозиционная либеральная газетка. Вы просто перестанете быть оппозиционными и либеральными...

— Изя,— сказал Кэнси.— Я тебя в последний раз прошу: перестань трепаться, иначе я тебя выкину вон.

— Да не треплюсь я! — сказал Изя с досадой.— Дай кончить! Вы письма, письма уничтожьте! Вам же писали, наверное, умные люди...

Кэнси воззрился на него.

— Ч-черт!..— прошипел он и выскочил из кабинета. Денни устремился следом, продолжая на ходу вытирать лицо и шею.

— Ничего не понимаете! — сказал Изя.— Вы же тут все — кретины. А опасность грозит только умным людям.

— Что кретины — то кретины...— сказал Андрей.— Это ты прав.

— Ага! Умнеешь! — воскликнул Изя, размахивая искалеченной рукой.— Зря. Это опасно! Вот в этом-то и заключается вся трагедия. Сейчас очень много людей поумнеет, но поумнеет недостаточно. Они не успеют понять, что сейчас надо как раз притворяться дурачком...

Андрей посмотрел на Сельму. Сельма глядела на Изю с восторгом. И секретарша тоже глядела на Изю с восторгом. А Изя стоял, расставив ноги в тюремных башмаках, небритый, грязный, расхлюстанный, рубашка из штанов вылезла, на ширинке не хватало пуговиц,— стоял во всей своей красе, такой же, как всегда, нисколечко не изменившийся,— и разглагольствовал, и поучал. Андрей вылез из-за стола, подошел к камину, присел рядом с секретаршей и, отобрав у нее кочергу, принялся ворошить и перекапывать неохотно горящую бумагу.

— ...А поэтому,— поучал Изя,— уничтожать надо вовсе не просто те бумаги, где ругают нашего вождя. Ругать тоже можно по-разному. Уничтожать же надо бумаги, написанные умными людьми!..

В кабинет просунулся Кэнси и крикнул:

— Слушайте, помог бы кто-нибудь... Девочки, что вы здесь зря околачиваетесь, а ну идите за мной!

Секретарша сейчас же вскочила и, на ходу поправляя перекрутившуюся юбчонку, выбежала вон. Сельма постояла, словно ожидая, что ее остановят, потом вдавила окурок в пепельницу и тоже вышла.

— ...А вас никто не тронет! — продолжал разглагольствовать Изя, ничего не видя и не слыша, как глухарь на току.— Вас еще поблагодарят, подбросят вам бумаги, чтобы вы повысили тираж, повысят вам оклады и расширят штат... И только потом, если вам вздумается вдруг брыкаться, только тогда вас возьмут за штаны и уж тут несомненно припомнят вам все — и вашего Дюпена, и вашего Филимонова, и все ваши либерально-оппозиционные бредни... Но только зачем вам брыкаться? Вы и не подумаете брыкаться, наоборот!..

— Изя,— сказал Андрей, глядя в огонь.— Почему ты тогда не сказал мне, что у тебя было в папке?

— Что?.. В какой папке?.. Ах, в той...

Изя вдруг как-то сразу притих, подошел к камину и сел рядом с Андреем на корточки. Некоторое время они молчали. Потом Андрей сказал:

— Конечно, я был тогда ослом. Полнейшим болваном. Но ведь сплетником-то и трепачом я уж никак не был. Это уж ты должен был тогда понять...

— Во-первых, ты не был болваном,— сказал Изя.— Ты был хуже. Ты был оболваненный. С тобой ведь по-человечески разговаривать было нельзя. Я знаю, я ведь и сам долгое время был таким... А потом — при чем тут сплетни? Такие вещи, согласись, простым гражданам знать ни к чему. Этак все, к чертовой матери, в разнос может пойти...

— Что? — сказал Андрей растерянно.— Из-за твоих любовных записочек?..

— Каких любовных записочек?

Некоторое время они изумленно глядели друг другу в глаза. Потом Изя осклабился:

— Господи, ну конечно же... С чего это я взял, что он тебе все это расскажет? Зачем это ему — рассказывать? Он же у нас орел, вождь! Кто владеет информацией, тот владеет миром,— это он хорошо у меня усвоил!..

— Ничего не понимаю,— пробормотал Андрей почти с отчаянием. Он чувствовал, что сейчас узнает еще что-то мерзкое об этом и без того мерзком деле.— О чем ты говоришь? Кто — он? Гейгер?

— Гейгер, Гейгер,— покивал Изя.— Наш великий Фриц... Значит, любовные записочки были у меня в папке? Или, может быть, компрометирующие фотографии? Ревнивая вдова и бабник Кацман... Правильно, такой протокол я тоже им подписал...

Изя, кряхтя, поднялся и принялся ходить по кабинету, потирая руки и хихикая.

— Да,— сказал Андрей.— Так он мне и сказал. Ревнивая вдова. Значит, это было вранье?

— Ну, конечно, а ты как думал?

— Я поверил,— сказал Андрей коротко. Он стиснул зубы и с остервенением заворочал кочергой в камине.— А что там было на самом деле? — спросил он.

Изя молчал. Андрей оглянулся. Изя стоял, медленно потирая руки, и с застывшей улыбкой глядел на него остекленевшими глазами.

— Интересно получается...— проговорил он неуверенно.— Может, он просто забыл? То есть не то чтобы забыл...— Он вдруг сорвался с места и снова присел на корточки рядом с Андреем.— Слушай, я тебе ничего не скажу, понял? И если тебя спросят, то так и отвечай: ничего не сказал, отказался. Сказал только, что дело касается одной большой тайны Эксперимента, сказал, что опасно эту тайну знать. И еще показал несколько запечатанных конвертов и, подмигивая, объяснил, что конверты эти раздаст верным людям и что конверты эти будут вскрыты в случае его, Кацмана, ареста или, скажем, неожиданной кончины. Понимаешь? Имен верных людей не назвал. Вот так и скажешь, если спросят.

— Хорошо,— медленно сказал Андрей, глядя в огонь.

— Это будет правильно...— проговорил Изя, тоже глядя в огонь.— Только вот если тебя бить будут... Румер — это, знаешь, сволочь какая...— Его передернуло.— А может, и не спросит никто. Не знаю. Это все надо обдумать. Так, сразу, и не сообразишь.

Он замолчал. Андрей все размешивал жаркую, переливающуюся красными огоньками кучу, и через некоторое время Изя снова принялся подбрасывать в камин пачки бумаг.

— Сами папки не бросай,— сказал Андрей.— Видишь, плохо горят... А ты не боишься, что ту папку найдут?

— А чего мне бояться? — сказал Изя.— Это Гейгер пусть боится... Да и не найдут ее теперь, если сразу не нашли. Я ее в люк бросил, а потом все гадал: попал или промахнулся... А за что тебе вломили? Ты же, по-моему, с Фрицем в прекрасных отношениях...

— Это не Фриц,— сказал Андрей неохотно.— Просто не повезло.

В комнату с шумом ввалились женщины и Кэнси — они тащили на растянутом плаще целую груду писем. За ними, по-прежнему вытираясь, шел Денни.

— Ну, теперь, кажется, все,— сказал он.— Или вы еще тут что-нибудь придумали?

— Ну-ка, подвиньтесь! — потребовал Кэнси.

Плащ был положен у камина, и все принялись кидать письма в огонь. В камине сразу загудело. Изя запустил здоровую руку в недра этой кучи разноцветной исписанной бумаги, извлек какое-то письмо и, заранее осклабляясь, принялся жадно читать.

— Кто это сказал, что рукописи не горят? — отдуваясь, проговорил Денни. Он уселся за стол и закурил сигарету.— Прекрасно горят, по-моему... Ну и жара. Окна открыть, что ли?

Секретарша вдруг пискнула, вскочила и выбежала вон, приговаривая: «Забыла, совсем забыла!..»
— Как ее зовут? — торопливо спросил Андрей у Кэнси.
— Амалия! — буркнул Кэнси.— Сто раз тебе говорил... Слушай, я сейчас Дюпену позвонил...
— Ну?
Вернулась секретарша с охапкой блокнотов.
— Это все — ваши распоряжения, шеф,— пропищала она.— Я совсем про них забыла. Тоже, наверное, надо сжечь?
— Конечно, Амалия,— сказал Андрей.— Спасибо, что вспомнили. Сжигайте, Амалия, сжигайте... Так что Дюпен?
— Я хотел его предупредить,— сказал Кэнси,— что все в порядке, все следы уничтожены. А он страшно удивился, какие следы? Разве он что-нибудь такое писал? Он только что закончил подробную корреспонденцию о героическом штурме мэрии, а сейчас работает над обзором: «Фридрих Гейгер и народ».
— Сука,— сказал Андрей вяло.— Впрочем, все мы суки...
— Говори за себя, когда говоришь такие вещи! — огрызнулся Кэнси.
— Ну, извини,— вяло сказал Андрей.— Ну, не все суки. Большинство.
Изя вдруг захихикал.
— Вот пожалуйста — умный человек! — провозгласил он, потрясая листочком.— «Совершенно очевидно,— процитировал он,— что люди, подобные Фридриху Гейгеру, ждут только какой-нибудь большой беды, пусть даже кратковременного, но чувствительного нарушения равновесия, чтобы развязать страсти и на волне смуты выскочить на поверхность...» Кто это пишет? — Он посмотрел на обороте.— А, ну еще бы!.. В огонь, в огонь! — он скомкал листок и швырнул в камин.
— Слушай, Андрей,— сказал Кэнси.— Не пора ли подумать о будущем?
— А чего о нем думать,— проворчал Андрей, ворочая кочергой.— Проживем как-нибудь, перетопчемся...
— Я не о нашем будущем говорю! — сказал Кэнси.— Я говорю о будущем газеты, о будущем Эксперимента!..
Андрей посмотрел на него с удивлением. Кэнси был такой же, как всегда. Словно ничего не произошло. Словно ничего вообще не происходило за последние тошные месяцы. Он даже казался еще более готовым к драке, чем обычно. Хоть сейчас в драку — во имя законности и идеалов. Как взведенный курок. А может быть, с ним действительно ничего не происходило?..
— Ты говорил со своим Наставником? — спросил Андрей.
— Говорил,— ответил Кэнси с вызовом.
— Ну и что? — спросил Андрей, преодолевая обычную неловкость, как всегда при разговоре о Наставниках.
— Это никого не касается и не имеет никакого значения. При чем здесь Наставники? У Гейгера тоже есть Наставник. У каждого бандита в Городе есть Наставник. Это не мешает каждому думать собственной головой.
Андрей вытащил из пачки сигарету, размял и, щурясь от жара, прикурил от раскаленной кочерги.
— Надоело мне все,— сказал он тихо.
— Что тебе надоело?
— Да все... По-моему, бежать нам надо отсюда, Кэнси. Ну их всех к черту.
— Как это — бежать? Ты что это?
— Надо сниматься, пока не поздно, и мотать на болота, к дяде Юре, подальше от всего этого кабака. Эксперимент вышел из-под контроля, мы с тобой вернуть его под контроль не можем, а значит, нечего и рыпаться. На болотах у нас, по крайней мере, будет оружие, у нас будет сила...
— Ни на какие болота я не поеду! — объявила вдруг Сельма.
— А тебе никто и не предлагает,— сказал Андрей, не оборачиваясь.
— Андрей,— сказал Кэнси.— Это же дезертирство.
— По-твоему — дезертирство, а по-моему — разумный маневр. И вообще как хочешь. Ты меня спросил, что я думаю о будущем, я тебе отвечаю: здесь мне делать нечего. Редакцию все равно разгонят, а нас пошлют дохлых павианов убирать. Под конвоем. И это еще в лучшем случае...
— А вот еще один умный человек! — провозгласил Изя с восхищением.— Слушайте: «Я — старый подписчик вашей газеты, и я, в общем и целом, одобряю ее курс. Но почему вы постоянно выступаете в защиту Ф. Гейгера? Может быть, вы недостаточно информированы? Я совершенно точно знаю, что Гейгер имеет досье на всех сколько-нибудь заметных лиц в Городе. Его люди пронизывают весь муниципальный аппарат. Вероятно, они есть и в вашей газете. Уверяю вас, эрвистов совсем не так мало, как вы думаете. Мне известно, что у них есть и оружие...» — Изя посмотрел на оборот письма.— Ах, вот это кто... «Имени моего прошу не публиковать...» В огонь, в огонь!

— Можно подумать, что ты знаешь в Городе всех умных людей,— сказал Андрей.
— Между прочим, их не так уж и много,— возразил Изя, снова запуская руку в бумажную кучу.— Я уже не говорю о том, что умные люди редко пишут в газеты.
Наступило молчание. Дэнни, накурившись всласть, тоже подобрался к камину и принялся бросать бумагу в огонь большими охапками.
— Ворочайте, ворочайте, шеф! — сказал он.— Больше жизни! Дайте-ка мне кочергу...
— По-моему, это просто трусость — удирать сейчас из города,— сказала Сельма с вызовом.
— Сейчас каждый честный человек на счету,— подхватил Кэнси.— Если мы уйдем, кто же останется? Дюпенам прикажешь отдать газету?
— Ты останешься,— сказал Андрей устало.— Сельму вот можешь взять в газету... или Изю...
— Ты же хорошо знаком с Гейгером,— прервал его Кэнси.— Ты мог бы использовать свое влияние...
— Нет у меня на него никакого влияния,— сказал Андрей.— А если и есть, то не хочу я его использовать. Я таких вещей не умею и не терплю.
И снова все замолчали, только гудело пламя в каминной трубе.
— Хоть бы они ехали скорее, что ли,— проворчал Дэнни, бросая в огонь последнюю кипу писем.— Выпить хочется — сил нет, а выпить нечего...
— Они так сразу не приедут,— немедленно возразил Изя.— Они сначала позвонят! — Он швырнул в камин письмо, которое читал, и прошелся по кабинету.— Вы этого, Дэнни, не знаете и не понимаете. Это ритуал! Процедура, отработанная в трех странах, отработанная до тонкости, проверенная... Девочки, а нет ли здесь чего-нибудь пожрать? — спросил он вдруг.
Тощая Амалия немедленно вскочила и с писком: «Сейчас, сейчас!..» исчезла в приемной.
— Кстати,— ни с того ни с сего вспомнил Андрей.— А где цензор?
— Он очень хотел остаться,— сказал Дэнни.— Но господин Убуката выпихнул его вон. Он ужасно кричал, этот цензор. «Куда я пойду? — кричал он.— Вы меня убиваете!» Пришлось даже дверь запереть на засов, чтобы не пускать его. Сначала он бился всем телом, а потом отчаялся и ушел... Слушайте, я все-таки открою окно. Сил моих нет, как жарко...
Вернулась секретарша и, застенчиво улыбаясь бледными, без косметики, губами, вручила Изе полиэтиленовый пакет с какими-то пирожками.
— М-м! — вскричал Изя и сейчас же принялся чавкать.
— Ребра болят? — тихонько спросила Сельма, наклонившись к уху Андрея.
— Нет,— сказал Андрей коротко, поднялся и, отстранив ее, подошел к столу. И в этот момент зазвонил телефон. Все повернули головы и уставились на белый аппарат. Телефон звонил.
— Ну, Андрей! — нетерпеливо сказал Кэнси.
Андрей поднял трубку.
— Да.
— Редакция «Городской газеты»? — осведомился деловой голос.
— Да,— сказал Андрей.
— Господина Воронина попрошу.
— Я.
В трубку подышали, затем раздались гудки отбоя. С сильно бьющимся сердцем Андрей осторожно положил трубку.
— Это они,— сказал он.
Изя прочавкал что-то неразборчивое, ожесточенно кивая головой. Андрей сел. Все смотрели на него — напряженно улыбающийся Дэнни, насупленный и взъерошенный Кэнси, жалко-испуганная Амалия и бледная подобравшаяся Сельма. И Изя смотрел на него, жуя и осклабляясь, вытирая замасленные пальцы о полы куртки.
— Ну, чего вы уставились? — раздраженно сказал Андрей.— А ну, мотайте все отсюда.
Никто не двинулся с места.
— Чего ты волнуешься? — сказал Изя, рассматривая последний пирожок.— Все будет тихо-мирно, как говорит дядя Юра. Тихо-мирно, честно-благородно... Только не надо делать резких движений. Это как с кобрами...
За окном послышалось тарахтение автомобильного двигателя, скрип тормозов, пронзительный голос скомандовал: «Кайзе, Величенко, за мной! Мирович, остаться у дверей!..» — и сейчас же в дверь внизу ударили кулаком.
— Я пойду открою,— сказал Дэнни, а Кэнси подскочил к камину и принялся изо всех сил ворошить груду дымящейся золы. Пепел полетел по всей комнате.
— Резких движений не делайте! — крикнул Изя вслед Дэнни.
Дверь внизу содрогалась и жалобно дребезжала стеклами. Андрей поднялся,

заложил руки за спину и, стиснув их изо всех сил, встал посредине комнаты. Давешнее ощущение дурного томления и слабости в ногах снова охватило его. Стук и грохот внизу прекратились, послышались недовольные голоса, а затем множество ног затопотало в пустых помещениях. «Слоано их там целый батальон»,— мелькнуло в голове у Андрея. Он попятился и оперся задом о стол. Колени у него отвратительно дрожали. «Бить не позволю,— подумал он с отчаянием.— Пусть лучше убивают. Пистолет я не взял... Зря не взял... А может, правильно, что не взял?..»

В дверь прямо напротив него решительно шагнул полный невысокий человек в хорошем пальто с белыми повязками на рукавах и в огромном берете с каким-то значком. На ногах у него были великолепно начищенные сапоги, а пальто было слабо и очень некрасиво стянуто широким ремнем, на котором слева тяжело отвисала новенькая желтая кобура. За ним ввалились еще какие-то люди, но Андрей их не видел. Он как зачароаанный смотрел в одутловатое бледное лицо с расплывчатыми чертами и с маленькими закисшими глазками. «Конъюнктивит у него, что ли,— подумалось где-то на самом краю сознания.— И выбрит так, что вроде бы даже блестит, как лакированный...»

Человек в берете быстро оглядел комнату и уставился прямо на Андрея.

— Господин Воронин? — с вопросительной интонацией провозгласил он высоким пронзительным голосом.

— Я,— с трудом выдавил из себя Андрей, обеими руками вцепившись в край стола.

— Главный редактор «Городской газеты»?

— Да.

Человек в берете умело, но небрежно откозырял двумя пальцами.

— Имею честь, господин Воронин,— высокопарно произнес он,— вручить вам личное послание президента Фридриха Гейгера!

Очевидно, он намеревался ловким движением выхватить личное послание из-за пазухи, но что-то там за что-то зацепилось, и ему пришлось довольно долго копаться в недрах своего пальто, слегка перекосившись на правый бок с таким видом, словно его одолевали насекомые. Андрей смотрел на него обреченно и ничего не понимал — все было как-то не так. Не этого он ожидал. «А может быть, пронесет»,— мелькнуло у него в голове, но он сейчас же суеверно отогнал эту мысль.

Наконец послание было извлечено, и человек в берете протянул его Андрею с недовольным и несколько обиженным видом. Андрей взял хрустнувший запечатанный конверт. Это был обыкновенный почтовый конверт, длинный, голубоватого цвета, со стилизованным изображением сердца, украшенного птичьими крылышками. Знакомым крупным почерком на конверте было написано: «Главному редактору „Городской газеты" Андрею Воронину лично, конфиденциально. Ф. Гейгер, президент». Андрей надорвал конверт и вытащил обыкновенный листок почтовой бумаги с синим обрезом.

«Милый Андрей! Прежде всего, позволь от всего сердца поблагодарить тебя за ту помощь и поддержку, которые я непрерывно чувствовал со стороны твоей газеты на протяжении последних решающих месяцев. Теперь, как видишь, ситуация в корне переменилась. Уверен, что новая терминология и некоторые неизбежные эксцессы не смутят тебя: слоаа и средства переменились, но цели остались прежними. Бери газету в свои руки — ты назначен ее бессменным и полномочным главным редактором и издателем. Набирай себе сотрудников по собственному выбору, расширяй штат, требуй новые типографские мощности — даю тебе полный карт-бланш. Податель сего письма — младший адъютор Раймонд Цвирик — назначен в твою газету политическим представителем моего управления информации. Мужик он, как ты сам убедишься, невеликого ума, но дело свое знает хорошо и, особенно на первых порах, поможет тебе войти в курс общей политики. В случае возможных конфликтов обращайся, разумеется, непосредственно ко мне. Желаю успеха. Покажем этим слюнявым либералам, как надо работать. Дружески, твой Фриц».

Андрей прочитал личное и конфиденциальное послание дважды, потом опустил руку с письмом и огляделся. Опять все смотрели на него — бледные, решительные, напряженные. Только Изя сиял, как начищенный самовар, и тайком от окружающих отпускал в пространство воображаемые щелбаны. Младший адъютор (что бы это могло значить, черт побери, слово какое-то знакомое... адъютор, коадъютор... что-то из истории... или из «Трех мушкетеров»), младший адъютор Раймонд Цвирик тоже смотрел на него — смотрел строго, но покровительственно. А у дверей переминались с ноги на ногу и опять же смотрели на него какие-то непонятные типы с карабинами и белыми повязками на рукавах.

— Так...— проговорил Андрей, складывая письмо и пряча его в конверт. Он не знал с чего начать.

Тогда начал младший адъютор:

— Это ваши сотрудники, господин Воронин? — деловито осведомился он, слегка поведя рукой из стороны в сторону.

— Да,— сказал Андрей.

— Гм...— с сомнением произнес господин Раймонд Цвирик, глядя в упор на Изю, но тут Кэнси вдруг резко спросил его:

— А кто вы, собственно, такой?

Господин Раймонд Цвирик взглянул на него, а затем изумленно повернулся к Андрею. Андрей прокашлялся.

— Господа,— проговорил он.— Позвольте вам представить: господин Цвирик, младший коадъютор...

— Адъютор! — с негодованием поправил Цвирик.

— Что?.. Ах, да, адъютор. Не коадъютор, а просто адъютор... (Сельма вдруг ни с того ни с сего прыснула и зажала себе рот ладонью.) Младший адъютор, политический представитель в нашей газете. Отныне.

— Представитель чего? — непримиримо спросил Кэнси.

Андрей полез было снова в конверт, но Цвирик еще более негодующим тоном объявил:

— Политический представитель управления информации!

— Ваши документы! — резко сказал Кэнси.

— Что?! — закисшие глазки господина Цвирика возмущенно замигали.

— Документы, полномочия — есть у вас что-нибудь, кроме вашей дурацкой кобуры?

— Кто это?! — пронзительно вскричал господин Цвирик, снова поворачиваясь к Андрею.— Кто этот человек?!

— Это господин Кэнси Убуката,— торопливо сказал Андрей.— Заместитель главного редактора... Кэнси, не надо никаких полномочий. Он же передал мне письмо от Фрица...

— Какого еще Фрица? — сказал Кэнси брезгливо.— При чем здесь какой-то Фриц?

— Резких движений! — возззвал Изя.— Умоляю вас, не делайте резких движений!

Цвирик вертел головой между Изей и Кэнси. Лицо его уже больше не лоснилось, оно медленно заливалось багровым.

— Я вижу, господин Воронин,— произнес он наконец,— ваши сотрудники не очень хорошо представляют себе, что именно произошло сегодня!.. Или наоборот! — Он все возвышал голос.— Представляют, но в каком-то странном, извращенном свете! Я вижу здесь горелую бумагу, я вижу угрюмые лица, и я не вижу никакой готовности приступить к работе. В час, когда весь Город, весь наш народ...

— А это кто? — перебил его Кэнси, указывая на типов с карабинами.— Это что, новые сотрудники?

— Представьте себе — да! Господин *бывший* заместитель главного редактора! Это новые сотрудники. Я не могу обещать, что это...

— Это мы еще посмотрим,— незнакомым скрипучим голосом произнес Кэнси и шагнул к Цвирику.— На каком основании...

— Кэнси! — сказал Андрей беспомощно.

— На каком основании вы здесь испаряетесь? — продолжал Кэнси, не обращая на Андрея никакого внимания.— Кто вы такой? Как вы смеете так себя вести? Почему вы не предъявляете документы? Вы просто вооруженные бандиты, которые проникли сюда с целью ограбления!..

— Заткнись, желтож...й! — дико завопил вдруг Цвирик, хватаясь за кобуру.

Андрей качнулся вперед, чтобы стать между ними, но тут его сильно толкнули в плечо, и перед Цвириком оказалась Сельма.

— Как ты смеешь выражаться при женщинах, сволочь! — заорала она.— Зараза ты толстож...я! Бандюга!

Андрей совсем потерялся. Разом ужасно закричали и Цвирик, и Кэнси, и Сельма. Мельком Андрей заметил, что типы в дверях, неуверенно переглядываясь, стали брать карабины наизготовку, а возле них вдруг оказался Дэнни Ли, держа за ножку тяжелый редакторский табурет с железным сиденьем, но страшнее и невероятнее всех была шлюшка Амалия, которая, как-то хищно сгорбившись и выставив длинные белые зубы, очень жуткие на осунувшемся, как у мертвой, лице, крадучись подбиралась к Цвирику, занося над правым плечом, словно клюшку для гольфа, дымящуюся кочергу... «Я тебя, сук-киного сына, запомнил! — неистово кричал Кэнси.— Ты деньги для школ разворовывал, стервец, а теперь в коадъюторы вылез?!..» — «Я вас всех с дерьмом смешаю! Дерьмо у меня будете жрать! Враги человечества!..» — «Молчи, б...чая харя! Молчи, пока цел!..» — «Резких движений! Умоляю!..». Андрей, как зачарованный, не в силах пошевелиться, следил за вздымающейся кочергой. Он чувствовал, он знал, что сейчас произойдет ужасное и непоправимое, и это ужасное уже не остановить.

— На фонарь вас! — налившись кровью, дико вопил младший адъютор, размахивая огромным автоматическим пистолетом. За всем этим гамом и шумом он успел как-

то вытащить свой пистолет и теперь бестолково им размахивал и беспрерывно пронзительно орал, и тут Кэнси подскочил к нему, схватил за отвороты пальто, а он стал отпихиваться обеими руками, и вдруг грянул выстрел и сразу же другой и третий. Бесшумно мелькнула в воздухе кочерга, и все замерли.

Цвирик один стоял посредине кабинета, лицо его быстро серело. Одной рукой он потирал ушибленное кочергой плечо, другая, трясущаяся, все еще была вытянута вперед. Пистолет валялся на полу. Типы в дверях, одинаково разинув рты, стояли с опущенными карабинами.

— Я не хотел...— дребезжащим голосом произнес Цвирик.

Громко ударился об пол выпавший из руки Денни табурет, и только тогда Андрей понял, куда все смотрят. Все смотрели на Кэнси, который как-то странно, медленно-медленно, закидывался назад, прижимая обе ладони к нижней части груди.

— Я не хотел...— повторял Цвирик плачущим голосом.— Видит бог, я не хотел!..

Ноги у Кэнси подломились, и он мягко, почти беззвучно повалился около камина в кучу пепла и золы и, издавши невнятный мучительный звук, с трудом подтянул колени к животу.

И тогда Сельма, страшно вскрикнув, впилась ногтями в толстое, лоснящееся, грязно-белое лицо Цвирика, а все остальные с топотом кинулись к лежащему, заслонили его, сгрудились над ним, а потом Изя выпрямился, повернул к Андрею неестественно перекошенное, с удивленно задранными бровями лицо и пробормотал:

— Мертвый... Убит...

Грянул телефонный звонок. Ничего не соображая, Андрей, как во сне, протянул руку и взял трубку.

— Андрей? Андрей! — это был Отто Фрижа.— Ты жив-здоров? Слава богу, я так за тебя беспокоился! Ну, теперь все будет хорошо. Теперь Фриц, если что, нас в обиду не даст...

Он говорил еще что-то — про колбасу, про масло,— Андрей больше его не слушал.

Сельма, сидя на корточках и обхватив голову руками, плакала навзрыд, а младший адъютор Раймонд Цвирик, размазывая по серым щекам кровь из сочащихся глубоких царапин, все повторял и повторял, как испорченный механизм:

— Я не хотел. Клянусь богом, я не хотел...

Конец первой книги

Геннадий МОРОЗОВ

ПЕРЕД СНЕГОМ

О клич журавлей отдаленный,
летящий за окоем,
туда, где склоненные клены
прощальным пылают огнем,
где в стыни ознобной томится
поблекший желтеющий луг,
где начал все ниже клониться
ракитник у темных излук,—
то осени светлые меты...
Вон стужей малинник смален,
и узкой полоской рассвета
пронизан редеющий клен,
и стынут и воздух и воды,
и радует вновь бытие
не ярким явленьем природы,
а скрытым томленьем ее.

ГОРОДУ КАСИМОВУ

Мой древний город! Светом окон
ты мне в любую ночь свети,
чтоб я, приехав издалека,
к порогу тропку мог найти,
полузаросшую, быть может,
уже не видную почти.

...Я до черты печальной дожил —
ищу тропу. Но где найти?
Как грозно грейдер здесь рокочет!
Грузовики бегут, рыча,
там, где хрустел сухой песочек,
нам в детстве пятки щекоча.

回 回 回

Когда в отлет собрались птицы,
когда багрянцем бор горит,—
куда душа моя стремится,
в какой заоблачный зенит?
В какое дальнее далеко?
Зачем туда стремиться ей,
когда и здесь не одиноко
среди враждующих людей.
Здесь, на земле, слепой борьбою
и страстью полнится она.

А там, за сферой неземною,
на что она обречена?
Там гулко, пусто или глухо,
поди узнай?! Там — космос, тьма...
Какой там звук коснется слуха,
увы, загадочно весьма!
Там виснут звездные полотна,
а здесь — багрянцем бор горит.
...Вот, говорят, душа бесплотна!
Но что ее так тяжелит?!

ЗВУКИ

Лунный лучик крадется по-лисьи,
он к земле неногодой прижат.
С мокрых кленов срываются листья —
и я слышу, как ветки дрожат.
Слышу клик улетающей цапли.
Тускло светится чье-то окно.
В бочку бухают крупные капли,
разбухает дубовое дно.

Эти звуки давно мне знакомы:
клёкчут гуси, кричат дергачи.
За стеною родимого дома
сколько раз я их слышал в ночи!
Но не зов затаенной природы,
и не запах, манящий к жилью,—
тайный голос любви и свободы
ждет и требует душу мою.

ПОРТРЕТ БОРИСА ПАСТЕРНАКА

11 февраля 1959 г.

Это его день рождения. Странно думать, что ему шестьдесят девять лет.

Дверь мне открыл незнакомый седой человек. Это был его брат.

— Дома Борис Леонидович?

— Сейчас узнаю, он, кажется, куда-то выходил. Как сказать?

Оставив меня на крыльце, он ушел в дом. Мне ужасно хотелось удрать. Но тут дверь отворилась, и с громкими возгласами Борис Леонидович ввел меня в дом.

— Это вы принесли? Что это?

— Пластинки. Ведь у вас сегодни день рождения.

— Да. Спасибо, Зо-оя Афанасьевна! А какие пластинки?

— Клайберн, Рахманинов в исполнении Рахманинова, Скрябин — 3-я симфония...

Он благодарит.

— Это второй за сегодняшний день подарок. Первый был почти такой же приятный, как ваш.

Он помогает мне раздеться и ведет в свою комнату. Усаживает меня, а сам расхаживает, продолжая рассказ о том, как сегодня ездил в город на почту в Останкино за давным-давно отправленной из Германии по неправильному адресу посылкой.

— Представьте, пишет какая-то женщина из Марбурга. Она владелица бензоколонки, и она прочитала в газетах, что я в этом городе учился и что никто его так хорошо не описывал, как я. В посылке оказались страшные пустяки.

Он достает с полки три связанных вместе крохотных керамических кувшинчика и протягивает мне две большие превосходные фотографии с видами Марбурга.

— Эта посылка и письмо так меня растрогали, что я тут же, обливаясь слезами, сел писать ответ.

На столе лежит большой линованный блокнот, часть страницы исписана лиловыми чернилами, в правом углу стола немецкий толковый и русско-немецкий словари. В левом углу зеркало, карманные часы, знакомая уже круглая чернильница и блестящая металлическая коробка, полная остро очиненных карандашей.

Я в третий раз здесь, но только сейчас отчетливо воспринимаю второе огромное окно, выходящее в сосновый лес, кажущийся непроходимым бором, а на самом деле представляющий собой небольшую, но очень густую и старую рощу.

— Расскажите мне о себе, — прошу я.

Он перестает ходить и садится против меня.

— Ничего не изменилось, не стало яснее. Деньги мне по-прежнему не платят. Я переводил Словацкого, вы знаете.

— Заплатили за перевод?

— Нет.

— Но ведь у вас договор.

— Они не отказываются, но и не платят. У Зинаиды Николаевны есть сбережения, мы их уже тронули. До меня дошли слухи, что за издания за границей накопилось много денег, около миллиона. Я распорядился на сто тысяч долларов сделать подарки тем, кто переводил, кто как-то принимал во мне участие, но потом выяснилось, что слухи сильно преувеличены и я роздал уже около половины. Ну, Бог с ним! Получаю по-прежнему много писем, пишут самые разные люди.

— Значит, переписка по-прежнему составляет ваше основное занятие?

— Да.

— Вы с ней никогда не разделаетесь.

— А может быть, и разделаюсь, — сердито говорит он.

— А писать вы будете?

— Да. Стихи во всяком случае.

— А прозу? Борис Леонидович?

— Умница. Я как раз об этом думаю. Все — ах, ах, стихи, — а вы о главном. Стихи все-таки отписка.

— Значит, будете? Что-нибудь уже решено?

— Нет, нет, пока это далеко. Но буду. Как вы живете?

— Это потом, подождите.

— Почему потом? Мне интересно.

— Погодите. Правда ли, что Голливуд ставит фильм по роману?

— Да. Он скоро выйдет или уже вышел.

— Это ужасно. Я не говорю о политической стороне этого дела, но они ведь просто изуродуют роман.

— Я узнал об этом слишком поздно, да и то неофициально. Я ведь ничего толком не знаю. Доходят какие-то слухи, но разве можно на этом основании действовать?

— Нет, конечно.

— Да. Какая-то темная личность, испанец, основал даже фонд моего имени для помощи нуждающимся студентам, и и, оказывается, должен был добыть средстаа для фонда чтением лекций по всей Европе, и он будто бы получил согласие нашего правительства, и все это попало в газеты. Я написал очень резкое письмо и решительно отказался иметь с ним что-либо общее.

И он снова потребовал повелительно и капризно:

— Рассказывайте, как вы живете. Я хочу знать!

Я коротко объясняю, он настойчиво расспрашивает.

— Да, знаете, что я леплю? Маленькую голову Лары.

— Лары? Что вы говорите? Это очень интересно...

Тут в окно он видит почтальоншу и выходит к ней. Вернувшись с пачкой писем, опять садится напротив.

Я ему говорю, что хозяйка нашей переделкинской дачи рассказала мне о сумасшедшей девушке Лялечке, жившей у нее до нас. Она делала куколки для заработка и писала стихи. Она показывала их Борису Леонидовичу, и он ее жалел, помогал ей, ободрял, а она считала его Иисусом Христом и ангелом. Однажды он даже навестил ее в той самой комнате, где мы живем полгода. Когда случилась история с премией, ей стало плохо, и она снова попала в психиатрическую лечебницу.

Он не без труда сообразил, о ком идет речь.

— Да вы ее видели. Помните, как-то летом ко мне при вас приходили две девушки... А как ко мне относятся в поселке?

— Да, раз уж хозяйка заговорила о вас, я воспользовалась случаем и стала об этом расспрашивать. С большой симпатией и сочувствием.

— Правда? Спасибо! Спасибо!

Помолчав, он тихо и медленно, опустив голову, говорит:

— На днях я ходил гулять и вернулся в страшно тяжелом настроении. Нет, ничего не произошло, ничего не случилось, но мне показалось, что вокруг меня непроходимый дремучий лес и выхода мне из него нет.

— Борис Леонидович, вы ждете освобождения, избавления извне, а оно может прийти только от вас.

— Но что я могу сделать? Написать еще что-нибудь в том роде, что написал в письме?

— Нет, нет. Но надо найти что-то, что было бы одинаково близко и вам и всем людям.

— Я пытался. Я написал о мире — это у вас есть?

— Нет, но мне читали.

— Не печатают. Что я могу поделать?

Он увидел в окно, как кто-то к нему идет.

— Я вас с Асмусом не знакомил?

— Нет.

— Я его сейчас сюда приведу. Посидите тут.

Он возвращается с Асмусом.

Это корректный профессор лет шестидесяти с умным, несколько безжизненным лицом, он в черном костюме и даже в черном галстуке.

Борис Леонидович нас знакомит. Он рассказывает Асмусу о посылке из Германии, показывает фотографию и горшочки. Асмус говорит тихо, не зная, что я глуховата, я улавливаю лишь, что речь идет о перипетиях издания его книги. Асмус спрашивает Бориса Леонидовича о делах. Он отвечает, и как несколько раз бывало прежде, я слышу все слова и все их понимаю, но не улавливаю смысла. Потом из тумана начинают проясняться очертания мысли, скорее состояния Бориса Леонидовича. И вдруг становится понятным, как тяжело подействовала на него эта история с премией, и что он чувствует себя в тупике и не видит выхода, но мучительно его ищет.

Мне страстно хочется ему помочь, и когда он замолкает, я говорю:

— Я слушала вас и думала вот о чем. То, что я вам скажу, может быть, будет вам тяжело услышать (Асмус резко поворачивается на стуле ко мне). Но вы ведь знаете, как я к вам отношусь. Из темного леса, который вокруг вас, можете выйти только вы сами. К жизни нужно относиться критически...

— А как еще можно к ней относиться? — улыбаясь моей наивности, вставляет Борис Леонидович.

— Но все зависит от цели этой критики. Ведь идет непрерывная борьба, какие-то люди, какие-то силы действуют, борются со злом, чтобы жизнь была лучше, и мало-помалу она становится все же лучше, несмотря на все отступления, ошибки и провалы. Ваша ошибка в том, что вы направляете на жизнь вашу критику с позиций прошлого, а чтобы ей помочь, надо это делать с позиций будущего. И вы же русский писатель. Ну что вам до откликов за рубежом? Помогите нашим, русским силам в их борьбе за более справедливую и свободную жизнь.

Когда я кончила, он встал и, расхаживая по комнате, заговорил:

Окончание. См.: «Нева», 1988, № 9.

— Как бы мне хотелось быть моложе, быть таким же талантливым, как Шолохов, быть лучше, прямее в быту. Но я все же не могу, не должен идти против того, в чем убежден, что человек становится скуднее и беднее, и духовная жизнь мельчает.

— Вы меня не поняли! Вы ни в чем не должны кривить душой. И ни о чем вам не надо жалеть. Надо только понять, что прошлое ушло и жизнь продолжается.

— Я отвечу Зое Афанасьевне,— вдруг вмешивается Асмус.— Говорить о прошлом было единственным способом писать о настоящем. Роман написан о современности.

По лицу Бориса Леонидовича видно, что он с этим согласен. Но тут появляется Зинаида Николаевна и спрашивает:

— Когда мы будем обедать?

Она выходит, Асмус собирается продолжать, но к дому подъезжает машина. Приехали какие-то гости, и я подхожу к Борису Леонидовичу прощаться.

По всем мелочам его поведения видно, что он не сердится.

16 февраля 1959 г.

Встреча в день рождения растревожила меня. Я не могла отогнать беспокоящие меня мысли и написала письмо. Вот оно:

14 февраля 1959 г.

Дорогой Борис Леонидович!

Я жалею о двух вещах: о том, что так долго не могла от Вас уйти и утомила Вас, и о том, что завела под конец и при третьем, может быть, огорчивший Вас разговор и осталась непонятой. Довести мысль до конца я и решилась в письме.

В Вас я особенно люблю дерзновенность и неприспособляемость убеждений. В наше время стойкость нужнее правоты. Для меня было бы личной большой бедой, если бы Вам пришлось сделать что-то по принуждению, хотя это и не изменило бы моего отношения к Вам. Но как возросла бы ценность искренности, если бы она сочеталась с большей правотой. А больше правоты, по-моему, во взгляде на жизнь с точки зрения тех, пока слабых ростков, которым предстоит разрастаться и плодоносить. Она в уходе за семенами будущего (я отдаю себе отчет в том, что это несколько женский подход).

Мне хочется только одного,— чтобы Вы были верны себе и своим словам: «Каковы бы ни были прошлые ошибки, надо думать о том, как жить дальше», и чтобы эти слова Вы относили не только к себе, но и к общей судьбе.

Мне представляется самым важным решить вопрос: как, ни в чем не отступаясь от своего лица, Вы можете помочь жить людям, и современникам и соотечественникам в первую очередь (не знаю, заинтересовали ли бы Вас мои мысли по этому поводу).

О, Вы уже так много сделали, что могли бы сказать: «Оставьте меня в покое». Но в Вас столько сил и свежести, что Вы сами не дадите себе покоя.

И еще мне кажется: хотя для пытливого ума в полете пчелы больше пищи, чем в кругосветном путешествии — для дурака, но и для самого умного человека соприкосновение с новыми сторонами жизни обычно ускоряет осмысливание ее коренных явлений.

Наверно, мне, серенькой и незаметной, меньше всего в Вашем представлении принадлежит право, не соглашаясь в чем-то с Вами, высказывать свое непрошеное мнение, тем более, что оно не блещет оригинальностью и я нечто подобное говорила уже раньше.

Но почему-то мне кажется, что среди людей, находящихся под властью Вашего обаяния, нет таких, кто мог бы, дорожа Вашим мировосприятием, все же оказать Вам противодействие, если в чем-то несогласен с Вами.

Для меня не может быть большего огорчения, чем навлечь Ваше недовольство, и это не красное словцо. Вы не задумывались, вероятно, над своим местом и значением в моей жизни. И все же я должна была высказаться, потому что Вы — бо́льшая и лучшая часть моей души, потому что Ваша боль отзывается во мне, и пусть это наивно, но мне страшно хочется как-нибудь облегчить Ваш трудный путь.

Верю, что Вы меня поймете и простите и в том случае, если я ошибаюсь и все это бестактно.

Вам вовсе не надо отвечать. Просто позвоните и скажите, что Вы не сердитесь. *З. М.*

P. S. 16 февраля. Три дня не могла решиться отправить это письмо, так мне страшно огорчить Вас и испортить Ваше отношение ко мне, если Вы найдете, что я просто глупа и дерзка.

Неужели Вы не почувствуете, как мне трудно все это говорить Вам в такое тяжелое для Вас время и как кажется нужным именно теперь? То, о чем я написала, как разногласие с самой собой, и очень хочется увериться в том, что я неправа, и обрести равновесие.

Вы не откажетесь от меня? *З. М.*

К письму я приложила посвященные Б. Л. стихи.

ДАР

Как трудно разглядеть себя,
вести с желаньем уподобиться
смертельную междоусобицу,
жить, идолов не серебря,
и не бояться обособиться,
месть за отмеченность прощать
из жалости, из человечности
не раз, не сто — до бесконечности,
а боль в изделья превращать,
сдавая на храненье вечности.

Взглянуть младенчески окрест,
о замысле всего творения
составить собственное мнение
и пронести его как крест —
и есть, наверно, сущность гения.

19 февраля 1959 г.

Вечером раздался телефонный звонок.

— Зоя Афанасьевна?

— Да.

— Говорит Пастернак. Я получил ваше письмо. Очень хорошие стихи.

— Правда? Спасибо! А письмо? Очень глупое письмо, Борис Леонидович?

— И письмо хорошее. Но письмо легко написать, а стихи трудно. Вчера я получил еще одно письмо, меня взволновавшее. Наше, внутреннее, судя по адресу — какой-то номер — от юноши, отбывающего воинскую повинность. Весь день меня душили невыплаканные слезы. Когда я открывал это письмо, то подумал: наверно, какие-нибудь проклятия, было и такое. Но нет. Письмо человека думающего, хотя и наивное, и каждая строчка дышит такой любовью, что все, что копилось за день, прорвалось слезами. Я тут же сел отвечать и даже объяснил, чем явилось для меня это письмо и почему. Я с вами заодно и прощаюсь, завтра я уезжаю, или, вернее, улетаю.

— Куда? Почему? Борис Леонидович!

— В Тбилиси. Тут предстоит приезд правительственной делегации, может быть, приедут ко мне, и все, особенно жена, настаивают, чтобы я уехал, а мне очень не хочется.

— Но это не так плохо, вы отвлечетесь.

— Нет, тут переписка, каждый день садишься за стол, это располагает к работе. Для меня сейчас переписка и моя жизнь в Переделкине — это прощание со всеми и всем, что было дорого. Помните, Пушкин перед концом прощался со всем, что любил?

И вдруг целомудренно и быстро, не дожидаясь ответа, переменил тему.

— А в Переделкине сегодня нет света, все погружено в темноту. Между прочим, ваше письмо я только сегодня получил.

— Спасибо, что сразу позвонили.

— До свидания, Зоя Афанасьевна, будьте счастливы, не болейте.

Никогда он этого «не болейте» не говорил, только в этот день, хотя я и не сказала ему, что больна довольно тяжелой формой вирусного гриппа.

17 мая 1959 г.

От этой встречи у меня нехорошо на душе. Такое впечатление, что я для Бориса Леонидовича человек чужой и лишний, а та сердечность и дружба, что были в отношениях, кончились.

Встретила меня на этот раз Зинаида Николаевна. Оказалось, она хочет поговорить со мной о переносе «всей этой музыки» на верхнюю веранду. Я согласилась.

День был на редкость жаркий, и я пила воду, когда в столовую вошел Борис Леонидович. Он не устремился с протянутыми руками, как прежде, а вяло поцеловал руку.

— Вам Зинаида Николаевна говорила о желании перенести портрет наверх? Как вы на это смотрите?

— Я хочу условиться с вами о работе. Мне нужно знать сроки, чтобы распорядиться своим летом.

— Пойдемте на террасу, поговорим.

Мы уселись на террасе. Он выглядел постаревшим, и казалось, чем-то расстроен.

— В прошлом году осенью, когда назревали все эти события, я не то чтобы их предвидел, но это была цепь, многие звенья которой проходили через меня. Я торопил вас с окончанием вовсе не потому, что между нами что-то произошло, а потому что надвигалось множество дел и не хватало времени.

— Не надо мне этого объяснять. Сейчас у вас тоже сложное время?

— Да. Готовятся новые издания, идет поток писем, и надо отвечать.

— Вы написали за это время что-нибудь?

— Нет, ничего, но ужасно хочется. Буду писать пьесу.

— О русском актере?

— Да. Но вы не представляете, насколько не хватает времени. Я как-то давал окантовать рисунки отца. У мастера остались запасные, он сказал, что их отдал, а потом нашел. И вот лежит целая груда рисунков, и нет времени просмотреть их и разобрать. Поэтому давайте отложим работу. В июне ни в коем случае, хорошо? Но в июле, вы скажете,— жарко?

— Нет, не скажу.

— А что вы сейчас делаете?

Я объясняю.

— Ну вот, видите, вы сами заняты.

— О, это не помешало бы. Борис Леонидович, ничего у вас не изменилось?

— Нет, я ровно ничего не знаю. Есть какие-то обещания книгоиздательского порядка.

— А за перевод вам заплатили?

— За Словацкого? Да.

— А за пьесы идут деньги?

— Да, за пьесы и не переставали идти.

— А мне казалось, что есть какие-то мелкие признаки улучшения дел.

— Нет, по-моему. А какие признаки?

— Ну вот, по всему городу расклеены афиши «Короля Лира» с вашим именем, всю зиму этого не было.

— А на какие числа афиши?

— На шестнадцатое и двадцать девятое мая.

— Он очень давно не шел, болел Мордвинов, а главное — из-за дурной славы переводчика.

— Но ведь другие спектакли идут.

— А вы «Лира» видели?

— Да.

— Еще давно?

— Нет, вчера.

— Вот как! Ну, как он вам понравился?

— Очень. Зал был полон и реагировал на спектакль очень живо, жил с пьесой.

Я открываю свой чемоданчик и достаю укутанную в черную тряпку Лару. Борис Леонидович почему-то ведет меня на веранду и закрывает дверь.

Я держу головку в руке, он с любопытством осматривает, заходя и справа, и слева, просит повернуть в оба профиля, показать сзади.

— Интересно. Очень интересно.

— Но это не та Лара, которую вы себе представляли?

— Да.

— А чем?

— Она у вас более одухотворенная и измученная. Но это интересно. И прическа, и вся она того времени, она исторически достоверна... Вы пошли дальше меня, но направление, в котором вы шли, взято верно. Это — Лара.

— Я не смею так ее называть.

— Ну, что за глупости, почему?

— Потому что я ее не угадала.

— А разве такая догадка возможна? В Ларе я ведь никого конкретно не имел в виду. Это не портрет.

Я собираюсь уходить.

— И вы не обижайтесь. Если бы вы были другой человек, я бы пожертвовал этой статьей и письмами.

— Нет, нет, это отравило бы отношения.

Он еще задает вопросы, связанные с переноской, и я ухожу в отвратительном настроении.

18 мая 1959 г.

В девять утра телефонный звонок, оказалось — Зинаида Николаевна. Она сказала, что на обеих верандах жарко, пластилин может расплавиться, ей кажется, уже что-то произошло, а холодные места, вроде погреба, маленькие, тесные, там может повредить вещь работница. Раз Борис Леонидович сказал мне, что будет продолжать через полтора месяца, то хорошо бы на это время забрать работу, машину она даст. Но вообще Борис Леонидович считает, что портрет закончен и лучше, чтоб я отлила для себя один экземпляр, а второй тогда, когда у него будут деньги приобрести портрет, он это хочет сделать.

Я ответила, что не считаю портрет законченным, но, конечно, заберу его. Ждать я готова сколько угодно. Что касается «приобретения», то об этом не может быть и речи. Портрет я делала не для денег и подарю его, если только он нравится, навязывать не буду.

Договорились, что приеду в среду к двенадцати, она даст машину, и я заберу голову.

Вешаться хочется. Но я понимаю его состояние: сидеть перед скульптором после всего, что произошло, и с дамокловым мечом над головой, когда надо действовать и искать выход из положения!

20 мая 1959 г.

Ну и денек! Меня до сих пор трясет. Во дворе бродил шофер и стояла машина, чтобы везти голову ко мне.

Навстречу мне вышел Борис Леонидович. Я молча взглянула на него.

— Так будет лучше. Надо с этим кончать.

Он принялся объяснять положение. Упомянул, между прочим, о том, что Шолохов за границей «слишком мягко» отзывался о нем, высказался, что поступили с Борисом Леонидовичем чересчур круто, по-видимому, Шолохов не по своей инициативе это сделал, и предполагалось, что на съезде писателей о нем не будет ни слова, а вот опять было в старом духе.

— Нужно работать. Нельзя же все «Живаго», «Живаго»... Ну а дальше что?

Сказал, что, с его точки зрения, работа завершена, очень хорошая, и ее надо отливать, а если что-нибудь и делать, то новую работу.

— Вот если со мной все будет благополучно и вы получите государственный заказ, это будет интересно.

На все это я ответила одним словом: «Хорошо» — и пошла на веранду, а он за мной.

— Я хочу посмотреть портрет, — сказала я.

— Я тоже хочу.

— Борис Леонидович, когда я с вами, мне кажется, вы все понимаете и глупо что-либо объяснять. Но потом оказывается, это не так. Поэтому, чтоб не забыть сказать вам, что нужно по этому поводу, я написала это. Прочтите...

— Сейчас?

— Да.

Я отдала ему письмо, в котором писала, что вовсе не смотрю на вещи только со своей колокольни и понимаю, как ему не до портрета. Но портрет сейчас дальше от завершения, чем был осенью, потому что это время я вживалась в образ, располагая новыми возможностями, и многое понимаю сейчас иначе. Ждать возможности окончить работу я готова сколько угодно, пусть только это его не связывает, он всегда может отказаться. Я благодарила

за щедрость, с которой он внес новый смысл в мое существование, и просила помнить, что со всеми его муками он богат и счастлив.

— Можно мне побыть наедине с портретом?

— Вы хотите в первый момент, когда откроете, быть одна?

— Да.

— А можно и мне тут быть?

— Лучше не надо.

— Я хотел бы.

— Ну, хорошо.

Он пока отложил письмо, мы переставили странно изменившуюся закутанную фигуру на середину веранды, и с его помощью я стала снимать веревки.

— Что-то случилось! — воскликнула я, обнаружив деформацию под тряпками, на которых выступил растаявший пластилин.

О, что открылось нашим глазам! Голова развалилась от жары на части. Кусок затылка висел вверху треснувшего штыря, все остальное сползло вниз, чудом держась на расплющенной шее. По-видимому, еще час или два, и все было бы на полу.

К нам бросился на помощь брат Бориса Леонидовича, кликнули шофера, прибежала Зинаида Николаевна. Остатки работы отделили от каркаса и уложили на большой станок. Сделав, что нужно, я повернулась к окну, к ним спиной. В наступившем тягостном молчании я боялась разреветься и выбежала из комнаты, бросив:

— Сейчас вернусь.

Я быстро шла в лесную часть участка. Вслед мне что-то крикнула Зинаида Николаевна, и за мной пошел Александр Леонидович.

— Я хочу сказать, чтобы вы не огорчались. Мне как архитектору это знакомо. Иногда обрушивается целое здание.

— О, пожалуйста, не успокаивайте меня, я все это вынесу. Посижу здесь, приду в себя и вернусь.

Я ревела и ревела, и не только от жалости к погибшей, такой дорогой мне работе, но и из-за отказа Бориса Леонидовича позировать. Проходило время, и я никак не могла успокоиться. Тут меня отыскала Зинаида Николаевна.

— Вы потому убежали, что вы тоже суеверная и вам показалось, голова Бориса Леонидовича так же развалится на части? В первую минуту мне чуть не стало дурно. Но потом я поняла, это не предзнаменование, а просто следствие солнца, от него растаял пластилин, и все логично. Не огорчайтесь, лицо и левая сторона целые, они чудные.

— Неужели портрета не будет? — воскликнула я.

— Все будет. Будем живы, все будет, а умирать мы пока не собираемся.

Видя мое горе, она обняла меня и стала целовать, а я прижалась к ней. Меня тронула ее доброта. Она пригласила меня провести у них день и пообедать с ними.

— Вы не должны обижаться на Бориса Леонидовича, — сказала она, — ему сейчас ни до кого: ни до детей, ни до семьи...

Потом стала говорить об их жизни, и тут уже я утешала ее.

Медленно и как бы колеблясь, к нам подошел Борис Леонидович. Понимая, как снять напряжение, он заговорил на деловые темы. О том, что оставшееся надо немедленно фотографировать и отформовать, что это хорошая работа, это видно и теперь.

Возвращаясь, мы обсуждали детали. Я объяснила, что если портрет сейчас перевозить, то он совсем развалится.

Зинаида Николаевна вошла в дом, а меня задержал Борис Леонидович:

— Я хочу, чтобы вы мне верили, отсутствие времени не отговорка...

— Борис Леонидович, я верю каждому вашему слову, не надо этих предисловий.

— У меня осталось трое-четверо друзей, вы в их числе. Но то, что случилось и продолжает происходить в этом году, превышает по сумме события всей остальной жизни, если их собрать вместе. И это требует напряжения сил. У меня есть приятельница-француженка, она переводила «Живаго», о-очень близкий мне человек. Она написала, что хочет получить визу и приехать ко мне пожить тут осенью, и я ей ответил, чтобы она отложила это на год. Вы не должны на меня обижаться.

Я сказала, что понимаю его положение.

Вышла Зинаида Николаевна и предложила перенести злосчастную голову в Лёнину комнату при гараже. Это полутемная каморка с низким потолком. Там стоит большой стол, заваленный автомобильными деталями и инструментами, и кушетка. Я согласилась.

Они говорили о том, что и как тут переставить, я думала о своем и нечаянно улыбнулась грустным мыслям. Борис Леонидович взглядом спросил, чему это я.

— Горе-скульптор...

С внезапной лаской он коснулся моей щеки.

Я сказала, что хочу посмотреть остатки портрета, и, наконец, осталась одна. Я сидела над ним, и мне снова хотелось плакать. Вырвана была примерно одна пятая поверхности от правого уха (его не существовало) к затылку, шея совсем деформирована и разодрана, но все остальное не тронуто. Катастрофа заключалась не в этих повреждениях, а в том, что тяжелая голова размером в натуру с четвертью была сорвана со штыря и восстановить прочные связи между пластилином и каркасом было невозможно.

Я глотала слезы и внезапно ясно увидела, что тут надо сделать: вынуть часть пластилина изнутри, вложить в голову в лежачем положении штырь с прочными крестами и залить все это расплавленным пластилином. Вскоре работа закипела. Плотник делал в саду новый каркас, а мы с Александром Леонидовичем, взявшимся мне помогать, топили пластилин на водяной бане и готовили голову к операции.

На веранду пришел Борис Леонидович. Я ему сообщила, что смогу восстановить портрет. Он выразил недоверие, я объяснила идею.

— Ну и слава Богу! — отвечал он.

— Не очень я верю вашему «слава Богу»,— весело сказала я.— Вы, кажется, были рады, когда портрет развалился. И все сделаем без вас, уходите, пожалуйста.

— Да, я должен сейчас уйти, тут приехали студенты ВГИКа, хотят меня снять, я надолго ухожу. Я вас в щеку поцелую.

Справившись, все ли у меня есть для работы, он ушел.

Я искала новое направление штыря с тем, чтобы устранить по просьбе Бориса Леонидовича первоначальный наклон головы, когда в столовой вновь загудел его голос. Меня позвали обедать, пришлось оторваться от работы. Он был голодный и злой, все это чувствовали, я молчала, за столом изредка перебрасывались пустяковыми фразами. Шел III съезд писателей, и он, видимо, вернулся с плохими вестями. А досталось мне. Он заговорил о необходимости отливать работу, потому что этого требует и ее состояние, и наши отношения, и мера моего таланта.

— Лимит исчерпан,— сказал он.

— На это мне возразить нечего,— ответила я.

Было очень больно и обидно, и молчала, но почему-то не чувствовала бесповоротности его слов.

Его стали спрашивать о съезде, он что-то говорил, упоминал Алигер, я плохо слушала. Потом стало ясно: он возлагал какие-то надежды на съезд и, по-видимому, переживает разочарование.

Тогда очень тихо я заговорила. Он резко повернулся на стуле и бросил есть.

— Мне кажется, личное ваше благополучие больше всего зависит от того, что вы напишете следующее.

Все переглянулись, видимо, я затронула больное место.

— Но так ли надо, чтоб все было благополучно? Вам самому это нужно?

— Нет, мне этого не нужно. Вот же живу, как видите.

Тут Зинаида Николаевна, встревоженная оборотом разговора, позвала меня на кухню посмотреть пластилин.

В разгар работы, когда, то и дело дуя на облепленные расплавленным пластилином пальцы, я вливала в отверстие в волосах жидкую массу, пришел Борис Леонидович.

— Сделаем все без вас, идите, пожалуйста, отдыхать,— сказала я.

— Да, вы извините, что я вам эгоистически не помогаю. А вы раньше заливали когда-нибудь?

— Нет, впервые. Таких катастроф у меня не случалось.

— Как же вы решились? Какая смелая!

Он ушел, работа продолжалась еще часа полтора. Я уже наводила порядок, когда он опять спустился.

— Вот, все получилось.

— Никак не думал. Я прилег отдохнуть и после того, как вы мне сказали, что никогда этого не делали раньше, решил, все развалится окончательно, и никакого портрета больше не будет. И уж никак не ожидал, что он когда-нибудь опять стоять будет. Поздравляю!

Я ему сказала, что через два дня приеду и перенесу голову в Лёнину комнату, если будет жарко, ее нужно поливать. Повреждения исправить нетрудно, и раз он не хочет мне помочь в этом, я заберу работу в Москву, сделаю как сумею, но спешить незачем, и если только он не решил твердо никогда мне больше не позировать, то я могу подождать сколько угодно.

Он предложил позировать осенью.

— Хотите чаю? — спросил он.

— Хочу.

Зинаида Николаевна еще спала. За чаем, который мы пили втроем, Борис Леонидович сказал брату, что в каких-то ракурсах я напоминаю мать.

— У Зинаиды Николаевны и брата о вас свое мнение, а я вам скажу — вы фанатичка. Вы страшно упорная!

— А разве без этого можно чего-нибудь добиться?

— Ну, не знаю, чем добиваются. Но вы упрямица, причем какая-то тихая упрямица,— говорил он с доброй улыбкой.— Хотите прилечь? Я вас устрою.

— Нет, спасибо, мне надо ехать.

Он вышел проводить меня на крыльцо:

— Вы сегодня такую лошадь за рубль выиграли!

Я не поняла.

— Ну, как же, я был уверен, что ничего не выйдет, все развалилось, а вы восстановили.

Прощался он с такой сердечностью, что у меня осталось чувство выигранного сражения.

22 мая 1959 г.

На дверях веранды висела записка, написанная рукой Пастернака: «На террасу ходить осторожно. Не подходить к лежащей вылепленной голове — она чуть держится на подпорках».

— Борис Леонидович хочет поставить портрет в свой кабинет,— сказала Зинаида Николаевна.

— В этой мысли нет ничего хорошего. Я должна сначала исправить повреждения, а там я не смогу. Лучше перенести, как собирались, в комнату при гараже. Там я никому мешать не буду?

— Нет, приходите в любое время, когда хотите. Такой холод, а он без конца поливал голову.

Подошел Александр Леонидович, и мы произвели дополнительное укрепление головы подпорками, а потом она была перенесена в гараж. Я вернулась на веранду за остальным своим имуществом, и тут меня застал Борис Леонидович. Вошел он с пачкой пакетов и писем из-за границы. Это был другой человек. И здоровался, и смотрел в лицо, и улыбался совсем иначе, будто обдавал теплом.

— Что, уже перенесли? И все благополучно? Вам помогли? Смотрите, не таскайте тяжестей. О, хотя вы говорите, что понимаете, в каком я положении, как мне необходимо сейчас работать...

— Но тем не менее вы считаете нужным еще раз мне об этом напомнить? — улыбаясь, перебила я его.

— Нет, но даже в семье этого как следует не понимают. Вот это — сегодняшние письма. Ну, конечно, можно не ответить, ну что же...

— Мой план такой. Вы уже испугались при слове «мой план»?

— Нет, нет, так что же?

— Я постараюсь произвести реставрацию без вас, по памяти и фотографиям. Мы договорились с Зинаидой Николаевной, что я буду приходить для этого, когда смогу. Портрет мне не нравится, и самое в этом лучшее то, что я знаю — почему. Если вы сможете осенью попозировать, очень хорошо, нет — отложим, сколько понадобится.

— Хорошо. Если ничего не случится, осенью я вам попозирую.

Разговор зашел о съезде, и я рассказала о критике в адрес Суркова в выступлении Твардовского.

— Мне все это представляется театром,— ответил он.— Кто-то сказал Твардовскому поругать Суркова, чтоб говорили, что Суркову попало...

— Вы напрасно не замечаете, что идет общее смягчение обстановки в сторону большей терпимости и свободы мысли. Хотя бы заявление Хрущева о том, что у нас нет преследования за политические преступления, кроме шпионажа и диверсий.

— Вы думаете, если со мной захотят покончить, мне не пришьют уголовного дела?

— Ну, это абсолютно исключено.

Разговор шел в мягком улыбчивом тоне.

24 июня 1959 г.

Я кончила работать и уже уходила, но у калитки столкнулась с Борисом Леонидовичем.

— Я не знал, что вы сегодня работаете, жаль.

— А на что вам знать? Да, вы видели вчерашнюю «Литературную газету»? — спросила я.

— Нет, а что там?

— Статья об Ахматовой по поводу ее сборника. Сдержанная, но вполне положительная.

— Что вы говорите! Большая статья?

— Довольно большая. И исподволь дается высокая оценка.

— Вот как! Сегодня ее день рождения. Я только что звонил, просил, чтоб от меня ее поздравили. А кто написал статью?

— Озеров.

— Л. Озеров?

— Да, Лев. Борис Леонидович, правда, что должен выйти ваш сборник?

— А, нет! Какие-то переговоры велись, по меня только по губам мажут.

— Я это слышала из нескольких источников.

— Милый мой друг! Нет. Это опять желаемое выдают за факт. Хотели включить в собрание Шекспира две пьесы в моем переводе, я сейчас звонил, и, как всегда это бывает — тот на пленуме, тот болен, а редактор в отпуске. А должны были быть деньги... Но это только отсрочка, положение не безнадежное.

16 июля 1959 г.

Требовалась коренная перестройка шеи, и Борис Леонидович был нужен позарез. Я уж даже решила передать просьбу показаться в следующий мой приезд, но, по счастью, записку писать не пришлось.

В третьем часу я услышала шаги. Борис Леонидович издали внимательно, с разных позиций разглядывал портрет.

— Бедная! Ну что вы так много работаете, мучаете себя! Ведь хорошо!

— Сейчас хуже или лучше, чем было осенью?

— Лучше.

— Что и требовалось доказать. Борис Леонидович, вы мне не можете постоять десять минут?

— Сейчас? Ну, хорошо, я собрался гулять, но я вам постою.

— О, спасибо! Я добросовестно стараюсь сделать одна как можно больше, чтобы осенью вам пришлось поменьше сидеть. Если вы вообще не раздумаете.

— Знаете, я собирался вас надуть. Но вы опять меня обезоружили.

— Ну, Бог с ним, с портретом, если вы осенью собираетесь писать. Вы уже пишете?

— Да, начал пьесу. Но не удается целиком ей отдаться. Надо зарабатывать, а кое-что подвернулось. И потом мне по-прежнему много пишут... Перевожу я Кальдерона. Нет, испанского я не знаю, но есть хороший немецкий и французский переводы. Кальдерон современник Шекспира и Лопе де Вега, но, Боже, как далек от них! У него невозможно напасть на живое, сырое, пережитое, как у Шекспира. Написано по правилам, чрезвычайно искусно, но все заранее определено, как в разученной шахматной партии.

— Я хотела с вами посоветоваться. Вы знаете о художнике Коле Дмитриеве? Он погиб в пятнадцать лет.

— О да, я был на его выставке.

— Колин отец хочет, чтобы я его лепила.

— Что вы говорите! А как вы с ним познакомились?

Я рассказываю.

— О, это было бы замечательно!

— Борис Леонидович, а что вам нравится в Колиных работах?

— Наличие, проявление бесспорной талантливости.

Он определяет это в каких-то и очень общих и непривычных выражениях.

— Я вас не поняла.

— Ну, что мне в нем нравится? Моментальность схватывания, острота глаза...

— Нет, нет, не переводите для меня на популярный язык. Вернитесь к этой мысли о том, в чем сущность таланта.

— Да, да. Ну, это беспокойство, жадность, страстность, потребность остановить, удержать состояние, это и глазомер, и чувство красок — и попадание!

Мы помолчали, потом я задала наводящий вопрос.

— А сколько актов будет в пьесе?

— Я еще не знаю. Она растет, развивается, усложняется, как живой организм. Только в минерале все просто, а органическое тело, даже самое примитивное, это уже сложно. Нет, я не хочу ничего нагромождать и усложнять, но существует какая-то естественная, органическая сложность. А пьесу я пишу для себя, как роман.

— А действие, как вы мне рассказывали, относится к концу крепостного права?

— Да, это ведь понятно, почему меня привлекло это время — судьба художника, неволя — и вместе с тем где-то очень близко освобождение, свобода...

— Хорошо, что свет не без добрых людей, и я кое-что о вас узнаю. Что за замысел грузинского романа?

Его интересует, где я это слышала.

— Да, это было, но отпало. Это вот что: Грузия, третий век, проникновение христианства, святая Нина. Завязываются в сложный клубок судьбы людей, и потом все это обрывается внезапной катастрофой, ну, скажем, землетрясением. А потом наше время. Археологи ведут раскопки и вдруг натыкаются на эти следы, и оказывается, жизнь их, их личные судьбы как-то переплетены с тем, что было, возникают связи с прошлым.

Но тут его зовут с крыльца обедать.

23 июля 1959 г.

Пришел он в замечательном расположении духа, до самого конца сеанса был заразительно радостен, вдруг начинал улыбаться, усилием стягивал губы в серьезное положение, но улыбка ему не подчинялась и снова заливала лицо.

Он тут же принялся рассказывать о пьесе. Говорил он на редкость трудно для восприятия — потому что каждый раз подходил к теме не с той стороны, откуда ожидалось, и расплывчатая туманность мыслей пронзалась неуместными, на первый взгляд, не связанными с ними конкретностями. Когда он так говорит, я не запоминаю слов, приходится общее впечатление от его высказываний переводить на свой язык.

Он говорил о наполнении характеров в конкретном времени, о той степени их достоверности, которая нужна для того, чтоб было правдоподобно и убедительно при всей невероятности событий и вместе с тем не мешала его свободе. Он не преследует цели показать полно эволюцию характеров, а как бы ставит вехи. Один из героев — крепостной, несправедливо в чем-то обвиненный. Его чуть не засекли насмерть, сослали в Сибирь, но потом выясняется его невиновность, его оправдывают, дают вольную, денег, он становится купцом, переезжает в Петербург, открывает магазин...

— А где же актер? — спрашиваю я.

— И тут же рядом актер, и домашний учитель — потом он становится народовольцем, тут и любовь, судьбы их сплетаются в одно органическое целое, потом проходит двадцать лет, покушение на Александра III, и все снова сплетается и перепутывается.

— А я по тому, что вы раньше рассказывали, думала, это будет пьеса о взаимоотношении свободы и художника.

— Да, и это туда входит, но она вбирает много разного, все срастается в живой организм.

— Но то, что вы мне рассказали, можно рассказать и о романе. Что тут специфически драматургического?

— Да, да, я понимаю, но это будет хроника, ну вот в том смысле, как Шекспир хроники писал.

— А почему вас на этот раз привлекла форма драмы?

Он опять мальчишески улыбается.

— Диалог — очень трудная форма. И пьес я никогда не писал, интересно, как получится. Пишу я без какой-либо цели, ни для кого, ни для чего не предназначая. Но жаль, что нельзя с головой окунуться в пьесу: и переписка, и Кальдерон этот.

— Но, может быть, это и хорошо, если все еще бродит?

— Нет, накопилось много материала, надо бы взяться вплотную. Пьеса — это работа, а все остальное — пустяки. Но приходится все же на них отвлекаться. Только что читал английскую статью некоего Ричи. Он и раньше мной занимался, переводил «Детство Люверс». То, что он говорит в этой статье о «Живаго»,— правильно. Ричи пытается разбирать и мое прошлое творчество, он знает кое-какие факты моей биографии, делает умные и верные сопоставления, приводит мои старые стихи, но как все это мелко! Это так заслоняет главное! Ведь в романе я приблизился, не разрешил их, нет, но подошел к важным, нужным вопросам, которые обычно заслонены, приподнял какую-то завесу, и это — удача!

Я рассказываю, как слушала второй концерт для фортепиано с оркестром Рахманинова.

— Да, да, вот это и есть искусство, где есть чудотворство,— откликается Борис Леонидович.— Существует какое-то академическое восприятие произведений искусства, ну вот, Шекспира, например. Все знают, все убеждены, что это гениально. Никто ведь не скажет: зачем вы его переводите, он бездарен.

30 июля 1959 г.

— На днях я получила хороший подарок,— сообщила я ему,— «Охранную грамоту».

— Что вы говорите! От кого же?

— От одной моей знакомой, я вам про нее не говорила. Она большая ваша поклонница, и этот подарок — жертва с ее стороны и знак особого расположения.

— Да, но там много манерного. Тогда не я один, все этим увлекались. Когда теперь мне приходится перечитывать свои старые вещи в переводе, меня поражает, как там все случайно и не отобрано главное от пустяков.

— То, что вы теперь пишете иначе, не означает, что вам нужно презирать себя прежнего.

Слово «презирать» ему понравилось, он улыбнулся и со вкусом повторил:

— Нет, надо презирать! Там есть модернистские выверты. Они, правда, были и у Леонардо да Винчи, и у Толстого, и у всех, но они их выбрасывали и становились классиками.

— Классиками становятся не поэтому, а тогда, когда непривычное делается привычным.

— Нет, надо без пощады выбрасывать отходы. Надо так работать, чтобы получалось чудо, чтобы вообще не верилось, что это результат работы человека, а казалось чем-то нерукотворным. Вот мне пишут о «Живаго». Пишут молодые люди, ну, скажем, девушка, прочитавшая роман, что после него она как в тумане, а все вокруг кажется иным, чем было. Значит, сказано что-то существенное. Но сколько это стоит труда и мук! Все дело в количестве работы, в том, что считать законченным. То, что раньше для меня было концом работы, теперь ее начало... И надо добиваться достоверности, чтобы жили герои, их время, а автор уходил, отходил в сторону, чтобы его не было...

Он рассматривает профиль и говорит:

— Помните, когда случилась эта катастрофа, говорили о том, чтобы сделать барельеф?

— Из круглой скульптуры это невозможно.

— Надо обязательно начинать с уплощения? И барельеф и горельеф?

— Да.

— Вы, кажется, хотели отлить в бронзе?

— Да, это было бы хорошо.

— Более прочно?

— Это вечная вещь. Но об этом рано говорить, надо, чтоб сначала получилось, как я хочу; пока не получается.

— Ну, что вы! Мне очень нравится, как вы работаете, и метод ваш, и отношение к работе, это все мне очень близко, да я вам это документально подтвердил. Я знаю, что мне под этим придется подписаться, и это меня не огорчает, особенно этот профиль.

От этих слов мне хочется реветь, слишком велика разница между ними и тем, что он говорил раньше, а главное — сама вижу, что сбилась, напутала. Чтобы сменить пластинку, спрашиваю:

— А как вы тогда в Тбилиси съездили? Вы мне не рассказывали.

— А-а. Мы туда полетели с Зинаидой Николаевной на ТУ. Она дала телеграмму, чтобы никто не встречал. Когда я вернулся, мне рассказали, что студенты несли меня на руках до дома и тому подобное. Ничего такого, конечно, не было. Но принимали меня хорошо. Многие грузинские писатели — лица официальные и занимают посты: тот — председатель Союза, другой — редактор журнала, но и они приглашали. Правда, я никогда раньше не видал, чтобы грузины собирались меньше двадцати человек, а тут бывало по двое-трое. Вы о художнике Гудиашвили слышали? В Москве была его выставка.

— Да, я знаю, но я на ней не была.

— Это модернист-эклектик. Как все крупные грузинские художники, он учился в Париже. У него натюрморты, много обнаженной натуры. Он еще и историк-археолог. В Грузии ведут раскопки и на-

ходят много интересного. Вещи бронзового века, какой-нибудь кинжал, а какое изящество! Находят следы чуть ли не пребывания богов во времена Золотого Руна и как-то умеют вносить эту древность в жизнь, ну, например, какой-нибудь античный кувшин пускают в массовое производство, и это можно купить. Находок, видимо, так много, что ими полны не только музеи, но и квартиры любителей.

— Это и навело вас на мысль о грузинском романе?

— Да. У музеев, выходящих на проспект Руставели, есть зады, там среди сваленных фронтонов и порталов, в густых садах стоят каменные дома. В одном из них живет Гудиашвили. Он пользуется известностью, когда в Тбилиси приезжают иностранные делегации, то многие посещают его. У него интересная квартира. Ему разрешили расширяться, и он делал это так: пробивал стену соседнего дома и распространял свою квартиру. Она наполнена его коллекциями, он собирал их всю жизнь по всем странам, и такое впечатление, что этой квартире нет конца, и даже когда выходишь на улицу, кажется — вот опять тот сад, в котором был. Гудиашвили уговорил меня читать у него, я читал «Когда разгуляется». Среди этих картин, ковров и древностей мне казалось, что я сам читаю как бы из картины. Стихи имели успех.

Не помню, в какой связи, но я упомянула вместе его и Эренбурга.

— Я не понимаю, почему вас иногда связывают. Сейчас я вам скажу вещь, которая вас поразит. В связи с пьесой я читал кое-какие материалы по сороковым — пятидесятым годам, о времени, предшествующем освобождению. Просмотрел Герцена. Я понимаю и ценю огромную роль «Колокола», «Былое и думы» — бессмертная вещь. И я подумал, что Герцен, посыпанный кайенским перцем, и есть Эренбург. Это не то чтобы публицистика, а россыпь знаний, сведений, мыслей, и часто богатых мыслей, но как все это отступает, становится ненужным, когда речь идет о создании достоверного и подлинного.

Но давно пора кончать. Он рассматривает портрет, и, видимо, сегодняшние результаты повергают его в сомнение. Он спрашивает, можно ли пригласить посмотреть невестку, жену старшего сына. Он приводит очень юную, миловидную женщину и знакомит нас. Они говорят раздражающие меня слова: хорошо, лучше,— а я вдруг смотрю на работу чужими глазами, и мне становится стыдно. Тогда я говорю:

— Вы мне помогли. Я сейчас взглянула на портрет со стороны и увидела, как это плохо, хуже, чем было осенью. И знаете что, идите обедать.

— На сегодня хватит? И вам хватит.

— Нет, я останусь поработать, я, кажется, сообразила, в чем дело.

И, хотя и падаю с ног от усталости, я работаю еще около часу и вношу новые изменения.

На следующее утро, в полдесятого я уже была в гараже. Мне было тревожно за портрет, а я выспалась и чувствовала, что могу поработать. Работала собранно, трезво. Когда устала, сходила выкупаться на пруд и опять работала. Бориса Леонидовича видела мельком, мы лишь перекинулись несколькими словами.

10 августа 1959 г.

Борис Леонидович появился в третьем часу. Он перебросился несколькими фразами с Леней, возившимся в гараже с мотоциклом, потом посмотрел портрет и пришел в восторг. Он наговорил мне кучу хороших слов и, пока позировал, снова и снова принимался говорить о работе.

— Осенью, когда я хвалил портрет, в нем была законченность на определенном этапе и одно качество, которого вы снова достигли, но на каком-то более высоком уровне — зрелость.

— Значит, не зря я стала продолжать работу?

— Нет, не зря, портрет очень выиграл. Но так хорошо, как сейчас, уже не будет. Я этим вовсе не хочу сказать, чтобы вы бросили работу,— отвечает он на мою вредную улыбку.— Да это и не страшно, есть крепкая основа.

Он замечает трещину в затылке.

— Это не опасно?

— Нет. Прошлый раз при перестановке голова свалилась на стол, и в затылок впилась какая-то шестеренка.

— Бедная! Ну, почему вы не говорите, когда вам нужно! Есть же в доме люди, вам помогут. Всегда так бывает: когда человек делает что-нибудь хорошее, на него еще сыплются неприятности. Вы кончайте, когда я буду уходить, я вам помогу... Боюсь, если вы будете еще что-то уточнять, то уже мне придется меняться, чтобы быть похожим на портрет.

— Не выдумывайте. Но, кажется, менять я больше не буду. Между прочим, мне стало легче работать с тех пор, как я выяснила свои отношения с абстрактным искусством. Мне теперь это кажется просто. Нереалистического искусства не существует. Все остальное самостоятельного, конечного значения не имеет и служит лишь лабораторией для него.

— Ну да, ну да, я именно это и говорю. Нет, нет, я вам этого не говорил, но совсем недавно я писал об этом. Модернизм существовал всегда, но это отходы, а искусство может быть только реалистическим.

— Мне важно было разобраться, так как абстрактное искусство имеет для меня свою притягательную силу.

— Оно для вас притягательно, правда? Это сказывалось в том, что вы какую-то идею хотели внести?

— Скорее в чисто формальном смысле, в слишком вольном обращении с формой.

Но уже четвертый час, он уходит, а через полчаса ухожу и я, и на дорожке, ведущей вдоль дачи к шоссе, мы с ним опять встречаемся. Он решительно загораживает мне дорогу, снимает кепку и снова церемонно целует руку.

— Я еще раз хочу вам сказать, что работа очень хорошая, и я рад, что с вами познакомился.

4 сентября 1959 г.

Я вернулась из путешествия, хорошо отдохнув и полная жажды работать. Только приготовилась к лепке, как вошел Борис Леонидович.

— Как вы съездили? — спросил он, здороваясь.

— Чудесно.

— Я рад за вас. Я вам принес две фотографии, это летние, этого года.

— Ну, как вы? Писали? — спрашиваю я его.

— Да, я каждый день пишу два часа утром. Пьеса подвигается. Она вполне реальна, осуществима, я ее вижу, но если б можно было проснуться и увидеть ее написанной! А потом меня начинает лихорадить ожидание писем. Приходит много приятного, и это щекочет. Это нехорошо. «Живаго» я не так писал.

— Борис Леонидович, выходит двухтомник Словацкого. Ваш перевод там будет?

— Не знаю, вероятно. Вы уехали до Венского конгресса молодежи?

— Во время него. А что?

— Там меня уже называли «нашим». Задавали обо мне вопросы, и, кажется, даже дискуссия была. Меня выдают за талантливого переводчика. Когда я это слышу, меня взрывает. Сейчас переводит очень много — переводят все, Ахматова переводит. Перевод стал очень распространенным видом литературной работы. Но ведь это существование за счет чужих мыслей. Лучше быть талантливой буханкой черного хлеба, чем талантливым переводчиком!

Портрет стоит низко, в невыгодном освещении, я прошу его не смотреть, но он не слушает.

— Теперь уже портрету ничего не страшно. Это лучшее из моих изображений.

16 сентября 1959 г.

— А вы опять совсем другой сегодня.

— Усталый?

— Что-то другое. Исчезла мягкость, лицо обтянуто кожей.

— Я мало спал.

— Опять?

— Нет, нет, просто рано проснулся. Но я сегодня поработал.

— А что поделывают ваши герои?

— А, я наращиваю начало. То начало, что было написано, отодвигается в середину. Действие начнется в сороковых годах, я вам говорил?

— А потом перенесется на двадцать лет?

— Да, и потом еще раз на двадцать лет.

— А герои будут те же?

— Часть из них. Но с моей стороны недобросовестно говорить об этом, может, все изменится, может быть, вообще ничего не будет.

Он расспрашивает о моей поездке на пароходе, из которой я недавно вернулась, задает много вопросов. Потом речь неожиданно заходит о Бурлюке.

— Бурлюк — сведущий, образованный человек. Он был знаком с современным западным искусством и познакомил с ним Маяковского. Маяковский был ему за это благодарен. Бурлюк был организатором — устраивал встречи, вечера, но сам, с моей точки зрения, был пустым местом. Однажды, я об этом писал, был вечер, на котором произошла встреча Андрея Белого и Маяковского. Маяковский в то время обладал огромным обаянием, действовал ошеломляюще. Андрей Белый — талантливый человек, но в нем было много рассудочного, он все строил по схемам. Если у него появлялось естественное, нечаянное сумасшествие, он спешил тут же возвести целый поселок канатчиковых дач. Так вот, на этом вечере Маяковский читал. Там были Ходасевич, Цветаева, Балтрушайтис. Белый слушал Маяковского вот так...

Борис Леонидович юношеским мгновенным движением вытягивает шею, приоткрывает рот и блещущим жадным взглядом впивается в меня. Мне даже становится как-то не по себе, но он тут же меняется.

— Белый говорил о своем впечатлении, сказал, что Маяковский — единственный, я с этим был согласен. А в коридоре подошел ко мне Бурлюк и стал говорить: «Ну, зачем он так, „единственный“, есть ведь и другие, вы, например». Через несколько дней Маяковский должен был читать стихи публично. Андрея Белого пригласили, он с радостью принял приглашение. Маяковский имел огромный успех. После его выступления Бурлюк вдруг заявил: «Здесь в зале присутствует Андрей Белый, попросим его сказать свое мнение». Ну, к чему это? У него все построено на рекламе. Он уехал в Америку и стал там создавать всякие документы. Ну, например, он писал письма Горькому. Горький как воспитанный, вежливый человек ему отвечал. Если письмо было ругательное, то теперь фотографируется и печатается

один конверт, а о содержании письма умалчивается. Или на пляже в купальном костюме сфотографирована Лиля Брик, а где-то сзади, в отдалении стоит Бурлюк. Ну, что это должно доказать? Что существует какая-то связь между Бурлюком и Лилей Брик?

Бурлюк еще и живописует. Его жена издает журнал «Colour and Rhyme». Он посвящен главным образом Бурлюку. Невозможно читать. Он гений саморекламы. Ну, чего стоит известность, если знаешь, что сам искусственно соорудил ее своими руками? Она мне присылает журнал через Союз писателей, это Союз мне передает. Я всегда избегал Бурлюка, и он мог это понять — столько ведь было случаев завязать отношения. Он действует назойливо.

Когда он говорил о деятельности Бурлюка в России и вспоминал связанных с ним людей, я подсказала — Каменский.

— Да, Каменский,— подхватил он.— Каменский — русский человек, который знает русский язык, грамотный. Но этого еще недостаточно.

— «Ядреный лапоть пошел гулять по берегам»,— напоминаю я.

— Это еще ничего, у него почище было. А кому все это нужно?

24 сентября 1959 г.

Я простудилась и в субботу не поехала работать. В воскресенье двадцатого я увиделась с Борисом Леонидовичем на концерте Станислава Нейгауза в Доме ученых, и мы условились на четверг.

Работу в этот день я начала с глаз. Это требовало неподвижности и молчания. Когда, наконец, можно было говорить, мы обменялись впечатлениями о концерте, и я обрадовалась их совпадению.

Не помню, как мы перескочили на философию. Он сказал, что много интересного есть у Ницше — не в части проповеди зла и силы, а в акценте на субъективизм, даже на привередливое и несправедливое. Это объединяет его с Достоевским.

— Мне кажется, он привлекает вас потому, что такое отношение к личности восстанавливает попранную индивидуальность.

Он чуть озадаченно отвечает:

— Может быть, так. А сейчас я вам назову имя, которого вы, вероятно, не знаете. Вы, верно, заметили, что скандинавскую литературу отличает какая-то особая свежесть, оригинальность. В середине прошлого века был такой датский мыслитель Кьеркегор. Он считался писателем и поэтом, но это у него не так интересно, а вот очень примечательны его статьи. После них я прочитал сборник статей о Ницше, и он мне показался плоским.

Он трудно для меня говорит о содержании философии датчанина, подчеркивает, что это не эгоцентризм, нет, но из его слов становится ясно, что речь идет о какой-то гуманной разновидности субъективного идеализма.

— Мне кажется, истина лежит не в субъективизме,— бодро вещаю я, и он улыбается такой самоуверенности,— вероятно, я прирожденный эклектик, но, помоему, истина рождается в столкновении субъективного начала с объективным.

И он вдруг горячо с этим соглашается.

30 сентября 1959 г.

Снимая белые, связанные из грубой шерсти перчатки, он извинился, что так поздно, и стал рассматривать работу.

— Ну, теперь можете говорить про портрет все, что угодно, меня это уже не волнует. Я получила оценку от самого авторитетного судьи.

Он явно заинтригован.

— От кого же?

— Тут ко мне в прошлый раз приходили две девицы.

— Ваши знакомые? Вы пригласили?

— Нет, ваши. Одной из них два года, другой пять. Младшая спрашивает: что это? А старшая говорит: разве не видишь, Борис Леонидович.

— А, это Таня, наверное.

— Да, мы познакомились. Я ее спросила: тебе кто-нибудь сказал, что это Борис Леонидович? Она ответила: сама догадалась.

Я заговорила об антологии английской поэзии, которую брала у него почитать.

— Неужели вам нравится Эллиот? — спросила.

— Нет, не очень. Оуден лучше, правда?

— Да, но тоже не слишком. Чтение этой антологии навело меня на размышления о русской литературе. Ей свойственно, в ее лучших представителях, бить по главным целям, решать важные проблемы, а тут, пусть умное и талантливое, но копанье в чем-то второстепенном, малозначительном. Без того, что они делают, я могу прекрасно обойтись.

— Вы правы. Все, что вы говорите, очень верно, я могу обеими руками подписаться под этим. Вот и надо писать о важном. Мне хотелось бы, когда я разаяжусь с пьесой... Но я не могу сказать с такой определенностью, как прошлой осенью, но, по-видимому, будут какие-то ухудшения в отношении меня. Нет, не коренные, не такие уж страшные, и они тоже пройдут, но пока было много предложений на переводы, и я от них отказывался, а после пьесы наберу их побольше.

— Чтоб накопить денег, пока не придут новые неприятности? Как досадно! Неужели нельзя без этого обойтись?

— А как?

— Это ожидаемое ухудшение связано с пьесой?

— Нет, нет, совсем с другой стороны.

Разговор снова зашел о связях между философией, искусством и жизнью, и я сказала, что у меня есть формула: искусство — одна из форм жизни. Не отражение, не познание ее извне, а такая же форма жизни, как другие. И он очень одобрил эту мысль. Еще я заметила, что яркие, сильные произведения могут рождаться только у яркой, сильной личности, и он, выражая согласие, сказал вдруг:

— Да. Нельзя быть в искусстве жарптицей, а в быту мокрой курицей.

Внезапность и точность этих слов насмешила меня, он был рад эффекту и смеялся вместе со мной.

— Еще тогда, когда я вам прошлый раз говорил о Ницше, я получил из Франции книги о нем — воспоминания и статьи. Я их мог бы так же прекрасно прочитать по-немецки, но вот пришлось по-французски. Он меня очень разочаровал. Он вызывает жалость, это неудачник. У него были способности к музыке, он прекрасно импровизироаал. Он был почти мальчиком, и его игру слушали Лист и Вагнер. Потом он рисовал. Но как-то из этого ничего не аышло, и он занялся философией.

Борис Леонидович подробно и с увлечением говорит о легкости, с какой можно создавать эти произвольные, не связанные с жизнью и опытом построения, и о том, что философия обоснованная, отражающая нечто реальное, может создаваться только людьми, занятыми созидательным трудом. В пример приводит Пушкина: «как он хорошо думал...»

Вдруг смотрит на часы и говорит:

— Через десять минут я буду принимать душ на свежем воздухе.

В этот день было градусов семь выше нуля с ветром.

— Вы что, в йоги записались? Что за самоистязание?

Он улыбается.

— У меня вообще холодный режим. Его несколько нарушила болезнь, а теперь я опять это делаю.

— А как в вашей работе — конец еще не провидится?

— Она движется, но медленно. Пьеса большая. Я работаю один час в день.

— А почему так мало? Причины этому внутренние или внешние?

— Просто запаса свежести хватает на один час.

Сеанс кончился.

Я мыла в ванной руки, когда туда вошел Борис Леонидович. Он был в пижаме, со спутанными волосами, с полотенцем через плечо. Когда он такой домашний, в нем появляется что-то трогательное: исчезает волевое самосознающее начало.

7 октября 1959 г.

Я отвернулась от работы и смотрела, как он шел от дома к гаражу. Когда мы встретились взглядом, по лицу его стала разливаться та улыбка, когда он возвращает губы на место не сразу дающимся волевым усилием. Весь сеанс он беспричинно улыбался и был заразительно радостен.

— Я хорошо стою?

— Как первоклассный натурщик. Вы сегодня поработали?

— Да, писал.

Я стала рассказывать о недавнем своем разговоре с Асеевым.

— Я вас намеренно не спрашиваю, говорили ли вы с ним обо мне. Мне важно одно знать: сказали ли вы ему, что я о нем хорошо отзывался? Раньше этого не было, и это было бы ему интересно.

— Нет, не говорила. Он к вам несправедлив. И резок на язык. Я этого не желала терпеть, и мы разругались. Был момент, когда я думала: переведу разговор на другую тему, посижу минут пять и уйду. Но он сказал: вам делает честь, что вы его так любите и защищаете. Я его ругаю только тем, кто его любит, а перед противниками защищаю.

— А как его здороаье?

— Видимо, неважно. Выглядит он старым.

— Эх, Коля, Коля Асеев,— вздохнул он.

— Одну вещь из разговора с ним вам, по-видимому, нужно знать. Он рассказывал мне о Марине Цветаевой и о ее дочери. Сказал, что получал от Ариадны злющие письма, а потом ему как-то надо было переговорить с ней, и она сказала, что не хочет с ним разговаривать. Он недоумевает: почему? Тогда я, не называя источника, сказала ему, что есть такая версия, будто Цветаева из Елабуги обратилась в Чистополь с просьбой принять ее в судомойки, это решение зависело от него и от Тренева, они отказали, и тогда Цветаева повесилась. Он был ошеломлен. По лицу было видно, что он впервые сталкивается с таким обвинением и оно кажется ему чудовищным.

— Но у него не создалось впечатления, что это я говорил?

— Нет, нет. Он вместе с женой стал вспоминать обстоятельства, и оказалось, что именно он и Тренев поставили вопрос о принятии Цветаевой в Союз. Некий Ляшко, стоявший во главе чистопольского «правительства», кричал на них, обвинял в попытке протащить эмигрантку в советскую организацию... На заседании, где это решалось, Асеев отсутствовал, был болен, но прислал записку, в которой предлагал принять Цветаеву в Союз, сейчас эта записка в Чистопольском музее. И потом после смерти Цветаевой в семье Асеева жил Мур.

— Да. В «Биографическом очерке» Асеев и Цветаева упоминаются у меня рядом. Я там был очень экономен в словах, всему уделил лишь несколько фраз. Я говорю о том, что в то время только они умели писать стихи — никто не умел, и Маяковский не умел. Аля на меня нападала: как ты мог поставить их имена вместе, ведь из-за него мама погибла. Я б тебе простила, если б ты забыл маму, изменил ей — ты не знаешь, как она к тебе относилась, как она о тебе писала, у нее сундуки полны были писем о тебе! — но этого я тебе не прощу.

Это испытанный, надежный человек, я в ней уверен, как в каменной горе, и все же я преспокойно оставил в очерке все как было. Меня ведь тоже обвиняли, будто и виновен в аресте Мандельштама, причем знать о разговоре Сталина со мной могли только от меня. Это и ведь сам рассказывал, как Сталин меня упрекнул: что же вы отрекаетесь от товарища, я бы на вашем месте защищал его. Я ему тогда ответил: помилуйте, но весь этот разговор и происходит потому, что я за него просил, и я за него ручаюсь. Да, а Асеев, видно, ни очерка, ни романа не читал, судит с чужих слов. Я ведь в очерке хорошо о нем отозвался.

— Про роман он что-то говорил, во всяком случае первую часть он знает.

— Ах да, я ему читал (послал?) первую часть. А остального он, наверно, не знает. Но при таких давних, проверенных отношениях с людьми временные недоразумения не имеют значения... Я вам, кажется, говорил, что решил взяться за переводы? Кальдерона мне устроили для легализации моего положения, и понималось, что можно его не переводить. Я по этому договору ничего не получил и ничего никому не должен. Но сравнению с Шекспиром Кальдерон — оперетка. Я вам это говорил?

— Так вы его раньше не ругали.

— А тут оказалось, что это вправду нужно. Я посмотрел договор — срок через две недели. Это, конечно, чепуха. Я полояю, если мне дадут два месяца, я сегодня же примусь.

Борис Леонидович высказал мысль, что отклик художник должен получать при жизни.

— А зачем? — спросила я.

— Нет, что-то, не знаю, слава, или признание, или еще какой-то ответ в жизни должен быть, это нужно.

— Ну, зачем, зачем? — настаивала я.

— Потому что искусство живет в других.

— Вы правы, но плохо, что вы это знаете. Это ослабляет. Я буду очень рада, если в пьесе вы подыметесь выше того, что вами уже достигнуто.

— Ну, пьеса пока еще — знаете что? Перед тем, как оклеивать стены обоями, их оклеивают газетами. Так вот, сейчас пьеса — это газетный слой. Это пока запись сюжета и событий, литература, а уж потом она будет становиться жизнью.

14 октября 1959 г.

Борис Леонидович пришел позировать.

— Наверно, я очень изменился за последние три-четыре дня?

— Вы выглядите расстроенным.

— Еще и сейчас? Ну, это совсем не то, что было позавчера.

На щеке его застыла слеза.

На мой встревоженный взгляд он отвечает:

— Нет, нет, это огорчения не политические, не литературные, а личные. Избежать этого нельзя, и причины неустранимы. Поэтому я был с вами неразговорчив прошлый раз.

Без всяких вопросов он принялся рассказывать, что переводит Кальдерона, сегодня много сделал.

— Как сегодня? Вы же сказали, что по утрам будете пьесу писать?

— Нет, надо за него взяться и сразу сделать побыстрей, постараться перевести за месяц, а пьесу пока отложу. Я живу не в идеальных условиях, у меня семья, и много людей от меня зависят. А пьесу страшно хочется написать. Я уже заканчиваю свой жизненный круг, осталось мало времени, но ее мне хочется завершить. А к Кальдерону я был несправедлив. Это при первом соприкосновении он казался таким, а за внешним слоем есть другой, глубже и интереснее. Это очень высокая культура выражения, гораздо разработанней, чем у Шекспира. Такая разработанная, что многое становится условностями, символами. Там есть место, когда полководец рассказывает марокканскому султану о появлении испанского флота. Сначала вдали показались скалы, потом они превратились в облака, потом в плывущих чудищ и, наконец, в город с башнями, и все еще нельзя было догадаться, что это корабли.

У меня в записи ничего не вышло, а рассказывал он, как сказочник, с поразительными деталями, заставлял все видеть...

— Недавно я прочла «Марию Стюарт» Цвейга,— сказала я ему.

— Я ее не читал.

— Не понимаю, зачем нужна эта книга и почему вообще вокруг Марии Стюарт столько шума. Цвейг все время противопоставляет ее Елизавете, все симпатии его а общем на стороне Марии, а меня гораздо больше привлекает Елизавета. Основой ее существования было созидание, а у Марии — расточение и честолюбие.

— Я ведь много занимался Марией Стюарт, изучал документы, ее без конца

АДРЕС: МОЙКА, 12...

Фото В. Стукалова и В. Мельникова

Дом на набережной

Здесь, в старинном доме на набережной Мойки, с октября 1836 года до трагической своей кончины жил Александр Сергеевич Пушкин.

Все ленинградцы, а также многочисленные гости (в том числе и зарубежные) стремятся хотя бы однажды побывать в этом замечательном музее.

В просторной квартире с окнами на набережную обитало многочисленное семейство Александра Сергеевича: его жена, четверо малых детей, да еще сестры Гончаровы — Александра и Екатерина. Среди хлопотливой челяди выделялся верный слуга Пушкина Никита Козлов, ходивший за поэтом с детства.

Сегодня музей хранит множество замечательных ценностей и реликвий, в том числе книги, картины, прижизненные портреты Александра Сергеевича.

Здесь, на Мойке, поэт работал над «Капитанской дочкой», и здесь завершил он свой капитальный труд — «Историю Петра Великого».

Желанными гостями этого дома были близкие друзья поэта: В. А. Жуковский, А. И. Тургенев, П. А. Вяземский, В. Ф. Одоевский...

29 января 1837 года Пушкина не стало. Кабинет его по велению царя был опечатан, а прощались с поэтом проходившие в передней, где был установлен гроб.

«Нет, весь я не умру. Душа в заветной лире мой прах переживет...» Кто из нас не повторял эти вещие слова Пушкина, переступая сегодня порог музея на Мойке, 12!

Б. СЕМЕНОВ

Гостиная.

Уголок кабинета

А. С. Пушкин. Портрет художника В. А. Тропинина. 1827

Чернильный прибор, подаренный А. С. Пушкину П. В. Нащокиным

Столовая

идеализировали и воспевали в литературе, но я подумал, что вся сила ее чувств, выразившаяся в том, что она пошла на убийство,— это скорее жестокость века, а не личное ее свойство.

Разговор как-то переходит опять на Ницше.

— Я переписываюсь с одним французом. Он страстный поклонник Ницше, знал его и живет им и даже каждый год ездит в Швейцарию, где Ницше жил уже сумасшедшим. Это он прислал мне целую кучу книг о Ницше по-французски, как только узнал, что я им интересуюсь, и просил меня написать о нем. А я испытал разочарование в Ницше и написал письмо, в котором объяснял, почему я не могу этого сделать, ну, вот потому, что он выразитель средних обывателей с их стремлением раздуться до сверхчеловеков и так далее. Он мне ответил, что им дорого все, что я написал о Ницше, оценка эта верна.

— А вы написали, что такое человек, для немецкого журнала?

— Я им написал, что если за всю жизнь своим творчеством не ответил на этот вопрос, то вдруг за короткий срок найти на него ответ и вовсе не смогу.

— Но все-таки вы думали об этом? Что именно?

— Меня человек интересует только исторически.

— В этом есть что-то бездушное.

— Бездушное? — Он задет.— А как же еще можно смотреть, если хочешь что-нибудь понять? Я вам говорил? У меня есть определение: культура — это плодотворное существование. Человек — носитель этого плодотворного существования.

— В вашем определении отсутствует, на мой взгляд, существенное — из всех биологических видов человек оказался более других способным к быстрым изменениям.

— Ну да, это очень важно — способность к переменам, к перестройкам.

— Да вы так не думаете! Вы не считаете, что человеческое общество имеет право на социальные эксперименты.

— Я этого не говорил!

— Но весь роман ваш это утверждает. Я вам не раз говорила, что со многим в нем не согласна и больше всего с этим — боязнью перемен. Лучше, если б они совершались без насилий, но разве отсутствие движения предпочтительней?.. Вы не обижайтесь на меня, Борис Леонидович, у вас огорчения, а я вам неприятного наговорила.

— Я не обижаюсь, потому что вы абсолютно неправы.

— Ну в чем? Скажите. Я не буду спорить.

Но он не хочет отвечать...

21 октября 1959 г.

Появился Борис Леонидович поздно, в третьем часу.

— Я все помню, что вы мне говорили и что я вам говорил, но я сегодня недоспал, неважно себя чувствую, и у меня лицо не такое.

— И вам не хочется позировать? Не надо тогда.

— Нет, нет, просто я боюсь, что мало вам подойду таким.

Лицо у него, правда, совсем изменившееся: грустное, усталое, чуть обмякшее, но оно опять полно какой-то новой, очень человечной привлекательности. Почти весь этот сеанс я держала его спиной, так мы и разговаривали.

— Почему вы плохо себя чувствуете, Борис Леонидович?

— Это даже странно. Очень часто я сплю по шесть часов и хорошо с этим справляюсь, а тут недоспал всего час — спал семь часов, и голова какая-то мутная, и зябко.

— Это, наверно, Кальдерон виноват? Вы не слишком из-за него устаете?

— Очень может быть. Он меня снова разочаровал. Он беднее и однообразнее, чем мне показалось.

— Может быть, все пришло бы в равновесие, если б вы продолжали наряду с переводом и пьесу писать?

— Надо сначала с ним разделаться.

Помолчали.

— Я вам антологию принесла. Большое спасибо. Я зря так с наскоку судила, в ней немало интересного. И там есть поэт, который в одной частности, но существенной, мне нравится. Это...

И мы вместе одновременно произнесли:

— Герберт Рид.

— А вы слышали, что я сказал: Рид?

— Да! Но, Борис Леонидович, почему вы подумали, что это я его имела в виду? Скажите!

Действительно, странно — в антологии на равных началах представлено больше двадцати поэтов, размещенных в алфавитном порядке. Борис Леонидович дает оценку Риду в каких-то неуловимых для меня выражениях.

— Мне он понравился по очень простой причине,— говорю я.— Его герой постоянно ощущает тщетность индивидуальных усилий, безнадежность барахтанья человека в жизни. Но поступает всегда так, будто уверен в целесообразности и успехе своих действий. Это у нас с ним общее. Не знаю, что за сила заставляет так действовать, ну, просто чтоб не быть тряпкой.

— Это проявление энергии, жизненности и составляет вашу индивидуальность, вашу особенность.

Мы сговариваемся на среду, это будет последний сеанс, хотя мы об этом и не говорим.

27 октября 1959 г.

Весь большой разговор этого сеанса запомнила урывками, видимо, сказалось напряжение последних минут работы.

— Наверно, лет через десять я буду над одним портретом пять лет работать,— сказала я.

— Давайте не будем считать это последним сеансом. Хотите продолжить?

— Нет, не хочу. У меня есть самолюбие. Я сказала это оттого, что чем дальше, тем больше отодвигается от меня конец работы. Когда я встречаюсь с художниками и вообще с людьми, занятыми творческим трудом, то пристаю к ним с одним вопросом: что заставляет их считать работу законченной?

— Мне можно вам отвечать?

(Перед этим я работала надо ртом.)

— Да, конечно.

— Сначала вы смотрите, и вам кажется, что вы видите, и вы начинаете работать, но это лишь овладение материалом, знакомство с ним. Вы убеждаетесь, что пока еще не видели, не охватили всего, и в процессе работы уточняете свое понимание. У вас есть модель, и вы добиваетесь сходства, достоверности. Но это слишком ваш случай. Что привлекает нас в искусстве? Возможность придать неживому подобие жизни. Для меня часто, чтобы приняться за работу, втянуться в нее, надо пойти по ложному пути, взяться за что-то случайное, бокоаое...

— Как страничка о следах планировки усадьбы в романе?

— Да. Я берусь за такую частность, увлекаюсь, а потом забываю об этих страницах. Затем идет работа над газетным слоем, подмалевком, я вам говорил: запись сюжета, событий, расстановка действующих сил. Потом, когда это сделано, я насыщаю его жизнью, добиваюсь сходства с моей внутренней моделью. А когда это достигнуто, когда материал начинает жить и достоверно соответствует моей модели, это меня удовлетворяет и я останавливаюсь.

— Я понимаю. Но в работе над вашим портретом я впервые почувствовала вот что: сначала идут поиски общей формы, это и есть композиция. Но основное — это размещение частей внутри общей формы. Оно, как в исполнительском мастерстве в музыке, может иметь свои оттяжки, акценты, придыхания, все в рамках достоверности, все они несут свою смысловую нагрузку — и тут открывается бесконечность.

— Я вас понимаю. И вот что, я не хочу, чтоб у вас было чувство, что вы сегодня окончательно расстаетесь с работой.

Я его спросила, познакомит ли он меня с пьесой, когда напишет.

— Непременно. И если буду читать пьесу, я вас позову... Зоя Афанасьевна, я вас считаю другом и хочу вас спросить: заметили ли вы, что этих прошлогодних событий как бы не было в моей жизни, что я занят делом и мало о них думаю и говорю?

— Заметила, конечно. Но если уж пошло на откровенности, то меня больше беспокоит ваша потребность в откликах, то, что вы к ним начинаете привыкать и, может статься, без этого уже не сможете.

Он отвечает с большой серьезностью и искренностью:

— Нет, это не так. Это в жизни тоже должно быть, но не как привычка к щекотанию нервов, а как накопление, освоение нового материала.

Но тут показывается почтальонша, которую он высматривал в окошко, а когда он возвращается, мы говорим уже о том, как сохранить портрет.

— Его судьба в какой-то мере связана с моей. Сейчас появляются новые издания, новые переводы, делается фильм, пишут в газетах, говорят по радио, вот недавно «Би-би-си» устроила передачу для Бельгии о романе, и маловероятно, чтобы этот интерес внезапно пропал. И если мной интересуются и зачем-то делают портреты, то тем больший интерес представляет ваша работа, которая сделана с меня и так удачно. Я не хочу вас вовлекать ни в какие политические осложнения, но если обстановка переменится, то почему не сделать эту работу известной? Конечно, все такие шаги я буду предпринимать только с вашего ведома и согласия...

2 ноября 1959 г.

На этот раз, увлеченная работой, я не заметила, как подошел Борис Леонидович, и вздрогнула от стука открываемой двери.

— А-а! — воскликнул он, впившись взглядом в портрет.— Очень хорошо! Очень! Простите меня не только за то, что поздно пришел, но и за то, что сбил вас с вашего решения кончить в прошлый раз.

— Вы умница, что пошли на это. Знаете, этой ночью вы мне приснились. Вы были великолепно освещены, а главное — лысый, и все было так понятно. Нелепо, но это мне помогло.

Он принимается расспрашивать меня о домашних делах. Задает и нескромные вопросы, вызывая на откровенность. Отвечаю скупо, но по существу.

— Иногда я себя спрашиваю,— говорю я,— не наступит ли день, когда из-за дочки я пожалею, что так поступила?

— Нет, нет. Возвращения никогда не достигают цели. И не надо жалеть. Вы всех жалейте. Полудоброта — безотносительно, ко всем, ко всему — лучше сосредоточенной на ком-то доброты. Жертвы всегда бесполезны. И потом наше воображение суше и жесточе жизни, жизнь обычно милосерднее. И к своим жертвам она была милосердна. Нет, я не хочу сказать, что в жизни нет ужасного, трагического, непоправимого, но в общем, как закон, она добрее к нам, чем мы ожидаем.

— Мне очень важно то, что вы сказали. Нет, это ничего не меняет, на компромисс я все равно не могла бы пойти, но вы единственный, кто одобрил мою линию в жизни. Близкие меня пугают будущим, и главный их аргумент — Даша.

— У Даши будут две матери — вы и жизнь.

И еще он сказал:

— Я против каких-либо правил — должна ли быть обязательно семья по домострою или свободная любовь: в каждом случае это по-разному. И роман об этом и говорит, о том, что не должно быть таких правил, жизнь сама решает, какой ей быть...

— Признаться вам или не признаваться? Вы не рассвирепеете? Знаете, чем я буду заниматься, когда кончу этот портрет? Стану приводить в порядок записи того, что вы говорили об искусстве.

— Это о моих противоречиях?

— Нет.

— О, спасибо! Какая вы милая!

— Вы, правда, не сердитесь? Я страшно боялась.

— Нет, нет! Спасибо вам!

— Когда я их приведу в порядок, может быть...

— Показать мне?

— Да, я могла что-то не так понять, ошибиться.

— Нет, не надо. Пусть это будет ваше дело.

Он хвалит портрет. Спрашивает:

— Поставили последнюю точку?

— Можно и так считать. Знаете, меня не огорчает, а радует, что кончаю, когда остаются еще возможности улучшить работу.

— Что есть резерв? Я понимаю — как залог вашего движения.

— Вот вам и «лимит исчерпан»,— злорадствую я.

— А когда вы это говорили?

— Это вы говорили!

— Тогда, прошлой осенью, пусть на ошибочной, даже фальшивой основе вы сумели добиться какого-то очень живого сходства, передать что-то существенное. Это производило впечатление, и я не думал, что это можно повторить на другой основе.

Он давно предупредил, что ему надо уйти в три, но он сам увлекся, и мы проговорили до полчетвертого.

— Ну, все! — говорю я наконец.

Он подходит ко мне с каким-то чудесным, озаренным лицом. Мы прощаемся.

— Мне сегодня было приятно позировать. Когда я вас увижу? Если вам нужно, я в вашем распоряжении.

— Что это вы такой добрый? Я не откажусь.

— Вы договаривайтесь с форматором, а в пятницу я вам позвоню, и мы тогда окончательно условимся. По-моему, все, можно поставить точку, но если вы хотите, то в понедельник я вам постою.

На этом мы расстаемся.

11 января 1960 г.

Я доработала портрет. Потом он был отформован, высушен и тонирован. Для него сделали подставку. Наконец все было готово.

Я выбрала самый будничный день — понедельник и время, когда Бориса Леонидовича обычно нет дома, и отвезла предназначенный ему отлив на такси.

Вошла в дом и сообщила Зинаиде Николаевне, что привезла портрет.

— Да, но у нас сейчас нет денег.

— Разве что-нибудь переменилось? Борис Леонидович вам говорил, что не хочет портрета?

— Нет, нет, никакого такого разговора не было, просто мы сейчас заплатить не можем.

— Ни сейчас, ни потом денег я не возьму.

— Но как же так, даром?

— Вот так, даром.

— О, спасибо! А где же он?

Шофер внес портрет, я — подставку, и его поместили в рояльной.

Я собиралась уехать тут же, но когда Зинаида Николаевна предложила подождать и сказала, что Борис Леонидович хотел поставить портрет в кабинете, то осталась — важно было найти освещение.

Мы сидели в рояльной с Александром Леонидовичем, который рассказывал о судьбе своего проекта для Севастополя, и тут в столовой раздался голос Бориса Леонидовича.

Он шумно разлетелся с восклицаниями, но замер в дверях, устремив пристальный, оценивающий взгляд на портрет. На нем было зимнее распахнутое пальто (черное с черным каракулевым воротником, по которому шла резкая седина), черная каракулевая шапка пирожком и высоченные, как ботфорты, серовато-желтые валенки.

Он снял пальто и шапку, но остался в валенках. Любой другой в этих гигантских сооружениях, над которыми брюки казались трусиками, был бы смешон, но он был так домашен, так светски безразличен к своему виду, что они только прибавляли ему притягательности.

Опять все собрались, хвалили, обсуждали, где установить портрет. Борису Леонидовичу хотелось оставить его в рояльной.

— А то выйдет, что я собой любуюсь.

Но Зинаида Николаевна говорила, что тут бывают гости, которые напиваются, могут толкнуть и разбить, и иногда в тесной рояльной устанавливаются раскладушки. Борис Леонидович смирился.

Он взял портрет, Александр Леонидович — подставку, и мы пошли наверх. Портрет поставили между гардеробом и дверью на веранду, напротив места Бориса Леонидовича за письменным столом.

— Я рад. Портрет очень хороший. И вы — прелесть!..

— Чем вы сейчас заняты?

— Пьесой.

— Только пьесой? А Лопе де Вега?

— Это потом, не скоро.

— Как хорошо!

— Да. Было время, она помертвела, а сейчас опять оживает. Я над ней еще долго буду работать.

— А как здоровье?

— Сейчас хорошо. Было что-то с сердцем, стало тяжело по лестнице подниматься, одышка, а потом прошло.

В столовой ждет распоряжений шофер, Бориса Леонидовича засыпают вопросами, а я под шумок быстро одеваюсь в передней и вхожу в столовую одетая. Он удивлен:

— Как, вы уже уходите? А вы не пообедаете с нами?

— Нет, спасибо. Я поеду.

Он принимается хвалить и благодарить меня.

— Я получил глубокое удовлетворение оттого, что портрет понравился и всем нашим. Я вам позвоню. Если произойдет что-то важное — сообщу. А если что-нибудь будет написано, перешлю вам.

Он несколько раз целует руку и опять говорит о том, как доволен портретом.

6 апреля 1960 г.

Одиннадцатого февраля Борису Леонидовичу исполнилось семьдесят лет. Я завезла ему поздравление и монографию о Серове с хорошими иллюстрациями, отдала домработнице и ушла. На следующий день он звонил, благодарил, сказал, что занимается переводами и пьесой... Потом прошло почти два месяца. Я не ездила в Переделкино, Борис Леонидович не давал о себе знать.

Шестого апреля без двадцати десять вечера звонок. Я сразу узнала его кажущийся по телефону высоким чуть сдавленный голос.

— Борис Леонидович, милый! — воскликнула я.

— Зоя Афанасьевна, вы не думайте, что мы о вас забыли.

— А я думаю.

— Нет, нет, это совсем не так.

— Нет, забыли!

— Да нет же. Просто много всяких дел и событий... А как вы это время жили?

— Ужасно!

— Да что вы? Как же это?

— Если рассказать, не поверите, решите, что я или с ума сошла, или выдумываю.

— Да что случилось?

И я ему рассказываю о драматических событиях в моей жизни. На расстоянии чувствую, с каким напряжением он слушает. Он вставляет вопросы, прерывает меня восклицаниями, переспрашивает. Мой рассказ явно его взволновал. Он высказывает свое отношение к тому, что случилось, дает советы и жалеет меня.

— Но вам, наверно, нужны деньги. Я мог бы вам дать сейчас три тысячи, у меня есть.

— Нет, нет, спасибо. У меня есть небольшой запас.

— Поклянитесь! Поклянитесь мне, что вам не нужны деньги.

— Не нужны, Борис Леонидович. И потом у меня есть источник, откуда я могу черпать.

Мы еще обсуждаем происшедшее. Наконец он говорит:

— Зоя Афанасьевна, я с вами сейчас расстанусь, я ведь из Дома творчества звоню. Я вам позвоню через неделю.

— Будьте здоровы!

— Будьте здоровы! Я вам позвоню.

Проходили дни, недели, но обещанного звонка все не было.

И вот тринадцатого мая мне позвонила одна писательская жена и, болтая, вдруг обронила такую фразу:

— Да, а вы знаете, что Борис Леонидович болен? Говорят, очень серьезно.

Я похолодела. Оказалось, она сегодня виделась с женой Либединского и та ей сказала, что у Пастернака инфаркт.

Через час я уже была в Переделкине. Вот что я знаю о его болезни.

В апреле из Западной Германии приезжала его корреспондентка, журналистка Рената Швейцер. Они виделись, Рената была им совершенно очарована. Борис Леонидович был с ней очень мил, провожал ее (как раз на пасху). В воскресенье семнадцатого пришли гости, много ели, много пили... На другой день после пасхи он плохо себя почувствовал — появились ужасные боли в сердце и плече, но он, превозмогая их, спешно сел за пьесу. За очень короткий срок, чуть ли не за день, написал целую картину, привел в порядок и переписал начисто все, что было сделано раньше.

Двадцать третьего апреля с большим трудом добрался до дачи Ивинской и отдал ей написанное.

Вернувшись, он слег. Олух врач заявил, что боли — мышечные и надо побольше двигаться.

Лежал Борис Леонидович у себя наверху, но спускался в уборную. Сильные боли скоро прошли, он даже вымыл голову. А в ночь с шестого на седьмое мая случился инфаркт. Тогда в дом переселилась литфондовский врач Анна Наумовна и при больном установили круглосуточное дежурство сестер. Зинаида Николаевна не жалела денег, и постоянно приезжали порознь и консилиумами медицинские светила.

Тринадцатого я говорила сначала с Ниной Александровной Табидзе. Инфаркт протекал, как ему положено. Наиболее опасны первые 9 дней, если они минуют благополучно, можно надеяться на хороший исход. Потом ко мне вышла Зинаида Николаевна. Мы обнялись, и я, как милости, просила у нее позволения быть чем-нибудь полезной. Она меня благодарила, но не знала, что поручить. Но тут к нам подошла Анна Наумовна и сказала, что хочет покормить Бориса Леонидовича желе (он сидел на голодной диете, и уже несколько дней ему не давали ничего, кроме крохотных порций жидкой манной каши на воде). В доме не оказалось желатина, я тут же съездила в город и привезла все, что требовалось.

С тех пор я стала ездить в Переделкино почти каждый день. Не знаю, очень ли было нужно то, что я привозила, но я могла выносить часы неизвестности в Москве, лишь делая что-то для Бориса Леонидовича.

Первое время вести были неплохие. Девятый день миновал, и все жили надеждой на счастливый исход болезни — организм у Бориса Леонидовича был превосходный.

Но потом появились тревожные и непонятные явления — Борис Леонидович харкал кровью. С каждым днем падал гемоглобин. Врачи ломали голову.

Мы говорили с Е. Е. Тагер, и она сказала, что ее родственник академик Тагер мог бы сделать рентгенологическое исследование. Она попросила меня передать это предложение Пастернакам.

Анна Наумовна ответила, что, если появится необходимость, она этой возможностью воспользуется. Но потом она решилась, и мы вместе с Тагер ездили в Рентгенологический институт на Солянке за аппаратурой и рентгенологами.

Тагер скрыла от меня результат. Но на другой день, это было 27 мая, Зинаида Николаевна сказала мне, что рентгеном обнаружен рак. Первоначальным очагом были, вероятно, легкие, затем произошла метастаза через кость, поражен желудок.

Жить Борису Леонидовичу осталось недолго.

При слове «рак» у меня все поплыло перед глазами. Зинаида Николаевна была поразительно мужественна и тверда, когда говорила все это.

Вот что мне рассказывали о его последних днях.

Пожилой сестре Марфе Кузьминичне, проведшей в борьбе за его жизнь тяжелую ночь, Борис Леонидович сказал: если б мог, встал бы и поклонился ей в ноги за то, что она его отстояла — той ночью он «слышал дыханье иного мира».

Татьяне Матвеевне сказал: «Трудно, Таня, хочу умирать».

А Зинаиде Николаевне говорил о том, что рад, что умирает, не может больше выносить людскую подлость и уходит непримиренным с жизнью.

От Анны Наумовны я слышала, что все время он был в сознании, переносил болезнь необычайно мужественно, и если стонал, то они знали, что он спит.

Я еще раньше просила Зинаиду Николаевну передать ему, что мои неприятности уладились, и мне говорили, он знает, что я часто бываю и привожу цветы и еду, он велел очень кланяться и благодарить.

В последние дни Борис Леонидович отказался от пищи.

30 мая утром он сказал родным: «Ну что ж, будем прощаться?»

Но его стали уговаривать, что в этом нет необходимости.

Вечером ему сделали второе переливание крови, но на этот раз горлом пошла кровь.

В одиннадцатом часу он позвал сыновей. Он говорил им о том, как они должны жить, хотел, чтобы они больше сблизились, и просил не винить за то, что у него была вторая жизнь. Сыновья ушли, он очень устал от разговора, Леня мне потом говорил: «Может быть, этот разговор стоил папе жизни».

Он еще попросил Марфу Кузьминичну не забыть утром пораньше открыть окно. Это были его последние слова.

В 11 часов 20 минут он умер.

И вот я стою тридцать первого мая в рояльной одна. На раскладушке, посреди пустой комнаты, из которой убрали всю мебель, лежит Борис Леонидович. Он очень изменился. Стал законченно, безупречно красив, на лице отчетливое выражение познанной тайны, сдержанного страдания, в своей силе перешедшего в скрытое упоение. Это не отрешенность, а захватывающее переживание таинства смерти. Как будто в последние мгновения, когда лицо еще могло отражать работу сознания, он был уже «там».

И все это так сложно и значительно, так согласованно, что лицо потрясает и от него невозможно оторваться.

Увы, и это выражение оказалось преходящим, и скоро он изменился, стал величественней и отчужденней.

Я, наверно, долго над ним стояла, потому что вошла Зинаида Николаевна, мед-

ленно накрыла его простыней и, обняв меня за плечи, увела.

Я уехала очень поздно, а на другой день вечером снова была там. Рояльная, столовая, терраса были уставлены цветами. Шли люди прощаться. Шли переделкинские рабочие, крестьяне из Измалкова, шли близкие и незнакомые.

Наконец в девять часов Зинаида Николаевна закрыла двери. Я сидела в саду. Она взяла меня за руку и повела в дом. Я провела эту ночь у них. После торжественного отпевания, в четвертом часу, все разошлись, чтобы набраться сил для последнего прощания, а я пошла к нему.

Это был наш последний сеанс.

Шторы были задернуты, цветы вынесены. На Бориса Леонидовича лил яркий электрический свет, и бормотанье старушки, читавшей в углу псалтырь, лишь подчеркивало напряженность тишины.

Не прерывая мысленного потока прощальных слов, я молча делала рисунок. Мне не хотелось обрывать эту близость. Уже светало, когда я поцеловала его в последний раз в совсем нестрашные милые губы и наконец прилегла отдохнуть.

Утром я поехала в Москву, а в три вернулась с Тагерами и Верой Леонидовной Юреневой. У улицы Серафимовича милиционер в белых перчатках остановил такси. «Вы на похороны?» — спросил он и попросил пойти дальше пешком. Шоссе было запружено машинами.

Во двор потоком вливались люди и становились в медленно двигавшуюся нескончаемую очередь. Мне надо было сказать Зинаиде Николаевне несколько слов по поводу одного ее поручения, и Табидзе провела меня сквозь людской поток в совершенно пустую рояльную. Мы стояли у окна, глядя на траурную человеческую ленту. Потом я долго смотрела из дверей столовой в царственное прекрасное лицо. У изголовья застыли Женя и Леня и тоже не отрывали взгляда от отца.

Но люди прибывали, и меня оттеснили в переднюю. Дверь в комнату Зинаиды Николаевны была открыта. Там за роялем сидел Рихтер и играл. Напротив рояля стоял шкаф, наши взгляды встретились в зеркале, и мне казалось, что Рихтер играет для меня...

Но не все пришедшие смогли проститься с Борисом Леонидовичем дома. Распорядитель из Литфонда потребовал, чтобы все шло по расписанию, и хотя Зинаида Николаевна при мне просила его продлить прощание, вскоре доступ к телу был прекращен. Борис Леонидович никак не хотел уходить из дому, гроб не разворачивался в узких проходах, и его долго и трудно выносили.

Сыновья и еще какие-то люди подняли гроб на плечи, и многотысячная толпа двинулась по шоссе на кладбище. И казалось, что народ на руках, как ребенка, с любовью несет своего поэта к торжеству, и было что-то очень праздничное в цветущих яблонях и чистом, спокойном профиле, плывшем над людьми...

Я стала у старой сосны, наклонившейся над могилой, и гроб поставили у моих ног. Совсем близко было изученное во всех деталях дорогое лицо, смотреть в которое осталось считанные минуты.

Асмус произнес сдержанную, смелую речь. Он говорил о том, что умер писатель, вместе с Пушкиным, Достоевским, Толстым составляющий славу русской литературы, и если даже мы не во всем можем с ним согласиться, то все мы, однако, обязаны ему благодарностью за то, что он дал пример непреклонной честности, неподкупной совести и героического отношения к долгу писателя.

Голубенцев прочитал «О, знал бы я, что так бывает...», и на этом панихида кончилась. Какие-то мальчики пытались говорить речи, что-то выкрикивать из толпы, но Асмус остановил их. Зинаида Николаевна, Леня, Женя стояли в голове могилы, окаменев.

Вдруг раздался плач, и из-за сосны я увидела белые женские руки, клавшие цветы в гроб и гладившие голову Бориса Леонидовича. Это была Ивинская.

Гроб подняли и опустили в яму. Стояла такая тишина, что когда комья глины ударили в крышку, это прозвучало, как орудийный салют. Над могилой вырос высокий холм из цветов. Кто-то из толпы стал читать «Август», и потом долго еще не расходились, тихо и неумело читали стихи Бориса Леонидовича — старые и еще не опубликованные, и такой плотной и осязаемой была волна людской любви и признательности к нему, что я, изнемогая, выбралась из толпы.

Теперь я часто приезжаю на кладбище. Я смотрю на окна комнаты Бориса Леонидовича, и меня не покидает странное чувство: их двое. Один там, в земле, а другой стоит у окна и разговаривает со мной. А когда я ухожу, я слышу: «и все продолжается, да?». И для меня, правда, все продолжается — и наши долгие беседы, и работа над его новым портретом, и узнавание его в рассказах и разговорах о нем, и неожиданные встречи с ним и в стихах, и в природе, и в событиях жизни.

Май, 1961 г.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

На этом кончается мой «пастернаковский дневник» с записями встреч и разговоров с Борисом Леонидовичем. Но коекакие дополнения, мне думается, все же нужно сделать.

Уже после смерти Пастернака я прочитала неоконченную его пьесу «Слепая красавица», в которой нашло отражение его отношение к портрету и к драматическим событиям 20 мая 1959 года.

Описывается комната в барской усадьбе, где на шкафу стоит «белая голова», портрет родоначальника хозяев имения. С головой связано поверье: пока она цела, цел и род.

Дворовых застигает известие о нежданном возвращении владельцев поместья, и они спешно убирают дом. Крепостная девушка Луша, протиравшая шкаф со скульптурой, в ужасе застыла перед ним на коленях, потому что внезапно входят барыня и барин в разгаре ссоры. Помещик в пух и прах проигрался и требует у жены ее фамильные драгоценности, а она ему отказывает. Тогда он хватает дорожный пистолет и хочет выстрелить в жену. Но тайно влюбленный в нее камердинер (кстати, он похож лицом на белую голову) бьет его по руке, и выстрел попадает в портрет. Мрамор разлетается на тысячи осколков. Часть их попадает в глаза Луше, и она слепнет. Она-то и есть «слепая красавица», давшая название пьесе и являющаяся прообразом России середины прошлого века. С гибели портрета начинается гибель и распад рода.

Уже после смерти Пастернака Ольга Всеволодовна Ивинская рассказала мне, как в злополучный день двадцатого мая он пришел к ней бледный, расстроенный, описал происшедшее с портретом и сказал, что это предзнаменование скорой его смерти.

Я понятия не имела о таком его отношении к своему портрету, иначе ни за что не рассказала бы ему по телефону шестого апреля 1960 года, в ответ на его настойчивые расспросы, о том, как накануне один человек в припадке безумия схватил гипсовый отлив его головы и со страшной силой бросил об пол так, что в дубовом паркете осталась вмятина, а портрет разлетелся на куски. Услышав это, он на несколько секунд смолк, не отвечая на мои вопросы: «Борис Леонидович, вы меня слышите?». Потом после паузы сказал как бы издалека: «я тут».

По словам Ивинской, Борис Леонидович пересказал ей историю с разбитой головой и добавил: «это конец. Теперь мне не уйти».

Через одиннадцать дней он слег.

...Я продолжала работать над образом Пастернака. Еще при жизни его я начала лепить дома второй портрет. Кончала его уже под впечатлением смерти. Мне он кажется самым удачным, жаль, Борис Леонидович его не видел! Затем, помня его желание, чтобы я вылепила барельеф, я сделала третий портрет, назвав его «Свеча горела». И наконец предприняла попытку соединить лучшее в портрете с натуры и во второй скульптуре: так возник четвертый вариант его головы.

Эти работы нигде не экспонировались, только в № 9 «Панорамы искусств» за 1986 год в моих воспоминаниях об Ахматовой опубликован снимок с одного из портретов.

Я продолжала регулярно ездить в Переделкино. Помогала Зинаиде Николаевне приводить в порядок и каталогизировать архив: рукописи, книги, письма.

За обедом Зинаида Николаевна нередко рассказывала что-нибудь о Борисе Леонидовиче, рассказывала живо, точно, конкретно. Много раз я настойчиво уговаривала ее писать воспоминания. Она с трудом осилила несколько страничек, но дальше дело не пошло. «Я не писательница, я не умею писать»,— отнекивалась она. Я настаивала. Тогда она предложила мне расспрашивать ее, как это обычно происходило за столом, и записывать ее рассказы.

Каждый четверг я приезжала на целый день, обычно с ночевкой, работала с архивом, а потом побуждала Зинаиду Николаевну вспоминать и делать беглые карандашные записи. Дома я приводила их в порядок, всячески стараясь сохранить ее манеру, и продумывала новые вопросы.

Наконец из этих записок я составила книгу и принялась писать ее на машинке. Позже Зинаида Николаевна взялась мне помогать: я ей диктовала текст, а она печатала. На этом этапе у меня опять возникали вопросы и появлялись многочисленные дополнения. Я выправила машинопись, переплела ее, один экземпляр отдала Зинаиде Николаевне.

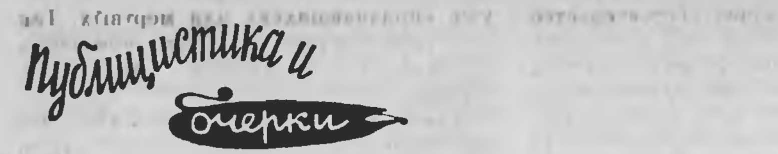
Зинаида Николаевна после смерти мужа испытывала материальные трудности.

Однажды она решилась продать оригиналы писем Пастернака к ней. Я пришла в ужас. Но, видя ее решимость, посоветовала продать их моих друзьям: переводчице В. Н. Марковой и писательнице С. Л. Прокофьевой, будучи уверена, что письма попадут в самые прекрасные и надежные руки. Зинаида Николаевна перепечатала письма в трех экземплярах. Один оставила себе, второй приложила к оригиналам, чтобы не трепали при чтении, а третий отдала мне со словами: «Приложите к воспоминаниям».

Я сделала еще девять портретов, на этот раз литературных — самых близких Пастернаку людей. И конечно, писала новые и новые стихи — посвященные прямо ему и навеянные высказанными им мыслями.

Богатство, которым наделило меня его творчество и общение с ним, оказалось неисчерпаемым, вся моя дальнейшая жизнь шла от этого импульса. Публикация части наших разговоров — малая толика моей великой ему благодарности.

1987 г.



Виктория ЧАЛИКОВА

Архивный юноша

Может, правда, в Магадане или на Урале искать могилы без вины виноватых, оклеветанных, уничтоженных родных? Куда пойти? Куда податься? Кого просить, чтобы узнать правду до конца? Если быть искренней до конца, уже не верю, что кто-нибудь, где-нибудь знает о каждом поименно. А какая-нибудь статистика... имеется? Тоже вряд ли.

(Из письма читательницы Марии Степановны Дранга, г. Макеевка).

Тринадцатого апреля 1987 года на семинаре по истории СССР в Центральном Доме литераторов слушали доклад. Тема: 30-е годы. Докладчик, разумеется, говорил и о незаконных репрессиях, но подчеркнул, что масштабы их неизвестны. «Хотя бы приблизительно,— попросили из зала,— десятки или сотни тысяч?» Докладчик развел руками: «Какой разговор без статистики?» В возникшей паузе очень громко и как-то высоко прозвучал голос: «У меня есть материал для статистики. Неполный, конечно, но он дает представление...»

Высокий русоволосый юноша в очках назвался Дмитрием Юрасовым, бывшим архивариусом Верховного суда СССР. Через его руки прошли сотни тысяч дел по реабилитации осужденных или административно высланных в годы культа личности. Самый большой номер, какой ему довелось увидеть, был 16 000 000. Шестнадцать миллионов!

Зал онемел. «У меня,— сказал Юрасов,— есть 123 000 карточек с краткими сведениями о репрессированных людях». Остальные сведения, оказалось, хранятся в его феноменальной памяти, вдруг выплеснувшейся сюда — в уютный зал Центрального Дома литераторов. Он говорил, и кресла с замершими слушателями уплывали, растворялись, а через зал все шли и шли молчаливые колонны в серых бушлатах. Иные из идущих в этих скорбных колоннах некогда сиживали в этом зале. «Не видел ли их дело?» — спрашивали Диму Юрасова, и он, если видел, отвечал. Вот так семинар по истории страны неожиданно обернулся Встречей с нашим горьким, трагическим прошлым, о котором недавно с того света поведал Ярослав Смеляков вот этим окликом-вопросом:

И на ходу колонне встречной,
Идущей в свой тюремный дом,
Один вопрос, тот самый, вечный,
Сорвавши голос, задаем.
Он прозвучал нестройным гулом
В краю морозной синевы.
Кто из Смоленска?
Кто из Тулы?
Кто из Орла?
Кто из Москвы?

Дима не собирался говорить о каждом. Он хотел обратить внимание собравшихся на семинаре на положение в архивах, но, видно, не удержался. Годами накопленное в его памяти оборвало какие-то провода намеченной схемы выступления, и из этих оголенных проводов ударил ток. Он читал на память предсмертное письмо Всеволода Мейерхольда Вышинскому: «Следователь Родос сломал мне левую руку, а правую оставил, чтобы я мог подписать показания. Мои показания ложны: я не мог вынести пыток и унижений. Он заставлял меня пить мочу, ползать, меня, старика».

Ничтожное, абсурдное обстоятельство лежит в основании дела «врага народа» Мейерхольда — в его труппе были и японские артисты. Японцы — значит шпионы. Но если бы не оказалось японцев, можно было бы использовать для обвинения и что-нибудь еще из арсенала сталинской «диалектики». Сказал же он в одном из выступлений: «Это только глупый вредитель вредит. Умный вредитель не вредит, он хорошо работает».

Дима Юрасов держал в руках дело о реабилитации Варлама Шаламова, дела командиров Красной Армии, из которых в 1936 году выбивали показания на маршала Тухачевского.

Наверное, у многих возникнет вопрос: как — в тридцать шестом? Ведь известно: Сталин не виноват, это фашисты виноваты, они в 1938 году подбросили «красную папку», из которой Сталин узнал, что все высшее командование — шпионы. А отец народов был доверчив, как малое дитя, он был вынужден... Однако этот юноша в очках держал в руках не «красную», а обычные канцелярские папки — реабилитационные дела с выписками из следственных дел 1936 года. Тухачевский в то время как раз заканчивал проект модернизации армии, а в камерах бутырок и таганок на круглосуточных допросах под кулаками следователей уже готовили ему смерть.

Через руки Димы Юрасова прошли дела и расстрелянных в октябре 1941 года в Орле жен или детей таких военачальников, как Егоров, Корк, Уборевич, Гамарник... Да, милостивые господа-сталинисты,— детей! Чтобы наверняка сломать подсудимых, Сталин предусмотрительно заготовил указ, распространивший все виды наказания, включая смертную казнь, на детей с двенадцати лет от роду. Он боялся, что какие-то феноменальные люди выдержат пытки, но знал, что угроза расстрелять детей доконает и их. И он не ошибся в своих опасениях. Дима видел дело предсовнаркома РСФСР С. И. Сырцова, который в 1930 году вместе с Ломинадзе открыто выступил против Сталина. В своем обращении к партии они писали о «барско-феодальном отношении к нуждам и интересам рабочих и крестьян», «очковтирательстве», «потемкинских деревнях». В конце того же года они и их единомышленники были исключены из партии. Спустя пять лет Ломинадзе покончил жизнь самоубийством, а Сырцов, побывав даже в руках палача-следователя Влодзимирского, позже расстрелянного вместе с Берией, так ничего и не подписал.

Мужество и стойкость его не спасли, но избавили от той муки, с какой уходили из жизни другие, невольно оклеветавшие ни в чем не повинных.

Как видно из дел, многие пытались парализовать свои признания, оговаривая уже «признавшихся» или мертвых. Так и не дали выбиваемые из них показания Угланов, Преображенский, Шляпников, Смилга...

Дима говорил, и становилось ясно, что нет, далеко не случайно Сталин как-то изрек: «Вспоминать о жертвах не надо, ибо они одним миром мазаны». Очевидно, ему очень хотелось, чтобы это было так. Нет, не одним. В 1932 году появилась «платформа Рютина», так испугавшая Сталина, что в течение восьми лет его палачи принуждали всех значительных подсудимых признавать свое участие в «заговоре Рютина». Платформа настаивала на экономической и политической демократизации и обвиняла Сталина в предательстве революции. Вождь потребовал немедленной казни Рютина, но это предложение встретило сопротивление тогдашнего состава Политбюро. Через несколько лет из этого состава в живых осталось пять человек.

О многом еще поведал Дима Юрасов собравшимся на семинар, только почти ничего не сказал о себе. Кто он и откуда? И как мог в свои двадцать три года, воспитанный во времена застоя не только общественной мысли, но и памяти о напрасных жертвах прошлого, так глубоко окунуться в эту обжигающую душу память. Окунуться, не потеряв веры, не ожесточившись.

Родился он в год падения Хрущева. Учился средне, но любил читать исторические книги. В одиннадцать лет в Исторической энциклопедии прочитал слова, написанные русскими буквами, но звучавшие по-иностранному, абсолютно непонятно: «незаконно репрессирован, посмертно реабилитирован». Он не понял их смысла — даже приблизительно. Вместо того, чтобы спросить у старших, переписал в тетрадку краткие сведения об одном неизвестном историке. С того дня жизнь уже принадлежала не ему, а его тайне, его дару — редкому, таинственному дару, о котором писал Федор Тютчев в стихах об искателях колодцев:

Иным достался от природы
Инстинкт пророчески слепой —
Они им чуют, слышат воды
И в темной глубине земной...

Дима представления не имел, каких кровавых родников коснулся, но продолжал прилежно выписывать из книг и справочников (он записался в пять библиотек!) всех «таких». Он понятия не имел — каких. Через год сообразил, что «такие» должны быть в Большой Советской Энциклопедии. К его изумлению, там их не оказалось. Однако он заметил уже, что у интересующих его людей почему-то одинаковые даты смерти — 1937-й, 1938-й, 1939-й, изредка 1940-й, 1941-й. На всякий случай, переписал из БСЭ эти фамилии. (Увы, он почти не ошибся.)

Проницательный читатель, конечно, уже догадался, кто такой Дима. Он богоискатель, хиппи, диссидент, родился и рос в элитарной семье, в доме полно иностранцев, а также самиздата и тамиздата, с пеленок читал Солженицына и Конквеста. А папочка, конечно, освободил его от службы в армии и устроил в историко-архивный институт, где подобные ему отпрыски расстрелянных Сталиным наркомов и маршалов под музыку рока мажут дегтем советскую действительность.

Проницательный читатель кругом неправ. Все наоборот. Дима служил в десантных войсках, работает грузчиком, учится заочно. Отца у него нет, мать — рядовой инженер, до сих пор с умилением вспоминает, как пела в детстве: «Я маленькая девочка, танцую и пою. Я Сталина не видела, но я его люблю».

Деды и прадеды Димы — из коренной России. Все родственники Димы попали в счастливое меньшинство, которое непосредственно от репрессий не пострадало. Начиная свой поиск, не слышал он не только о Солженицыне, но даже и о «Новом мире» Твардовского. Не охотник он спорить о дорогах к храму, искать альтернативы. Всего-навсего считает себя «собирателем», «позитивистом». Однако рассказал мне, что в школе был активным комсомольцем, даже мечтал о карьере дипломата или партийного работника. Путь его в архивы начался с комсомольского мероприятия — олимпиады. Не найдя нигде сведений о комсомольских деятелях прошлого, сунулся в архивы и встретил стену непонимания, даже неприязни. Поняв, что архив — это крепость, поклялся ее взять. К тому времени — к 1980 году — Дима уже знал, кто они, застенчиво замалчиваемые, и что с ними произошло. Со временем у него накопилось десять тысяч карточек, и он наивно думал, что их не прибавится. Услышав от одноклассника о более чем ста тысячах жертв культа личности, не поверил и рискнул обратиться к учительнице истории. Ей хватило знаний и мужества ответить: гораздо больше, но сколько — не знает.

В 1981 году Дмитрий Юрасов вошел в ЦГАОР (Центральный государственный архив Октябрьской революции) в скромном звании палеографа II категории. Он только что окончил школу и, успешно сдав вступительные экзамены, поступил в Историко-архивный, на вечернее отделение. Он вошел в архив, как в храм, и был глубоко оскорблен, унижен, увидев запустение, равнодушие, невежество. Младшие сотрудники подкалывали и раскладывали кровоточащие Историей листки, как квитанции химчистки. Более высокое начальство показывалось редко. Ни одного ученого в архиве он не видел. Их туда не допускали: нельзя, «спецхран». Он имел «допуск». Однажды, когда все ушли за зарплатой, стал просматривать картотеку НКВД за 1935 год. Это были обычные текущие дела. Застав его за этим занятием, начальство поразилось настолько, что особенно не наказало. Но на всякий случай его перевели в другое хранилище — документов административно-контрольных и судебно-политических органов. Дима сделал (ночами, после работы) еще десять тысяч карточек и с тем ушел в армию. Там ночами работать было абсолютно невозможно, но он работал: привез из армии пятьсот карточек, а в старые внес биографические дополнения из прочитанного и услышанного. Кроме того, он писал роман «Братья Кагановича». Читая ребятам главы, видел, что им интересно. Роман оборвался на сцене ареста другв Кагановича — Якова Шалихеса. Начальник, отобравший текст, сказал: «Писать романы у нас разрешается только писателям. У тебя такого разрешения нет». Дима письменно обещал больше не писать. Он уже привык говорить неправду.

Читатель уже заметил: Дима чем-то похож на людей, которых теперь называют «предтечами перестройки». На председателей колхозов, директоров заводов, врачей, учителей, плативших за нарушение инструкций во имя дела здоровьем, покоем, даже свободой. Один из таких людей на вопрос, как ему удается кормить сыто и колхозников, и государство, ответил: «Да на мне ж пробы негде ставить. Я по совокупности статей уже такой преступник, что оставшейся жизни на срок не хватит».

Да, закон есть закон. В обязательности его исполнения заложены общее благо общества, гарантии защиты его интересов и покоя. Но инструкция — не закон. Закон вырабатывается совокупным человеческим опытом, инструкция — должностным лицом, которое этот опыт конкретизирует. Иногда правильно, а иногда — нет.

Диму обвинили в выносе из архива секретной информации. Но что же здесь секрет? Репрессии, о которых немало говорилось с высочайших трибун и о которых написаны исследования и нашими соотечественниками, и зарубежными историками? Реабилитационные дела, юридически признанные открытыми для широкой гласности? Сейчас вопрос о секретности подобной информации кажется уже анахронизмом, досужим домыслом ретивых администраторов, тупо убежденных, что правду имеют право знать только они сами. Или те, кому позволено это «сверху».

Это — сейчас. А несколько лет назад все было иначе.

После армии Диму, не объясняя причин, не взяли в спецотдел ЦГАОР, послали в подсобку. После долгих мытарств (обошел практически все исторические архивы Москвы) он устроился в архив Верховного суда СССР, где взялся за прежнее — составление карточек. Его начальник от чистого сердца удивлялся интересу Юрасова к бесконечному ряду Ивановых-Петровых. Зачем? Кому они нужны? И высокое начальство удивлялось: зачем *все* фамилии? Которые не Тухачевские, не Мейерхольды — они-то зачем?

Удивление было таким дружным и сильным, что Диму уволили (разумеется, по «собственному желанию»). Как раз в это время (бывают же совпадения!) он «срезался» на очередном экзамене в институте (сейчас восстановлен на заочное отделение). И вот в ЦДЛ его прорвало, и с этого дня на него обрушилась изголодавшаяся людская память.

На разные голоса кричит Димин телефон, что «воскресшие мертвые» — не заумная мистика. «Человек — это такое существо, у которого есть мама, папа, бабушка и дедушка». Эти слова маленькой девочки известный наш ученый С. С. Аверинцев назвал удивительно точным определением сущности человека. Взрослея, он смиряется со смертью родителей, но смирение это условно. Оно держится верой в тайное единство поколений, в естественность их условного разделения. Во всей природе ведь так: корни в земле — листья на свету.

Но многие из тех, кто звонит Диме, родились как бы из пустоты. Несуществование преступных родителей было условием физического выживания семьи. Потом над пустотой беспомощно повисла, затрепыхалась маленькая бумажка с датами приговора и его отмены. «Смотрю на эти даты, перечитываю слова: „За отсутствием состава преступления дело прекращено“, хочу выжать из них *ощущение отца*, спастись от сосущей пустоты у себя за спиной — тщетно. Не видел, не слышал, ничего не знаю. Кто-то рассказал мне о Юрасове. Я встретился с ним и назвал только фамилию. В своей картотеке он нашел дату реабилитации, совпавшую с той, что в моей справке (значит, без обмана!), дату приговора — не совпавшую! Назвал место заключения и, видимо, смерти отца. В реабилитационном деле были показания свидетелей и кто-то из них назвал отца „библиотекарем“. Было ли то лагерное прозвище или своего рода „должность“ — не знаю, но что-то изменилось. Из анонимной массы серых бушлатов отделился человек — единственный, особенный, другой — не всех же звали библиотекарями. Отец! У меня есть отец!» (Из рассказа московского писателя).

Много и деловых звонков. Вдова писателя просит дать сведения о деле бурят-монгольского обкома. Они нужны для посмертной публикации рассказов мужа о коллективизации. Известному литератору для новой части романа требуется уточнить данные о родственниках Зиновьева, Мрачковского, о братьях Тер-Ваганянах.

Юрасов — коренной москвич, тайный подвиг его свершался в московских архивах, и, естественно, первой его аудиторией стала творческая интеллигенция. Если бы Дима сформировался в той среде, которая слушала его в ЦДЛ, можно было бы предположить, что это чисто интеллектуальный, культурный порыв, исполнение профессионального завета. Но корни Димы — иные, и завет иной. Ни семья, ни школа, ни улица не готовили его к этому призванию, но он ходил по земле, пропитанной кровью, по земле, реки которой в половодье до сих пор поднимают разбухшие трупы.

Дмитрий Юрасов остался недоволен своим выступлением у писателей. Недоволен потому, что не успел сказать главного. А главное — воззвать к общественности о нависшей над архивами опасности. Известно: чтобы дом стоял, в нем надо жить. Архивы наши нежилые, гниют заживо в немыслимой тесноте. «Упорядочивание» их производится силами хозяйственников, а не ученых. Проблема не новая. Известные исследователи-архивисты М. О. Чудакова и В. Н. Сажин пишут, что в первые годы после революции архивные документы «лежали грудами в опустевших учреждениях и в усадьбах, на улицах, среди развалин разрушенных домов. Статус х р а н е н и я *(разрядка авторов)*, до сих пор бывший по отношению к архивному документу непреложным, теперь заколебался, подвергся стихийному переосмыслению» [1].

Последовал ряд декретов: «О реорганизации и централизации архивного дела» (1 июня 1918 г.); «О хранении и уничтожении архивных дел» (31 марта 1919 г.); циркуляр от 9 июня 1922 г., воспрещающий распродажу архивов в качестве макулатуры. Главное управление архивных дел РСФСР издало большим тиражом брошюру-листовку «Почему необходимо бережно хранить собрания документов и бумаг, и чем всякий из нас может помочь в этом деле» (1919 г.).

Не рассказав на апрельском семинаре в ЦДЛ о печальном положении архивов, Дима решил возместить упущенное, придя на следующую встречу его участников. Она состоялась через месяц там же, в ЦДЛ. В этот день писатели собрались

---

[1] Архивный документ в работе Тынянова и проблема сохранения и изучения архивов. В кн.: Тыняновский сборник. Вторые Тыняновские чтения. Рига, 1986, с. 142.

послушать доклад о Великой Отечественной войне. У Димы был пригласительный билет, руководитель семинара Н. Эйдельман и некоторые из слышавших его в прошлый раз ждали Юрасова. Но его не пустили в зал. Дежуривший у входа в зал сказал мне: «Захотим — и вас всех вышвырнем». Не знаю имени женщины, подошедшей потом к нам с Димой в опустевшем фойе. «Стыдно за все это,— сказала она.— Но распоряжалось писательское начальство, высокое. Ну, хотите, я вас в зал проведу доклад послушать, только там сидите тихо».

Честно говоря, проникать в зал по сочувствию одной-единственной отзывчивой души не хотелось. Стыдно было за тех, кто остался равнодушным к произволу и сейчас чинненько сидел в зале. И еще мне подумалось: как еще не развито у нас чувство неприятия любой несправедливости, как мы покорны начальственному окрику! Или это все оттуда же — из печальных тридцатых годов? Различные мыслимые и немыслимые запреты, указания, кому и что положено, а кому — нет, так вошли в наше сознание, что стали социальной наследственностью?

А может быть, эта социальная наследственность породила и другие наши негативные явления, изъяны, перекосы? Разве не действует закон компенсации в поколениях? Разве случайно дети разутых бросаются на кроссовки, а дети благополучных ходят в сандалиях и брезгуют автомобилем?

Когда я вижу молодых парней, не желающих физически работать и готовых по любому поводу «качать права», я не могу не думать о том, что их деды работали на лесоповале по четырнадцать часов за пайку хлеба да баланду, а прав не имели никаких. Даже права обратиться к кому-то со словом «товарищ», которое было для них так свято, так радостно, что сыну уже никакой радости не досталось.

Некие «анонимные киевляне» в письме в редакцию журнала «Знамя» по поводу публикации поэмы Твардовского «По праву памяти» утверждают, что распущенность, вседозволенность и другие пороки в нашем обществе существуют именно «из-за таких либералов, как Твардовский и ему подобные», и что народу «нужно строгое, энергичное и суровое руководство со спросом. Ибо наш народ имеет чудное свойство превратиться в козлопьяных скотов, грязных свиней, готовых пить, воровать, гадить, где только возможно»[1]. Слова грязные, но смысл тем не менее прозрачен: лучше наш народ все равно не будет, и все, что можно с ним сделать,— это давить его «суровым руководством со спросом».

Им и невдомек, что «сталинский порядок» привел к неслыханно выросшей в годы террора уголовной преступности. Под прессом страха изъяны характера или судьбы превращались в зияющую трещину, страна сроднялась с тюрьмой. Возникла «шукшинская семья» (я так называю ее, потому что в семьях из рассказов Шукшина обычно кто-то сидел или сидит в тюрьме).

Взяв любую рядовую судьбу из Диминой картотеки, исследователь мог бы проследить ее резонанс в детях, внуках, соседях, сослуживцах. Женщина принесла с работы моток ниток — связать одежду малышам. Попала в лагерь. Малыши выросли на улице, сбежали куда-то, их отправили в колонию. Сослуживец-доносчик, как во времена опричнины Ивана Грозного, получил мзду — комнату своей жертвы. Но совесть грызла — спился. Цепная реакция...

Это на самом обыденном рядовом примере. А уж путь от объявления талантливых и честных инженеров вредителями до невольного вредительства бездарных инженеров — плакатно очевиден. Так же, как прослеживается фарватер от расстрелянных капитанов — гордости отечественного флота — до горе-капитанов, сталкивающих корабли. От «признания» подсудимого, проходившего по троцкистско-зиновьевскому процессу, что он в 1930-х годах встречался со старшим сыном Троцкого в гостинице «Бристоль», которая сгорела... в 1917 году — до смет на несуществующие здания и квитанций на тысячи тонн несданного хлопка.

Хватит, скажут мне, этому не будет конца. Речь не о конце — о *начале.* Об излечении *шоком памяти.*

У Димы Юрасова есть единомышленники по городам и весям. Думают, ищут, собирают. Е. Кочетков из Петропавловска-Камчатского пишет: «В моей семье нет репрессированных и надзирателей. А высказаться хочу по поводу обостряющегося конфликта между силами „памяти" и сторонниками „забвения". Хотим изменить экономику, боремся за обновление общества, но пока наша совесть не будет чиста — ни в какой сфере не будет успехов. У медиков есть такое понятие — *дремлющая инфекция.* До тех пор, пока существует ее очаг, здоровье организма постоянно под угрозой. Так и с памятью».

Есть люди, которые говорят: «В моей семье нет пострадавших, и мне безразлично, сколько их было — тысяча или миллион». И те же люди возмущаются, что сегодня плохо работают, плохо учат, плохо лечат. Они не хотят десталинизации, но они хотят есть доброкачественную пищу, жить в удобных домах и не бояться, что сын сопьется, а дочь пойдет по рукам. Они искренне возмущаются воровством на производстве, распущенностью, опозданиями и не понимают, что это неизбежно для общества, которое всего пятьдесят лет назад подчинялось бесчеловечным указам, наказывающим за колосок, за моток ниток и двадцатиминутное опоздание *гражданской смертью,* а следом за ней, как правило,— физической смертью или инвалидностью. Они знают, что у алкоголиков могут родиться неполноценные дети, но не задумываются над тем, какие дети рождались у зэков и у кандидатов в зэки, каковыми были при Сталине все до одного, включая его ближайших соратников, ждавших ареста в любую ночь. Они ругают зажравшееся начальство, ублажающее себя саунами, забывая, что при Сталине средняя продолжительность деятельности секретаря райкома и директора предприятия была от нескольких лет до нескольких месяцев, что тогдашние руководители-энтузиасты почти полностью истреблены, а тем, кто пришел им на смену, оставалось одно: брать от жизни все, что можно, пока она есть. Справедливо нам ругать себя, что приняли это, но справедливо и дивиться, как при всем этом у народа сохранились талант и трудолюбие, мужество и доброта, пережившие сталинщину.

Английский поэт и исторический писатель Роберт Конквист, человек, влюбленный в нашу страну, пишет в предисловии к своей книге «Большой террор»: «Каждого, кто любит русский народ, глубоко трогает его трагическая история. Страна, столь щедро одарившая мировую культуру, перенесла тяжкие муки без всяких реальных причин». И дальше: «Правление Сталина представляет собой один из важнейших эпизодов современной истории. Если суть его не усвоена, то нельзя понять до конца, как вообще устроен современный мир, ибо невозможно познавать мир без изучения крупнейшей его части... Конечно, было бы куда лучше, если бы история того периода была написана советским специалистом. Я хорошо понимаю трудности, встающие перед иностранцем в такой работе. К несчастью, однако, при нынешнем положении дел объективное исследование периода и серьезные публикации о нем могут быть предприняты только вне пределов Советского Союза».

Это написано в 1971 году. Вскоре мир прочитал «Архипелаг Гулаг» А. Солженицына. Летописец и узник Гулага назвал свой труд «опытом художественного исследования», подчеркивая, что без архивных материалов историческое исследование невозможно. Колоссальный массив личных наблюдений и свидетельских показаний «Архипелага» взывает к поверке и проверке, как и выдвинутые автором идеи. У Солженицына есть и приверженцы, и оппоненты, но ни те, ни другие не располагают достаточно документированными аргументами.

Пришло время советским историографам ответить на вопрос, как же устроен мир, если в нем возможно такое. Ведь это случилось на глазах всего человечества, и человечество это позволило. Не слушало очевидцев, закрывало глаза на ложь и подтасовку, кланялось силе, а не правде. Не злорадство, а боль и вину ощущают разумные и добрые люди за рубежом, думая о нашем горе.

Думать-то надо и нам, однако мысль на голом месте неизбежно становится бегущей по кругу страстей, предрассудков, стереотипов. У каждого свой храм, своя дорога к храму, и строжат, дисциплинируют, очищают мысль только факты, только правда, стоящая за ними.

Решающий, а не праздный вопрос нашей памяти, то есть нашей совести — число безвинно погибших людей, лежащих в бездонной братской могиле неслыханных в нашей истории размеров. Эта моя статья начинается с письма простой женщины Марии Степановны Дранга, спрашивающей, есть ли какая-нибудь статистика жертв сталинизма. Казалось бы, ну зачем ей знать, сколько их там еще: мужчин, женщин и детей, кроме ее родных? Не бессмысленное ли, не бесплодное ли это желание, не темное ли чувство стоит за этим вопросом? Думаю, что за ним стоит только одно: естественное, нравственное чувство, связь которого с *количественным критерием* давно и глубоко осмыслена светлейшими человеческими умами.

«И в моральной области, поскольку моральное рассматривается в сфере бытия, имеет место такой же переход количественного в качественное; различные качества оказываются основанными на разности величин. Достаточно какого-то „больше" и „меньше", и мера легкомыслия оказывается превзойденной, и получается нечто совсем иное, а именно — преступление, посредством чего право переходит в несправедливость, добродетель в порок»[1],— писал Гегель. Вне количественных границ нравственная истина не существует, распыляется, исчезает в потоке словоблудия.

Конечно, человеческая жизнь единственна и не подсчетна. Но общество — система множеств — не может не вести счет смертям. Безнравственное общество и общество без статистики — это одно и то же. В этом смысле статья В. Селюнина и Г. Ханина «Лукавая цифра», опубликованная в «Новом мире», далеко выходит за рамки экономической публицистики. Авторы вводят нас в «машинное отделение» террористического бюрократизма, в то место, где, по определению одного из крупнейших исследователей этого механизма, английского писателя Джорджа

[1] «Знамя», 1987, № 8, с. 232.

[1] Гегель. Соч., т. 5, с. 435 (М., 1937).

Оруэлла, «дважды два будет столько, сколько захочет вождь». Здесь — сердце «диалектики от лукавого», осмеянной Чеховым в образе заштатного лекаря, важно вещающего: «Это ведь так, для простого народа — пульс, и все такое. Мы-то с Вами понимаем, что никакого пульса — нет».

Пульс есть. Его удары можно посчитать. И тогда взамен «диалектического» словоблудия с его давно потерявшим смысл «сложно» и «противоречиво» нелицеприятно заговорят числа. Без цифр осознать размеры зла, с которым надо покончить, невозможно. Если мне скажут, что завтра землетрясение в девять баллов, я брошу дом и все нажитое, схвачу детей и убегу подальше. Но я должна точно знать, что девять, а не два безобидных балла. Потому что менять жизнь — очень трудно.

Не по лени, не по трусости медлят люди расстаться с жизнью, принятой в наследие от прошлой эпохи, а потому, что у них нет *критерия подлинности* критики прошлого. Архивы могут помочь установить этот критерий, поведать правду о прошлом, разрушить стереотипы лжи, полуправды, призванные их сочинителями делать отечественную историю, «любимую народом».

Разумеется, архивов Верховного суда для этого недостаточно. Крестьян ведь выселяли не по суду, а по «административным спискам», которые тоже хранятся в архивах, но в других...

Сколько их было, выселенных без суда и следствия? Позже Сталин скажет Черчиллю, что пришлось расправиться с десятью миллионами «кулаков», из которых «громадное большинство» было уничтожено, а остальные высланы в Сибирь.

Только архивы могут рассказать и о том, как в 1932/33 годах на Украине, Кубани и Северном Кавказе был организован голод. Урожай 1932 года не был фатально низким: приблизительно на 12 процентов ниже среднего, но — по указанию Сталина — были на 44 процента увеличены поставки.

По этому указанию забрали все зерно, включая семенное. Очевидец этих событий писатель Василий Гроссман писал в повести «Все течет»: «Ни при царях, ни при татарах, ни при немцах не было такого страшного указа. Ибо этот указ приговаривал крестьян Украины, Дона, Кубани к голодной смерти, всех с малыми детьми». Уже зимой ели корни, кору, кошек, собак. В марте есть стало нечего.

Согласно официальной статистике в 1928—1939 годах население Украины уменьшилось с 31 до 28 миллионов. Едва ли не больше были потери в Казахстане, где голод возник как следствие массового забоя скота в ответ на принудительную коллективизацию. При отсутствии земледелия этот отчаянный шаг означал массовое самоубийство.

А Сталин в это время рассмеялся в лицо одному из украинских руководителей, который рискнул сказать ему правду о голоде: «Да тебе надо фантастические романы писать». Однако по закону двоемысленной диалектики официально несуществующий голод официально же всплыл на процессе сотрудников Наркомата земледелия, которых судили — как раз в 1933 году — за организацию голода в стране.

По самым осторожным подсчетам, от голода и вызванных им болезней во всей стране погибло не менее пяти миллионов человек. И тогда, в ЦДЛ, цифра эта немедленно встала в сознании всех, кто о ней знал, рядом с названным Юрасовым номером реабилитационного дела — шестнадцать миллионов.

И, услышав этот номер, наверняка не последний, люди в ужасе спрашивали: «Да сколько же всего-то? Есть ли счет?»

Считали не раз и по-разному. И погибших от всех видов насилия и беззакония, включая войну, которая при другой политике могла идти иначе, а может быть, и вовсе не случиться. И погибших от прямого террора. И отдельно — лишенных свободы на долгие годы. Основанные на различных данных расчеты показывают, что в 1936—1950 годах в лагерях, занимавших огромные пространства, находилось 8—12 миллионов человек. Если мы из осторожности примем меньшую цифру, то при норме лагерной смертности 10 процентов в год (тоже полученной путем разных подсчетов) — это будет означать двенадцать миллионов погибших за четырнадцать лет. С миллионом расстрелянных «кулаков», с жертвами коллективизации, голода и послевоенных репрессий это составит не менее двадцати миллионов.

При демографических расчетах,— а именно так принято считать,— цифра получается вдвое больше: ведь учитываются нерожденные дети. Учет этот основан на коэффициенте среднего прироста населения. Есть естественная смертность, смертность, вызванная социально неспровоцированными катастрофами — стихийными бедствиями и так далее. А что сверх того — обстоятельства социальные, точнее асоциальные: война, террор, геноцид. К аналитической демографии прибегают как к контролю за эмпирической статистикой. Но основа — архивы.

И, наконец, статистика, архивы помогут ответить на вопрос, вокруг которого бушуют сегодня идейные бури, разделяя и ссоря тех, кто безусловно осуждает сталинизм и искренне хочет перемен. А нам так надо быть сегодни (не в единодушии — это утопия), но все-таки в мире, а не в ссоре. Вопрос атот — о *составе* агрессивного меньшинства, развязавшего и осуществившего террор. Есть люди, которые считают, что сталинских опричников должны отличать какие-то определенные признаки — сословные, национальные, профессиональные, идейные.

Тот, кто потратил годы на изучение сталинизма и имеет мужество и совесть смотреть в глаза фактам, знает: нет таких признаков. Кадровый состав сталинской опричнины отличают только стремление к власти любой ценой, подчинение своему деспотизму всего народа, распоряжение его судьбой.

Если бы грузинским подпольщикам начала века сказали, что Сосо (Коба) окажется на гребне волны, они бы весело посмеялись. Как, впрочем, позже и общероссийское руководство партии не видело в нем особых качеств лидера-руководителя, ни — тем более — теоретика. Уверенные в себе блестящие революционные интеллигенты, они не понимали, что человек этот силен не своей силой, а силой тех, кто стоит за ним. Тех, кто мог доплыть до своей добычи только по рекам крови. Тех, кто выселял в тайгу честного работящего мужика, чтобы загнать в пустой общий двор его кулацкую корову и лошадь. Сталин был силен силой авантюриста-агронома, обещавшего завалить страну зерном, если ему не будут мешать, убившего гениального ученого и ставшего «главным академиком»; графомана, который, заткнув кровавым кляпом рот поэту, будет публиковать свою макулатуру; простого грешного горемыки, ютящегося самшесть в крохотной кухне, который получит квартиру оклеветанного им соседа; наивного лейтенанта, который, искренне оплакав любимого командира, станет со страхом, но и с невольным ликованием в сердце командовать полком, когда сталинская клика расстреляет всех полковников первого призыва в стране, всех до одного,— от Бреста до Владивостока...

Благодаря этим людям утолил свою маниакальную жажду власти Сталин, но и он служил им: умело, неутомимо, преданно. Да, их было меньшинство, но меньшинство волевое и жадное. Это неверно,— писал великий английский прозаик,— что власть развращает людей. Чтобы прийти к деспотической власти, нужно уже быть развращенным. Властолюбие — особое свойство, оно целиком зависит от воли. Можно, родившись бездарным, всю жизнь бесплодно мечтать о таланте, но желание власти не бесплодно. Желать власть и иметь власть, при определенных условиях,— одно и то же.

Семинарист Джугашвили, писавший завистливые сочинения о древних владыках мира, пошел в революцию со смутным сознанием, что выплывет наверх в этом потоке. Когда другие до хрипоты спорили о социализме, он помалкивал. Не будучи особенно образованным, он был достаточно умен, чтобы понимать, что название не имеет значения. Он прекрасно знал, чего хочет, но понимал, что большинство людей не таковы: их разъедают сомнения — плод совести.

Лозунги у всех были одни. Они представляли собой бесконечное сопряжение разных понятий с определением «новое». «Новая мораль», «новое право», «новые отношения». Обычная для всякой революции, увлекательная и опасная игра интеллектуалов, доводящая до абсурда реальный процесс обновления жизни. Но роковая разница между ним и проигравшими ему Бухариным и Каменевым была в том, что Сталин был действительно и последовательно способен к новой морали, ничего общего не имеющей с общечеловеческой. Интеллигентный разночинец Бухарин, воспитанный на Тургеневе и Добролюбове, стремился преодолеть «абстрактный гуманизм» своего воспитания, но преодолеть до конца заложенное в детстве и юности никому не удавалось. От первых шагов в революции и до последних дней в застенке он колебался между естественной нравственностью и «новой моралью».

Знавший этот тип людей Артур Кестлер предполагал, что перед смертью к ним пришло сознание вечности нравственной истины. Во всяком случае с такими мыслями идет на расстрел герой романа «Слепящая тьма» Рубашов. Сталину и тем миллионам, волей которых он пришел к власти, нечего было преодолевать в себе. Я не думаю, что это люди особой, дьявольской природы. Нравственность в человеке — в природе вещей, а стало быть, была и в их природе, но она оказалась раздавленной очень рано, раньше, чем сформировалось сознание. Хорошо знавший Сталина и открыто его ненавидевший секретарь ЦК партии Грузии в 30-х годах Буду Мдивани крикнул следователю в ответ на уговоры повиниться и уповать на великодушие вождя: «На его великодушие? Да он не успокоится, пока не убьет всех: от своего незаконного ребенка до слепой прабабушки».

Сталин имел огромное преимущество перед Каменевым, который с такой болью говорил на процессе о своих сыновьях, что смутились видевшие виды судьи. Для Сталина сыновья были досадной помехой: старший ненавидел отца, младший — дебошир и алкоголик — позорил. А сына Каменева, торгуясь за жизнь которого, он возвел на себя чудовищную клевету, Сталин все-таки расстрелял.

У Сталина было огромное преимущество перед Орджоникидзе, который не мог простить ему расправы над близкими друзьями; у него просто-напросто не было друзей. Зная, что прославленный сибирский подпольщик, член ЦК Иван Ники-

тич Смирнов любит жену и дочь, Сталин пытался сломить этого человека, выдержавшего пытки, арестом близких. У него было огромное преимущество перед Смирновым: он своей жены не пощадил.

Как никто другой, Сталин умел искусно не выдавать свои чувства и мысли. Молчаливость его вошла в поговорку, но он не только боялся слова, ему всегда удавалось взять его под контроль. Под его непосредственным руководством в стране прошла подлинная лингвистическая «революция» — ревизия речи, без которой победа социализма была бы немыслима. Понятия заменялись эвфемизмами, слово — аббревиатурой, предложение — вводным оборотом. «Как известно, оппозиционеры уже сделали то-то и то-то»,— говорил он, снимая тем самым вопрос о том, кому же это известно.

Ненависть Сталина к Троцкому была рождена не только соперничеством, но и искренним ужасом перед привычкой последнего называть вещи своими именами. «В интересах пролетариата надо ограбить крестьянство»,— говорил Троцкий, который действительно так и думал, ибо, в отличие от Сталина, имел идеологию, частично демократическую, частично левацкую, утопическую, идеологию исступленной мечты о будущем рае для пролетариата.

Из нашего сознания эта идеология выжжена каленым железом, и мы можем восстановить ее только по художественным произведениям, например, Андрея Платонова, трогательный и страшный герой которого, Дон-Кихот из Воронежской губернии, едет на своем Савраске-Росинанте, осененный портретом Дульсинеи — товарища Розы Люксембург, мечтая всех уравнять и напоить «живой водой», чтоб не было на земле не только несчастных, но и мертвых.

Сталин знал таких людей, понимал, что их волей Троцкий взлетает к вершинам власти. Самоуверенный, фанатично замкнутый в своих текстах, Троцкий был равнодушен к должностям и званиям и пальцем не пошевельнул, чтобы оспорить право Сталина на власть. Да и зачем она нужна была ему? Писать и говорить слаще в оппозиции, а управлять государством он так же не мог, как «заостренные» на мировую революцию его полуграмотные поклонники и влюбленные в него спорщики-интеллектуалы. Были и есть государства сталинистского типа, но «троцкистского» государства не было и нет. Зато в тех странах, которые еще не изжили безумный утопизм, и сегодня существуют неотроцкистские движения, партии. И не только в бурлящей Латинской Америке, но и в респектабельной Англии.

И об этой живой реальности, о ее павшем, но не ниспровергнутом лидере, книги которого выходят на разных языках, сегодня одна из массовых газет публикует статью, из которой мы узнали, что Троцкий был еврей, что он дважды женился, что Ленин назначал (!) его на ответственные посты и, наконец, что из-за своего скверного характера он поссорился с собственным шурином. На ссоре с шурином в статье кончается биография Троцкого, хотя после высылки за границу его политическая биография далеко не завершилась. Его книги, конфликт со Сталиным и, наконец, преждевременная смерть его и сыновей усиливали троцкизм как явление политическое и духовное. И автор статьи был обязан рассказать об этом читателям газеты, а не бубнить, как «непросыхающий» герой Высоцкого перед телевизором: «Послушай, Зин, не трогай шурина, какой ни есть, а он родня».

В отличие от автора, для которого социальная действительность времен Троцкого куце ограничилась деньгами (есть или нет у папочки), анкетой (есть или нет 5-й пункт) и отношениями с шурином, Сталин, живший в другой действительности и по-своему в ней разбиравшийся, понимал, что деньги в революции не имеют цены, что «левый уклон» — не маневр хитрого Троцкого, а крен революционного корабля, раскачиваемого временем, и что отчаянная команда левого борта не заглядывает в анкеты, а делает ставку на того, кто ей соприроден и умеет складно и зажигательно выразить ее настроения и идеалы. На «левизну» и «правизну» Сталину было наплевать, впрочем, скорее по инстинкту он тяготел к «правым». Его идеалом, как обнаружилось в последние годы, была скорее восточная деспотия с затейливой иерархией и пышными церемониями, чем коммунная вольница. Но ему надо было в интересах собственной власти и тех, кто его к власти привел, физически подавить самую самостоятельную, собственническую часть населения — крестьянство. Сталин был, говоря словами Троцкого, за «ограбление крестьянства», но зачем же так прямолинейно выражаться? И зачем называть свои будущие жертвы «крестьянами» в стране, где с детского садика учат, что «крестьянство — союзник пролетариата»? Пусть крестьянство остается союзником, а расстреливать, ссылать и грабить его станут под кодовым названием «борьбы с кулачеством».

Когда будет написана реальная история, подкрепленная нелукавой цифрой, точной датой и именем, кто захочет увидеть,— увидит все это. А кто не захочет, конечно, и тогда будет повторять заскорузлые пассажи отечественного и зарубежного производства. Дескать, «пустили гегемона к власти — он и наломал дров» (хотя в Политбюро тридцатых годов был один рабочий — Томский, покончивший

с собой, чтобы не выйти на позорный процесс). Или такое: «сталинское Политбюро — еврейское» (хотя из евреев там был один Каганович); «все беды от марксизма» (хотя очищение кадров от людей, знающих и любящих Маркса, было одной из задач террора); «репрессии — это террор внутри партии» (хотя соотношение погибших партийных и беспартийных как минимум 1:10 — по данным академика А. Сахарова).

Известно, что с самого начала самоутверждения Сталина в амплуа диктатора был взят курс на истребление ленинской гвардии и даже тех, кто искренне восхвалял его как вождя. Пятаков и Кольцов были фанатически преданы политике Сталина, но оба попали под подозрение и были уничтожены.

Курс на абсолютность террора искажался не только случайностями, а и определенной закономерностью: кто-то ведь должен был строить, писать, учить, лечить — стукачи и палачи этого не умели. К 1940 году показательные процессы прекратились, на место расстрелянных Ягоды и Ежова пришел новый палач-исполнитель — Берия, взявшийся за систематическое освежение страха в обществе и равномерное пополнение лагерей бесплатной рабочей силой. Тут уж действовал административный принцип: гони план арестов, как знаешь, хоть всех на букву «Д» сажай, но выдай норму, а то сядешь сам. Поточно-бюрократический террор, взрываемый иногда чудовищными эксцессами, вроде позорного выселения крымских татар, чеченцев, ингушей, калмыков, цинично-антисемитского «дела врачей» или фантастического по изуверству «ленинградского дела», нес в себе непредсказуемые социальные последствия.

В стране, долгие годы культивировавшей разного рода различия — сословные, национальные, классовые, идеологические,— всегда были и мощные универсалистские тенденции, проявлявшиеся прежде всего в ее культуре, именно поэтому ставшей общечеловеческой. Как будто она, культура, со времен Карамзина и Пушкина «знала» о будущих атомных бомбах, о ракетах и реакторах и спешила помирить всех и вся. Последний акт сталинско-бериевской драмы был таков, что усилил, скрепил кровью эту тенденцию. Универсальный террор повязал всех и в главном, в жизни-смерти, всех поравнял. Ибо воистину не было ни эллина, ни иудея, ни старого, ни малого, ни идейного, ни обывателя, ни сына князя, ни сына батрака, ни противника власти, ни ее пламенного защитника, кто мог быть уверен в своей безопасности. Об этом не писали историки, но это знал поэт. Он сумел расслышать в какофонии шумных коммуналок и эту мелодию:

Вы тоже пострадавшие,
А значит — обрусевшие:
Мои — безвестно павшие,
Твои — безвинно севшие.

А в другой песне с той же небрежностью выдана поэтом простая и страшная тайна народной любви к Сталину:

А на левой груди — профиль Сталина,
А на правой — Маринка анфас...

На татуированной груди! Сталинизм — это *татуировка истории* на теле и душе народа.

Надо только осознать и ощутить сталинизм без всякой мистики. Он есть то, что он есть,— и ничего сверх этого.

Сталинизм — наша беда и слабость. Он неотделим от плохо выпеченного хлеба, от липких подносов в столовой, от пьяной блевотины, от зловонных общественных туалетов, от выпуска цифр вместо продукции, от лукавой, скользкой речи и рабского молчания, от зияющей пропасти между словом и делом. Имя собственное в его названии — Сталин — случайно, как всякое имя. У него миллион синонимов. Дело не в имени. Назовем его Чернобыль — понятно без перевода.

Сказать, что «народ хочет сталинизма»,— значит признать, что он хочет Чернобыля. Что он не просто донашивает татуировку — куда ее денешь? — а сознательно хочет наколоть ее детям и внукам. Хочет, чтобы от них пахло водочным перегаром и коммуналкой.

Но люди же этого не хотят! Даже махнувшие на себя рукой, если они не опустились окончательно, стараются украсить и облагородить жизнь детей, обустроить для них нормальный быт, без тюрьмы и сумы. Это так же очевидно, как то, что пульс есть, что он бьется у запястья человека даже в ту минуту, когда он, сам не зная зачем, наклеивает на ветровое стекло фотографию черноусого человека в фуражке.

* * *

Эта статья была написана осенью минувшего года под впечатлением острой тревоги за судьбу Дмитрия Юрасова, на которого обрушился тогда ведомственный гнев. Но сила общественной потребности оказалась сильнее гнева и угроз. Преподаватели высшей школы, руководители разных организаций сегодня официально приглашают его на лекции, которые уже состоялись в Доме культуры МАИ, на истфаке МГУ, в рабочем клубе Ленинграда, в Историко-архивном институте. Он сумел систематизировать свою картотеку и подготовить просветительскую лекцию. Сообщения его жестко ограничены бесспорными данными, ответы на вопросы

сдержанны и щепетильны. Отвращение к сенсации, к пустословию, ко всякого рода приблизительности оценила уже не одна аудитория.

Люди, которые слушают и записывают Юрасова, полагают, что они как-нибудь проживут, не зная альковных подробностей царей и цариц, но не имеют права жить, не понимая разницы между лагерем и ссылкой, путая суд с внесудебной расправой, не умея прочитать зловещие аббревиатуры ЖВН, РВН (жена врага народа, родственник врага народа). Они уже различают в скорбной процессии поруганных и уничтоженных соотечественников потоки: 1926—1934, 1934—1938, 1949—1952. Этих людей уже нельзя превратить в беспамятную глину. И — главное — только теперь, осознав размеры сброшенного зла, они начинают верить в свои силы, в свой завтрашний день.

Уже немало написано и сказано о сталинизме. Отмеченного блеском, остротой, талантом и — обреченностью «переписки из двух углов». Этот крест обреченности на одиночество и непонимание мы уже были готовы нести до конца. Но когда приходит такой парень и говорит, что живет ради спасения памяти об уничтоженных соотечественниках — все меняет дело.

Ни одного дня я не верила, что тридцать лет назад народ в массе своей не пошел за вожаками тогдашней перестройки из-за рабской своей природы и любви к господской плетке. Зачем строить психологические гипотезы, когда перед глазами беспристрастное свидетельство летописи: 1914—1917 — мировая война; 1917—1918 — революция; 1918—1922 — гражданская война и террор; 1927—1939 — голод и массовый террор; 1941—1945 — Великая Отечественная; 1946—1947 — послевоенный голод; 1949—1952 — новая волна репрессий. Все знают эти даты, но давайте один раз послушаем, о чем они говорят.

Годы, прошедшие после смерти Сталина, уникальны в нашей новейшей истории. Прежде всего это единственный в истории XX века продолжительный отрезок времени без мировой и гражданской войны, без опустошающего страну голода, без изоляции от остального мира.

Дима Юрасов — сын этого времени, в которое случилось то, что и должно было случиться: мы осознали себя не в абстрактном пространстве героической эпопеи, а в конкретно прожитом дне. Медленно, но неуклонно личное недовольство действительностью превращалось в общественную потребность перемен.

Прошли десятилетия, прежде чем общество нашло в себе силы и мужество признать, что оно стоит на грани кризиса. У каждого из нас и у всех вместе свой счет к этим годам застоя, к самому себе.

Есть такой счет и у Димы Юрасова. Отношение людей к нему далеко не однозначно. Одни видят в нем человека гражданского мужества и чести, другие относятся настороженно. Что поделаешь: каждому — свое. Природа ничего не отмеряет всем поровну — кто-то проснулся раньше, заглянул глубже, успел больше, чем другие. Кто-то еще живет в прошлом и прошлым, с несмываемой татуировкой на груди и в душе...

Двумя перьями

В. КАВТОРИН, В. ЧУБИНСКИЙ

ИСТОРИЯ И ЛИТЕРАТУРА

Продолжение диалога в письмах

В. В. ЧУБИНСКОМУ

Идея продолжить наш диалог, Вадим Васильевич, принадлежит не только нам с Вами — она подсказана читателями.

«Мне очень импонирует,— пишет, например, С. Перкас из г. Никополя,— постановка Вами основного вопроса: главное не в „разоблачении“ сталинских жестокостей и несправедливостей, а в том, чтобы понять, как и почему вызрело в нашем обществе все то, что весьма неточно именуется „культом личности И. В. Сталина“. Но постановка этого вопроса, на мой взгляд, не может ограничиться рамками романа А. Рыбакова». Весьма резонно!

«Мне кажется,— настаивает москвич А. Кочетков,— авторы должны вернуться на страницы журнала, но уже с анализом возникавших в тридцатые годы возможных альтернативных путей развития общества, а также путей преодоления элементов казарменного коммунизма в современную эпоху».

А москвичка Н. Рабкина адресует нам серию вопросов, среди которых есть вот такой, весьма и меня заинтересовавший: «Я как-то не совсем поняла, какой, на ваш взгляд, строй создан был у нас в 30-е годы? „Казарменный социализм“ — это то, чего хотел Сталин, а что объективно мы получили?»

Пожалуй, это уже целая программа. Готовых ответов, разумеется, у меня нет, но... Тем, мне кажется, интересней!

Впрочем, по ходу дела у нас с Вами еще будет немало поводов обратиться к вопросам и соразмышлениям наших читателей. Пока же, если позволите, два соображения об общем характере почты.

Третий номер «Невы» большинство подписчиков получило в последней декаде марта, то есть *после* печально известной статьи Н. Андреевой «Не могу поступаться принципами» и *до* ответной редакционной статьи в «Правде». Трехнедельный этот промежуток многими был воспринят как своеобразный «идеологический кризис» на путях перестройки, чем и вызван, на мой взгляд, запальчивый перехлест похвал и поношений — от оценки нашего диалога как «события в духовной и общественной жизни страны» (С. Каминская) до предположения, что «Гитлер, хоть и скряга, но не пожалел бы гонорара» для нас с Вами (М. Ромкин). Но за этими подогретыми моментом страстями в полученных письмах прочитывается, по-моему, интерес куда более долговременный и глубокий.

Оценка пути, пройденного нашим обществом, вопросы недавней истории оказались сегодня в самом центре интеллектуальной жизни. И понятно почему. Познание прошлого — необходимейший момент при выборе путей в будущее; не оглядываясь, можно и вперед двигаться только вслепую. Но это, столь нам необходимое, новое знание и новую оценку прошлого несет нынче не история, а литература. Обращаясь к последним публикациям А. Рыбакова и Ю. Трифонова, Б. Можаева и В. Белова, С. Антонова и В. Дудинцева, В. Гроссмана и Л. Чуковской, мы с радостью и горечью обнаруживаем то знакомо-незнакомое прошлое своей страны, которое тщетно стали бы искать в трудах историков.

Дело не в том, разумеется, что Ваши коллеги поленились или что-то прошляпили. Застой исторической науки не просто одна из составляющих общего застоя, но и его непременнейшее условие; наше беспамятство создавалось искусственно, меры шли в ход подчас крутые... Но так

или иначе, а истории у нас нет. Литература — есть. Лежали, оказалось, в писательских столах романы и повести, создававшиеся в расчете если не на вечность, так на то, что цензура — дура, а может, и вообще без расчета — просто потому, что память и душа кровоточили...

Пройдет время, и мы вспомним, что верность исторической реальности для художественной литературы — дело в общем-то необязательное. Что прекрасным может быть и роман, глубоко, своеобразно эту реальность преобразующий. Но для этого, по-моему, должно пройти время. Ибо сегодня читателю важней всего знать: так ли все это было?

И не только так называемому «рядовому» читателю. Посмотрите, сколь напряженно сквозь магический кристалл романов вглядываются в прошлое серьезнейшие наши обществоведы! У скольких историков, пишущих о коллективизации, фигурирует, например, беловский Игнаха Сопронов?! А статьи доктора экономических наук Г. Попова о «Новом назначении» и о «Зубре»?! Понятно, роман или повесть — это уже не «сырая» действительность, она явлена нам в системе образов; осмысливая их и сверяя с реальностью, можно достаточно уверенно выйти к широким социологическим и историческим обобщениям.

На этот вот путь, уважаемый Вадим Васильевич, я и хочу Вас снова сманить. Мне кажется, что найти ответы на поставленные читателями вопросы мы сможем, вглядываясь в прошлое через литературу о нем, анализируя романы и повести, отразившие важнейший для нашего общества перелом на рубеже двадцатых — тридцатых годов.

Но прежде чем перейти к этому историческому и литературному пласту, нам придется основательно подзадержаться на пьесе М. Шатрова «Дальше... дальше... дальше!» («Знамя», 1988, № 1). Почему? Причины, на мой взгляд, три.

Во-первых, один из ее драматических узлов образует борьба вокруг ленинского политического завещания, а именно к ней, мне кажется, уходят корни многих проблем последующих десятилетий; не поняв, не осмыслив эти события, нельзя уверенно продвигаться дальше.

Во-вторых, шатровская пьеса затрагивает те вопросы философии истории — роль личности, диалектика случайного и закономерного,— с которыми мы будем сталкиваться поминутно. Так не лучше ли заранее, если и не решить их, то хотя бы обозначить свои позиции?

И в-третьих, пьеса эта сразу же после публикации подверглась массированной атаке некоторых наших историков, причем атака формально строилась именно как соотнесение художественного произведения и исторической реальности...

Должен сразу сказать, что как литературный критик я вовсе не принадлежу к числу безусловных поклонников последней шатровской пьесы. В ней есть сцены поразительного драматического накала — например, предсмертное объяснение Орджоникидзе со Сталиным, история последнего ленинского письма,— но в целом она обращена не столько к сердцу, сколько к уму читателя (или зрителя). А потому я предсказал бы ей бурную, но недолгую сценическую жизнь. Как только поднимаемые ею вопросы утратят для общества свою остроту и дискуссионность, так сразу начнет она в наших глазах выцветать... Но яростная критика, которой пьеса подверглась, никак не связана с ее художественными достоинствами и недостатками.

Оппоненты М. Шатрова обвинили его именно в искажении исторической реальности. По части знания фактов и документов профессионалам, правда, не удалось продемонстрировать в этом споре сколько-нибудь заметного преимущества. Коллективными усилиями они [1] указали на три фактические неточности. Но две из них («Савинков предлагал Плеханову пост не премьера, а лишь министра» и «учредительное собрание было распущено не 5, а 7 января 1918 г.») не заслуживают серьезного обсуждения, ибо ровно никакого значения для смысла пьесы иметь не могут. Что же касается третьей (речь о ней еще впереди), то истина тут, увы, не на стороне профессионалов.

Но профессионалы и не обещали нам уточнения каких-либо отдельных фактов. Их беспокоило, «что поданная таким произвольным образом информация о событиях Великого Октября станет достоянием широкого круга людей, не владеющих методологией, методикой исторического анализа».

Что ж... Посмотрим, какою методикою владеют наши обеспокоенные ученые. Вот ее образчик: «Он (М. Шатров.— *В. К.*) вкладывает в уста Я. Свердлова слова о том, „как много в жизни, в революции особенно, зависит от тех, кто на капитанском мостике“. Взятые изолированно, они „работают“ на концепцию революции, якобы совершаемой отдельными лидерами»...

---

[1] Я имею в виду докторов исторических наук В. Горбунова и В. Журавлева («Что мы хотим увидеть в зеркале революция?», «Советская Россия», 25.01.88), докторов исторических наук Г. Герасименко, О. Обичкина и Б. Попова («Неподсудна только правда», «Правда», 15.02.88), а также кандидата исторических наук В. Кардашова и других выступивших в «Вечернем Ленинграде» 25.03.88. Так как позиции всех названных авторов ощутимо близки, я позволю себе не загромождать дальнейшее изложение, кроме нескольких случаев, конкретными ссылками.

«Но позвольте! — сразу хочется усомниться.— Зачем же подменять анализ произведения разбором каких-то „взятых изолированно“ слов? Зачем вытаскивать на свет этот малопочтенный прием рапповской критики?»

Владеющие «методикой исторического анализа», однако, вытаскивают. Вот еще один образчик их умозаключений: «Шатров делает дальнейший шаг по сравнению с прошлыми своими пьесами: Сталин уже не антипод, а лишь другая ипостась Ленина. Особенно показателен в этом отношении финал пьесы, в котором Ленин и Сталин остаются одни и, хотел или не хотел автор, фактически Сталин сближается с Лениным. Это сближение усугублено финальными авторскими репликами („Очень хочется, чтобы Сталин ушел... Но пока что он на сцене...“)» («Правда»).

Но... перечитаем финал: «Все ушли, кроме Сталина. Ленин ждет. Пауза затягивается. Сталин не уходит. Ленин ждет. Сталин не уходит.

И когда ситуация становится абсолютно невыносимой, Сталин не выдерживает, нарушает тишину.

Сталин. Я хотел бы поговорить с вами, объясниться.

Ленин *(жестко)*. Нам не о чем говорить с вами. (Залу) Надо идти дальше... дальше... дальше!

Так и стоят они на довольно значительном расстоянии друг от друга. Очень хочется, чтобы Сталин ушел... Но пока что он на сцене...»

Вадим Васильевич, дорогой! Ущипните меня! Неужели же, будучи в здравом уме и твердой памяти, можно утверждать, что здесь «Сталин сближается с Лениным» и что финальная ремарка не предупреждает нас о возможных рецидивах сталинизма (а события вокруг статьи Н. Андреевой ярко подтвердили всю своевременность этого предупреждения!), а «усугубляет» их сближение?

И скажите: можно ли вообще говорить о какой-то научной методике там, где пускается в ход нарочито усеченное цитирование, заведомо ложное толкование важнейших сцен, глубокомысленные рассуждения о том, на что «работают» те или иные «взятые изолированно» слова? Не профанация ли это?

Впрочем, я готов оставить продемонстрированную Вашими коллегами [1] «методику» в стороне. Попробуем выяснить, что же действительно разделяет М. Шатрова и его оппонентов. Нетрудно заметить, что их раздражает уже сам драматургический прием, само построение пьесы, в которой события 24 октября 1917 года то и дело прерываются спорами о будущем, о том, куда ведут, что предопределяют решения и поступки данной минуты. В «Советской России» это именуется почему-то «причудливым смешением реального с фантастическим», а в «Правде» клеймится как «формально интерпретированное всевидение Ленина». Но думаю, Вадим Васильевич, что мы напрасно б потратили пыл, доказывая, что перед нами вовсе не фантастика и не «всевидение», и даже не «попытки прикрыть собственную позицию ленинским авторитетом», а достаточно традиционный публицистический прием. Не устраивает критиков М. Шатрова не прием, а нечто другое.

«Изложив, например, известные слова Ленина,— пишут они,— о возможном перемещении Сталина с поста генсека и замене его человеком более терпимым, более лояльным, более внимательным к товарищам, драматург далее, уже от себя, вкладывает в уста Владимира Ильича такие слова: „Я говорил с вами о Фрунзе... А Дзержинский?“ Здесь уже не просто отступление от того, что конкретно сказал Ленин, но домысливание ленинской позиции в принципиальном вопросе, который он, надо думать, не случайно оставил открытым» («Советская Россия»).

Разумеется, «не случайно». Вероятно, Ленин не счел для себя возможным «давить» на съезд, перед которым, он думал, будет зачитано его письмо. И потому назвал лишь *невозможные* кандидатуры, а *возможную* опустил. Подобная деликатность не исключает, однако, что в частных беседах какие-то имена вполне могли называться. Но в таком случае шатровский домысел допустим и оправдан.

Видимо, словечко «не случайно» имеет для оппонентов драматурга смысл иной. У них «сразу возникает мысль: а какова была дилемма, кем можно было в тех условиях заменить Сталина? Каждый, кто хоть немного знаком с ситуацией в партии в тот момент, не замедлит сказать: либо Сталин, либо Троцкий. Все иные ныне возникающие в немалом количестве фамилии не более чем фикция. Вслух это опасное для себя противопоставление Шатров не произносит, но выбор его несомненен» («Вечерний Ленинград»).

В. Кардашов так увлечен изобличением шатровского «троцкизма», что упускает самую малость: из его рассуждений следует, что о положении в партии всех менее был осведомлен сам Ленин, ибо, предложив сместить Сталина, одновременно дал не слишком лестную характе-

---

[1] Меньше всего, Вадим Васильевич, мне бы хотелось, чтоб Вы или читатели увидели в этих словах некие корпоративные счеты. Мой коллега, критик В. Кожинов, недавно («Наш современник», № 4) так отличался по части подобной «методики», что в «Детях Арбата» сумел вычитать все, что ему захотелось — вплоть до некой «антирусской концепции». Увы!

ристику и Троцкому. Наверное, еще не был знаком с авторитетным мнением историка, что «все иные фамилии... не более, чем фикция».

Нет, авторы «Советской России» никак, разумеется, не ответственны за то, что пишет их ленинградский коллега. Но сходство позиций здесь несомненное. Для всех оппонентов М. Шатрова одинаково неприемлем, почти «крамолен» любой разговор о том, что история нашей страны могла бы развиваться и по-другому, что были альтернативные пути, что в их выборе могли играть какую-то роль обстоятельства случайные...

Отсюда — настойчивые их попытки отыскать в пьесе порочную «идею случайности Октябрьской революции»: «автор полагает, что если бы Ленину не удалось вовремя прийти в Смольный (а этому, мол, всячески препятствовали Троцкий и Сталин и даже ЦК в целом, откладывавшие решение вопроса о власти до открытия II съезда Советов), то революцию соглашатели могли бы и затормозить...» («Советская Россия»). Как доказательство (за неимением более веских) приводятся реплики Дана: «когда я увидел его (Ленина.— *В. К.*) в Смольном, я понял, что все потеряно, что машина восстания будет пущена на полный ход»,— и Ленина: «такой благоприятной ситуации, как сегодня, может не быть еще сто лет...»

Но если эти реплики обличают «идею случайности Октябрьской революции», то, очевидно, «закономерность» ее видится оппонентам Шатрова не в том, что революция была вызвана к жизни противоречиями общественного развития, без разрешения которых борьба в России не могла прекратиться, а в том, что восставшие должны были ворваться в Зимний в половине второго ночи — ни раньше, ни позже! Только в этом случае можно утверждать, что такая случайность, как приход Ленина в Смольный, не имела никакого значения.

Я мог бы, вероятно, сослаться на Гегеля, утверждавшего, что «во всем конечном есть элемент случайного», а следовательно, и Октябрьское восстание как событие законченное необходимо несет в себе «элемент случайного», но еще важней, по-моему, то, что для защиты фаталистически понятой «закономерности» восстания оппонентам Шатрова приходится идти на слишком уж вольное обращение с фактами.

«Неверны,— уверяют они,— вкладываемые в уста Свердлова... слова: „24 октября был в Смольном... В Центральном Комитете по поводу восстания единой точки зрения не было, а счет шел на секунды“». (Это и есть та третья «неточность», о которой я поминал выше — *В. К.*) Но еще в 1922 году («Пролетарская революция», № 10) было опубликовано письмо делегата II съезда Советов М. Жакова, в котором пересказываются доклад Сталина на заседании большевистской фракции съезда (что исключает элемент маскировки) 24 октября днем: «В военно-революционном комитете 2 течения: 1) немедленное восстание, 2) сосредоточить сначала силы. ЦК РСДРП присоединяется ко второму», и выступление там же Троцкого, заявившего: «Единственное спасение — твердая политика съезда».

Письмо это, во-первых, не противоречит какому-либо иному документу, в том числе и протоколу заседания ЦК от 24 октября (на него ссылаются шатровские оппоненты); а во-вторых, вне сообщаемых в нем фактов невозможно понять другой важнейший документ — письмо В. И. Ленина, написанное вечером 24 октября: «изо всех сил убеждаю товарищей, что теперь все висит на волоске, что на очереди стоят вопросы, которые не совещаниями решаются, не съездами (хотя бы даже съездами Советов)...» (ПСС, т. 34, с. 435). Ясно же, что здесь Ленин не просто критикует «промедление» в развитии восстания, но прямо выступает против оттягивания его до начала съезда, о чем шла речь на дневном заседании большевистской фракции.

Трудно поверить, что три доктора наук, подписавшие антишатровскую статью в «Правде», не знали или вдруг позабыли об этом. Но не «забыв» о письме М. Жакова, нельзя же всерьез опровергать утверждение, что в ЦК «по поводу восстания единой точки зрения не было». А если ее действительно не было, то нельзя же отрицать — «элементы случайного» действительно могли сложиться и таким образом, что соглашателям удалось бы оттянуть начало восстания, и оно протекало бы в менее благоприятных обстоятельствах, потребовало бы большего числа жертв...

Все это, разумеется, ни на йоту не колеблет вывода о закономерности Октябрьской революции, если, конечно, не понимать эту закономерность фаталистически.

Впрочем, весьма возможно, что к отрицанию «элементов случайного» оппонентов М. Шатрова подталкивают не теоретические воззрения, а, так сказать, житейская логика. Ибо, признав за ними некоторую роль в событиях 1917 года, нельзя настаивать на абсолютной закономерности всего, что произошло в 1924-м. И уже придется говорить об альтернативных путях построения социализма, а там — о ужас для наших историков! — даже признать, что в конце 30-х мы не только не построили «в основном» подлинный социализм, но в некоторых отношениях оказались от него неизмеримо дальше, чем были в конце 20-х. Нет, утверждать, что история «не знает сослагательного наклонения», куда проще!

Права, пожалуй, пенсионерка В. Ушакова: «никак наши обществоведы не могут сориентироваться в новой обстановке — среди публики, которая уже не верит чужим выводам, а хочет делать свои» («Ленинградский рабочий», 15.04.88).

Да, им нынче непросто. «Автор,— сигнализируют они,— настойчиво проводит мысль, что будто Сталин, как демоническая личность, сумел противостоять естественным законам и потребностям социалистического строительства, свернуть страну с магистральной исторической дороги, добиться перерождения страны, в результате чего голос Революции „становится придавленным и еле слышным“» («Советская Россия»).

В былые времена никто б у них и пикнуть не посмел после этого, а нынче... Нынче вконец распоясавшаяся публика того и гляди потребует уточнить, каким таким «естественным законам и потребностям исторического строительства» отвечал массовый террор 1936—1938 годов? Или — в чьих «классовых интересах» был голод 1932—1933-го, явившийся безусловным следствием насильственной коллективизации?..

И как ей ответишь? С металлом в голосе потребуешь ясного понимания «того реального факта, подтвержденного ходом истории, что у партии не было иного выбора, другой альтернативы, кроме как в самые сжатые сроки буквально пробежать от отсталости к развитой индустрии и кооперированию сельского хозяйства, без чего была бы неминуема гибель революции»? Так ведь «не звучит» уже этот металл! Публика разве что усмехнется: «А вы,— скажет,— сначала мне докажите, что „буквально пробежать от отсталости к развитой индустрии и кооперированию сельского хозяйства“ нам удалось! Я, знаете ли, имею другие сведения».

И самое, по-моему, прекрасное, что она их действительно уже имеет! Сошлюсь хотя бы на статьи известных экономистов Г. Шмелева «Не сметь командовать!» («Октябрь», 1988, № 2) и О. Лациса «Проблема темпов в социалистическом строительстве» («Коммунист», 1987, № 18). В последней, например, собран фактический материал, неопровержимо свидетельствующий, что в 1932 году, когда первая пятилетка торжественно была объявлена выполненной, ни один из пятнадцати важнейших натуральных показателей даже так называемого «отправного» («минимального») варианта ее плана достигнут не был. Нам не просто не удалось «пробежаться» — авантюризм «большого скачка» 1929—1930 годов привел к такому положению, когда «оставалось либо свернуть индустриализацию, либо получить дополнительные ресурсы за счет увеличения изъятия средств из сельского хозяйства». Таким-то «изъятием» и стала ускоренная, насильственная коллективизация, поставившая к зиме 1932—1933 годов страну на грань хозяйственной катастрофы.

Добавлю, что все это имело еще — как минимум! — два опаснейших следствия. Именно в эти годы начинают набирать обороты: с одной стороны — кампания безудержного восхваления Сталина, превращения его в человека-бога; с другой — маховик искоренения «вредительства», одним из первых, «робких» еще, оборотов которого совсем не случайно стал процесс «Промпартии», грубо фальсифицированное судилище над разработчиками того («минимального») варианта пятилетнего плана, который и был единственно выполнимым! Понятно, что диктовалось все это желанием прикрыть хозяйственные провалы, дать им «выгодное» объяснение.

Но если «пробежать от отсталости к развитой индустрии» быстрее, чем предусматривалось «вредителями», нам не удалось, если попытка рывка принесла одни беды, а революция все-таки не погибла, то можно ли считать необходимость этого рывка «реальным фактом, подтвержденным ходом истории»? Может, здесь все-таки следует говорить не об исторической необходимости, а о трагических ошибках и даже о преступлениях? Хотя должен сказать, что и другая — крайняя точка зрения — будто бы в 1928—1929 годах у нас «произошел государственный переворот, подготовленный группой Сталина» — также, по-моему, неверна.

Почему неверна? Чтобы ответить почему, давайте вернемся еще к одному узлу споров вокруг «Дальше... дальше... дальше!». «Мы осуждаем,— пишут шатровские оппоненты,— также попытку представить драматичнейший момент в развитии нашего общества как бойкую возню политиканов...». Не совсем, правда, ясно, о чем это, о каком эпизоде пьесы: то ли о событиях 24 октября 1917 года, то ли о борьбе вокруг ленинского завещания. Но зато вполне ясно, что для наших профессионалов, «владеющих методикой исторического анализа», только «энтузиазм масс» может служить «свидетельством объективной потребности истории». Все прочее — всего лишь «бойкая возня», странным образом не имеющая серьезного значения даже тогда, когда ее результатом являются важнейшие политические решения.

Но — так ли это? Видел ли сам Ленин в спорах своих соратников столкновение амбиций и прочие «элементы случайного»? Безусловно! Но Ленин видел еще и иное. Выступая, например, в поддержку кандидатуры Л. Б. Каменева, он говорил:

«Присутствие т. Каменева очень важно, так как дискуссии, которые веду с ним, очень ценны. Убедив его, после трудностей, узнаешь, что этим самым преодолеваешь *те трудности, которые возникают в массах*» («Седьмая (апрельская) Всероссийская конференция РСДРП(б). Протоколы». ГИПЛ, 1958, с. 322. Курсив мой.— *В. К.*).

Как видим, в позициях своих товарищей Ленин умел видеть (и ценить) отражение настроений и интересов определенных сил, слоев рабочего движения, объективно существующих и отнюдь не случайных.

Замечу, что в пьесе Ленин так же (это, если хотите, и об оправданности некоторых шатровских допущений) смотрит на борьбу вокруг своего политического завещания. Жалобу Бухарина: «мы стали жертвами аппаратной закулисной борьбы...» — он отвергает: «Николай Иванович, не сводите все к этому. Это было бы слишком просто». Но эту вот — не случайную, отражающую не комбинацию личных интересов, а массовые социальные процессы,— сторону борьбы Шатрову полностью выявить все же не удалось. Возможно, потому, что действие пьесы слишком сосредоточено на событиях вокруг «Письма к съезду», на стараниях Зиновьева и Каменева сохранить Сталина на посту генсека. Но этими событиями борьба вокруг ленинского завещания отнюдь не исчерпывается. И чтобы пояснить свою мысль, я напомню другой ее эпизод, нашедший в пьесе лишь косвенное отражение.

23 января 1923 года Ленин закончил диктовать статью «Как нам реорганизовать Рабкрин (предложение XII съезду партии)». 25-го она появилась в «Правде». 27-го во все губкомы было направлено письмо Политбюро и Оргбюро ЦК (подписанное всеми — от Бухарина и Дзержинского до Троцкого), где сообщалось, что Ленину из-за переутомления не разрешено читать газеты, что он не принимает участия в заседаниях Политбюро и ему не посылаются протоколы... Цель ясна: приписать высказанные в статье идеи широкой демократизации центральных партучреждений не вождю, а его болезни. Она и была достигнута. В принятых XII съездом резолюциях по организационному вопросу и «О задачах РКИ и ЦКК» эти ленинские идеи оказались основательно выхолощенными.

Как Вы, несомненно, заметили, одна из подробностей этого эпизода — предложение отпечатать «Правду» с ленинскою статьей тиражом в один экземпляр лично для Ильича — мною опущена. Почему? Она свидетельствует лишь о нравственном уровне автора предложения — обстоятельство для истории сугубо случайное. Но можно ли весь этот эпизод понять лишь как «бойкую возню», как борьбу самолюбий? Не доказывает ли он, что, работая над своим завещанием, Ленин так далеко вырвался вперед в понимании грозящих стране и партии опасностей, что снова (в который раз!) остался в меньшинстве, если не в одиночестве. Возможностей же переубедить товарищей, преодолев тем самым и «трудности, которые возникают в массах», жизнь на сей раз ему не оставила.

Да, речь, на мой взгляд, должна идти именно о таких трудностях, ибо то «преувеличение администраторской стороны», которое В. И. Ленин с тревогой подмечал «у некоторых из наших товарищей, способных влиять на направление государственных дел решающим образом» (ПСС, т. 45, с. 351), было не только их личной особенностью, но и отражением «казарменных» тенденций в политическом сознании значительной части сторонников революции. Доказательств сколько угодно, поэтому приведу только одно — абзац из типичной газетной статьи тех лет: «При капитализме каждый рыскал по магазинам, разыскивал предметы широкого потребления... При власти Советов забота о распределении предметов широкого потребления уже не находится в ведении мозговой коробки отдельного потребителя, а соединена в ведении особого органа снабжения».

Сегодня не так-то просто это вообразить, но мечта о казарменном социализме была тогда очень сильна. Именно мечта! Впрочем, если вдуматься, здесь нет ничего удивительного. Идеалы не падают с неба, а вырастают из толщи предшествующей жизненной практики. Для многомиллионной крестьянской массы эта практика была полукрепостнической, многое, воспитанное внеэкономическим принуждением, еще не было изжито, и мечта о барине, который всех мудро рассудит, мечта о высшей справедливости, которая не в равном труде, а в равной дележке, запросто облачались в «социалистические слова», не меняя своей сути. Прибавьте сюда и колоссальное нетерпение тех, перед кем впервые открывалась перспектива исторического творчества.

Отражением этих реальных трудностей развития общества и была отчасти «верхушечная борьба» вокруг ленинского политического завещания. Отчасти, ибо в ней, конечно же, играли немалую роль и другие, в том числе случайные, личностные обстоятельства, которые так ярко и верно изображены М. Шатровым.

Но если бы... О, ненавидимое нашими историками слово! — если бы эти обстоятельства сложились по-иному, и Сталин был бы смещен с поста генсека — означало бы это победу над «казарменными» тенденциями революционного движения, на почве которых вырос отравленный плод сталинизма? Нет, с ними предстояла бы еще нелегкая борьба. Как, впрочем, и оставление Сталина на посту еще не предопределяло исхода этой борьбы.

В «Письме к съезду» личная характеристика Сталина — место, без сомнения, самое слабое. Думаю, что понять до конца, что это за человек, Владимир Ильич не успел. Но вспомните первую фразу «Письма»: «Я советовал бы очень предпринять на этом съезде ряд перемен в нашем политическом строе» (т. 45, с. 343). В *строе*, а не только на посту Генсека! «Тов. Сталин, сделавшись Генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть» (т. 45, с. 345) — вот что тревожит Ильича куда больше, нежели его личные свойства. Ибо слишком большая концентрация власти и создает положение, при котором личные недостатки «двух выдающихся вождей современного ЦК способны ненароком привести к расколу» (там же).

И здесь, Вадим Васильевич, по-моему, весьма кстати напомнить известное положение Г. В. Плеханова: «обусловленная организацией общества возможность общественного влияния личностей открывает дверь влиянию на исторические судьбы народов так называемых *случайностей*».

Вот ведь почему стремительная концентрация власти в сталинских руках так беспокоила Ильича — не потому что *именно в сталинских*, потому что в *одних*. И все его предложения о «ряде перемен в нашем политическом строе» были продиктованы стремлением застраховать судьбу революции от случайностей. Но обстоятельства (в том числе и случайные, личностные, но, разумеется, не только они) сложились так, что эти предложения приняты не были. Сталин остался на месте, и вся «необъятная власть» — в его руках. А это открыло дверь многим иным случайностям, благодаря которым, спустя немногим более десятилетия, фигура Сталина заняла исключительное место в массовом сознании, а «влиять на социальную психику — значит влиять на исторические события» (Плеханов). Вот почему не кажется мне верной версия о том, что в 1928—1929 годах у нас «произошел государственный переворот, подготовленный группой Сталина». Я вижу не один переворот, а целый ряд поворотов (начиная с 1923 года), каждый из которых есть плод сложного взаимодействия объективных тенденций развития и случайных обстоятельств, все возрастающего влияния отдельных личностей и гаснущего (но все еще мощного) — массовых настроений...

Как видите, я опять хитро вывел Вас к спору о роли личности в истории. Думаю, что это важная и очень своевременная тема. Знаете, читая иные статьи о «временах культа», я — вполне разделяя их пафос и с благодарностью впитывая новые факты — не могу отделаться от мысли: а не оказались ли мы по уровню понимания истории отброшенными... ну, скажем, во времена аббата Мабли, который писал о древней Спарте, что Ликург «спустился, так сказать, на дно сердца своих сограждан и подавил там зародыш любви к богатствам»?

Если вступительную ремарку к шатровской пьесе разбить на отдельные вопросы, то ответ на первый: «всегда ли голос Революции — чистый и мощный — звучал в полную силу?» — я бы сказал, уже очевиден: нет, не всегда. И «когда он становился придавленным и еле слышным» — мы тоже можем рассказать достаточно точно. А вот на вопрос: почему? — ответить нам гораздо сложней. На самый же трудный вопрос: «как мы давали заглушить его?» — мы фактически еще и не пытались ответить.

А отвечать надо. Рискнем?

С уважением **В. КАВТОРИН**

В. В. КАВТОРИНУ

Своим письмом, уважаемый Владимир Васильевич, Вы вторично обрекаете меня на роль оппонента-союзника, как выразился один из наших читателей. Роль не очень благодарная. Как оппонент я ощущаю себя шахматистом, играющим черными фигурами и заведомо лишенным инициативы. А раз я к тому же еще и союзник, то могу надеяться самое большее на ничейный исход нашей партии. Но поскольку я сам выбрал себе эту долю, то жаловаться на нее не пристало.

Несколько слов о полученных нами письмах.

Меня порадовали два обстоятельства.

Первое: подавляющее большинство тех, кто откликнулся на наш диалог, в основном поддерживает нашу позицию, хотя кое-кто добавляет свои соображения или высказывает возражения, порой очень интересные. Известно, что за письмо в газету или журнал чаще берутся для осуждения чего-либо, а не для поддержки. С учетом этого можно предположить, что и среди читателей в целом наши сторонники преобладают.

Второе: бросается в глаза, что немногочисленные письма наших, так сказать, противников прямо-таки напичканы бранью, политическими ярлыками и угрозами. То же отличает послания этой категории читателей, уже публиковавшиеся в печати. А ведь ругательства чаще всего раздаются там, где нет убедительных аргументов. Брань — признак слабости. И это тоже радует. Я не стал бы «страстность» и «запальчивость» этих

посланий связывать напрямую с публикацией «Советской Россией» пресловутой статьи за подписью Н. Андреевой. Просто духовное родство с «отцом народов» предполагает соответствующую психологию, находящую отражение в полемических приемах, в лексиконе, а также и в предлагаемых методах «переубеждения» инакомыслящих.

Когда я уже принялся писать Вам ответ, мне передали из редакции еще одно читательское письмо. Автор, В. Недашковский из Борисполя, приложил к нему пространную рукопись собственного сочинения, предъявляющую А. Рыбакову обвинение в клевете (на Сталина), за которую он достоин уголовного преследования. Клеветниками оказываемся, естественно, и мы с Вами, придавшие «своему черному делу вид невинной переписки». Не буду полемизировать с неопубликованной рукописью, коснусь в связи с ней лишь одного вопроса. Клеймя Рыбакова и других за поддержку ими предположения, что Сталин был вдохновителем убийства Кирова, читатель ссылается, в частности, на материалы процессов 1936—1938 годов и признания обвиняемых. Каждый раз, когда сталкиваешься с такими аргументами, невольно начинаешь негодовать. Ведь, кажется, уже более трех десятков лет мы знаем, что процессы фальсифицированы, что «признания» вынуждены. Как можно всерьез привлекать их в качестве аргумента?! Негодование справедливое. И все же...

В чем, собственно, можно упрекнуть В. Недашковского и его единомышленников? В том, что они верили недезавуированным официальным публикациям? Ведь получается любопытная картина. Приговоры на больших московских процессах отменены только несколько месяцев тому назад. Отказавшись от реабилитации Ягоды, многоопытные юристы из Верховного суда не заметили, что сделали нелепую логическую ошибку: фактически подтвердили существование мифического право-троцкистского блока, правда, состоящего теперь лишь из одного участника. Очистив Ягоду от вымышленных вин, можно было бы указать на действительные. Неоправданными, помоему, являются проволочки между юридической и партийной реабилитациями. Если человек был исключен из партии в связи с арестом и предъявлением ему необоснованных обвинений, то после их снятия рассмотрение вопроса о партийности должно было бы последовать без промедления. В свое время сообщалось о создании комиссии для расследования обстоятельств убийства Кирова. Каковы результаты ее работы? Кто знает это? Даже если она не пришла к определенному заключению, сам этот факт следовало бы довести до всеобщего сведения, а заодно и опубликовать собранные материалы. Так что до недавнего времени никто не мог отказать В. Недашковскому в праве потрясать стенограммами процессов в подтверждение унаследованной от Сталина версии убийства Кирова. А действительные его причины, даже если мы с Вами, как и многие другие, убеждены, что знаем их, пребывают все же пока в области гипотез. Нужен тщательный анализ всех сохранившихся материалов и документов. Но неоспоримо одно: убийство это сыграло в нашей истории роль крайне своевременного для Сталина «поджога рейхстага», которым он великолепно воспользовался.

И еще. Разве рискнула бы Н. Андреева (или тот, кто спрятался за ней) написать бесстыдную фразу о гипертрофированности «дежурной темы репрессий», да еще сослаться на свидетельство одного военного, ухитрившегося не заметить арестов, если бы были обнародованы точные (в той мере, в какой они могут быть точными) данные о числе невинных жертв сталинского террора? И не только обобщенные, но и дифференцированные: сколько коммунистов, сколько беспартийных, сколько рабочих, крестьян, интеллигентов, военнослужащих. Ведь такая публикация сразу же сняла бы множество вопросов, по поводу которых ломают копья ученые, публицисты, писатели, читатели, споря о том, что могло бы быть разрешено простым обнародованием фактов и цифр.

Конечно же, официальные публикации должны быть подкреплены их анализом. Если речь идет о реабилитациях, то прямо-таки необходимо обстоятельно и основательно раскрыть механизм подготовки и проведения открытых процессов. Чтобы не оставалось сомнений, чтобы была объяснена каждая деталь этого дьявольского механизма.

Знаю, что и после этого найдутся люди, которых ничем не убедишь. Таких и не нужно убеждать. Пусть остаются при своей вере. Но я уверен, что это будет исчезающее меньшинство. Предрассудки живучи, но не бессмертны. Перед лицом неопровержимых фактов здравый смысл не может, в конечном счете, не возобладать.

Возможно, что пока неповоротливая издательская машина донесет эти строки до читателей, кое-что из сказанного мной устареет: что-то будет решено, что-то опубликовано. Я первый буду этому рад. Но непреложным останется: те, от кого это зависело, опоздали, если начать отсчет от XX съезда КПСС, более чем на тридцать лет сказать народу всю правду до конца, и в этом — одна из причин путаницы в некоторых головах.

В своем письме Вы бросаете еще один камень в нашу историческую науку. Я этим тоже занимался и, в общем-то, не совершил бы большого греха, повторив вслед за Вами, что дела у нее плохи. Что есть, то есть. И нам всем, видно, придется еще подождать, прежде чем появятся труды по истории нашего общества, свободные от прежних болезней. Но хотел бы обратить Ваше внимание на другую сторону вопроса. Разве мы могли бы представить себе ход перестройки, нашу довольно прытко (хотя еще не очень прочно) вставшую на ноги гласность без статей, интервью, докладов, лекций историков Е. Амбарцумова, Ю. Афанасьева, Ю. Борисова, П. Волобуева, В. Данилова, И. Клямкина, В. Логинова, Н. Маслова, В. Наумова, Р. Медведева, В. Поликарпова, Ю. Полякова, А. Самсонова, да и многих других, кто пытался и пытается поскорее заполнить вакуум в осмыслении и освещении нашего многотрудного исторического пути? Вы скажете — это публицистика. Ну и что? Ведь в данном случае публицистика — авангардный отряд науки. Потом придут и солидные труды, которые, кстати, едва ли будут пользоваться таким всеобщим вниманием. А публицистику читают все. Она уже сейчас начала устранять «белые пятна». Под пером историков она приобретает научную основу и даже, как мы уже не раз убеждались, доводит до общего сведения неизвестные ранее документы. Итак, будем ждать исследований, документальных публикаций, учебников. Но будем и справедливы к тому, что уже делается сегодня.

Согласен с Вами, что нам сейчас не стоит возвращаться к «Детям Арбата». Что мы о романе думали, то уже сказали, а критические статьи, появившиеся позднее, не дают оснований для повторного возвращения к нему. Когда выйдет его продолжение, тогда, может быть, понадобится возобновить обмен мнениями.

Поэтому я готов вслед за Вами порассуждать о проблемах, поставленных в новой пьесе М. Шатрова — писателя своеобразной творческой судьбы. Так получилось, что читательское внимание сфокусировано не на всем его драматургическом творчестве, а на пьесах историко-политических, в центре которых стоит образ Ленина. Объясняется этот феномен, на мой взгляд, во-первых, запросами времени, повышенным интересом к судьбе Ленина и ленинского наследия, интересом, который датируется не только последними тремя годами, и, во-вторых, самостоятельным, нонконформистским, если можно так выразиться, подходом драматурга к трактовке образа Ленина. Такой подход столкнул пьесы Шатрова с трудностями и препятствиями на пути к читателю и зрителю. Он же вызвал не раз наблюдавшуюся мной и, признаться, меня удивлявшую стойкую неприязнь к драматургу со стороны части наших историков и «обществоведов». Оно и понятно: слишком сильно расходилось то, о чем писал Шатров, с тем, что преподносила общественности официальная наука.

Не раз приходилось читать и слышать, что Шатров превращает Ленина в «либерала». Не могу с этим согласиться. Его Ленин достаточно тверд, резок, непримирим к тому, что считает неправильным и вредным, решителен в поступках. Но при этом ему свойственны гуманность, широта взглядов, демократизм, отсутствие догматизма, уважение к товарищам. Смешно было бы ожидать от пьес Шатрова, да и любого другого автора, полного постижения фигуры такого масштаба, столь сложной и глубокой, какой был Ленин. Но его художественная версия не просто имеет право на литературную и сценическую жизнь, она куда значительней и убедительней, чем то, что годами предлагали нам другие драматурги. И не только драматурги... Некоторой слабостью Шатрова-художника мне представляется излишняя прикованность к документу. Иногда он несколько увлекается использованием раскавыченных цитат. Порой хотелось бы большей свободы с его стороны в обращении со своим героем, большей фантазии, что ли. Но, наверное, дело здесь не в писателе, а в том, что само наше общество еще не готово к свободному, раскованному отношению к фигуре Ленина. Если даже сейчас всякий норовит схватить Шатрова за руку и уличить в том, что он где-то не так «выдержанно» выразился от имени Ленина и других, то можно себе представить, какой разразился бы скандал, дай он полную волю воображению не только в разработке фабулы, но и в формулировании реплик действующих лиц.

Вы полагаете, что пьеса «Дальше... дальше... дальше!» скоро устареет, ибо обращена к уму читателя и «держится» лишь остротой и дискуссионностью поднятых в ней вопросов. Ваше утверждение, по меньшей мере, спорно. Конечно, пьесы Шатрова относятся к определенной разновидности драматургии — к тому, что когда-то именовалось «драмой идей». Такие драмы писал, например, Ф. Шиллер, и Маркс когда-то упрекал его за то, что он превращал «индивидуумы в простые рупоры духа времени» (Соч., т. 29, с. 484). Но «дух времени» давно отошел в прошлое. Мы его уже не улавливаем, а драмы Шиллера живы, потому что в них было и общечеловеческое, и общеисторическое начало, не говоря уж о блестящей художественной форме. Будущее покажет, в какой мере удалось Шатрову перешагнуть «дух времени». Нам трудно предугадать, как его слово отзовется на иных поколениях. Ваши предположения, пожалуй, могут оправдаться в отношении таких его пьес, как «Диктатура совести»

или «Так победим!», где публицистика выступает в обнаженном виде, а персонажи не индивидуализированы и превращены в своего рода символы определенных политических и нравственных позиций. Но, скажем, в «Шестом июля», или в «Брестском мире», или в «Дальше... дальше... дальше!» есть и живые человеческие характеры, и многомерные конфликты, да и сами идеи, казалось бы, крепко связанные с определенной эпохой, выходят, однако, далеко за ее пределы.

Полностью поддерживаю Вашу «критику критики» последней пьесы Шатрова. Действительно, ее трудно признать не только убедительной, но даже вполне квалифицированной. Ссылки на «методологию и методику» исторического исследования попросту смехотворны. Упаси нас господь от этой «методологии» и от этой «методики», долгие годы исправно служивших фальсификации истории. Ведь это же смеху подобно, когда все приходят в восторг от того, что в ряде справочных и иных изданий к 70-летию Октября появились некоторые «запретные» имена. До чего же мы докатились, что выполнение элементарного правила исторического исследования — учитывать все события и всех участвующих в нем людей — кажется нам чуть ли не подвигом. Я уж не говорю о том, что в этих изданиях, например, в энциклопедии «Великая Октябрьская социалистическая революция», имена-то появились, а все оценки остались старыми. По-прежнему вместо объективной характеристики деятелей революции дается перечисление их ошибок, и фактическая роль этих людей представлена однобоко и искаженно. Историкам не полагалось бы ждать решений Верховного суда, чтобы правдиво написать о том, что делали осужденные сталинской «юстицией» за два десятка лет до расправы над ними. Короче говоря, эта «методология и методика» завели нашу историческую науку в тупик (заставили даже временно отменить школьные экзамены по истории), и ссылаться на них я бы не стал. К подлинно научному марксистско-ленинскому исследованию они имеют весьма отдаленное отношение.

Зная, с кем приходится иметь дело, я сразу же оговорюсь, что в моих словах нет ни малейшего нигилизма касательно действительных достижений наших историков. Во-первых, сказанное относится главным образом к истории КПСС и советского общества. Во-вторых, в изучении частных проблем у нас было сделано и много полезного, хотя это полезное пробивалось к читателю с колоссальным трудом и с потерями. Не будем говорить о слишком далеких временах, в которых, правда, все берет начало. Но попечение М. Суслова, С. Трапезникова и иже с ними дорого обошлось нашим общественным наукам, а их числе истории. Вот мелкий, но характерный штрих. Даже наложенный Сталиным запрет на публикацию марксовой «Тайной дипломатической истории XVIII века», напечатанной во всем мире, кроме СССР, не был отменен. Хороши марксисты, подвергающие Маркса цензуре и запрещению! Вот она — «методология и методика» в действии. Пусть те, кому она мила, оставят ее при себе.

Позвольте в этой связи выразить недоумение по поводу одного пассажа в Вашем письме. «Зачем же подменять анализ произведения,— пишете Вы, обращаясь к критикам Шатрова,— разбором каких-то „взятых изолированно“ слов. Зачем вытаскивать на свет этот малопочтенный прием рапповской критики?» Почему же только рапповской, Владимир Васильевич? Всевозможное усечение, урезывание, кастрация документов, высказываний, сочинений, жонглирование «взятыми изолированно» фразами и даже отдельными словами было одной из неотъемлемых черт «методики», о которой идет речь. Без таких операций фальсификация истории была бы вряд ли возможна.

Что касается пьесы Шатрова, то против нее пущена в ход, как выразился один из его критиков, «азбучная истина марксизма», гласящая, что «объективная закономерность исторического развития... действует помимо воли и желания отдельных исторических лиц». Просто даже неловко напоминать другие «азбучные истины»: что историческая закономерность осуществляется только через деятельность людей, а значит, и отдельных лиц; что признание закономерности в истории не должно вести к фатализму, к своего рода мистической фетишизации предопределения, к отрицанию свободного выбора, к забвению диалектики необходимого и случайного, наконец, к отказу от политической и нравственной оценки исторических деятелей.

В XII веке на церковном соборе в Суассоне свободомыслящий философ Петр Абеляр попытался доказывать одно из высказанных им положений. Его обвинитель не пожелал слушать никаких доводов, заявив, что руководствоваться надлежит лишь «словами авторитета». Я вспоминаю этот эпизод каждый раз, когда приходится подтверждать свои слова нужными цитатами. А это, как Вы понимаете, случается нередко. Ибо восемь веков спустя мы также поставили себя в такое положение, что ссылка на авторитет ценится во много раз выше самых глубокомысленных соображений. По сему случаю я тоже приведу три цитаты.

Первая — из Энгельса, касающаяся «воли и желания отдельных лиц», о чем пишет критик Шатрова. Вот она: «...история делается таким образом, что конечный результат всегда получается от столкновений множества отдельных воль... Но из того обстоятельства, что воли отдельных людей, каждый из которых хочет того, к чему его влечет физическая конституция и внешние, в конечном счете экономические, обстоятельства (или его собственные, личные, или общесоциальные), что эти воли достигают не того, чего они хотят, но сливаются в нечто среднее, в одну общую равнодействующую,— из этого все же не следует заключать, что эти воли равны нулю. Наоборот, каждая воля участвует в равнодействующей и постольку включена в нее» (т. 37, с. 395—396). Если это так, то историк имеет право (более того, должен) изучать не просто закономерности, но и те самые «воли», которые творят историю, включая волю тех, кто, как говорит у Шатрова Свердлов, «стоит на капитанском мостике». Тем более это должен делать художник, который познает человечество и его историю через индивидуальные судьбы людей.

Вторая цитата — из Маркса: «... история носила бы очень мистический характер, если бы „случайности“ не играли никакой роли. Эти случайности входят, конечно, и сами составной частью в общий ход развития, уравновешиваясь другими случайностями. Но ускорение и замедление в сильной степени зависят от этих „случайностей“, среди которых фигурирует также и такой „случай“, как характер людей, стоящих вначале во главе движения» (т. 33, с. 175; слово «вначале» употреблено здесь потому, что разговор конкретно идет о начальном этапе борьбы в Париже, то есть о Парижской коммуне). Вы не улавливаете прямую перекличку с оценкой Лениным характера Сталина и его взаимоотношений с Троцким как мелочи, которая может получить решающее значение?

Напоследок третья цитата — из Ленина: «...при общей закономерности развития во всей всемирной истории нисколько не исключаются, а, напротив, предполагаются отдельные полосы развития, представляющие своеобразие либо формы, либо порядка этого развития» (т. 45, с. 379). Если это так, то нельзя любое историческое событие объявлять закономерным только потому, что оно фактически произошло. История допускает зигзаги и попятные движения, задержки в проявлении той или иной закономерности, которые, кстати, могут быть и результатом случайности. Реальное историческое развитие многосложно, оно не укладывается в прямолинейные схемы. И действие закономерности отнюдь не исключает альтернатив, в том числе и таких, которые, противореча закономерности, тем не менее на какое-то время побеждают. Конечно, каждое крупное историческое явление имеет под собой объективную почву. Но наличие ее вовсе не предопределяет с «железной необходимостью» его победу или поражение.

В самом деле, была ли закономерна победа фашизма в Германии в 1933 году? Думаю, даже самые фанатичные обожатели закономерности скажут, что нет. Фашизм опирался на определенные социальные слои. Ему благоприятствовали определенные объективные факторы, давно и хорошо изученные историками и социологами разных стран. И все-таки он мог бы и потерпеть поражение. Подвел субъективный фактор: отсутствие единства в рабочем движении и антифашистском лагере вообще, ошибочная политика Коминтерна и направляемой им компартии Германии по отношению к социал-демократам, крупнейшие политические промахи социал-демократии. И всюду мы сталкиваемся с отдельными личностями, совершавшими эти ошибки и промахи.

Признание закономерности общественного развития нельзя использовать как кнут для стимулирования исследования действий только лишь народных масс и как шлагбаум на пути изучения деятельности отдельных исторических лиц. Внимание к этим лицам вовсе не означает, по моему разумению, возврата к временам аббата Мабли, чего Вы опасаетесь. Всегда необходимо искать и находить правильное диалектическое соотношение между субъектами исторического процесса. Объяснять все влиянием отдельных личностей ненаучно. Но столь же ненаучно отрицать или преуменьшать это влияние.

Как же понимаю я смысл пьесы М. Шатрова?

Шатров, как все мыслящие граждане нашей страны, озабочен выяснением причин того, что партия и страна отошли от методов строительства социализма, которые были завещаны Лениным, а результате чего строящийся социализм подвергся серьезнейшим деформациям как в политической, так и в социально-экономической области. Драматурга волнуют те же вопросы, что и наших читателей и нас с Вами. Как случилось, что мы пришли при Сталине к своеобразной форме «казарменного социализма» с бюрократическим костяком и феодальными наростами? Как случилось, что оказалось расторгнутым то двуединство, которое провозгласили еще основоположники марксизма — социализм и демократия, что демократия была растоптана, что утвердился авторитарно-бюрократический и террористический режим личной власти, что народ, совершивший революцию, подвергся безжалостным репрессиям, масштабы которых превосходят все, что знает история нового времени? Как случилось, что только сейчас, через семьдесят лет после революции, народу и

партии приходится возрождать подлинные ценности социализма?

Из этой огромной проблемы, дать ответ на которую смогут лишь наука и искусство в их совокупности, Шатров взял для художественного исследования только одно звено. Исходя из того, что истоком наших бед является невыполнение так называемого завещания Ленина, включая оставление Сталина на посту Генерального секретаря ЦК, который он сумел превратить в ключевой, драматург пытается разобраться, как и почему это произошло. При этом он обращается к анализу взглядов, психологии и поступков тех людей, которые возглавляли тогда партию и от которых зависело роковое решение.

Вправе ли Шатров так поступить? Спрашиваю, имея в виду не просто право художника избирать для своего произведения тему — такое право не подлежит сомнению. Вправе ли — с точки зрения исторической обоснованности?

Думаю, что да.

И вот почему.

Анализ того, как складывался у нас так называемый культ личности (термин, как известно, весьма условный),— задача многоплановая. Я бы рискнул утверждать, что вскрыть объективную основу культа не столь уж сложно. Это, собственно, во многом уже сделано, в частности в недавних статьях историков-публицистов, упомянутых и не упомянутых мной, а также экономистов и философов. Они писали об отсталости России, наследии ее феодально-самодержавного прошлого, социально-психологических традициях и прочем — не буду повторяться (Вы об этом тоже немножко пишете). Но вот к чему мы по-настоящему еще не приступили — это к раскрытию механизма утверждения единоличной диктатуры Сталина и его возвеличения, достигшего границ обожествления. Тут уже действовали не столько объективные, сколько субъективные факторы. Особенно это очевидно, когда речь идет о культе в собственном смысле слова, то есть о прославлении. Культ этот отнюдь не был стихийным и не шел снизу. Его сознательно насаждала группа ближайших соратников Сталина в противовес авторитету его противников, которые при жизни Ленина были более известны и даже, как Троцкий, пользовались широкой популярностью. Условно можно обозначить веху утверждения этого культа — 1929 год, год пятидесятилетия Сталина, год появления работы Ворошилова «Сталин и Красная Армия», год «великого перелома». Впрочем, диктатура Сталина тогда еще в полной мере не установилась, и в последующие годы в руководящих партийных кругах несколько раз имели место безуспешные попытки сопротивления сталинскому диктату (С. Сырцов, В. Ломинадзе, Л. Шацкин, М. Рютин, А. Смирнов и другие).

Как шел этот процесс, известно лишь в общих чертах. Поэтому особого внимания историков, как мне кажется, заслуживает период, открывающийся смертью Ленина (или, вернее, его последней болезнью). А в этом периоде особенно важно изучить внутреннее развитие партии и ее руководящей верхушки. Для полного успеха изучения необходимы, конечно, архивы, до сих пор остававшиеся недоступными. Необходимо и тщательное исследование материалов, которые когда-то публиковались, но потом оказались за семью печатями.

Так вот, я полагаю, М. Шатров своими писательскими средствами как раз и решает обозначенную мной задачу — задачу крайней важности и поучительности.

Мне думается, что в 1922 году в партийном руководстве сложилась ситуация, которая была, к сожалению, достаточно типичной для тех бурных лет. В стране стал осуществляться нэп, охватывавший сферу экономики. Что же касается политической сферы, методов управления страной, они в общем изменились мало в сравнении с эпохой военного коммунизма. В дополнение к экономической реформе требовалась реформа политическая. И первым, кто подошел к пониманию этого, был Ленин. Его отчаянная война против бюрократизма, вторгавшегося в партийные и государственные структуры, привела его к мысли об изменении этих самых структур. То, что предложено Лениным в этом смысле в последних письмах, можно свести к одному слову, так часто звучащему теперь,— демократизация. Правда, развернутую платформу демократизации он дать не успел, сделанные им предложения представляли собой лишь первоначальные шаги в этом направлении, но само-то направление определилось четко. Изменение «политического строя», меры против сосредоточения «необъятной власти» в руках одного лица и вообще против положения, при котором судьбы партии зависят от соотношения сил в узкой руководящей верхушке (как противоядие задумано значительное расширение числа членов ЦК за счет рядовых рабочих и изменение состава и функций ЦКК—РКИ). Да и пафос ленинских рассуждений относительно «автономизации» и прав национальностей тоже теснейшим образом связан с идеей демократизации. Связано с ней и содержание его последних работ на социально-экономические темы.

Мы не знаем, были ли достаточны для предотвращения нависшей опасности меры, предложенные Лениным. Не знаем потому, что они по сути дела не были осуществлены. Произошло то, что с Лениным случалось не раз: его не понимали до конца даже ближайшие товарищи по борьбе, ему предстояло убедить их и увлечь за собой. Вероятно, он, как всегда, преодолел бы непонимание, если бы не болезнь и не смерть. По моему мнению, глубину непонимания в еще большей мере, чем сохранение Сталина на посту генсека, продемонстрировало отношение партийного руководства к статье «Как нам реорганизовать Рабкрин», о чем Вы пишете. Подумать только! Ленин излагает свои заветнейшие мысли, к которым пришел в итоге внимательнейшего анализа ситуации, а члены партийного руководства сначала не хотят печатать его статью, а потом, напечатав, дружно дезавуируют своим коллективным письмом партийным организациям. Просто страшно становится, если вдуматься в положение, в каком оказался, не подозревая этого, Ленин. Иначе, чем положение изоляции, его не назовешь.

В прошлые годы уже не раз случалось, что Ленин оказывался дальновидней и проницательней своих соратников. Достаточно вспомнить апрель 1917 года и Брестский мир. В обоих случаях ему удалось в острейшей полемике переломить ход событий, победить своих оппонентов и повести партию за собой. В 1923 году (и в 1924 — когда обсуждалось его «завещание») это не удалось, самые «судьбоносные» из советов и рекомендаций Ленина услышаны не были. Тем самым был заложен первый кирпич в фундамент будущей общенародной трагедии.

Вот Вам и роль личности в истории. Преуменьшайте ее, если хотите. Но для этого Вам придется закрыть глаза и заткнуть уши. Что и делает до сих пор кое-кто из историков и обществоведов.

Не знаю, согласится ли Шатров полностью с моими суждениями. По всей вероятности, наши воззрения близки. Но у меня есть и возражения ему.

Коллизию 1923 года драматург сопоставляет с тем, что произошло в 1917 году 24 октября. Расхождения в ЦК касательно методов и темпов развертывания восстания. Большинство не разделяет позиции Ленина. Явившись без разрешения ЦК в Смольный, Ленин берет руководство восстанием в свои руки, придает ему размах и динамизм, и восстание побеждает в соответствии с ленинскими предложениями.

Как композиционный прием сопоставление этих двух исторических эпизодов, вне сомнения, удачно и эффектно. Оно дает возможность писателю ввести в круг действующих лиц противников революции, в более широком плане рассмотреть ход исторического процесса. Но с точки зрения фактической это сопоставление кажется искусственным, притянутым за уши. Недаром именно к трактовке событий 24 октября обращаются и критики Шатрова. Я имею в виду, конечно, не придирки к отдельным неточностям, а попытки опровергнуть всю концепцию победы революции. Смею утверждать, что к этому времени обстоятельства сложились уже таким образом, что революция победила бы, даже если бы Ленин появился в Смольном позднее. Его приход придал революционной машине дополнительное ускорение, может быть, как Вы говорите, помог уменьшить степень риска и число жертв, но едва ли изменил ситуацию радикальным образом. В движение уже пришли массы, перевес революционных сил в Петрограде был подавляющим. Днем раньше или днем позже — Зимний дворец, а с ним и власть буржуазии должны были пасть. Вот почему неожиданное появление Ленина в Смольном не повлекло за собой никаких конфликтов и потрясений в руководящих органах партии.

Поэтому я не могу принять сравнения между вынужденным затворничеством Ленина в октябре 1917 года, с которым он покончил своим уходом в Смольный, и его же затворничеством в 1923 году, покончить с которым ему уже не было суждено. Сходство здесь лишь внешнее. Для сопоставлений по содержанию более был бы пригоден, скажем, апрель 1917 года. Другое дело, что он не дает такого богатого материала для разработки драматургического действия.

В остальном я присоединяюсь к тому, что Вы пишете о шатровской пьесе. Подвергну сомнению лишь две частности. Я не склонен упрекать Шатрова за то, что он не выявил ту сторону внутрипартийной борьбы, которая отражала «массовые социальные процессы». Согласен: выявление этого — одна из самых злободневных задач. Но не требуете ли Вы от драматурга слишком многого? Нельзя объять необъятного, да еще в одной пьесе. Не считаю правильным также говорить, что Ленин в письме к съезду назвал «*невозможные* кандидатуры» на пост генсека. Он вообще не затрагивал вопрос о кандидатурах.

Хочется добавить еще кое-что.

Я — с Шатровым, когда он говорит об антагонизме ленинской и сталинской политики, теории и практики, когда вкладывает в уста Ленину отказ вести со Сталиным товарищескую дискуссию.

Я — с ним, когда он не дает Сталину уйти со сцены, совершенно справедливо показывая этим, что сталинизм еще жив, что он не изгнан до конца из нашей жизни, что призыв Ленина «Дальше... дальше... дальше!» несет в себе и завет избавиться от сталинщины во всех ее проявлениях.

Но я вижу, вместе с тем, что труд драматурга отнюдь не завершает, а, наоборот, подталкивает, прямо-таки взывает

к исследованию переплетения причин и следствий, имевших такой трагический исход.

Возвращаясь к тому, что уже начал говорить выше об объективных и субъективных факторах, способствовавших победе Сталина и сталинщины, я признаюсь, что меня жгуче влекут загадки развития партии, именно *партии*, в 20—30-е годы. Ведь вспомним, что Ленин, отдавая себе отчет в реальном положении страны, связывал судьбу социалистической революции прежде всего с внутренней ситуацией в партии и в ее ядре — старой большевистской гвардии.

И тут у меня возникает множество вопросов — больших и малых, на которые я жду ответа и от ученых, и от литераторов.

Вот некоторые из них.

Я смотрю на хронологию съездов и вижу, что до 1925 года, до XIV съезда включительно, они созывались каждый год. А потом? XV съезд — через два года, XVI — через два с половиной, XVII — почти через четыре, XVIII — через пять после предыдущего. О XIX, который отделяют от предшествующего тринадцать с половиной лет, и говорить не стану, тут уж все ясно. Сопоставляю с действовавшими тогда уставами партии и вижу, что XV съезд задним числом утверждает практику созыва съездов не реже одного раза в два года. В уставе, принятом XVII съездом, сказано, что съезды должны созываться раз в три года. Это же сказано и в уставе, утвержденном XVIII (!) съездом. Таким образом, все эти годы имело место вопиющее нарушение положений устава о периодичности созыва съездов. Так почему же это принималось как должное? Впрочем, к XVIII съезду, состоявшемуся после сталинской кровавой бани, этот вопрос обращать наивно. Но до этого — что произошло с психологией, с принципиальностью партийцев? Когда старый большевик Н. Муралов на XV съезде протестовал против того, что съезд не собирался два года, к нему никто не захотел прислушаться. Его стали прерывать, а потом вообще не дали договорить речь до конца. Сталин же в свойственной ему хамской манере сказал в заключительном слове о выступлениях Муралова и Г. Евдокимова: «... да простит им аллах прегрешения их, ибо они сами не ведают, о чем болтают». Это очень развеселило делегатов. Что уж тут хлопотать о нарушении устава?!

Перечитываю предупреждения Ленина о недопустимости широко раскрывать двери в партию даже для рабочих, о необходимости строжайшего отбора и проверки всех желающих стать коммунистами. И задумываюсь — как согласуются с этими предупреждениями прославленный «ленинский призыв», удвоивший численность партии, и последующий быстрый рост партийных рядов? Какое влияние (не мифическое, а реальное) оказало это на духовное, на психологическое состояние партии? Вспоминаю рассказ одного старого большевика, что Сталина вскоре после его назначения генсеком стали иронически называть «фотографом»: он, дескать, снимает людей. И задаюсь вопросом: а кого же он снимал и кого назначал, кого и куда перемещал, ведь «необъятная власть» предоставляла широкие возможности? И как это повлияло на состав партийных органов, на состав съездов, на методы партийной работы?

Читаю стенограмму X съезда. Дискуссия по вопросу о профсоюзах. Острая, порой жесткая. Столкновение разных платформ. После победы «платформы десяти» следуют даже, как потом стали говорить, «оргвыводы»: частичное обновление состава ЦК, полное обновление Секретариата. Но при этом: каждый сказал, что хотел, каждого внимательно слушали, каждый мог внести предложение и даже собственную платформу. Сравниваю с полемикой на XIV съезде — в реакции на выступления оппозиционеров уже проявляются элементы нетерпимости: выкрики, реплики, шум; после выступления Каменева снимается с повестки дня его доклад. Но все это пока еще в известных рамках. Совсем другая атмосфера на XV съезде. Оппозиционерам попросту не дают говорить, прерывают чуть ли не на каждой фразе, сгоняют с трибуны, лишают слова. Когда же А. Рыков (Рыков!) оправдывает первые, еще непривычные, и предрекает последующие аресты сторонников оппозиции, зал взрывается аплодисментами. Что же такое случилось, откуда такое ожесточение, утрата товарищеского духа?

И в этой связи меня мучает вопрос о «противостоянии» Сталину, поставленный нашей читательницей Е. Окунцовой. Конечно же, дело обстояло не так просто, как это пытаются рисовать сталинские поклонники: все якобы Сталина любили и все перед ним преклонялись. Поголовная «любовь» была официально утвержденной нормой, подкрепленной неистовой резней и посеянным ею страхом. И хотя определенная, может быть, даже бо́льшая часть общества, восприняла эту норму, до любви поголовной дело всетаки не дошло. Но вот «противостояние» — что мы о нем знаем? И не пора ли нам, историкам и литераторам, заново разобраться в истории партийных оппозиций? Разобраться не по установкам «Краткого курса истории ВКП(б)», живучим, несмотря ни на что, и даже не по постановлениям, принимавшимся с целью разгрома оппозиций, а по существу. Что там было ошибочного, возможно, неприемлемого, а что — здравого? Допустим, что ошибочного больше. Но нет ли «рационального зерна» в том, что все оппозиции жаловались на утверждающийся в партии антиленинский, антидемократический режим, на непомерное усиление аппарата. Тогда эти обвинения отвергались как клеветнические, но мы-то теперь знаем, что режим действительно складывался, и знаем, к чему это привело.

Читаю пророческие предостережения Каменева из его выступления на XIV съезде: «Мы против того, чтобы создавать теорию „вождя“, мы против того, чтобы делать „вождя“... Я пришел к убеждению, что тов. Сталин не может выполнить роли объединителя большевистского штаба... Мы против теории единоличия, мы против того, чтобы создавать вождя!» Реакция зала — шумные протесты, обвинения, крики, среди которых звучат и возгласы, через несколько лет сделавшиеся ритуальными: «Да здравствует тов. Сталин!!!» Делегаты съезда в своем большинстве были впоследствии убиты тем, кому они возглашали здравицу. Так, может, не во всем были неправы представители оппозиции? Неужели через шестьдесят лет нельзя в этом разобраться объективно, без предвзятости?

В объективном и непредвзятом отношении нуждаются все, в том числе, кстати, и Троцкий. В сегодняшних дискуссиях прозвучали не лишенные оснований сомнения по поводу утвердившейся версии, что он якобы претендовал на лидерство в партии (см. беседу с Ю. Борисовым в «Комсомольской правде» от 2 апреля 1988 года). Раз так, то лишаются реальной основы все толки о том, что приходилось выбирать между Сталиным и Троцким. Некоторые авторы, поддерживающие эти толки, начинают доказывать, что Троцкий был бы хуже Сталина. По правде говоря, мне трудно представить, что кто-либо мог быть хуже Сталина. Но суть не в этом. Суть в том, что такие разговоры базируются фактически на предпосылке, будто бы партии и стране нужен был единоличный «вождь». А на самом деле им нужно было подлинно коллективное демократическое руководство. Им нужна была социалистическая демократизация. Она одна могла бы спасти партию и страну от «командно-административной системы» и от ужасов сталинского террора.

Неверно, что все объективные обстоятельства работали против демократии и на пользу «казарменного социализма» и культа личности. В народе, в особенности в рабочем классе, в ходе трех революций, одним из главных лозунгов которых был лозунг свободы, уже зародились и развивались демократические традиции. Что такие традиции утвердились в партии, вопреки ее подпольному прошлому и командной практике военного коммунизма, доказывают все съезды и конференции ленинских времен — центральные и местные. Но, конечно, фактом была вековая отсталость и отсутствие демократических навыков у основной массы населения. Как в этих условиях должны были бы вести себя подлинно пролетарские, марксистско-ленинские лидеры? Маркс, критикуя в 1869 году лассальянские профсоюзы за чрезмерную централизацию, заметил, что в Германии, «где рабочий с детских лет живет в атмосфере бюрократической регламентации и верит в авторитеты, в начальство», «его нужно прежде всего приучать к *самостоятельности*» (т. 32, с. 476). Очевидно, и в России, только что вырвавшейся из самодержавных пут, рабочих и крестьян нужно было приучать к «самостоятельности», к демократии. Сталин же при помощи своего окружения паразитировал на отсталости, поставил ее себе на службу и создал собственное, мнимосоциалистическое самодержавие.

Объясните мне, Владимир Васильевич, что за муха тщеславия укусила пролетарских «вождей», понудив их присваивать свои имена старым русским и нерусским городам? Уже в 20-е годы на карте СССР появились Зиновьевск, Сталино, Сталинград, Сталинабад, Днепропетровск... Среди них затесался и маленький Троцк — бывшая и нынешняя Гатчина. Очень лестно, должно быть, было А. Микояну услышать тридцати четырех лет от роду о рождении города Микоян-Шахара. Говорят, что переименования стоят больших денег. Видно, тогда их не жалели. Что уж тут толковать об улицах, фабриках, колхозах, клубах и прочей мелочи! О глупой привычке прицеплять ко всему фамилию вождя писал еще Маяковский. И все это считалось нормальным. А ведь раньше, если не ошибаюсь, только монархи божьей милостью позволяли себе иногда нарушать святое правило: памятники при жизни не ставятся, города в честь живых людей не называются.

Увлекательнейшей задачей для большого художника (да и для историка, разумеется) мне кажется воспроизведение процесса психологического перерождения честного революционера-большевика в сталинского приспешника — процесса, затронувшего немалое число людей, переживших и не переживших 30-е годы. Возьмем опять-таки «частный» и далеко не самый страшный эпизод. Какие сдвиги должны были произойти в моральном облике председателя счетной комиссии XVII съезда В. Затонского, чтобы он, обнаружив, что почти три сотни делегатов проголосовали против Сталина, не зафиксировал это в протоколе и не огласил, как полагается, на заседании, а побежал консультироваться к Кагано-

вичу? А потом безропотно выполнил переданное через Кагановича распоряжение Сталина сохранить только три бюллетеня, а остальные уничтожить. Но оставим Затонского. Свой проступок он через несколько лет оплатил жизнью. А сколько подобных ему продолжало жить и, как об этом писал Раскольников, шагать по лужам крови вчерашних товарищей и друзей? Это было глубокое нравственное падение, не мешавшее, впрочем, многим добросовестно и даже самоотверженно работать на порученном им участке. До сих пор литература только-только прикоснулась к этой теме, да и то в ее периферийных сферах (в «Новом назначении» А. Бека, например). Думается, здесь возникают проблемы, достойные пера Шекспира и Достоевского. И, возможно, даже, гораздо более интересные, чем воплощение образа Сталина. Ибо Сталин, судя по всему, честным революционером не был никогда и лишь выявлял постепенно свои качества уголовно-политического преступника.

Думаю, мы не совсем удовлетворили тех читателей, кто ожидал от нас рассмотрения альтернативных путей развития нашего общества, а также проблем современной эпохи. Но мы ведь пишем не специальное историческое или социологическое исследование, а размышляем о том, как история отразилась в литературном произведении. Правда, Шатров затрагивает проблему альтернативы, живописуя спор Сталина с Бухариным. Мне показалось, что этот эпизод не принадлежит к числу удавшихся драматургу. Охотно допускаю, что я ошибаюсь, но субъективно у меня осталось ощущение, что Шатров очень хорошо знает аргументацию Сталина и несколько поверхностно — доводы Бухарина. А между тем, если в послеленинский период возникла разумная альтернатива сталинскому курсу, то это как раз платформа так называемых «правых». Она нуждается в серьезнейшем анализе. Пока что его не было. Более поздние несостоявшиеся альтернативы, связываемые, например, с именем Кирова, сулили, по-видимому, либерализацию режима без существенных изменений в общей политической линии. Хотя, конечно, сам факт устранения Сталина мог бы привести к возрождению нормальной идейной жизни в партии и появлению альтернативных предложений. Ведь деформации сталинских времен заключались также и в том, что представители разгромленных оппозиций были обязаны «разоружиться перед партией», «склонить голову», «встать на колени» (так прямо и говорилось), отказаться от своих взглядов, публично их заклеймить. Поэтому и Бухарину, и Рыкову, и другим в 30-е годы ничего не оставалось, кроме публичных покаяний и лояльного выполнения приказов. А сталинский государственный переворот середины 30-х годов (я согласен с Вами, что в 1928—1929 годах переворота как такового не было, а был поворот в политике; и вообще я не стал бы относить переворот к какому-то одному году: он был протяженным во времени) — этот государственный переворот исключил всякую возможность альтернатив. Тогда, видимо, завершилось и создание основ специфически сталинской модели экономики, столпами которой стали тотальное ограбление деревни и принудительный труд заключенных.

Кажется, в своих рассуждениях я отвлекался от непосредственного предмета нашего разговора. Хотя что значит — отвлекался? Есть ведь такое понятие — связь времен. И мы не расчистим путь в будущее, пока не будут убраны завалы, накопившиеся в прошлом. Что же до шатровской пьесы, то она и рассчитана на такие «отвлечения». Очень хорошо, что она написана и что вызвала столь бурную дискуссию. Это полезно и для литературы, и для истории, и для всех, кто озабочен прошлыми и будущими судьбами отечества.

С уважением **В. ЧУБИНСКИЙ**

В. В. ЧУБИНСКОМУ

Ни капли не смутило меня, Вадим Васильевич, то, что мы с Вами разошлись в оценке некоторых особенностей творчества М. Шатрова и будущей сценической судьбы его последней пьесы. Дело это вкуса, интуиции — тут можно помириться хотя бы на том, что вот проживем мы еще лет пять-десять и увидим, кто же был прав.

Поспорить хотелось бы мне о другом. Вот Вы пишете: «внимание к этим лицам («тем, кто на капитанском мостике». — *В. К.*) вовсе не означает по моему разумению возврата к временам аббата Мабли...». И далее: «самые судьбоносные из советов и рекомендаций Ленина услышаны не были. Тем самым был заложен первый кирпич в фундамент будущей общенародной трагедии. Вот Вам и роль личности в истории. Преуменьшайте ее, если хотите...»

Но я-то, Вадим Васильевич, писал, что ко временам аббата Мабли отбрасывает нас не внимание к «тем, кто на капитанском мостике» (оно, ох, как необходимо!), а уровень понимания истории, в иных недавних публикациях нам явленный. Уровень, при котором история страны оказывается объяснимой волей и замыслом одного человека. И не преуменьшать (или преувеличивать) роль личности в истории мне бы хотелось, а понять законы, согласно которым она проявляется.

Вообще-то, стоит у нас заговорить о роли личности в истории, как тут же всплывает имя Сталина: роль-де генсека была столь громадна, что ни в какие законы не вписывалась! И надо эти законы пересмотреть... Но — так ли? Конечно, если из того же Плеханова вспоминать только одну фразу: личность, мол, определяет «индивидуальную физиономию событий и некоторые частные их последствия»,— то и говорить тут нечего: роль не только Сталина, но и, скажем, Хрущева или Брежнева безмерно далеко выходит за эти рамки...

Но согласитесь, Вадим Васильевич, что говорить о *законах* истории можно только тогда, когда они *едины для всех*, для любой личности: и для Сталина и, скажем, для Саши Панкратова (если вспомнить роман А. Рыбакова). Такие законы давным-давно открыты классиками марксизма — о них я и говорил, цитируя Плеханова. И мне кажется, что в силу какой-то странной аберрации зрения мы долго склонны были видеть *недостаточность этих законов* там, где сталкивались по сути с *недостатком нашего политического строя*, позволявшего сосредоточить в одних руках не только максимум власти, но и максимум влияния на умы и социальную психику.

Впрочем, Вы говорите о роли личности в связи с Лениным, его влиянием... Тут дело, конечно, иное. Но давайте задумаемся: почему именно он оказывался победителем в тех спорах вокруг Апрельских тезисов или Брестского мира, о которых Вы говорите? Только ли силе его доводов, его волевому напору и обаянию его личности уступали оппоненты? Разве не обнаруживалось в этих случаях (и довольно скоро), что именно ленинская точка зрения имеет наибольшую опору в массах, самую прочную корневую связь со зреющими там настроениями и интересами? И не под давлением ли еще и снизу, из массы, меняли свою точку зрения другие руководители партии? Как это прекрасно показано у того же М. Шатрова в его «Брестском мире»...

Кстати говоря, и после смерти Ленина (то есть в условиях, когда непосредственное влияние его личности, силы его убеждений было исключено) идеи его получали все возрастающую поддержку. Дзержинский, Рыков, Томский, Бухарин — все они не поняли и не приняли поначалу идей его политического завещания, но они же все так или иначе заплатили потом жизнью за их защиту. Так что сила Ленина как мыслителя и политика была именно в его чуткости к народной жизни, умении угадать действительные ее потребности и тенденции развития.

А сталинизм — имел ли он свою опору в сознании масс? Да, имел. Характерно, что постоянной заботой Сталина было изменение социального состава партии, расширение в ней именно того слоя пришедших из деревни «полурабочих», в которых Ленин видел как раз источник неустойчивости партии. «Детская болезнь» безудержной левизны и псевдореволюционного нетерпения шла именно из этой среды.

Но эта опора сталинских идей и метода была не только слишком узкой и зыбкой, но и стремительно сужающейся, отчего и входила власть сталинской группировки во все более ожесточенное противоречие с жизнью страны. И думается, невозможно понять по-настоящему историю нашего общества, не приняв в расчет это трагическое противоречие.

Знаете, на меня тоже произвело большое впечатление упоминаемое Вами письмо Е. Окунцовой из Новосибирска: «...я заявляю, что в стране было великое сопротивление Сталину!» Мы знаем о таком сопротивлении (да и то очень смутно) лишь в верхних этажах партийного и государственного руководства. А внизу, в толще народа? Е. Окунцова уверена: «очевидно, что было много тайных обществ сопротивленцев. Разве случайно, что только мне лично известны два таких, которые были разгромлены...». Наверное, не это все же было самой характерной формой противостояния режиму, да и вообще единичное свидетельство немного дает для понимания массовых процессов, но все-таки...

Вот, например, перед каким вопросом останавливается в недоумении известнейший наш социолог И. Бестужев-Лада. «Ясно,— пишет он,— что масштабы террора во много раз превосходили все необходимое для упрочения положения Сталина после провалов 1929—1933 гг. Иными словами были во всех отношениях иррациональными (в том числе с точки зрения личных интересов Сталина). Почему же он все-таки допустил такое?..» И далее: «почему динамика террора 1935—1953 гг. оказалась такой, какой мы видим ее в исторической действительности со всеми ее „всплесками“, „пиками“ (1937 г.), „волнами“ и т. д.?»

Так вот, не кажется ли Вам, Вадим Васильевич, что все это загадочно и иррационально только до тех пор, пока мы думаем, что Сталин, подобно Ликургу аббата Мабли, «спустился, так сказать, на дно сердца своих сограждан и подавил там» любовь к свободе и человечность, после чего история развивалась уже в полном соответствии с его замыслом... Но стоит нам отказаться от представлений о полностью управляемом, подчиненном единой воле обществе, стоит признать возможность и право самостоятельного (хоть и не всегда осознанного) исторического действия всех социальных сил (хотя бы тех, к примеру, «сопротивленцев»,

на наличие которых в тридцатые годы указывает Е. Окунцова), стоит увидеть сужающуюся, ускользающую из-под ног опору режима, как все «волны» и «пики» террора станут делом вполне объяснимым. Хотя, разумеется, объяснимым не с точки зрения личных интересов Сталина, а как результат взаимодействия разнонаправленных сил. И тогда окажется: усилия и жертвы борцов против сталинщины или брежневщины были вовсе не бесполезны и не бессмысленны, ибо не было бы без них ни 56-го, ни 85-го. Да, и нынешняя демократизация не только подарена сверху, но и завоевана снизу.

И тут, с Вашего позволения, Вадим Васильевич, я хотел бы вернуться к вопросу Н. Рабкиной: «какой строй был создан у нас в 30-е годы?». Да, Сталин хотел создать именно «казарменный социализм», но это не было принято большинством народа (в основном бессознательно, но многими и вполне осознанно). И потому ни мощнейший репрессивный аппарат, ни тотальное давление на народное самосознание («культ личности»!) не принесли ему окончательной, полной победы...

И «пути преодоления элементов „казарменного социализма“ в современную эпоху» (вопрос А. Кочеткова) — это, по-моему, прежде всего пути возвышения человеческой личности, ее раскрепощения, расширении ее роли в общественной жизни, в историческом творчестве, неуклонной защиты ее прав. Чрезмерное сосредоточение власти и идеологического влияния в одних руках слишком широко открывает дверь для разного рода «исторических случайностей». Чем большее число личностей будет иметь возможность реально влиять на дела общества и государства — тем надежнее будут гарантии правильного и безболезненного решения стоящих перед обществом проблем, тем быстрее станет наше движение к подлинному социализму.

Вот такие бы я предложил ответы на вопросы наших читателей. А Вы? Согласны ли Вы с ними?

С уважением **В. КАВТОРИН**

В. В. КАВТОРИНУ

Не вижу смысла, Владимир Васильевич, продолжать наш спор о роли личности в истории. Несмотря на различия в некоторых оттенках мысли, мы с Вами в существе придерживаемся примерно одного мнения.

Лучше поясню, почему я так подробно останавливался на вопросе о закономерности исторического процесса и в этой связи о роли личности. Потому, что в нашей публицистике и критике последних лет (безотносительно к пьесе Шатрова) наметилась неправильная, на мой взгляд, тенденция изображать дело таким образом, словно мы должны были обязательно пройти через период культа личности со всеми его свойствами и последствиями, словно иного выхода у нас не было. Среди сторонников этой концепции есть и антисталинисты, с фаталистической меланхоличностью осуждающие преступления «вождя народов», но по сути признающие их неизбежность. Есть, наоборот, и те, кто ищет в рассуждениях о закономерности лазейку к оправданию Сталина. И те, и другие рисуют мрачную картину уровня общественного сознания в нашей стране, не оставлявшего якобы выбора. О своем несогласии с этим я уже написал.

Есть и еще один аргумент «в пользу» Сталина. Он, дескать, действовал не один, нельзя все валить на него. Конечно же, не один, и перед судом истории придется ответить всем тем, кто был рядом с ним и участвовал в преступлениях. Но он — главарь, атаман, лицо, несущее главную политическую, нравственную, да и юридическую ответственность. Судебный процесс над ним и его сообщниками, хотя бы и посмертный, был бы только актом высшей справедливости.

В. Кожинов в «Нашем современнике», облачившись в кольчугу неординарной, хотя и весьма избирательной, эрудиции, именует культ Сталина громадным явлением всемирной истории. В доказательство он ссылается на фимиам, который курили Сталину крупные зарубежные писатели и виднейшие деятели мирового революционного движения. В. Кожинов абсолютно, стопроцентно прав, но лишь в констатации факта, а не в его объяснении. Похвалы, которые расточали Сталину зарубежные деятели, отнюдь не являются свидетельством *необходимости* появления Сталина, как утверждает В. Кожинов. Это — свидетельство огромного авторитета (культа, если хотите, но в хорошем смысле слова) Октябрьской революции, Советского Союза, партии большевиков. Коль скоро почитаемые ими страна и партия провозглашали Сталина своим героем и великим лидером, прогрессивные деятели культуры (многие из которых о реальных условиях жизни в стране знали мало, а что знали — получали из наших рук) переносили свое восхищение на него. В еще большей степени это относится к зарубежным коммунистам (великим вождем называли Сталина на XVII съезде все выступавшие там гости, а вовсе не одна Долорес Ибаррури, как утверждает В. Кожинов). Но высокоэрудированный автор «Нашего современника» забывает сказать, что к началу 40-х годов завоеванный нашим народом авторитет был бессовестно растрачен Сталиным и его подручными в результате известных всем действий внутри страны и на международной арене, многие симпатизировавшие нам люди отвернулись от нас, престиж компартий в западных странах упал, как никогда. Только решающий вклад советского народа в войну и победу над фашизмом и ведущая роль коммунистов в движении Сопротивления вернули нам и нашим зарубежным товарищам былой авторитет и даже умножили его. А так как руководителем борющегося Советского Союза был Сталин, и он же был провозглашен творцом победы, то его культ снова стал «явлением всемирной истории». Можно сказать, что этот культ питался плодами народных свершений.

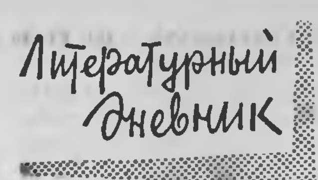
Не является аргументом в пользу исторической «необходимости» авторитарного, культового режима и тот факт, что его аналоги возникали и в странах народной демократии. Нужно ли сейчас доказывать, что там насаждалась утвердившаяся у нас модель партии и государства? Там она так же обанкротилась, как и у нас.

Теперь о «сопротивленцах». Для меня несомненно, что далеко не все граждане нашей страны восторгались прелестями сталинских кнута и топора, в особенности когда те начали стегать и рубить правого и виноватого. Что касается 40-х годов и позже, то тогда я сам слышал немало выражений недовольства, возмущения, недоумения. И в годы 30-е, вероятно, звучали, не могли не звучать речи протеста и негодования, прежде всего в самых активных в политическом отношении кругах (хотя, как мы уже говорили при обсуждении «Детей Арбата», значительная часть этих кругов послушно участвовала в репрессиях, пока сама не становилась их жертвой). Но не будем впадать в преувеличения. Исторический опыт всех стран показывает, что в условиях тотального террора сколько-нибудь реальное сопротивление режиму почти невозможно. В этих условиях даже мысль и слово становятся акцией, которую следует ценить.

И последнее. С удивлением прочитал у Вас: «Да, Сталин хотел создать именно „казарменный социализм“, но это не было принято большинством народа...» И потому, продолжаете Вы, он не одержал окончательной, полной победы. На определенном этапе одержал, Владимир Васильевич, если не окончательную в исторической перспективе, то в достаточной мере полную, как это ни горько. Иначе бы щупальца его не опутывали наше общество на протяжении десятилетий, и на семидесятом году Советской власти нам не пришлось бы осуществлять революционную перестройку, возрождая идеалы Октябрьской революции, идеалы Ленина, возвышая и раскрепощая человеческую личность, о чем Вы справедливо пишете.

Вот теперь мы можем сказать, что историческая закономерность в конечном счете вступила в свои права.

С уважением **В. ЧУБИНСКИЙ**



Андрей АРЬЕВ

НЕ «БЛАГОДАРЯ», А «ВОПРЕКИ»...

Мало что так противно настоящей культуре, как самохвальство, всегда связанное с утверждением собственного достоинства за счет унижения чужого. Но не зазорно кое-что вспомнить из не нами сказанных слов. Тонио Крегер, молодой поэт, один из любимых героев Томаса Манна, назвал русскую литературу «достойной преклонения» и «святой». Определение это согласно с чувствами самого писателя и с представлениями многих и многих читателей на Западе и на Востоке. Правда, относится оно к прошлому веку, а применительно к нынешнему из употребления, кажется, вышло...

Со святостью ассоциировалась сама трагическая судьба многих русских художников. Судьба, о которой в чеканных, «тяжелозвонких» стихах на смерть Александра Блока и Николая Гумилева писал в 1922 году Максимилиан Волошин:

> Темен жребий русского поэта:
> Неисповедимый рок ведет
> Пушкина под дуло пистолета,
> Достоевского на эшафот.

Эти строчки из цикла «Усобица» дошли до читателя через 66 лет — непотускневшими. Правда, в «Новом мире» (1988, № 2), помимо информативно емкого предисловия к ним А. В. Лаврова, они зачем-то сопровождены еще и анонимной врезкой. Редакция журнала явно решила «оградить» публикацию от «ложных толкований». Но даже из благих побуждений опрометчиво уверять, что в твердой и неизменной позиции Волошина во все годы «русской усобицы» «...отразилось смятение русского интеллигента перед лицом грозных и величественных исторических событий». Этот вымученный адвокатский тон вольно или невольно унижает и самого поэта и его стихи. А вместе с тем и ту духовно-художественную традицию, которой цикл Волошина обязан своей крепостью. Традицию Пушкина, Достоевского, Толстого, благодаря творческим деяниям которых, в не меньшей степени, чем благодаря их мучительным жизням, русская литература для всего мира приобрела ореол святости.

Есть приписываемое Екатерине II знаменитое изречение: «победителей не судят». Пафос русских писателей, начиная с Пушкина, был противоположным: «не судят побежденных».

В финале «Капитанской дочки» Маша Миронова отправлена автором просить перед императрицей за «бунтовщика» Гринева как раз а то место царскосельского парка, где Николай I ждал известия о казни 13 июля 1826 года. В высшей степени справедлива гипотеза, что сделано это сознательно: императору ставилось в пример милосердие его бабушки...

Пушкин, разумеется, прекрасно понимал, что изящная словесность и практический результат в действительности разведены далеко, и что понятие о нравственности не есть еще понятие о художественности. Но в одном решающем случае основания нравственности и основания искусства у него, как и у всех писателей, кому дорого пушкинское духовное наследие, совпадали всегда: «и долго буду тем любезен я народу, что... милость к падшим призывал».

Сейчас мы говорим даже не о *падших*, но о *павших*.

Совсем не «над схваткой» стоял, как нас пытаются уверить, Волошин. Его стихи выражают живую и неугасимую суть русской художественной традиции:

> А я стою один меж них
> В ревущем пламени и дыме
> И всеми силами своими
> Молюсь за тех и за других.

Три стихотворения Волошина из «Нового мира» представляются мне самой значительной из поэтических подборок первых номеров журналов за 1988 год.

«Темный жребий», как мы теперь хорошо знаем, не раз и не два художники вынимали и в XX веке. В том числе наши современники, или же те, кто, подобно Юрию Домбровскому, ушли из жизни недавно.

В «Юности» (1988, № 2) напечатаны лагерные стихи этого замечательного прозаика. Те, что, как пишет составитель подборки К. Турумова-Домбровская, «...он читал... вслух в особые минуты доверия. Но никогда не пытался публиковать».

Домбровскому пришлось увидеть то, чего не видел и Волошин, то, что никакой классовой борьбой не объяснишь (но что изуверски пытались обосновать тезисом «об обострении классовой борьбы» по мере приближения к социализму):

> Кровь и снег.
> И на сбившемся снеге
> Труп, согнувшийся в колесо.
> Это кто-то убит «при побеге»,
> Это просто убили — и все!

Кавычки эти снять уже никому не удастся. Навсегда застывает в памяти эта картина, эта страшная правда о гибели ни в чем не повинных людей: *«Это просто убили — и все!»*

В стихотворении «Солдат — заключенной» эти слова — нагая правда, не отличимая в это мгновение от вопля не имеющего доводов к оправданию охранника. И Домбровский тоже полагал, что их — нет. Не стоит давать надежды палачам на некую благостную инстанцию. В наше время грехов не отпускают. Их только покрывают.

Не следует ли из этого, что Домбровский от обозначенной выше духовной традиции отказывается? Нет. Но пережитое им слишком не соответствовало тому, что писатели XIX века могли ощутить преимущественно в умозрении. На вопрос о «прощении» и «заступничестве» есть ответ и у Домбровского. Жесткий ответ, но не обойденный. Не в благостную инстанцию верил он — в «инстанцию внутренней кары». Так им трактовалась «совесть». Вот что имеет право сказать «парижанке, нумерованной каторжанке» его солдат на вышке:

> Только я, став слепым и горбатым,
> Отпущу всем уродством своим —
> Тех, кто молча стоит с автоматом
> Над поруганным детством твоим.

Фантастически колеблются в XX веке весы добра и зла, правды и лжи, декларированной свободы и въяве осязаемого рабства... Не замечают этого преимущественно те, кому выгодно не замечать, да те, кто страшится что-либо заметить... А тем, кто, как Домбровский, оказался «вдали от человечьих нор и гнезд» средя «крестов таежного погоста», глаза открылись пораньше, чем у жителей столицы:

> А что, когда положат на весы
> Всех тех, кто не дожили, не допели?
> В тайге ходили, черный камень ели...
> ..А что, когда положат на весы
> Орлиный взор, геройские усы
> И звезды на фельдмаршальской
> шинели?

И положили. Пришло время. Только мы эти «усы» и видели: недолгое время после смерти их владельца — на столе у Константина Симонова, как он сам поведал в записках «Глазами человека моего поколения» («Знамя», 1988, № 4), да еще через десяток лет — на заляпанных ветровых стеклах машин. Впрочем, и эти портретики, как заметил Владимир Амлинский в политическом эссе «На заброшенных гробницах...» («Юность», 1988, № 3), «...были не только хвалой, одобрением и воспоминанием, но и вызовом». Понятно, кому он был сделан. «Новоявленному маршалу».

Однако какие бы эмоции ни провоцировались изображением вождя, они — «звук пустой» по сравнению с той не выставляемой напоказ системой неконтролируемой власти, которую он создавал всю жизнь и которую можно расценивать его «политическим завещанием».

Даже если допустить, что Сталин и на самом деле хотел «облагодетельствовать» свое отечество, то делалось это так, как не снилось ни Ивану Грозному, ни Петру Великому, о котором как-то со снисходительной лаской вождь обронил: «не дорубил Петруха!».

Психологических преград, нравственного тормоза он не знал: «подданных» своих попросту презирал, а тех, кого не презирал, уничтожал. Обладая душевным складом типичного заговорщика, он всю жизнь подозревал (и, разумеется, обнаруживал) «вражеские козни». Перманентное преступление — как иначе можно назвать деятельность человека, физически устранявшего долгие годы всех партийных соратников, когда-либо и где-либо подавших против него голос? Потом он стал уничтожать и тех, кто только мог бы — по его звериной интуиции — против него помыслить.

Даже стоя одной ногой в гробу, заподозрив на этот раз преданнейшего ему Молотова, Сталин вновь готовил очередной переворот, вновь собирался устроить кровавую перегруппировку сил своего «кабинета». Закончилась бы она очередной волной репрессий в стране.

Превосходно атмосферу готовящегося нового погрома передает Симонов в упоминавшихся записках. Вот что он вспоминает о Пленуме ЦК 16 октября 1952 года, последнем проведенном Сталиным пленуме: «И тон его речи, и то, как он говорил, вцепившись глазами в зал,— все это привело всех сидевших к какому-то оцепенению, частицу этого оцепенения я испытал на себе».

Чем же всех так загипнотизировал вождь, чем так перепугал? Оказывается, старым, как мир, притворством, тем, что он якобы немощен и дряхл: «главное в его речи сводилось к тому... что он стар, приближается время, когда другим придется продолжать делать то, что он делал, что обстановка в мире сложная...»

Вот тут-то и таился фокус: он предлагал кому-нибудь попытаться встать на его место. Стоило узнать, кто из его приближенных «самый храбрый»? Уж не из тех ли, кто слишком давно вокруг него вьется? Не Молотов ли? Или, может быть, Микоян? Не пора ли и их менять? Не слишком ли многому они у него самого научились по части коварства? Скорая смерть самого вождя заставляет предполагать, что — научились.

Насколько Сталин хотел на самом деле отойти от управления страной, есть выразительнейшее свидетельство. Яков Рапопорт в «Воспоминаниях о „деле врачей"» («Дружба народов», 1988, № 4) пишет, что еще в начале 1952 года профессор В. И. Виноградов после осмотра Сталина «...сделал запись в истории болезни о необходимости строгого режима с полным *прекращением всякой деятельности*».

«Когда Берия, курировавший врачебное наблюдение над Сталиным,— говорит Рапопорт,— сообщил ему о заключении профессора Виноградова, тот пришел в неописуемую ярость, закричав: „В кандалы его! В кандалы!" И профессор был арестован».

«Главной особенностью речи Сталина,— пишет Симонов,— было то, что он не счел нужным говорить вообще о мужестве или страхе, решимости и капитулянтстве. Все, что он говорил об этом, он привязал конкретно к двум членам Политбюро, сидевшим здесь же, в этом зале... Сначала со всем этим синодиком обвинений и подозрений, обвинений в нестойкости, в нетвердости, подозрений в трусости, капитулянтстве он обрушился на Молотова. Это было настолько неожиданно, что я не поверил своим ушам... Он говорил о Молотове долго и беспощадно... Я так и не понял, в чем был виноват Молотов...»

Не понял, но главное уловил: «...он обвинялся во всех тех грехах, которые не должны иметь места в партии, если время возьмет свое и во главе партии перестанет стоять Сталин».

Речь о Микояне была «...более короткой, но по каким-то своим оттенкам, пожалуй, еще более злой и неуважительной».

И Молотову, и Микояну сразу же, пока не опомнились, было дано слово, нужно было увидеть, как они поведут себя в этой ситуации.

«После той жестокости, с которой говорил о них обоих Сталин, после той ярости, которая звучала во многих местах его речи, оба выступавшие казались произносившими последнее слово подсудимыми, которые, хотя и отрицают все возложенные на них вины, вряд ли могут надеяться на перемену в своей, уже решенной Сталиным судьбе».

И вот после этого энергично разыгранного дебюта Сталин предлагает собравшимся жертву ферзя: просит сложить с него полномочия Генерального секретаря. «И на лице Маленкова,— продолжает Симонов,— я увидел ужасное выражение — не то чтоб испуга, нет, не испуга,— а выражение, которое может быть у человека, яснее всех других... осознавшего ту смертельную опасность, которая нависла у всех над головами и которую еще не осознали другие: нельзя соглашаться на эту просьбу товарища Сталина... нельзя. Лицо Маленкова, его жесты, его выразительно воздетые руки были прямой мольбой ко всем присутствующим немедленно и решительно отказать Сталину в его просьбе. И тогда, заглушая раздавшиеся уже и из-за спины Сталина слова: „Нет, просим остаться!"... зал загудел словами: „Нет! Нельзя! Просим остаться!.."»

Таким был Сталин вблизи, таков был его синклит.

Тем же, кто давно не лицезрел изображений вождя, а не словесных его портретов, можно посоветовать взглянуть на фотографию, иллюстрирующую очерк Льва Разгона «Жена президента» («Огонек», 1988, № 13). Похороны М. И. Калинина. В траурной процессии за гробом, оттеснив куда-то вбок вдову Михаила Ивановича, недавно возвращенную из лагеря, где она специализировалась на уничтожении вшей, шествуют Сталин и его приспешники. «Вот Молотов, вот Берия, похожий на вурдалака, ждущего кола...» — по не очень изящному, но вдохновенному выражению поэта Георгия Иванова.

Так как же теперь быть с тем доводом, который слышишь особенно часто: в Сталина искренне верили миллионы людей, с его именем шли в бой?.. Что же, их жизни были пусть вдохновенной, но ложью?

Да, верили и детей воспитывали в этой вере. Не все, конечно, тогда бы мы к нынешним революционным — а не сталинским, контрреволюционным — преобразованиям вообще не подошли. Но многие.

Так ведь и в Бога — не то что в какого-то самозваного Отца народов — верили и продолжают верить сотни миллионов людей!

Потому что — пора это признать — вера облегчает жизнь. При условии добровольного подчинения человека тому, что выше его. По-настоящему религиозно настроенные люди в феномене подчинения как раз и видят достоинство человека.

Однако народу в качестве идеалов, за которые стоит отдать жизнь, сталинскими идеологами внушались недолговечные политические идеи, а то и просто ежеквартальные лозунги. Внушалось, что на пути к благородной цели — к свободе и счастью всех — можно бестрепетно чужой свободой и счастьем пренебречь. Высшее постепенно подменялось низшим. Религиозное служение коммунистическим идеалам в конкретной политической ситуации оборачивалось безоговорочным «разоружением» перед партией «и лично товарищем Сталиным». Что последнему «и требовалось доказать».

Насаждался новый религиозный тип сознания. Не случайно поэтому старый, освященный веками христианский тип вероисповедания был в жестокой опале. Соседство стойкого, лишенного прагматических иллюзий вероучения было попросту опасно.

Быть может, самым трагическим заблуждением оказалась вера в военный гений Сталина. Именно с ней обиднее всего расставаться. До сих пор незыблема легенда, как ходили в рукопашную с его именем на устах. Хотя, когда дело шло о жизни и смерти, находились в таких случаях, как свидетельствуют рядовые участники боев, слова и покрепче. Но — спору нет — кричали и «за Сталина!»

О том, как этот стратег уничтожил львиную долю командиров перед самой войной, о том, как растерялся в первые же ее часы, сейчас пишут много и с документальными свидетельствами в руках. Из последних художественных публикаций наиболее доходчиво и ярко о реальных плодах сталинских замыслов в военный период говорится на страницах романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» («Октябрь», 1988, № 1—4). Нет, к сожалению, возможности говорить в этих заметках о вещи в целом. Приведу только один пример, свидетельствующий, какие кадры предлагал и навязал Сталин армии взамен расстрелянных и отправленных в лагеря. Не буду называть фамилии персонажа, одного из уцелевших кадровых военачальников, потому что размышления его типичны и ярко передают самую суть проблемы: «люди, не знавшие калибров артиллерии, не умевшие грамотно вслух прочесть чужой рукой для них написанную речь, путавшиеся в карте, говорившие вместо „процент" „прóцент", „выдающий полководец", „Бёрлин", всегда руководили им. Он им докладывал. Их малограмотность не зависела от рабочего происхождения, ведь и его отец был шахтером, дед был шахтером, брат был шахтером. Малограмотность, иногда казалось ему, является силой этих людей, она им заменяла образованность; его знания, правильная речь, интерес к книгам были его слабостью. Перед войной ему казалось, что у этих людей больше воли, веры, чем у него. Но война показала, что и это не так».

Воистину, для того, чтобы «верить», университетов кончать не надо.

Самое же поразительное — после всего, что мы узнали, все еще бубнят: «благодаря Сталину мы выиграли войну!»

Да не «благодаря», а «вопреки»!

Осознаем ли мы когда-нибудь банальную истину, что «историю творит народ» — во всяком случае, в переломные, судьбообразующие ее моменты? Или все это для нас лишь из области общеобязательных ответов по политграмоте?

Хотя и народ, разумеется, тоже разный бывает. Но уж, по крайней мере, он не догматик! Думал он на войне совсем не так, как в романе Петра Павленко «Счастье», а, вернее всего, так, как у того же Гроссмана: «он чувствовал, ему было ясно, что, борясь с немцами, он борется за свободную русскую жизнь, победа над Гитлером станет победой и над теми лагерями, где погибли его мать, сестры, отец».

Родные гроссмановского героя погибли в наших, а не в немецких лагерях...

Об этом еще писать и писать.

Каждый невинно осужденный, каждая замученная жертва в любом уголке земного шара достойна того, чтобы о ней хотя бы вспомнили, чтобы имя ее горело в чьем-то сознании, бередило чью-то совесть.

Писать об этом для художника есть нравственная необходимость.

Что же в этом контексте сказать о таких, например, авторах, как Нина Андреева, которые, посовещавшись «с кем надо», на страницах популярной всесоюзной газеты «Советская Россия» начинают исподволь бессовестно доказывать, что святая — без кавычек — для русской духовно-художественной традиции тема защиты униженных и оскорбленных — это всего лишь модное поветрие и, как всякое поветрие, скоро канет в Лету? Ох, как сильно они надеются, что вся *эта* «литература о репрессиях» (тоже, кстати, характерная черта: «жертв репрессий» у них нет, есть только «репрессии») скоро иссякнет. Впрочем, чаще всего они и слово «репрессии» произносить не решаются: осторожно и многозначительно говорят о «*всей этой литературе*».

— Какая «*эта*»? — спрашиваю.

— Ну, «*эта*»...

Никуда *эта* литература не исчезнет, как не исчезла она в 1837 году после гибели Пушкина, как не исчезла она и в 1937-м...

Что же касается публикаций, вроде той, на которую решилась «Советская Россия» в марте 1988 года, то меня она, с литературной точки зрения, убедила в одном: очень своевременно у нас начали печатать грозную сатиру Евгения Замятина «Мы» («Знамя», 1988, № 4—5) и Джорджа Оруэлла «Скотный двор» («Родник», 1988, № 3—6). К тому же ожидается и публикация еще более известной антиутопии Оруэлла «1984».

Пора признаться, что все эти книги имеют прямое касательство и к нашей исторической реальности, а не только к абстрактному «тоталитаризму». Против

идей догматического охранительского социализма, и на практике воплощавшегося, к сожалению, тоже — и в годы сталинские и в более близкие к нам застойные времена — бороться приходится именно сейчас.

Так что, когда читаешь у Оруэлла о какой-нибудь лондонской «Младшей антисексуальной лиге», состоящей из ребятишек в красных галстучках, доносящих на своих родителей, то непроизвольно чешешь в затылке: не с нашего ли Павлика Морозова эти детки писаны? Амлинский в упомянутом эссе так говорит о его книжном воплощении: «...образ пионера-доносчика, которым воспитывали не одно поколение,— это не символ стойкости, классовой сознательности, а символ узаконенного и романтизированного предательства...»

И неужели мы не узнаем оруэлловскую кошечку из «Скотного двора», которая «голосовала в обоих случаях» — и «за» и «против»?

И не поучимся ли мы уму-разуму у глупой лошадки Молли, наивно вопрошавшей: «будет ли сахар после восстания?»

Иной раз просто поражаешься, как эти мрачные утопические прогнозы походят на стереотипный газетный отчет о какой-нибудь чистке или на информацию об очередных высказываниях активистов «Памяти».

Всякая попытка воплощения тоталитарной идеи приводит к одному результату: к доказательству и убеждению, что единица («индивид») — ничто, множество («государство») — все.

Конечно, проблема «государство для человека» или «человек для государства» абсурдна при любом из крайних воплощений (так же, как, к примеру, не решить и простую литературную дилемму: «журнал для автора» или «автор для журнала»). Но дело как раз в направлении решения.

В романе Замятина «Мы» показано, как обожествленное государство, во главе которого стоит восхитительно похожий на будущего Отца народов (он тогда им еще не был: роман написан в 1920 году) Благодетель, уже превратило своих граждан — в функционеров, а свободу — в дисциплину. В их «неомраченных безумием мысли лбах» гнездится одна идея — «математически безошибочного счастья». Мы знаем, что это такое: вместо заботы о благополучной жизни конкретного населения ему предлагается жевать концепцию «всеобщего блага». Пропаганда и террор — это единственные средства, которые у *такого* государства всегда под рукой.

Есть, конечно, у Благодетеля и историческая концепция с ее «железной», как во всякой демагогии, логикой: «вся человеческая история... это история перехода от кочевых форм ко все более оседлым». Логично, что еще более «оседлой» представляется жизнь за «Зеленой стеной» этого сообщества. Затем — за колючей проволокой, в одиночной камере и — в качестве высшего телеологического финала — на ложе, напоминающем у Замятина электрический стул.

Что же губит личность в этом безоблачном мире с его «математически безошибочным счастьем»? По логике антиутопии это должно быть что-то самое ранимое, самое сокровенное в человеке.

В романе «Мы» есть два доминирующих мотива — всем видимый эмоциональный и сплетенный с ним историко-философский. Герой «Д-503» погибает, испытав настоящее человеческое чувство любви, по-человечески же, а не «математически», и выраженное: «ведь только и можно любить непокорное». Но есть и другая, не до конца осязаемая им и более глубокая причина: Д-503 испытывает с трудом им самим узнаваемое чувство виновности перед предками, перед историей. Именно это чувство для него — высшего порядка, так как оно непрагматично, во всех отношениях бескорыстно.

И это очень важно. Если мы хотим что-то понять в нас сегодняшних, мы должны знать, кем мы были. С четкостью формулы этот внутренний закон определен в исторической науке: «единственный ключ к ответу на вопрос, что может сделать человек, лежит в его прошлых действиях» (Р. Коллингвуд).

Мы должны знать из опыта, что мы можем сделать и чего нам делать не следует. Литература размышляет об этом сейчас, как не размышляла давно. Это всегда, впрочем, было ее долгом, а не заблуждением. Чувство историзма и интуиция о правде сближаются в ней с обнадеживающей последовательностью.

Есть поразительные совпадения между тем, что дают художественная проза и исторический документ. Можно было бы указать на удивительные параллельные сцены из жизни «спецпереселенцев» в романе Гроссмана и биографическом повествовании Ивана Твардовского («Юность», 1988, № 3), на родство ощущений ожидающего ареста героя романа Бориса Ямпольского «Московская улица» («Знамя», 1988, № 2—3) и реальных переживаний, о которых рассказал Яков Рапопорт.

Вероятно, продолжать тут можно до бесконечности. А в этих заметках ведь даже не упомянуты две крупнейшие журнальные публикации текущего года — роман Андрея Платонова «Чевенгур» и роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго».

О последнем все-таки необходимо сказать несколько слов — не в связи с ним самим, а в связи с примечательным первым аналитическим откликом на него в «Правде» (27 апреля 1988). Дмитрий Урнов в статье «Безумное превышение своих сил» объявил героя романа Юрия Живаго «пустой душой», а само произведение — высказыванием на исчерпанную тему об «интеллигентском индивидуализме».

В мизантропический общий тон критика только в одном месте вплетается нота сожаления: «а ведь Живаго можно было бы припереть к стенке и зажать в угол». Действительно, что еще делать с героем, который, по мнению Урнова, «...вел неопределенный образ жизни, кормясь то врачеванием, то литературой...»?

Но нет в романе *такого* героя, как нет в нем и *такой* философии, какую приписывает Пастернаку Урнов. И нет *такой* темы.

Потому что брезгливыми суждениями о «неопределенном образе жизни» Урнов элементарно подменил необходимость раскрыть истинный смысл деятельности героя, заключающийся в его *духовном нестяжательстве*.

Еще более ядовито уничижительное — в общем контексте статьи,— но принципиально употребленное критиком словечко «кормясь». В устах какого-нибудь *откормленного* обывателя — вроде романного Маркела Щапова — оно прозвучало бы куда как естественнее, чем в речи образованного автора. Как это Урнов забыл, что Живаго еще и дрова пилит да по квартирам разносит — совсем презренное дело!

Только с подобных нравственных позиций и можно работу квалифицированнейшего врача называть «врачеванием» — ведь ни лечение людей, ни «литература» не приносят герою никаких дивидендов. Вот если бы ему открыли счет в банке да заграничную визу, тогда — другой вопрос. Тогда он был бы и «врачом», и «поэтом», и «мыслителем»...

Желание унифицировать, подвести под ранжир то — всегда ни с чем не сравнимое и неожиданное — чудо жизни, о котором писал автор романа, стало пафосом всей статьи. Попытавшись низвести образ героя до привычного типологического уровня — Клима Самгина или некоторых чеховских персонажей — критик создал систему доказательств, противную самой эстетической природе «Доктора Живаго». Преднамеренно или высокомерно, но авторский замысел здесь игнорирован. «Принадлежность к типу есть конец человека, его осуждение»,— говорит Пастернак устами своего героя.

Все, что угодно, можно думать о «заурядности» или «пустоте души» героя, но достаточно прочитать его варыкинские записи, чтобы оценить его живой ум и душевную наполненность.

Можно сколько угодно говорить о неприятии или непризнании Юрием Андреевичем революции (это не так), но ведь надо же цитировать и то, что он *на самом деле* думает в романе на этот счет: «это небывалое, это чудо истории, это откровение ахнуто в самую гущу продолжающейся обыденщины, без внимания к ее ходу... Это всего гениальнее. Так неуместно и несвоевременно только самое великое».

Мне кажется, принципиальность Урнова как раз того самого чуждого Пастернаку свойства, о котором в романе написано: «А для того, чтобы делать добро, его принципиальности недоставало беспринципности сердца, которое не знает общих случаев, а только частные, и которое верно тем, что делает малое».

Вот этого «малого», этого сочувствия и сопереживания тому, о чем пишешь, Урнову не хватило в статье в первую очередь.

Трудно понять, как можно пропустить доминирующие, полностью находящиеся в русле духовной традиции нашей литературы высказывания в «Докторе Живаго»: «некоторые думают спастись на юг, на Кавказ, пробуют пробраться куда-нибудь подальше. Это не в моих правилах. Взрослый мужчина должен, стиснув зубы, разделять судьбу родного края. По-моему, это очевидность».

Это действительно очевидность. Только почему-то не для Урнова.

Какой-то абсурд — опытный критик не смог уловить основного настроения романа, разлитого в нем «восхищения жизнью», которое, «...как тихий ветер, широкой волной шло не разбирая куда по земле и городу, через стены и заборы, через древесину и тело, охватывая трепетом все по дороге»...

Достаточно, впрочем, о критике.

Вернемся лучше к тому, с чего начали, к доминирующему мотиву отечественной духовно-художественной традиции, выраженному на заре советской власти Волошиным и не утерянному, несмотря ни на какие исторические катаклизмы, по сей день:

Доконает голод или злоба,
Но судьбы не изберу иной:
Умирать, так умирать с тобой
И с тобой, как Лазарь, встать из гроба!

Встали.

ЛЕНИНСКИЕ УРОКИ

Цюрупа Всеволод. Колокола памяти. М.: Политиздат, 1986

Да, именно эти уроки — тема книги сына ученика и соратника В. И. Ленина, революционера, партийного и государственного деятеля.

По справедливому высказыванию автора, жизнь его отца — ленинская революционная школа мысли и действия, школа человечности в высочайшем смысле этого слова. С нею он знакомит нас, опираясь на три источника: документы времени, рассказы отца и личные воспоминания.

Документы — это тома сочинений Ленина и хроники его жизни, Ленинские сборники, Конституция РСФСР 1918 года. На ее титульном листе рукой А. Д. Цюрупы написано: «Моим детям — вместо завещания. 1920 год. Москва». «Моим детям,— пишет Всеволод Цюрупа,— значит, всем детям, маленьким и вырастающим детям следующих поколений...»

Самым большим своим богатством Всеволод Александрович называет слышанные в юности рассказы о Ленине, о работе с ним, о разговорах с ним, после которых, по словам отца, в самой трудной обстановке ясно высвечивался смелый план государственных действий. Отец стремился передать детям атмосферу тех бесед, блистательную логику работающей ленинской мысли, любовно сбереженную ленинскую интонацию. В. Цюрупа замечает, что для него уроки истории начались не в школе, а за семейным столом, где за чашкой морковного чая сиживали в кругу их большой семьи Владимир Ильич и Надежда Константиновна.

Мы увидим, что для Александра Дмитриевича дни и годы не делились на работу и жизнь домашнюю. «Трудности, которые переживали Республика и каждая семья, где дети не ели досыта...— это было жизнью и нашей семьи». Память сына сохранила записанные отцом ленинские слова: «в такое время — а для истинно коммунистического общества это верно всегда — каждый пуд хлеба и топлива есть настоящая святыня...» Это был урок нравственности, обращенный из тех далеких лет в наш сегодняшний день.

«Святая обязанность социализма дать людям мир, труд, хлеб». Как с этой обязанностью справилось молодое Советское государство в свои первые годы? На страницах книги убедительно раскрываются уроки ленинской школы государственного решения продовольственной проблемы. Школа наркомпрода — и в этом ее важнейший урок — справилась со своими задачами потому, что сплотила и организовала кадры преданных делу революции борцов.

Урок состоит и в том, что в тяжелейших обстоятельствах войны и послевоенной разрухи ленинская школа государственного управления действовала во имя четко понятой цели строительства социализма.

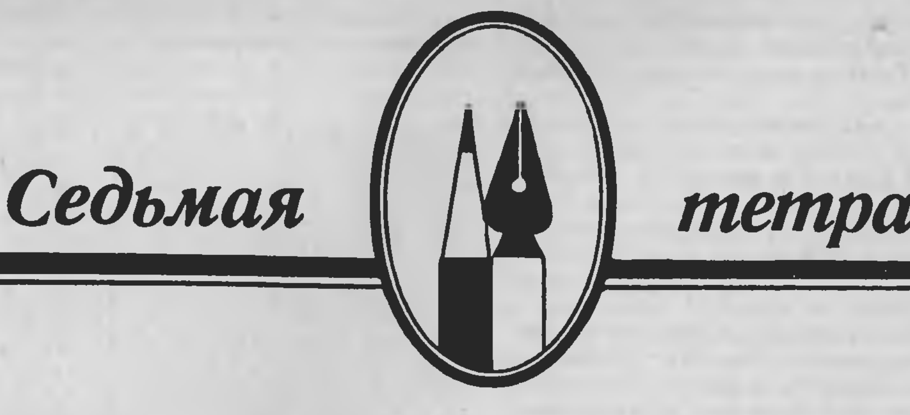
Ленинское руководство продовольственным делом преподало и урок опоры на рабочий класс и трудящееся крестьянство. С трибуны VIII съезда партии 18 марта 1919 года Ленин скажет: «первый декрет об организации комитетов бедноты Советской властью был проведен по инициативе тов. Цюрупы... Только тогда наша революция не по прокламациям, не по обещаниям и заявлениям, а на деле стала пролетарской».

Кадры наркомпрода в центре и на местах смогли решить свою задачу благодаря тому, что они руководствовались ленинским методом работы, сочетавшим четкость с гибкостью, отличавшимся деловым, а не формально-абстрактным подходом ко всякому вопросу. Еще один урок тех дней — агитацию и пропаганду нужно наполнять делом. Забота партии состояла в том, чтобы превратить прессу в орган экономического воспитания населения.

Разрабатывая основы нэпа, В. И. Ленин, А. Д. Цюрупа и их соратники первостепенное внимание уделяли хозрасчету, экономическим принципам работы предприятий и трестов. Как современны эти принципы для коренной перестройки управления нашей экономикой! Тоже непреходящий ленинский урок. «Пусть помнят также все, что искусству управлять, умению строить необходимые государственные учреждения и быть точными в своей работе Владимир Ильич учил нас на продовольственной работе».

Этим выводом отца заканчивает свою книгу сын. Поэтому ее можно расценить и как вклад в Лениниану, и как историческое подспорье для того, чтобы сегодня по-ленински, по-революционному вести перестройку всех сфер жизни социалистического общества.

И. З. ЗАХАРОВ,
доктор исторических наук, профессор



Письма из прошлого

Екатерина ДАСКАЛОВА

БОЛГАРСКИЙ КОРРЕСПОНДЕНТ М. ГОРЬКОГО

Всем хорошо известны многообразные связи Максима Горького с выдающимися деятелями мировой культуры. Анатоль Франс, Ромен Роллан, Анри Барбюс, Герберт Уэллс, Теодор Драйзер — вот далеко не полный перечень корреспондентов Горького. В этом перечне много и болгарских имен: Г. Бакалов, Ив. Шишманов, П. Тодоров и другие. Как болгарские, так и советские исследователи уделяли им в своих работах достаточное внимание. Но одно имя — Роман Аврамов — оставалось как бы на периферии интересов специалистов. А между тем этот революционер-ленинец находился в самом тесном контакте с великим пролетарским писателем и многое сделал для того, чтобы дать Горькому возможно более полное представление о духовной жизни Болгарии.

Роман Аврамов (1882—1937) первым среди болгарских революционеров вступил в ряды партии большевиков. Секретарь Комитета большевистских организаций за границей (Швейцария), соратник В. И. Ленина, он жил вместе с Владимиром Ильичем в Женеве, активно сотрудничал в газете «Вперед». Р. Аврамов входил в состав Хозяйственной комиссии ЦК РСДРП за границей, отвечал за издательское дело и сохранность партийного архива. После 1917 года Р. Аврамов, по рекомендации В. И. Ленина, привлекается к государственной службе в республике Советов. Он возглавляет трест «Хлебострой», работает по линии Внешторга. В годы культа личности репрессирован, умер в 1937 году. Полностью реабилитирован в 1956 году, а в 1984-м на доме, где он жил в Москве, установлена памятная доска.

С Максимом Горьким Р. Аврамов сблизился еще в начале века. В годы Первой российской революции их взаимоотношения становятся еще более тесными. Р. Аврамов, как известно, сотрудничал вместе с В. Бонч-Бруевичем, Е. Стасовой и И. Ладыжниковым в созданном по инициативе В. И. Ленина большевистском издательстве «Демос» в Женеве. Это издательство впоследствии переехало в Берлин. Оно выпускало на разных языках массовым тиражом произведения М. Горького «На дне», «Мещане», «Дети солнца», «Мать», «Город желтого дьявола» и другие, а вырученные от реализации книг средства переправляло при содействии Р. Аврамова (он был заместителем директора издательства) в Россию на революционные нужды.

Именно через Р. Аврамова были осуществлены первое издание романа «Мать» в Болгарии (1907 год, перевод Г. Бакалова) и первая в мире инсценировка этого произведения (1908 год, город Кюстендил).

Деловые и творческие связи Горького и Р. Аврамова продолжались и после 1917 года. Они вместе участвовали в организации помощи голодающим Поволжья (1922 год), в антифашистском и антиимпериалистическом движении, движении за мир — и до конца своей жизни оставались близкими друзьями.

Важным моментом духовного общения Р. Аврамова с Горьким является переписка между ними. Сохранились шесть писем Горького к его болгарскому корреспонденту [1] и тринадцать писем Аврамова русскому писателю. Мы остановимся лишь на нескольких самых существенных моментах этой переписки.

С 1909 года по 1917-й Р. Аврамов живет

[1] Письма Горького к Р. Аврамову предоставлены автору супругой Аврамова. Они опубликованы нами впервые в болгарской газете «Отечествен фронт» 13 июля 1968 года.

в Болгарии, куда он вернулся для прохождения военной службы. В это же время Горький находится на лечении в Италии.

В своей «Автобиографии» Аврамов пишет: «Во время войны я поддерживал связь с Россией в лице А. М. Горького, которому я писал на остров Капри (Италии) с фронта и от которого получал новинки и ответы на свои вопросы». К этому надо добавить, что он сам ездил к писателю на Капри. А перед тем, в 1909 году, напечатал в журнале «Современник» рассказ Горького «Солдат» и статью «Разрушение личности» (с подзаголовком «От Прометея до хулигана») в переводе Николая Лилиева.

Горький придавал большое значение сотрудничеству с Р. Аврамовым. В его лице писатель видел не только эрудированного собеседника, но и знатока и ценителя русской культуры, поэтому он и посылал ему рукописи ряда своих произведений и интересовался его мнением. Вот одно из его писем:

Капри, 21.X.1910

Дорогой Роман Петрович,

Посылаю рукопись небольшого очерка: в России он будет напечатан не раньше января месяца, хотя точного срока не знаю.

На эту тему будут написаны еще два-три очерка.

Вскорости пришлю рассказ один, сходный по теме с «Романтиком».

Вы живы-здоровы?
Жду Некрасовский альманах.
И желаю всего лучшего —

А. ПЕШКОВ

В другом письме, относящемся приблизительно к тому же времени (в рукописи дата неясна), Горький снова обращается к Аврамову с просьбой сообщить ему свое мнение по поводу издания книги «Городок Окуров»...

Разразившаяся Балканская война прерывает их совместные издательские планы. Аврамов в это время поддерживает активную миролюбивую политику левых социал-демократов, участвует в антивоенных акциях, в издании антимилитаристских журналов («Борьба» и другие), ради чего часто переправляется с тыла на фронт и обратно. Интересна первая его весть с поля сражения — в письме Горькому из Одрина.

21 ноября 1912

Близ Адрианополиса

Дорогой Алексей Максимович,

Шлю Вам сердечный поклон с «поля брани». Давно хотел написать Вам, но цензура не пропускала письмо за границу. Часто думаю о Вас и о том, как далеки еще люди от того, что достойно людей...

Я жив-здоров. Участвовал в трех сражениях, насмотрелся вдоволь ужасов войны. Крепко жму Вашу руку. Преданный Вам

Р. П. АВРАМОВ

Зная о связях с Россией и об антивоенной пропаганде, которую ведет смелый болгарский социалист, военное командование держит Р. Аврамова под наблюдением. Вся корреспонденция его просматривается, но он продолжает писать своему другу. Через несколько недель после приведенного выше письма он направляет Горькому новогоднюю открытку (25 декабря 1912 года), в которой просит писателя прислать свои высказывания о войне и о балканских народах, опубликованные в печати.

Известно, что в то время Горький говорил о прогрессивном характере Балканской войны, подрывавшей основы отживающего феодализма. Он живо интересуется судьбой балканских стран. В ответном письме к Аврамову Горький выражает свои симпатии болгарскому народу.

Капри 11/24 января 1913

Дорогой Роман Петрович!

Очень прошу Вас — извините, что так запоздал ответить на письмо Ваше,— все это время было много работы и немало приезжих из России: Л. Андреев, Ив. Петрович, Бунин и т. д.

Интересующее Вас мнение мое о Болгарии было высказано мною, в частности, в письме к Крыстеву-Миролюбову по поводу его статьи о болгарской литературе, помещенной мною в журнале «Современник»... Может быть именно на долю Болгарии история возложит работу по организации славян в единое племя... Не буквально так, но мысль именно такова и до сего дня нет причин изменить ее. Мне кажется, что историческое значение победоносной борьбы балканских славян с Турцией имеет в конечном счете — прогрессивный характер...

М. ГОРЬКИЙ

Насколько сильно русский писатель интересовался историческими судьбами болгарского народа, говорит тот факт, что этот интерес нашел свое отражение в его творческих планах. В письме к социалистическому деятелю Н. Сакарову от 17 августа 1915 года Р. Аврамов сообщает о желании Горького организовать совместное издание книги, посвященной русско-болгарским отношениям (с 1879-го по 1915 год), и называет при этом петроградское издательство «Парус». Но последующие события нарушают эти планы. Первая мировая война прерывает и переписку Горького с его болгарским другом.

После победы Великой Октябрьской социалистической революции Р. Аврамов, будучи дипломатом, представляет интересы молодой республики Советов в Германии, Франции и Англии. Он получает возможность опять встречаться с Алексеем Максимовичем. В Берлине, где он занимает пост заместителя управляющего советским торговым представительством, снова издаются сочинения М. Горького. В это время писатель находится там на лечении и ведет дела по изданию журнала «Беседы», в котором сотрудничают такие писатели, как Ромен Роллан, Анри Барбюс, Анатоль Франс. Аврамов по линии торгпредства активно участвует во всех этих делах — переводит некоторые из произведений Горького, ведет переписку с авторами. К сожалению, деловая переписка его с Горьким того времени до нас не дошла. Сохранился, однако, автограф Горького на только что вышедшем в берлинском издательстве «Книга» экземпляре первого тома его сочинений. В дарственной надписи сказано: «Примите, Роман Петрович, эти книги в память моей благодарности Вам, старинный друг. 5.IX.1923 г. Guntenstadt»[1].

Вскоре советское правительство направляет Р. Аврамова в Лондон в качестве председателя основанного еще при жизни Ленина советско-английского акционерного общества «Аркос». Известно, что английская полиция 12 мая 1927 года напала на «Аркос» и советское торгпредство и захватила дипломатическую почту. В это время Р. Аврамов путешествовал по Италии и был намерен посетить своего старого друга в Сорренто. Об этом мы узнаем из его письма. Оно начинается так:

Рим, 17 мая (старого стиля), 1927

Дорогой Алексей Максимович,

По дороге к Вам узнал из газет, что Вы уже знаете об обысках в моем «Аркосе» (в Лондоне), председателем правления коего я состою. Мне приходится срочно ехать в Англию, и я вынужден отказаться от радости повидать Вас. Так досадно и обидно! Должно быть, такое правило есть в жизни: чем любимее и приятнее мечта, тем труднее ей сбыться! В довольно скверном настроении я думаю себе: когда-то опять представится случай увидеть Вас!..

Год спустя Аврамов посылает Горькому в связи с его шестидесятилетием поздравительное письмо, в котором выражает свою радость по поводу творческой молодости великого гуманиста и борца. «Я надеюсь,— пишет он 29 марта 1928 года,— что и в 70 и в 80 лет Вы останетесь не только для меня, но и для всех... [тем, кто] умел... внушить окружающим его людям, что самое важное в жизни — это молодость, борьба за лучшее, за человечность».

Когда в Советском Союзе отмечалось сорокалетие творческой деятельности М. Горького, Р. Аврамов направил ему 10 ноября 1932 года свою трогательную исповедь:

«На протяжении всей моей сознательной жизни Вы были для меня — другого я не встречал — тем единственным экземпляром вида „homo sapiens“, который самым фактом своего существования доказывал, что человек — это действительно звучит гордо и что человек — это действительно замечательная, прекрасная и хорошая в конце концов штука.

С момента... издания совместно с И. П. Ладыжниковым в Берлине Вашей повести „Мать“ я полюбил Вас навсегда, как нашего человека, как человека — вожака рабочих и вообще трудящихся и с тех пор любовь к Вам и вера в Вас... только росла...».

Письмо заканчивается пожеланием: *«Пусть сердце Ваше, которым Вы наподобие Данко в „Старухе Изергиль“ освещали путь борющихся в течение 40 лет, долго, долго остается их руководящим светильником... Искренно преданный Вам и любящий Вас*

Р. АВРАМОВ».

Представленная здесь, пусть в обзорном виде, переписка между пролетарским буревестником и болгарским революционером свидетельствует о той значительной роли, которую играл Горький в современном ему революционном движении, о большом интересе великого писателя к судьбам славянских народов. Эта переписка говорит о духовной общности русского и болгарского народов и служит развитию традиционной дружбы между ними.

г. София

[1] Книга М. Горького представлева в экспозиции музея «Соратникв Левина» в Свиштове, открытом к 70-летию Октября.

Мемориальная доска на доме, где жил Р. Аврамов

К СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА БУХАРИНА

С. М. Киров и Н. И. Бухарин, Ленинград, 1927 год

Н. И. Бухарин среди делегатов I съезда советских писателей. Москва, 1934 год

Виктор БАКИНСКИЙ

ВЕЧЕР С ЕСЕНИНЫМ

Баку, август 1925 года. Мне не исполнилось и восемнадцати, моему брату Шуре, у которого я незадолго перед этим поселился, минуло двадцать два. Шура в 1918 году, пятнадцати лет от роду, вступил добровольцем в Красную Армию, прошел войну, а теперь приобщался к знаниям. В темные южные вечера я декламировал ему и нашим общим друзьям стихотворения Есенина: я знал их чуть ли не все наизусть. Нас, братьев, было четверо, но мы еще в 1921 году стали круглыми сиротами, и нас разбросало по разным городам. Я прибыл в Баку из Саратова со свидетельством об окончании девятилетки, и Шура, не без труда (в стране была безработица), устроил меня в канцелярию пятого районного отделения милиции, помещавшегося в нашем же доме, во втором этаже. Сам он служил в административном отделе городского Совета и отчасти по роду службы, отчасти из простодушного любопытства — желания поближе познакомиться с теми или другими происшествиями — навещал разные отделения милиция, в том числе и пятое. Оно располагалось хотя и на боковой улице, но всего за один квартал от главной, ярко освещенной Ольгинской улицы, где постоянно курсировали наши отважные милиционеры, выполняя свой служебный долг. И редакция республиканской газеты «Бакинский рабочий», печатавшая новые, только что написанные стихи Есенина, помещалась поблизости.

Я нес в отделении чуть ли не круглосуточную вахту, не только дневную, но и вечернюю. Дело в том, что у меня был прескверный почерк. Милиционеры и районные смотрители, особенно последние, придя за той или иной справкой, посмеивались над моими закорючками:

— Ну и грамота! Это же шифр!

А начальник канцелярии, рыжеусый, средних лет (чуть позднее — совладелец нэпмановского магазина дамского белья), в возмещение того неудобства, какое причинял ему мой почерк, обязал менн ежевечерне разбирать накопившиеся за год бумаги, нумеровать и разносить по журналам «входящие» и «исходящие». Наши с начканцем запоздалые ответы на некоторые запросы носили поистине фантастический характер!..

Однажды, когда я, проклиная начканца, поднялся во второй этаж, в приемной, где за деревянной перегородкой сидел дежурный районный смотритель, я застал своего брата. Он разговаривал с незнакомым мне человеком. Оба стояли. Незнакомец был среднего роста, синеглазый, с чуть волнистыми светлыми волосами. Лицо у него было приятное и, несмотря на жару, почти без загара. А грудь, видневшаяся под воротом белой рубахи, заправленной в белые брюки,— с красноватым загаром, какой бывает у людей с белой и нежной кожей. Они говорили не о поэзии, не о литературе, а о... пользе бокса. И удивительное дело: я заслушался. В голосе ли незнакомца было что-то или во всем облике... Я не мог оторвать от него глаз. Меня словно охватило со всех сторон облако той симпатии, какую он излучал. Только великий драматический артист Орленев, которого подростком мне доводилось часто видеть на астраханской сцене, заставлял меня испытать нечто подобное.

Шура выбрал момент и, наклонившись к моему уху, сказал:

— А знаешь, кто это? Есенин!

Я обомлел. По тогдашним своим склонностям я хорошо помнил не столько стихи Есенина, проникнутые любовью к природе и родной земле, к женщине, к человеку, сколько цикл «Москва кабацкая». В том же году мне попал в руки февральский номер журнала «Красная новь» со стихотворением Маяковского «Тамара и Демон», где была задиристая строчка: «Шумит, как Есенин в участке» (это о Тереке). И вот он передо мною — Есенин в участке...

— «Все живое особой метой отмечается с ранних пор»,— вступил я в беседу. У Есенина чуть поднялись брови.

Мы с братом вригласили его к деревянной лавке у противоположной стены, расселись вольготно.

— А когда вы написали «Москву кабацкую»? — спросил я.

— В Америке,— ответил Есенин. И тут же сказал, что Америка ему не понравилась, он там скучал.

Мои вопросы были откровенны и дерзки. Мо-

жет, это во мне моя бездомная юность говорила.

— Вы иногда попадаете в милицию, а об этом у вас нигде нет в стихах,— сказал я, повинуясь чувству истины.

Есенин нисколько не оскорбился этим вопросом и с мягким «гэканьем» ответил:

— Так это ж поганая тема!

Позже от актрисы А. Б. Никритиной я узнал, что он всегда так произносил звук «г» — с придыханием на малороссийский манер.

— А пишете вы в нетрезвом виде?

Есенин не оскорбился и на этот раз.

— Никогда! — ответил он решительно.

Много позднее, незадолго до своей смерти поэт Мариенгоф, с которым я сдружился в последний год его жизни, подтвердил: да, на нетрезвую голову Есенин никогда не писал.

Мы беседовали долго. Часа два.

— Мы проводим вас,— сказал я. Квартировал он у своего друга Петра Ивановича Чагина, редактора «Бакинского рабочего».

— Это хорошо. Двинемся, ребята. Чего тут сидеть! — и Есенин поднялся.

Мы вышли на ярко освещенную городскую улицу. Поодаль от тротуаров, в траве, гремели цикады. Через каждые десять-пятнадцать шагов — прямо на панели или в маленьких помещениях, называвшихся растворами, молодые продавщицы в белых фартучках продавали глазированное мороженое и разные другие деликатесы. Есенин не пропускал ни одного раствора, приглашая и меня с братом. Он похож был на мальчика, дорвавшегося до лакомства. Мы вежливо отказывались.

— Напрасно вы... Приятная вещь,— говорил Есенин. В промежутках между этими заходами он рассказывал о себе. С некоторой гордостью, но без особых эмоций, сказал, что женат на внучке Льва Толстого, что правительство его ценит и предложило дачу, но на даче жить не хочется. И еще — с явной досадой: какие-то малознакомые и даже неприятные люди липнут к нему в Москве, и это надоело! Подобные «приятели» наверняка липли к нему и здесь, его оберегали от них.

— Вот начканц в пятом отделении, где мы сейчас были,— это тип! — пожаловался я неожиданно для самого себя.— Хоть вы и пишете: «Каждый труд благослови, удача» (это была первая строка напечатанного в эти дни в газете стихотворения Есенина), но все же...

— Строгий? — спросил Есенин.

— Такой рыжий таракан, пруссак! Мало ему дня — вечерами заставляет работать! Если бы не безработица...

Есенин засмеялся — впервые за этот вечер. Потрепал меня по плечу. Мне кажется, я и сейчас ощущаю это прикосновение.

— Ничего,— сказал он.— Наверное, и это надо.

Это было чисто по-есенински, в духе его стихов. А взмах его руки мгновенно напомнил мне строчки из его другого, тоже в те дни напечатанного стихотворения «Я иду долиной» (кое-что в нем было потом Есениным изменено):

К черту я снимаю свой
    костюм английский.
Что же, дайте ко́су,
    я вам покажу —
Я ли вам не свойский,
    я ли вам не близкий,
Памятью деревни я ль
    не дорожу?

Я хмыкнул, представив себе Есенина с косой в руке. Он глянул на меня непонимающе. А я, ободренный его расположением, осмелел:

— А это правда, что цыганка подарила вам кольцо? «То кольцо надела мне цыганка»,— процитировал я, тоже из только что напечатанного.

— Это поэтический образ,— ответил Есенин сухо, дав почувствовать, как обостренно он воспринимает каждое прикосновение к его стихам. Но тут мой брат решил прийти мне на выручку.

— А я помню ваши стихи, напечатанные в газете еще весной! — сказал он.— Вы тогда прощались с этим городом: «Прощай, Баку! Тебя я не увижу...».

Есенин вдруг повернулся к нему, свет фонаря упал ему на лицо. Взгляд его был как бы весело и внезапно распахнувшийся, тревожный и открытый, в глазах — светлая синева.

— Запоминается?

— Что запоминается?

— Стихи.

— Еще как! — сказал Шура. И в доказательство, смущаясь до того, что голос стал дрожать, прочитал, почти пропел: «Прощай, Баку! Прощай, как песнь простая! В последний раз я друга обниму...».

— Вы здешний? Тут выросли? И вы? — перебил Есенин. Меня еще почти никто из взрослых не называл на «вы».— Я здесь много написал. Особенно — в Мардакьянах.

Мардакьяны — пригород Баку, курортное местечко. В тот миг я не оценил этих слов Есенина. Лишь позже спохватился: бог мой, да ведь в тот год Есенин написал в Баку и бо́льшую часть стихотворений лирического цикла «Персидские мотивы» («Воздух прозрачный и синий», «Золото холодное луны», например), и «Мой путь», и «Письмо к сестре», и «Собаке Качалова», и «Несказанное, синее, нежное»... Тридцать одно стихотворение! Большинство их и напечатано впервые в «Бакинском рабочем». В Баку же вышла и книга стихов Есенина «Русь Советская» — с предисловием П. И. Чагина...

— А тюрчанки, когда решают покончить с собой, обливают себя керосином и поджигают,— сказал я, вдруг вспомнив вычитанное в газетном «Отделе происшествий».

Есенин посмотрел на меня:

— Мы этого не станем делать. Нам это не подходит, правда?

— Не подходит,— согласился я.— А куда мы идем?

— Ко мне. К Чагину,— сказал Есенин.— Знаете Чагина?

— Редактор газеты,— сказал Шура.

— Хороший человек,— сказал Есенин.— Очень хороший.

Это отношение к другу Есенин выразил в посвящении книги «Персидские мотивы»: «С любовью и дружбой П. И. Чагину». Об этом посвящении я узнал год или два спустя.

— Заходите,— сказал Есенин, когда мы пришли.— Заходите, пожалуйста.

Мы с братом застряли на пороге. Нет, неловко, квартира-то чужая. Помедлив, Есенин подал руку — сперва Шуре, потом мне. И вновь — тот же весело распахнутый, вопрошающий взгляд. Ласковый. А пожатие — крепкое.

— Вы приходите, не стесняйтесь,— сказал он на прощание. Приглашение было искреннее, в таких вещах нельзя обмануться. Возможно, ему импонировала наша молодость: он и сам был всего на восемь лет старше моего брата. И при случае был не прочь напроказить. Он был таким, каким описал себя в стихах:

Не злодей я и не грабил
    лесом,
Не расстреливал несчастных
    по темницам.
Я всего лишь
    уличный повеса,
Улыбающийся встречным
    лицам.

Потом я не раз думал: в чем была замечательная особенность того вечера? А ответ прост: мы застали Есенина в доверчивом, радостно-спокойном, умиротворенном состоянии духа, какое отнюдь не было постоянным спутником его жизни. Это счастливое расположение души увеличивало исходившее от поэта бесконечное обаяние, остановившее меня и заставившее забыть все на свете с первой же минуты, а у всех встречных вызывавшее улыбки симпатии.

Едва мы снова вышли на улицу, Шура упрекнул меня:

— Ну и вопросики ты задавал. За такие можно и по шее...

— Но ведь он не обиделся? И ведь оказался же в милиции?

— Просто увели от разной шушеры, стремящейся примазаться к чужой славе. К тому же, говорят, начальник пятого отделения сам пишет стихи. Зазвал Есенина к себе. Поди, угощал своими творениями...

На следующий день под вечер я увидел Есенина возле редакции «Бакинского рабочего». Он раз-другой прошелся вдоль окон, потрогал входную дверь.

— Наверное, рабочий день кончился,— сказал я, поклонившись. Он улыбнулся мне, кивнул. Наскоро протянул руку.

— Надо в кассе кое-что получить...— И постучал в окно. Похоже, он был чуть-чуть под хмельком.

Дверь внезапно открылась, высунулась женская голова, и Есенин легким и быстрым шагом вошел в помещение. Мне было любопытно, и я остался ждать. Есенин вышел тем же легким шагом. Лицо его было ясное. Он несколько удивился, увидев меня на том же месте.

— Получили? — спросил я.

— Получил...

На следующее утро я увидел Есенина возле чистильщика сапог. Он стоял, поставив ногу на ящик, и чистильщик покрывал разведенным мелом его белые туфли. Я подошел, поздоровался. Есенин был бледен. Возможно, провел беспокойную ночь.

— Скоро в Москву? — спросил я. Он не ответил.— Там у вас друзья...

— Вот здесь они у меня, друзья! — закричал он вдруг, полуобернувшись ко мне, и хлопнул себя по шее, а потом разразился бранью.

В перекошенном лице его были и бешенство, и горечь. Не лицо — маска страдания. Это был другой Есенин. Не тот, каким я его видел вчера и особенно позавчера. Я растерялся и стоял, свесив руки по швам. Его страдание передалось мне. Из беспорядочного потока слов я понял, что гнев его был направлен не против его друзей по литературной группе (их имена я знал), а против неизвестных мне недоброжелателей да еще всяческих бездарностей, окололитературных бездельников, «прилипал», как он сам выразился, которые лезли к нему, чтобы выпить за его счет, покуролесить, а потом всюду аттестовать себя как «друзей Есенина». Позднее литературоведы винили во всех смертных грехах его ближайших друзей вроде Мариенгофа или Шершеневича. Но это далеко от истины, хотя Есенин кое в чем разошелся и с тем и с другим...

Есенин расплатился с чистильщиком. Мой унылый вид, должно быть, задел его. Он вскинул руку, стиснул мне локоть, бросил на ходу:

— Ты, парень, не сердись! Я ж не про тебя!.. У меня настроение такое! — И быстрой походкой пошел прочь.

А вскоре, 21 августа, появились в нашей городской газете еще два сти-

хотворения Есенина: «Жизнь — обман с чарующей тоскою» и «Гори, звезда моя, не падай». Как показало время, это был (если не считать стихотворения «Цветы» для однодневной газеты — в помощь артистам цирка) последний дар Есенина городу, газете. С чувством поэтического восторга, но и с неопределенной захватывающей болью читал я строки поэта:

Гори, звезда мои,
не падай,
Гониий холодные лучи.
Ведь за кладбищенской
оградой
Живое сердце не стучит.

Ты светкшь августом
и рожью
И наполняешь тишь полей
Такой рыдалвстою дрожью
Неотлетевших журавлей.

И, голову вздымая выше,
Не то за рощью — за холмом
Я снова чью-то песню слышу
Про отчий край и отчий дом.

И золотеющая осень,
В березах убавляя сок,
За всех, кого любил
и бросил,
Листвою плачет на песок.

Я знаю, знаю. Скоро, скоро
Ни по моей, ни чьей вине
Под низким траурным
забором
Лежать придется так же мне.

Есенина мне больше не пришлось увидеть. Дни неслись, южная осень умирала в дальних горах, и все чаще врывались в город северные ветры, разгоняя толпу на улицах. Люди надевали демисезонные пальто, и хотя южное солнце всегда светит весело, на приморском бульваре стало меньше праздника, и красок меньше, и не гремели. соревнуясь, европейский и взиатский оркестры. Зимв.

Вечером Шура приносил почту. Был канун Нового года. Я взял газету, и она едва не выпала из моих рук. В далеком Ленинграде, в гостинице «Англетер» повесился поэт Сергей Есенин...

Вернисаж «Седьмой тетради»

П. ЕФИМОВ

«ФИЛОНОВЦЫ» НА ЛИТЕЙНОМ

Скромная афиша «Выставка мастеров аналитического искусства (школа Филонова)» привлекала внимание, и в зал на Литейном, где была развернута в 1987 году экспозиция «забытых» полотен, шли и шли любители живописи — как знатоки-профессионалы, так и дилетанты. На всех магически воздействовало уже одно только имя Павла Николаевича Филонова.

На выставке было представлено около ста работ — ранних и более поздних, не равноценных по качестау, по глубине содержания, но достаточно разнообразных.

Объединение этих живописцев, как известно, зародилось в Академии художеств в середине 1920-х годов на базе филоновской учебной мастерской. Первоначально в нем было десять — двадцать «учеников», преимущественно молодых, а к концу 20-х годов — уже более сорока.

Пиком, наивысшей точкой творческого валета филоновского объединения, или «Коллектива мастеров Аналитического искусства» (КМАИ), явилась знаменитая выставка 1927 года в Ленинградском Доме печати. Ей предшествовал очень короткий (в зимние месяцы 1926 года) «исполнительский» этап — нвпряженнейшее время выполнения агитационных по своему значению полотен политического, бытового и историко-революционного содержания. П. Н. Филонов активно участвовал в этой работе. Как свидетельствует в своих воспоминаниях Т. Н. Глебоаа, «сроки были очень короткими, и при нашем способе работы было немыслимо покрыть быстро такие огромные холсты... Павлу Николаевичу удалось растянуть срок до четырех месяцев... Эта спешкв побуждала руководителя группы помогать отстающим ученикам... Так он, себя не жалея, работал на холстах отстающих товарищей. Домой не ходил, ночью работал почти до утра, утром первый вставал. Все товарищи старались следовать его примеру».

Е. Кибрик. Праздник 1-е Мая. Фрагмент

Интуиция и расчет, иррационализм и аналитичность, парадоксальная драматургия мотивов, ощущение общности, нераздельности всего живого на Земле — эти свойства, присущие большинству условных или предметно-реальных произведений 20-х годов, составляли стилистику всего КМАИ в целом. И на него, безусловно, влияли и творческий метод, и особенности преподавания, и личность П. Н. Филонова, этого, по словам одного западного исследователя, «бескорыстного мученика святого русского авангарда».

Д. Крапивный. Тифлисский базар. Фрагмент

Б. Гурвич. Мой дом — моя крепость. Фрагмент

И вот выставка 1987 года, пришедшая к нам из далекого, основательно забытого прошлого. Она продемонстрировала профессиональную зрелость и высокий уровень мастерства «филоновцев», разнообразие художественных манер и своеобразный, если можно так сквзать, новаторский традиционализм школы, чуждый духу заимствований и подражательства.

Работы «филоновцев», по сравнению с произведениями самого учителя, кажутся более приземленными, описательными, они скромнее по замыслам, но, одновременно, достаточно содержательны. Поражают, помимо исключительной законченности формы в некоторых работах, декоративная свобода, широта, яркость и логическая «уместность» цвета.

Такие особенности присущи главным, наиболее значительным экспонатам — трем большим, рассчитанным на дворцовые помещения монументальным полотнам, экспонировавшимся в Доме печати. Надолго «законсервированные», спрятанные от глаз, они демонстрировались впервые после шестидесятилетнего перерыва. Это работы Д. Крапивного — «Кинто» («Тифлисский базар»), Б. Гурвича — «Мой дом — моя крепость», Е. Кибрика — «Праздник 1-е Мая». На одной — жанровая сцена, иа другой — шарж, гротескная фигура, увеличенная до огромных размеров (свтира на лейбористов), третья представляет собою гигантский жанровый «литературный» коллаж — композицию из причудливых разномасштабных групп, сцен, масок, жанровых зарисовок.

Все три картины чрезвычайно выразительны, живописны, полны ярких острохарактерных или гротесковых деталей. Выразительность строится на переменном ритме, контрастах, на богатстве и неожиданности ассоциативных связей. Чвсть и целое; символы — и гротеск; аллегория, подчиняющая себе все попутные, повествовательные, «аккомпвнирующие» мотивы... Подчеркнутая характерность образоа соседствует со строгостью и четкостью, заострения — с пластической «простотой».

Удивительны, несмотря на сжатые сроки, стесненные жизненные обстоятельства, в которых создавались эти произведения, тщательность их отделки,

Д. Крапивный. Тифлисский базар. Фрагмент

«сделанность» изображений.

Все три огромные, прекрасно сохранившиеся картины производят грандиозное и, одновременно, камерное, рассчитанное на длительное рассматривание художественное впечатление. Глаз сначала охватывает целое, а затем уже сосредоточивется на деталях. Содержание постигается в сопоставлениях, в повторах, в сложном контрапункте частей.

Очень важен здесь сюжетный, пластический или чисто ассоциативный «ряд». Каждый «атом», ячейка, «знак» или природный объект абсолютно равноправны в этой художественной системе: голова коня (картина «Кинто»); фигурки детей, нахохлившиеся птицы, «эмблема» коня (Кибрик — «Праздник 1-е Мая»), орнаментально стягивающие, концентрирующие, даже «украшающие» форму нити вен и артерий. Во всех, и особенно в гурвичевской картине, образносмысловая структура покоится на трех основаниях: повествовательности, отгадывании (метафорическая, «ребусная» система) и насыщенном, символическом, «говорящем» цвете.

Удивляет, как уже говорилось, «выписанность» отделки без малейших следов поспешности, недосказанности в главных и второстепенных, мелких, даже мельчайших художественных деталях. При единстве и цельности — разнообразие индивидуальных манер.

Отметим здесь же работы Ю. Хржановского и Р. Левитон, «разномоментную», со сложным сопоставлением мотивов композицию Т. Глебовой «Балерина Фока», по-филоновски выстроенную «Семейную сцену» В. Сулимо-Самуйло. Досадно, однако, что на выставке не оказалось произведений В. Луппиана, С. Закликовской, А. Мордвиновой, А. Порет, скульптур И. Суворова — это тоже из того немногого, что чудом уцелело...

Период забвения, замалчивания филоноаского объединения кончился. Выставка послужила свидетельством художественной самостоятельности коллектива и права на жизнь всего того, что им создано. В 1991 году исполняется пятьдесят лет со дня голодной смерти П. Н. Филонова в блокадном Ленинграде. К этой дате, в знак реализации права Аналитического искусства на жизнь, намечено открытие музея в квартире-мастерской художника на улице Литераторов, 19.

Петербург. Петроград. Ленинград

Игорь БОГДАНОВ

ГОСТЕПРИИМНЫЙ ДОМ

А как иначе назвать гостиницу, где постояльцы оставляют в «Книге отзывов почетных гостей» такие записи: «...я всегда прошу поселить меня в „Европейской", потому что здесь я чувствую себя как дома» (Е. Гоголева); «Для меня пребывание в гостинице „Европейская" — это всегда радость» (А. Пахмутова)?

Лишь два выбранных наудачу мнения, но и они убеждают, что «Европейская» не идет ни в какое сравнение с современными отелями, похожими друг на друга. Среди постояльцев гостиницы можно встретить многих зарубежных деятелей культуры, науки, наших соотечественников, чьи имена широко известны. Простое перечисление таких имен заняло бы несколько страниц. К сожалению, о подробностях пребывания этих людей в «Европейской» история умалчивает, да и «Книга отзывов» заведена здесь не твк давно. Помимо высокого уроаня обслуживания, ставшего традицией, их влечет сюда и удобное расположение гостиницы в центре города, и своеобразное убранство номеров, и оригинальная архитектура, и особая атмосфера домашнего уюта и строгой торжественности, неизменно в продолжение многих лет выгодно отличвющая «Европейскую» от других отелей города...

Отель Клее — так, по имени владельца, называлась гостиница, прежде чем получила нынешнее свое имя в 1875 году после больших строительных работ под руководством архитектора Л. Ф. Фонтвна.

Гостиница Клее пользовалась громкой известностью: подтверждением может служить то, что некий молодой человек, впервые прибывший в Петербург 29 мая 1847 года, узнвл о ее существовании вдали от невских берегов. Еще на пароходе, на пути в столицу, молодой француз Мариус Петипа и его спутники попросили капитана порекомендовать им какую-нибудь гостиницу. «Он нам записал: гостиница Клея, Михайловская улица»,— вспоминал много лет спустя знаменитый балетмейстер.

28 сентября 1858 года у Клее поселился известный французский романист, художественный и театральный критик Теофиль Готье, собиравший материалы для серии альбомов, посвященных памятникам архитектуры и искусства Петербурга и Москвы. Готье обстоятельно знакомился с городом, впоследствии он одним из первых назовет его Северной Венецией. А по вечерам работал у себя в номере. Написанные им в Петербурге фельетоны составили книгу «Путешествие по России», в ней дано и описание гостиницы Клее.

Семь раз останавливался в гостинице на Михвйловской улице И. С. Тургенев. Впервые он поселился здесь в начале июня 1858 года.

26 мая 1862 года писатель занял номер 21 и прожил в нем до 2 июня. Н. Н. Страхов вспоминал, что Тургенев тогда «навестил и редакцию „Времени", застал нас в сборе и пригласил Михаила Михайловича, Федора Михайловича (Достоевских.— *И. Б.*) и меня к себе обедать, в гостиницу Клея (что ныне Европейская)...».

О следующем своем приезде в Петербург — 21 мая 1870 года — Тургенев извещает в письме общественного деятеля, историка, издателя и публициста М. М. Стасюлевича: «Я только что приехал сюда, остановился в гостинице Клея (№ 45) и очень бы желал теперь же увидеться с Вами насчет помещения небольшой статьи... в июньском номере „Вестника Европы". Оттого-то (так как времени осталось мало) я бы желал сегодня же вечером прочесть Вам ее. Я буду ждать Вас...». Чтение состоялось в тот же день, по-видимому, в номере гостиницы, а 1 июня статья была напечатана в очередном номере «Вестника Европы». Тургенев приехал тогда в Петербург не один — он показывал Россию своему английскому другу, критику и пропагандисту русской литературы в Англии В. Рольстону. Из гостиницы Клее они 29 мая вместе и уехали в Спвсское.

Иван Сергеевич жил в «Европейской» и в следующий свой приезд в столицу — с 27 июля по 2 августа 1878 года. В то время его интересовали материалы по делу Веры Засулич, стрелявшей в петербургского градоначальника Ф. Ф. Трепова. Разбирал эти материалы и работал с ними писатель у себя в номере.

Возвращаясь в 1879 году в Москву из-за границы по делам умершего старшего брата, Тургенев задержался на несколько дней в Петербурге, и вноаь его приютила «Европейская» — с 8-го по 13 февраля.

8 марта он опять возвратился туда — на две недели. Тургенев тогда постоянно находился в центре всеобщего внимания. «Его номер на четвертом этаже „Европейской" гостиницы за эти недели обратился в какой-то проходной двор,— вспоминал журналист и критик Н. Я. Стечькин.— Рядом с известнейшими людьми, корифеями журналистики и литературы, тут бывали первые встречные, студентки и курсистки, депутации от самозванных кружков... В ту пору в „Европейскую" гостиницу ходили как на поклон... Молодежь шла к Тургеневу вереницами». Свидетелем событий того времени был и Д. В. Григорович: «...Направляясь в номер гостиницы, где он (Тургенев.— *И. Б.*) жил, мне пришлось проходить по коридору мимо целого ряда таких посетителей и посетительниц, сидевших на подоконниках в ожидании очереди». В те дни в его номере бывали Я. П. Полонский, М. Е. Салтыков-Щедрин, В. В. Стасоа, А. И. Урусов, А. Ф. Кони и другие известные петербуржцы...

В 1881 году Тургенев жил в «Европейской» с 26-го по 28 августа. То было последнее посещение писателем России и Петербурга...

В июле 1877 года в гостинице останавливался П. И. Чайковский. Он приехал в Петербург сразу после бракосочетания с А. И. Милюковой (состоявшегося в Москве 6 июля), чтобы познакомить жену с родственниками. По приезде композитор писал брату Анатолию в Москву: «...Остановились в Европейской,— очень хорошо и даже роскошно...».

Чвйковский потом не рвз приезжал в столицу, но в «Европейской», которую он находил «слишком центральной», остановился еще только раз — девять лет спустя, 15 июня 1886 года, и всего лишь на три дня...

Немало знаменитостей повидала «Европейская» и в послеоктябрьские годы: нарком просвещения А. В. Луначарский, режиссер В. Э. Мейерхольд, мастер художественного слова В. Н. Яхонтов. Не раз в ней оствнаалиаался и В. В. Маяковский, впервые — в мве 1924 года. 21-го в его номер пришли Ю. Тынянов, Б. Эйхенбаум, Н. Тихонов, Г. Винокур. Мвяковский поделился с ними впечатлениями о своем первом вечере поэзии в Филармонии.

В следующий раз поэт приехал в Ленинград весной 1926 года и вновь поселился в «Европейской», в 26 номере. 18 мая он читал там свои стихи Тихонову, Тынянову, Эйхенбауму и Якубовскому.

В октябре 1927-го Маяковский снова в Ленинграде: он привез тогда поэму «Хорошо!». В «Европейской» ему приготовили роскошные апвртаменты, однако он провел в них лишь одну ночь и уже на следующее утро попросил перевести его в «свой», 26 номер. После одного из выступлений, решив поужинать в гости-

ничном ресторане «Крыша», он увидел там сидевших за одним из столов Л. Авербаха, Ю. Либединского и А. Фадеева и предложил им присоединиться к нему и провести вечер вместе.

А в один из октябрьских вечеров 1927 года Маяковскому довелось в том же ресторане взяться за перо при весьма необычных обстоятельствах... Поздний вечер. Позади — два выступления. Маяковский с нетерпением, переходящим в раздражение, дожидается официанта. В конце концов поэт вскочил с места и потребовал книгу жалоб. Присутствовавший при этом П. И. Лавут, оргвнизатор его выступлений, видел, как «это никогда и нигде не опубликоаанное произведение заняло целую страницу большого формата.

— Теперь пишите вы! — неожиданно предложил Маяковский, аручая мне свою ручку.

— Лучше вас я не напишу, что можно еще прибавить?

— Шут с вами, не пишите, лентяй, но расписаться подо мной вы обязаны!

— Это — пожалуйста. Жаль только, что не под стихами, но все равно соавторство».

Можно вспомнить и еще об одном вечере на «Крыше», 21 мая 1929 года, когда в ресторане был организоаан обед в честь прибывшего в Ленингрвд польского писателя Бруно Ясенского. В вечере, кроме Маяковского, приняли участие В. Киршон, В. Саянов, А. Лебеденко и М. Чумвндрин. Беседовали о политике, литературе, издательских делах и, конечно же, о поэзии, которую Ясенский очень любил...

Трижды в «Европейской» останавливался Максим Горький. В 1928 году он приехал в Ленингрвд 30 августа. Ленинградцы готовились торжественно встретить писателя, однако Горький, желая избежать пышной церемонии, пересел в Любани на пригородный поезд. «Высадился я на перрон совершенно спокойно,— вспоминал он,— занял комнвту в гостинице, а вот тут уж началось».

В «Европейскую» (поселился Горький в двухкомнатном номере 8 с окнами на Михвйловскую улицу, носиашую тогда имя Лассаля) потянулись люди — писатели, ученые, различные делегации. В те дни его навестили в гостинице С. Маршак, К. Чукоаский, В. Десницкий, Л. Пантелеев. Вплоть до 7 сентября, когда Горький выехал в Москву, дни его были расписаны по минутам.

В 1929 году писатель побывал в Ленинграде дважды — по пути а Мурманск (18 июня) и по возврвщении оттуда (27 июня — 11 июля).

Горький сам составлял списки писателей, с которыми хотел встретиться. Литераторы, пришедшие с визитом в первый его июньский приезд 1929 года, собрались в номере его секретаря — П. Крючкова, а потом, вспоминает Л. Борисов (один из тех, с кем пожелал встретиться Горький), «прошли в огромную светлую залу с круглым столом у окна». Их — Н. Смирнову, Н. Баршева, М. Козакова — представил Горькому М. Слонимский.

27 июня писателя встретил на вокзале С. М. Киров и проводил до «Европейской», где состоялась новая встреча с ленинградскими писателями — Ю. Либединским, М. Чумандриным, В. Саяновым. На этот раз Горький заннл номер 16, состоявший из трех комнат и прихожей. Одна комната служила гостиной, где писатель принимал посетителей. 1 июля к нему пришли сюда директора и инженеры заводов «Красный треугольник», «Красный выборжец» и «Крвсный путиловец», Химтреста и других предприятий. Горький познакомил их с замыслом издания журнала «Наши достижения».

В 1931 году Горький находился в Ленинграде с 20-го по 29 сентября. В эти дни он встречается в «Европейской» с О. Форш, М. Чумандриным, М. Слонимским, Н. Тихоновым, С. Маршаком, знакомится с О. Берггольц. Это был последний его приезд.

В 1932 году в Ленинград прибыли москвичи Ю. Олеша, Ю. Либединский и М. Светлов. По окончании одного из вечеров Л. Борисов вызвался быть гидом по блоковским местам. Экскурсия затянулась далеко за полночь, а потом гости и хозяева — ленинградские писатели Н. Чуковский, В. Андреев, Л. Борисоа и В. Рождественский — собрались в «Европейской». «По настоятельной просьбе москвичей в номере, занимаемом Либединским, была сооружена экстраординарная еда, нечто между обильным обедом и многообещающим завтраком,— вспоминал Борисов.— Выпито было много черного кофия, выкурено много папирос. Затем читали стихи Блока».

Стены «Европейской» помнят немало интересных встреч. Вот еще одна — в феврале 1927 года, когда Сергея Прокофьева, остановившегося в гостинице, пришел навестить Дмитрий Шостакович. Шостакович сыграл ему в тот вечер сонату собственного сочинения, и Прокофьев выделил ее из многих услышанных им тогда сочинений молодых ленинградцев. Похвала придала сил юному тогда композитору, и он в короткий срок написал несколько фортепианных пьес...

Так повелось, что музыканты, выступающие в Филармонии, останавливаются обыкновенно а «Европейской». В 1958 году здесь жил американский пианист Вэн Клайберн, а с 4-го по 9 октября 1962 года — восьмидесятилетний И. Ф. Стравинский, впервые прибывший в СССР. В Ленинграде прошла его молодость, здесь он написвл свои ранние произведения. Ему отвели номер на третьем этвже, оквми на улицу Бродского (так стала называться улица Лассаля с сентября 1940 года) и на площадь Искусств. Описание этого номерв находим в воспоминаниях племянницы композитора К. Ю. Стравинской: «Гостиная, спальная и угловая комната с роялем. Обстановка приятная — модернизированный ампир. Окна комнат выходят на филармонию...». Немало гостей побывало в те дни в номере Стравинского...

«Европейская» была столь популярна, что в ней селились даже герои литературных произведений. «По мраморной лестнице „Европейской гостиницы“, в Петербурге, сходил вниз и на ходу несколько придавливал каблуками красный ковер ступенек Пармений Никитич Рыния. Газ, сквозь матовые стекла, кидал на сени мягкий и грустный свет». Это — из романа П. Д. Боборыкина «Из новых». Останавливались в «Европейской» и герои рассказа Марка Твена «Запоздавший русский паспорт», написанного в 1902 году...

А вот — летний день 1937 года. Празднично украшены Неаский проспект, улица Лассаля. Перед «Европейской» — толпы народа: в Ленинград прибыли мужественные папанинцы. Героям предоставили лучшую гостиницу в городе. Собравшиеся дружно скандируют: «Папанин! Папанин!», и Иван Дмитриевич «выходил на балкон, посылал воздушные поцелуи и вытирал платком повлажневшие глаза»...

Где сейчас этот балкон? Может ли ктонибудь указать, в каком из теперешних номеров жил Тургенев или Горький? Ответы на эти и многие другие подобные вопросы весьма, надо полагать, были бы небесполезны ввиду предстоящей реставрации гостиницы. Будет ли «Европейская» превращена в заурядное интуристовское предприятие или станет уникальным в своем роде отелем-музеем, где памятные номера будут отмечены табличками и где сохранится все то, что должно быть сохранено?

Тут есть над чем подумать.

Совсем недавно. Совсем давно

Эту историю «рвскручиаали» с двух сторон. Публикуемый ниже материал частично отразил усилия потомков лихой воительницы, шаг за шагом исследовавших жизненный путь Луизы Графемус Кессених. В роли автора выступает заслуженная артистка РСФСР Татьяна Пилецкая. Ленинградцы вот уже в течение четверти века видят это имя в афишах Театра имени Ленинского комсомола, кинозрители знают ее по фильмам. Среди них есть особенно знаменательный — «Олеко Дундич», поставленный много лет назад режиссером Л. Луковым. В нем Пилецкая как бы продублировала образ знаменитой прапрапрабабки, снявшись в роли невесты прославленного Дундича. Нет, в картине она не совершает подвигов, зато с отчаянной уверенностью держится в седле. Она и сама удивлялась этому своему качеству — до тех пор, пока не поняла, что оно у нее в крови... Но, может быть, не все видели картину? Тогда придется назвать другие «с Пилецкой»: «Разные судьбы», «Княжна Мэри», «Прощание с Петербургом», «Мать», «Дело № 306», «В старых ритмах»...

А научным консультантом у автора был офицер Советской Армии Владимир Кессених. Первая мысль о поиске своих корней, как он сам об этом рассказывал, возникла у него еще в школе, когда в ответ на его довольно хвастливые утверждения, что такой фамилии, как у него, нет в целом свете, приятель рвскрыл книгу и буквально ткнул носом в собственную его фамилию, воспроизведенную типографским способом. И где! В стихотворении Н. А. Некрасова! Много позже явились семейные предания, поведанные дальними родственниками, документы, реликвии, и... начался поиск, который неизбежно вел его к Татьяне Пилецкой. Впрочем, об этом она и сама пишет.

Татьяна ПИЛЕЦКАЯ

ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОРТРЕТА

В 1856 году Игнатий Щедровский, основатель художественной школы в Ка. уге, написал портрет пожилой дамы с воинскими наградами на груди. Имя дамы — Луиза Графемус Кессених.

Этот литографированный портрет, сколько я себя помню, всегда висел в нашей квартире. Мне говорили, что это какая-то дальняя родственница, но какая и почему у нее воинские награды, я не знала. Портрет, как и старинная, шитая бисером картинка, пережил войну, блокаду, переезды и переселения и уцелел. Видимо, для нашей семьи они были очень дороги.

Я вспоминаю, что был

Прусский улан

у нас еще один портрет, написанный маслом и изображавший ту же женщину, но в молодые годы. На ней был военный мундир зеленого цвета с красным стоячим воротником и бежевой лентой через плечо с подвешенным к ней тесаком. Портрет этот долгое время лежал на шкафу, потом на него попала вода, он испортился, и мама его выбросила.

Прошло много лет. Образ женщины с боевыми наградами по-прежнему маячил перед моими глазами и все более приковывал к себе внимание. «А почему бы,— думала я,— не познакомиться с нею поближе? Как-никак дальняя родственница, к тому же таинственная...».

Думала-думала и решилась.

В библиотеках и архивах я никогда не работала, а тут мне пришлось перерошить очень много книг, справочников, документов.

Затем случай свел с сотрудником Эрмитажа В. М. Глинкой. Специалист по истории костюма, большой знаток своего дела, он сразу мне сказал, когда я описала ему погибший портрет, написанный маслом, что молодая дама, изображенная на нем, судя по мундиру, могла служить в прусских войсках, которые сражались против Наполеона вместе с русскими. Владимир Михайлович заинтересовался литографированным портретом пожилой женщины, показал его в Эрмитаже, и там выяснилось, что дубль есть в запасниках прославленного музея. Должно быть, дальнейшие поиски пошли бы скорее, но, к великому несчастью, В. М. Глинка внезапно скончался.

Что делать? И вот тогда, когда я этого не знала и вконец было отчаялась, раздался телефонный звонок, и мне сообщили, что меня разыскивает неизвестный мне родственник, который тоже занимается поиском своих предков.

Так состоялась встреча с Владимиром Александровичем Кессенихом. Поиски пошли быстрее. Теперь на основании материалов, которые нам удалось отыскать в архивах, на основании оставшихся в семье документов, семейных реликвий и преданий можно составить представление о Луизе Графемус Кессених.

Она родилась в 1786 году в Кёльне, надо полагать, в благочестивой семье. Растили ее для семейной жизни, но ей была уготована иная судьба.

В счастливый день поисков я натолкнулась на следующую заметку в одном из номеров газеты «Русский инвалид» за 1815 год «Луиза Мануе, или Женщина-улан»: «Издатель сих листов имел уже случай видеть многих воинов, коих мужественные подвиги и тяжелые раны вселяют невольное и весьма живое участие, но еще ни один из виденных им инвалидов не имеет более прав на всеобщее внимание и уважение, как женщина-улан, о которой намерен он сообщить теперь некоторые подробности. Женщина оставлена мужем, который уехал в Санкт-Петербург, вступил там в Российскую службу и продолжал оную 5 лет. Лишь только Луиза Мануе услышала о вступлении Российских войск в Германию, как уже решилась отыскать отца своих детей. Так как нежность чувства препятствовала ей вместе с солдатами идти в Силезию, то и решилась она скрыть пол свой и сама вступить в военную службу. Она открылась о сем Ее королевскому величеству супруге Принца Прусского Вильгельма, которая и подарила ей лошадь и совершенно снарядила ее,— так Луиза Мануе вступила уланом в Блюхеров корпус, где пол ее никому не был известен, кроме Принца, Принцессы и Ротмистра ее эскадрона, коему была она рекомендована от их Высочества. Она сражалась потом во всех битвах достопамятного 1813 года, при Буццене ранена была в шею, при Ганау в ногу и при Метце получила рану, которая заставила ее провести два месяца в Сарбрюкском госпитале. После чего отправилась она, однако ж, к своему полку и с союзными войсками взошла в Париж. Да, наверное, много дорог было изъезжено молодым уланом-девушкой на лошади, подаренной ей Прусской королевой...».

Прочитав до конца эту статью, я задумалась: «Кто такая эта Мануе? Не она ли у меня на портрете?». И тут В. А. Кессених в Центральном государственном военно-историческом архиве нашел целое дело Луизы Графемус Мануе (фамилия мужа). Выдержки из него я сейчас приведу:

«Всемилостивейший Государь! Указом 12-го прошедшего декабря Ваше Величество объявили между прочим, что правительство в особенности занимается о вдовах и детях, оставленных военными, пожертвовавшими жизнью для блага Отечества, и что печется о их пропитании. Быть матерью двух детей, коих отец, находясь на службе Вашего Величества, офицером был убит в сражении при Монмартре, последовательно могу считать себя уже в числе тех тысяч, кои имеют право на сие благодеяние, но я уповаю, что моими собственными пожертвованиями и личною храбростью я предпочтительно должна надеяться на великодушие Вашего Величества. Подробное описание службы моей в течении компании... находится в Петербургском журнале „Инвалид"... Происшествие сие, верно, слишком известно Вашему Величеству, чтоб имела я нужду еще раз обременять новым рассказом, прибавлю лишь к тому, что как только услыхала я, что Наполеон бежал с острова Эльба, видя Отечество, угрожаемое новыми опасностями, которых не могла перенести, оставила мирное свое жилище, чтобы опять вступить в службу в уланский корпус под командой генерала Бюлона, где в третий раз была ранена, под Бель-Алиансом в руку, быв уже награждена за вторую рану железным крестом. От последней же находилась несколько месяцев в госпитале, а с того времени не токмо здоровье мое было расстроено, но лишилась даже совершенно правой руки и не в состоянии уже заниматься женскими рукоделиями, в которых могла считать себя мастерицей... (Вот, оказывается, откуда та самая картинка, шитая бисером.— *Т. П.*) Зная в полной мере правосудие Вашего Величества, не сомневаюсь о принятии моего справедливого прошения и в сией вере честь имею пребывать. Вашего Величества всепокорнейшая слуга подписала. Луиза Графемус. Кёльн. 1817 г. 17 мая».

В деле множество документов, их можно здесь опустить, кроме, пожалуй, одного — письма дежурного генерала Главного штаба А. А. Закревского директору канцелярии начальника Главного штаба А. С. Меншикову от 18 ноября 1817 года:

«Прошение Луизы Графемус о пожертвовании

Т. Л. Пилецкая

средств на воспитание детей ее, высочайше повелено было препроводить к Статскому советнику Пезаровиусу[1] для исследования, та ли вдова Графемус, которая в минувшую кампанию служила в Прусских войсках и о подвигах коей напечатано было в „Русском инвалиде". Статский советник Пезаровиус в исполнении высочайшего повеления доносит, что вдова Луиза Графемус точно та самая, о коей упоминалось в „Русском инвалиде" и которая по свидетельствам ее начальников служила уланом в корпусе генерала графа Бюлова-Денневицкого. Отличилась в разных сражениях, с союзными войсками вступила в Париж. В 1814 году получила железный крест и прусскую военную медаль. В 1815 году покинула мирную жизнь и определилась на службу, при Бель-Алиансе ранена в правую руку и в левую ногу. Имеет чин уланского вахмистра и получает инвалидный пенсион по два талера прусской монеты в м-ц. Из скромности носит обыкновенное женское платье, но имеет с собою и Уланский мундир».

Ну вот, мы, наконец-то, и узнали, за что же получила воинские награды эта женщина, которая так серьезно смотрит с портрета, где она изображена в женском платье, а искусно наброшенная шаль скрывает отсутствие правой руки...

Изучая шаг за шагом биографию Луизы Графемус Кессених, удалось выяснить, что она вышла замуж за переплетчика Иогана Кессениха, имела от него троих детей: Николая, Карла, Елизавету. Николай — отец моей бабушки, род же В. А. Кессениха идет от второго сына Луизы — Карла.

Деятельная, кипучая, я бы даже сказала, неуемная натура не давала Луизе покоя, и она, будучи инвалидом, продолжала свою мирную жизнь не менее активно, чем военную.

В стихотворении Н. А. Некрасова «Прекрасная партия» есть такие строки:

Он буйно молодость убил,
Взяв образец в Лавласе,
И рано сердце остудил
У Кессених в танцклассе.

В комментариях к Полному собранию стихотворений Н. А. Некрасова 1929 года К. И. Чуковский

Луиза Графемус Кессених. Литографированный портрет

[1] П. П. Пезаровиус — издатель основанной им в 1813 году в Петербурге военной газеты «Русский инвалид».

счел необходимым пояснить: «Содержательница танцкласса Луиза Кессених была одной из петербургских знаменитостей: в молодости она служила в прусском уланском полку, участвовала во многих сражениях и, дослужившись до чина вахмистра, открыла в Петербурге танцкласс». Еще одно упоминание и характеристику танцкласса можно встретить в стихотворном фельетоне Н. А. Некрасова «Новости».

Чем для Некрасова была интересна эта женщина? Ведь не случайно же он вставил ее имя в свои произведения! Весьма вероятным может быть предположение, что молодой Некрасов посещал танцкласс Кессених, здесь он чувствовал себя непринужденно и здесь мог встретить героев своих будущих произведений: в танцклассе бывала преимущественно разночинная молодежь, мелкие чиновники, купцы, офицеры, студенты.

А вот заметка из газеты «Северная пчела» от 19 января 1844 года: «Редакция „Северной пчелы“ получила письмо с просьбой пригласить охотников до танцев и благотворений на вечер, который дан будет, с позволения начальства, 25-го января, в квартире Танцевального общества, на Фонтанке, у Измайловского моста, в доме Тарасова. Сбор за вход, по полутора рубля серебром с кавалера, с правом ввести безденежно двух дам, назначен в пользу бедных здешних иностранцев. Письмо подписала Луиза Графемус-Кессених, бывшая вахмистром королевской прусской службы. Разумеется, что редакция удивилась этой подписи и из любопытства навела справку. Оказалось, что г-жа Графемус-Кессених точно служила в прусских уланах, в 1812—1815 гг. была во всех сражениях с полком, имеет медаль и военный орден, с чином вахмистра, и теперь, на старости лет, содержит в Петербурге так называемый танцкласс. Храбрая амазонка скрывала пол свой на службе, но теперь знаки военного отличия украшают женский корсаж! Замечательно, что г-жа Графемус-Кессених препоясала меч и взяла в руки уланскую пику единственно из энтузиазма, одушевлявшего тогда Германию на борьбу с Наполеоном».

Из этой заметки следует, что храбрая амазонка не только понимает преимущества рекламы, но и чувствует себя достаточно уверенной, чтобы поместить ее в крупнейшей газете того времени. А есть ли где-нибудь еще упоминание о танцклассе? Оказывается, есть. У... Салтыкова-Щедрина. Великий сатирик беспощаден к «благонамеренным» обывателям: «Я знал, например, много таких карьеристов, которые никогда не читав ни одной русской книги и получившие научно-литературное образование в танцклассе Кессених не на шутку поверили им». В «Современной идиллии» Щедрин приводит и описание внутреннего убранства танцкласса, типичного для того времени: «Вот тут, у этой стены, стояли старые разбитые клавикорды; вдоль прочих стен расставлены были стулья и диваны, обитые какой-то подлой запятнанной материей. По углам помещались столики, за которыми имелось пиво. Посредине мы танцевали».

И еще одно свидетельство. Ревельский врач Е. А. Ризенкампф, в начале 40-х годов подружившийся с юношей Достоевским, пишет в своих воспоминаниях: «Одно из главных мест в числе петербургских удовольствий занимала музыка, начались концерты гениального Листа, кроме этих удовольствий молодые люди находили развлечение на вечеринках и частных клубах, но Достоевский чувствовал себя скованно в семейных домах, оставались балы, маскарады и, наконец, для так называемой „золотой молодежи“ существовали танцклассы с шпицбалами: Марцинкевича, Буре, мадам Кессених. Здание танцкласса просуществовало как увеселительное заведение до 80-х годов XIX века. Клуб устраивал танцевальные вечера, спектакли, маскерады и располагал недурным оркестром под управлением Рейнбольда».

Однако деятельная Луиза Кессених не ограничивалась содержанием танцкласса. Да, вероятно, и денежные дела были не так уж хороши — для большой семьи требовались большие средства. Приведу фрагмент из воспоминаний «Школа гвардейских подпрапорщиков и юнкеров в 1845—1849 гг.», написанных одним из воспитанников школы и напечатанных в феврале 1884 года в журнале «Русская старина».

«Выступали мы в лагерь обыкновенно уже под вечер, так как переход в Петергоф совершался с ночлегом. Первый привал делался у известного „Красного кабачка“, тогда уже увядшего, но все-таки хранившего некоторые следы былой славы. Содержательницей его в то время состояла некая госпожа Кессених, гнусной наружности старуха, в юных летах служившая, как говорили, в прусских войсках, вроде нашей девицы Дуровой, так, по крайней мере, свидетельствовал висевший в „Красном кабачке“ портрет ее, снятый в молодых летах, на котором она изображалась в мундире, с тесаком через плечо. Бранные подвиги сей героини, кажется, не записаны на скрижалях истории: знаю лишь, что на старости лет она, покинув меч, возлюбила занятие увеселительными заведениями.

В самом Петербурге содержала танцкласс, а по петергофской дороге царила в „Красном кабачке“».

Луиза Кессених и «Красный кабачок» — любопытная связь.

Боевое прошлое не давало экс-вахмистру покоя, ее тянуло к служилому народу. Зимою этот народ обретался в ее танцклассе, располагавшемся в доме Тарасова, то есть совсем близко от Константиновского училища, от казарм Измайловского и Семеновского полков, а летом она имела удовольствие принимать его опять же у себя — в «Красном кабачке», известном еще со времен Петра Великого и стоявшем возле Петергофской дороги, по которой, начиная с июня, войска двигались в летние лагери.

Когда перед нашими глазами развернулась почти вся жизнь этой женщины, нам захотелось пройти по упомянутым в материале местам. Мы побывали в Измайловском саду, притронулись к стенам здания, стоявшего на месте танцкласса Кессених. Мы съездили и туда, где находился «Красный кабачок». Это рядом с Красненьким кладбищем. Теперь осталось только разыскать место последнего упокоения Луизы Графемус Кессених. И оно было найдено. По бумагам, обнаруженным мною в семейном архиве, по документам, хранящимся в Ленинградском государственном историческом архиве, удалось установить, что Луиза Графемус Кессених скончалась 30 октября 1852 года. Отпевали ее в церкви св. Екатерины, а похоронили в фамильном склепе на лютеранском участке Волкова кладбища. Склепа не сохранилось, но найдено место, где он располагался, и получено разрешение на установку там доски в память о храброй амазонке. Эта удивительная женщина заслужила такое право. Прославившись воинскими подвигами в Германии, она обрела вторую родину в России, которая стала единственной для ее потомков.

В заключение повествования автор выражает п р и з н а т е л ь н о с т ь В. А. Кессениху, предоставившему ряд материалов, и С. В. Чистобаеву, поделившемуся с автором некоторыми иллюстрациями.

М. ШАПОВАЛОВ

ГЕОРГИЙ ИВАНОВ И АЛЕКСАНДР БЛОК

Уроженец Ковно (Каунаса) Георгий Ивáнов был младше Александра Блока на четырнадцать лет.

Живописные окрестности берегов Немана и Вилии, многое повидавшие на своем веку, послужили истоком его пристрастий к романтическому искусству. Монотонный хлюпающий звук мельничного колеса, неподвижный парус рыбака, дальний лай гончих в лесу и пение охотничьих рожков в осеннюю облаву, неожиданный всплеск белого костела в сияньи луны — будили юные мечты и уносили то в Шотландию Оссиана, то на остров Цитеру в духе Антуана Ватто. Да и сам город, известный с XI века, с его зáмком, ратушей и церковью Витауто, мог казаться ожившей старинной гравюрой...

Окончив кадетский корпус, Иванов решает посвятить себя поэзии. Семнадцатилетним стихотворцем знакомится он с Блоком:

Я снова вижу ваш взор величавый,
Ленивый голос, волос курчавый.
Залита солнцем большая мансарда,
Ваш лик в сияньи, как лик Леонардо.
И том Платона развернут перед вами,
И воздух полон золотыми словами.

(«Письмо в конверте...»)

Георгий Иванов. Портрет работы Ю. Анненкова, 1921 г.

Он *почитал* Блока, и похоже, что тот относился к нему с пониманием: уделял время, помогал в трудную минуту. Вот пометка в записной книжке от 5 марта 1914 года: «Георгий Иванов заходил за 15-ю рублями утром. Сидел с часок».

После кратковременного пребывания в группе эгофутуристов, чьим лидером был Игорь Северянин, Иванов переходит в «Цех поэтов», колыбель акмеизма. Тщательно прописанные и несколько однообразные мотивы любви, повторяющиеся пейзажи с луной, зарисовки Петербурга — таков в основном лирический круг воплощений поэта. В нем есть свои удачи. Но если вспомнить, чем жила русская поэзия в грозные годы империалистической войны и нарастания социальной бури, нельзя не признать, что голос этот слышала только «избранная» публика.

«Слушая такие стихи, как собранные в книжке Г. Иванова „Горница“,— отмечал Блок,— можно вдруг заплакать — не о стихах, не об авторе их, а о нашем бессилии, о том, что есть такие страшные стихи ни о чем, не обделенные ничем — ни талантом, ни умом, ни вкусом, и вместе с тем — как будто нет этих стихов, они обделены всем, и ничего с этим сделать нельзя... Книжка Г. Иванова есть памятник нашей страшной эпохи, притом — один из самых ярких, потому что автор — один из самых талантливых среди молодых стихотворцев. Это — книга человека, зарезанного цивилизацией, зарезанного без крови, что ужаснее для меня всех кровавых зрелищ этого века...».

Блок был прав, говоря об эклектизме Иванова, но оценка эта не может быть признана как последняя и окончательная. На свержение монархии в России этот лирик откликнулся стихами, чей пафос понятен нам:

Как забуду я красные флаги,
Эти буйные дни февраля?
Полный кубок любви и отваги,
Что пила ты, родная земля?

Много лет ты в неволе томилась,
Восставая на черное зло.
И с жестокой неправдою билась,
И страдала за правду светло.
(«Выхожу я в родные просторы»)

Нельзя умалчивать о том, что поэт в исторический час своего Отечества высказался за революцию. В записных книжках Блока читаем пометку, сделанную 21 апреля 1918 года: «У Любы днем Георгий Иванов (зовет нас выступать на вечере и хочет издавать „Двенадцать“)».

Пусть Иванову это не удалось и поэму выпустит в свет С. М. Алянский, но сам факт такого желания ставит его в число немногих литераторов, кто принял революционную поэму Блока.

В мемуарной книге «Петербургские зимы» Иванов описывает неожиданную встречу с Блоком на Николаевском мосту, когда вечерний воздух сотрясали залпы орудий мятежного Кронштадта.

— Пшено получили? — спросил Блок (Иванов нес мешок с пайком.— *М. Ш.*).— Это хорошо, если круто сварить... Стреляют... Вы верите? (В то, что мятежники победят.— *М. Ш.*) Я — не верю. Помните у Тютчева: «В крови до пят мы бьемся с мертвецами, воскресшими для новых похорон...».

Разговор, как видим, откровенный. И вряд ли Блок стал бы делиться своими мыслями с человеком посторонним или чуждым ему.

После смерти Блока и Гумилева Иванов эмигрирует во Францию. В годы изгнания стихи его — характерное явление «поэзии парижской ноты». Поэт остро осознает свою ненужность в чужом мире, роковая ошибка человека, покинувшего Родину, усилила в нем эти переживания. Растает ледок эстетизма в его лирике, все в ней подчинится главному: боли безысходности. Память о «Невской столице» сопряжена у Иванова с высоким образом Блока. Он сознательно допускает в стихах отзвуки блоковских мелодий:

Это звон бубенцов издалека,
Это тройки широкий разбег,
Это черная музыка Блока
На сияющий падает снег.
(«Это звон бубенцов издалека»)

Перед нами реминисценция: «Черный вечер. Белый снег...» («Двенадцать»).

Или такой пример:

Ты еще читаешь Блока,
Ты еще глядишь в окно,
Ты еще не знаешь срока —
Все неясно, все жестоко,
Все навек обречено.

. . . .

Помни это, помни это —
Каплю жизни, каплю света...
«Донна Анна!». Нет ответа.
«Донна Анна!». Тишина.

Стихотворение «Холодно бродить по свету», из которого взята цитата, открыто перекликается со стихотворением Блока «Шаги командора».

Последние годы жизни Иванов много болел, нуждался и ничего не имел за душой, кроме изначальной ценности — поэтического дара. Он умер в Пер-ле-Пальмье в 1958 году, до конца дней своих помня номер домашнего телефона Блока.

ИЗ ПОЧТЫ НЕВЫ

А БЫЛ ЛИ МАЛЬЧИК?

В «Седьмой тетради» («Нева» № 6 за 1987 г.) была опубликована моя статья «Преданье старины глубокой», положения которой поддержали ведущие сотрудники Всесоюзного музея А. С. Пушкина (письмо «Свежо преданье...», «Нева» № 6 за 1988 г.). При работе с архивными документами выявились новые факты, связанные с довольно замысловатой судьбой миниатюры, изображающей, как считалось, Пушкина в младенческом возрасте.

История о том, как миниатюра попала в Государственный музей А. С. Пушкина (г. Москва), рассказанная Н. Баранской, оказывается, была неполной. Этой истории предшествовал эпизод, до сих пор остававшийся неизвестным. Узнал я о нем из письма Е. Н. Дунаевой, в прошлом сотрудника Государственного Литературного музея.

В юбилейном Пушкинском 1937 году Государственный Литературный музей активно приобретал материалы, связанные с жизнью и творчеством поэта. В Ленинграде доверенным лицом по приобретению экспонатов был заведующий библиотекой истфака ЛГУ М. М. Саранчин. В ЦГАЛИ хранится архив Государственного Литературного музея (фонд 612). Переписка между директором музея В. Д. Бонч-Бруевичем и М. М. Саранчиным и протоколы приемочной (закупочной) комиссии рассказывают о том, когда же впервые миниатюра является из недр семейного архива и становится предметом продажи.

В. Д. Бонч-Бруевич — М. М. Саранчину, 4 февраля 1937 г.: «...В Ваш последний приезд я просил Вас побывать у Гамалея (ул. Калиева, 14, кв. 10). Если помните, там у них продавался миниатюрный портрет Пушкина... Были ли Вы у них?».

М. М. Саранчин — В. Д. Бонч-Бруевичу, 27 апреля 1937 г.: «...Получил, наконец, от Гамалея миниатюру, изобр. Пушкина, 4-х лет. Это похоже на правду... Гамалея спросила за миниатюру 2000 руб. и соглашается отдать за 1500 р. Я сказал, что все дело решит оценочная комиссия Музея, а и ничего сказать не могу. Ек. Ник. Гамалея доверила мне миниатюру, но... при условии, что я доставлю ее в музей лично».

Выписка из протокола № 309 заседания приемочной комиссии Гослитмузея от 13 мая 1937 г.:

«Присутствовали: т. т. Зилов К. А., Беляев М. Д., Дарский Д. С., Дилевская Н. А., Синебрюхов С. И., Успенская И. А., Сурикова К. Б. Председатель: Зилов К. А., секретарь: Сурикова К. Б.

Слушали: Предложение Гамалеи, Екатерины Николаевны (Ленинград...) через Саранчина М. М. приобрести миниатюру, по сведениям владелицы, изобр. А. С. Пушкина в детстве. Оценка владелицы в 1800 руб.

Постановили: Согласно заключению М. Д. Беляева от приобретения воздержаться, т. к. ничего общего с А. С. Пушкиным предлагаемая миниатюра не имеет».

Вероятно, владелица протестует против такого решения. Она обещает представить доказательства подлинности миниатюры.

М. М. Саранчин — В. Д. Бонч-Бруевичу, 24 мая 1937 г.: «...Соображения вдовы проф. Гамалея посылаю. Устно она добавляла, что все семейные предания заставляли „свято хранить“ миниатюру, как портрет маленького Пушкина, подарок матери Пушкина семье Великопольских».

Миниатюра снова предлагается приемочной комиссии. 31 мая 1937 года состоится 316 заседание, примерно с тем же составом присутствующих.

«Слушали: Пересмотр предложения Гамалея, Екатерины Николаевны (Ленинград через М. М. Саранчина) приобрести миниатюру, изобр. Пушкина.

Постановили: Ознакомившись с данными, сообщаемыми владелицей, от приобретения воздержаться, т. к. миниатюра не изображает А. С. Пушкина, тем более, что на обороте выцарапано „Лиза“».

Здесь можно и кончить словами: «А был ли мальчик?»

Г. Парчевский

«ЖЕЛАЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ»

Несказанно меня порадовали во 2-м номере «Невы» З. Журавлева и А. Шклиринский. Не буду долго толковать о романе З. Журавлевой. Мой восторг прежде всего относится к первым страницам романа, к язвительнейшей подборке фразочек «училки-мучилки» и комментарию к оной подборке. И тут же, то есть в «Седьмой тетради» — «Надписи» А. Шклиринского.

Люди добрые, хорошо же вам живется! Я сама филолог, закончила Ленинградский университет, помню, как резвились студенты:

«— Лги! — призывает Горный.

— Лгу! — отвечает Университет»...

Ну, при желании и злонамеренном ракурсе взгляда на вещи можно многое так вот... повернуть. А хорошо вам живется потому, что вы не знаете (а если знаете, так почему помалкиваете?), что люди, «в сознании которых закреплены подобные языковые связи», как пишет З. Журавлева, не просто педагоги. Не просто чиновники. Это чиновники от русского языка. Судороги уже не смеха, а ярости вызывает у нормального человека Международная Ассоциация Преподавателей Русского Языка и Литературы.

Нет, не фактом своего существования, ясное дело, а сокращенным своим названьицем — МАПРЯЛ. Сразу спросить хочется: «Чего он там мапрял и что с этим потом делал?». Вы понимаете, организация, сутью своей призванная пропагандировать Русский Язык, начинается с издевательства над ним — ибо с вывески начинается знакомство.

А что такое РКИ? Нет, это вам не Рабоче-Крестьянская инспекция времен легендарных. Это нынешнее — «русский как иностранный». Специальность так сокращенно называют. А что такое ОСИПЛ? Это «отделение структурной и прикладной лингвистики». Сама осипла, расшифровав, даже ручка запинаться стала от возмущения. А на филологическом факультете в МГУ это ОСИПЛ в порядке вещей, можете проверить.

А мы-то в юности похохатывали над умопомрачительными сокращениями в «Девушке у обрыва» В. Шефнера. Ах, Вадим Сергеевич, Вы всерьез, оказывается... Далеко только Вашим лирико-бюрократам из будущего до нынешних языкотворцев. Ваши хоть из добрых побуждений, да старались, чтобы благозвучно выходило...

Не славы ради и не публикации для пишу. Душу отвести хочется. А за витийственный стиль простите. У меня так эмоции выражаются. Иначе все состояло бы из восклицательных знаков.

До свидания. Желаю последовательности и в дальнейшем.

Н. Березникова,
преподаватель латинского языка

НАШИ АВТОРЫ

● ГОРБОВСКИЙ Глеб Яковлевич. Родился в 1931 году в Ленинграде. Работал на предприятиях Ленинграда, в геологических партиях в Якутии и на Сахалине, заведовал отделом поэзии журнала «Аврора». Печатается с 1955 года. Автор многих книг стихов и прозы. Лауреат Государственной премии РСФСР имени М. Горького. Член СП. Живет в Ленинграде.

● БОТВИННИК Семен Владимирович. Родился в 1922 году в Петрограде. Участник Великой Отечественной войны. Окончил Военно-морскую медицинскую академию. Кандидат медицинских наук. Печатается с 1939 года. Автор многих книг стихов, работает также как поэт-переводчик. Член СП. Живет в Ленинграде.

● НАСУЩЕНКО Владимир Егорович. Родился в 1930 году. Окончил Литературный институт имени М. Горького. Публиковался в журналах «Нева», «Новый мир», «Звезда». Автор нескольких книг рассказов. Член СП. Живет в Ленинграде.

● МОРОЗОВ Геннадий Сергеевич. Родился в 1941 году в Касимове Рязанской области. Работал в геологических партиях, затем — редактором издательства. Окончил Литературный институт имени М. Горького. Автор нескольких книг стихов для детей и взрослых. Член СП. Живет в Ленинграде.

● ЧАЛИКОВА Виктория Атомовна. Родилась в Орджоникидзе. Живет в Москве, работает старшим научным сотрудником в Институте научной информации общественных наук АН СССР. Кандидат философских наук.

Сдано в набор 29.06.88. Подписано к печати 26.08.88. М-31508. Формат бумаги 70×108 1/16. Бумага кн.-журн. Печать высокая. 18,2+2 вкл.=18,55 усл. печ. л. 20,3 усл. кр.-отт. 23,67+2 вкл.=23,98. уч.-изд. л. **Тираж 555 000 экз.** Заказ 1421. Цена 95 коп.

Адрес редакции: 191065, Ленинград, Д-65, Невский пр., 3
Телефоны: главный редактор, заведующая редакцией — 312-65-37, первый заместитель главного редактора — 312-64-78, заместитель главного редактора — 312-70-35, ответственный секретарь — 312-61-18, отдел прозы — 315-84-72, 312-65-95, отдел поэзии — 312-65-85, «Седьмая тетрадь» — 312-65-78, отдел публицистики — 312-70-35, отдел критики и искусства — 312-70-96, технический редактор и корректоры — 312-65-59

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15